ISSN 0130—6545

1.1979

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

Карлос Энрикес. Пейзаж

Цветные иллюстрации номера — работы художников Кубы

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ

■

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

■

ИЗДАЕТСЯ С 1955 ГОДА
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ИЗВЕСТИЯ». МОСКВА

1 январь 1979

Содержание

ХУЛИО ТРАВИЭСО — Чтобы убить волка *(Роман. Перевод с испанского Г. Вержховской и А. Чигарова)* 4

СЕСАР ЛЕАНТЕ — Дом в осаде *(Рассказ. Перевод с испанского Г. В.)* 85

АРАГОН — Стихи из трех книг. 1960—1974. *(Перевод с французского Мориса Ваксмахера. Вступление Т. Балашовой)* 91

ПАМЕЛА ХЭНСФОРД ДЖОНСОН — Особый дар *(Роман. Перевод с английского С. Митиной)*

КЭТРИН ЭНН ПОРТЕР — Бледный конь, бледный всадник *(Повесть. Перевод с английского Н. Волжиной)*

Молодые поэты Кубы

РАУЛЬ РИВЕРО, КАРЛОС МАРТИ БРЕНЕС, ЭЛИСЕО АЛЬБЕРТО ДИЕГО, ФЕЛИКС ЛУИС ВИЕРА, СОЛЕЙДА РИОС, ОСВАЛЬДО НАВАРРО, РЕЙНА МАРИЯ РИГЕС *(Переводы с испанского О. Островского, Гр. Кикодзе)* 196

Критика

Наш современник

Обсуждаем произведения, опубликованные в «Иностранной литературе» Юрий Богданов. Юрий Суровцев. Светлана Шерлаимова. Ирина Ракша. Владимир Гусев. Виктор Хорев. Лев Озеров 201

Заметки писателя

ЛУИС СУАРДИАС — Размышления о новой кубинской поэзии *(Перевод с испанского Н. Булгаковой)* 216

Культура и современность

Заметки на полях

Л. Голден — Негритюд, африканите... и жизнь 222

Публицистика

ШЕЙЛА КЭССИДИ — Чили: долг памяти (Монтаж по книге «Дерзание верить. Автобиография». *Перевод с английского И. Гуровой)* 225

Антирубрика

У нас в гостях польский карикатурист Анджей Краузе

(Вступление Януша Гловацкого) 249

БЕЛ КАУФМАН — Искусство рассказчика, вызывающее смех, слезы, раздумье. Читалка *(Перевод с английского Ф. Лурье)* 254

Наши гости

А. Ващенко — Наварр Скотт Момадэй (США) 259

Е. Шумская — Клаус Штиллер, Петер Шнайдер, Фридрих Кристиан Делиус (Западный Берлин) 260

Среди книг

Издано в СССР

Об искусстве перевода. В. Маркова — Созвездие поэтов. С. Липкин — Росинка на лепестке лотоса 262

Издано за рубежом

Америка семидесятых. Г. Злобин — Свет совестливости. Н. Анастасьев — Другой берег. С. Белов — Ланселот из штата Луизиана 266

Из месяца в месяц 274

Авторы этого номера 286

На обложке: картина кубинского художника ЭДУАРДО РОКИ.

На стр. 3, 158, 248 — графические работы кубинских художников.

© «Иностранная литература», 1979.

КУБИНСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ

КАРЛОС ГОНСАЛЕС ИГЛЕСИАС
Наша страна

ХУЛИО ТРАВИЭСО

Чтобы убить волка

РОМАН

Перевод с испанского Г. ВЕРЖХОВСКОЙ и А. ЧИГАРОВА

Двадцать лет назад — в январе 1959 года — над улицами и площадями только что освободившейся Гаваны победно прозвучали строфы знаменитого «Марша 26 июля», боевого гимна Повстанческой армии, которой командовал Фидель Кастро.

Кровавая диктатура Батисты была свергнута. Кубинская революция победила. Народ Кубы завоевал свободу. Открылась новая страница в истории его страны, в истории всей Латинской Америки — начался новый этап революционного движения. Рождалось первое на латиноамериканском континенте государство нового типа.

Спустя пятнадцать лет — в январе 1974 года — Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев, выступая на массовом митинге в столице социалистической Кубы, подчеркнет:

«Куба — первая страна социализма в западном полушарии. В этом ее историческая роль и историческая ответственность. Революция на Кубе, увенчавшая вековую борьбу... народа за свободу и независимость, явилась порождением конкретных кубинских условий. Она была взрывом народного протеста против гнета «своих» и иностранных эксплуататоров. Вместе с тем история победоносной социалистической революции на Кубе — это еще одно убедительное подтверждение неотвратимости законов общественного развития, единых для всех стран и народов».

О великом подвиге кубинского народа уже написано немало книг — рассказов, повестей, романов, публицистических произведений, стихов и поэм. И все же эта революция продолжает оставаться важнейшей темой в творчестве прозаиков и поэтов Кубы, сознающих свой большой долг — воспеть это историческое событие, нашедшее столь огромный отклик во всем мире.

Сегодня мы знакомим наших читателей с романом молодого кубинского писателя Хулио Травиэсо «Чтобы убить волка».

Для автора этого романа кубинская революция — часть собственной биографии. Ему было тринадцать лет, когда патриоты во главе с Фиделем Кастро — четверть века назад — штурмовали казарму Монкада. Шестнадцатилетним он встретил весть о героической высадке революционеров с яхты «Гранма» на родную землю. Именно в ту пору им принято решение: активно участвовать в вооруженной борьбе против диктатуры Батисты. И героями его произведения стали молодые люди, плечом к плечу с которыми он сражался в подпольной студенческой организации «Движения 26 июля». Вместе с ними — дважды, в 1954 и 1958 годах,— он побывал и в тюрьмах тирании.

Автор романа откровенно рассказывает, насколько сложной и тяжелой была битва, в которую включались его ровесники. Перед студентами, юношами и девушками Гаваны, окунувшимися в революционную деятельность, но по сути еще не имевшими достаточной политической подготовки, даже житейского опыта, с исключительной остротой вставали серьезные проблемы, в том числе — организационного, оперативного характера. На поле боя им пришлось постигать науку борьбы с жестоким, беспощадным врагом. На поле боя зрело политическое сознание юных бойцов.

Взволнованно пишет Травиэсо — он не был сторонним наблюдателем. И вполне понятны фрагментарность повествования, некая кинематографичность в показе эпизодов, смещение времен, когда прерываются сюжетные линии, а в последовательное изложение событий периода подполья вклинены показания батистовских палачей и убийц перед революционным трибуналом уже после января пятьдесят девятого.

Трагичны дни гаванского подполья, воспроизведенные в романе Травиэсо. Во имя революции много молодых борцов отдало свою жизнь с оружием в руках, многие погибли в застенках диктаторского режима. Но победоносный ход революции остановить нельзя, революционные идеи восторжествуют — в этом оптимистичность романа Травиэсо. Герои знали, что идут на бой, как гласит «Марш 26 июля», за мир и свободу, за счастье цветущей страны родной,— они верили в победу. И, влившись в могучий революционный поток восставшего народа, победу завоевали!

Это были люди, которыми совершена революция. Поначалу повстанцы, поднявшиеся против всякой несправедливости,— одинокие повстанцы...

ЧЕ

I

На рассвете, в 2 часа 30 минут, командование армией принял на себя генерал Батиста... Батиста заявил, что он полон решимости избежать кровопролития...

Газета «Эль крисоль», 10 марта 1952 г.

ГУСТАВО

Улучив момент, когда профессор уже не обращал на него внимания, Густаво, сидевший в левой стороне аудитории, зевнул и стал внимательно разглядывать балконы и полуоткрытые окна в здании напротив института. Вчера Иполито ему сказал, что около трех заметил в одном из них раздевавшуюся женщину. А вдруг, подумал Густаво, ему удастся увидеть то же, что и Манолито, которому посчастливилось неожиданно во время лекции полюбоваться спящей красоткой — во всяком случае он так утверждал. Густаво разыскивает взглядом это окно, пытливо обследует балкон первого этажа, через балюстраду его перегнулась женщина и что-то кричит невидимому человеку на улице, но слов ее не слышно из-за автобусов и легковых машин. Нет, это не та женщина, о которой говорил Иполито: чересчур толста. Он переводит взгляд на балкон второго этажа — дверь закрыта. На третьем этаже виднеются голенькие ножки, крохотное личико с соской во рту — ребенок делает «пипи». Густаво задерживает взгляд на верхнем балконе, украшенном цветами, а вот там-то, в полутени соседней комнаты, женский силуэт то возникает, то исчезает: вероятно, уходит в ванную, мелькнула мысль у Густаво. Женщина наконец появилась на балконе, сняла сушившееся полотенце и вернулась в помещение...

— Молодой человек, вы, тот, кто смотрит в окно,— голос звучит совсем рядом, и Густаво, поняв, что обращаются к нему, отворачивается от окна и встречает иронический взгляд.— Быть может, вы смогли бы сказать, какие два последних селения на Кубе основал Веласкес [1]?..— говорит профессор, и Густаво слышит, как по аудитории прокатывается смешок.

— О б в и н я е м ы й, в с т а н ь т е...

— Мое имя Эсекиель Вергара, но меня знают по кличке Чино[2]. Я только шофер, его я не бил. Я никогда и никого не бил. В тот день Сержант сказал нам, что надо вывести «на прогулку» арестованного, которого прозвали Костлявым... Нет-нет, его настоящего имени я не знаю. Что? Да, Костлявого схватили неделю назад. Нет-нет, он еле держался. Так вот, когда мы доехали до перекрестка улицы Долорес

[1] Диэго Веласкес де Куэльяр — испанский конкистадор, начавший в 1511 году колонизацию Кубы. *(Здесь и далее — прим. ред.)*

[2] Так на Кубе называют сына мулата и негритянки.

и шоссе, Сержант с Боксером и Гуахиро[1] вышли из машины. Я остался за рулем. И вообще я не принимал участия даже в арестах. Я только шофер. И потому Полковник считал меня трусом, но я не люблю бить людей, никому даже по морде не дал. Видите, меня принудили работать у них. Если я отказался бы от работы, то со мной бы разделались, а уехать из страны не мог, потому как у меня семья. Да, да, да, выгнали бы — и все. Так вот, через несколько минут к машине подошли Сержант, Боксер и Гуахиро. С ними был парень. Его бросили в машину, и Сержант приказал мне ехать в полицию.

30 октября

Никак не могу вспомнить, когда именно я начал делать записи в виде дневника. Вероятнее всего — полгода назад. Или после совещания в доме Маркоса либо после встречи с Менокалем, а то в день его гибели, 12 марта, когда он был обнаружен повешенным на дереве, похожий на истрепанную тряпичную куклу. Да, впрочем, и не важно, когда именно мне пришла в голову мысль делать записи. Существенно то, что я решил подробно записывать все происходившее со мной, как только перешел на подпольную работу. Может, это глупо и другие будут смеяться надо мной (особенно Маркос, если узнает об этом), но я надеюсь отмечать события, которые существенны и которые для меня значат больше, чем моя собственная жизнь. Я думаю, что когда-нибудь эти события станут частью истории, и войдем в нее все мы — Менокаль, Маркос, даже я, если, конечно, сумеем сопротивляться до конца. И поэтому после нашей победы мои записи помогут восстановить немало фактов, которые к тому времени, пожалуй, сотрутся в памяти. Иногда у меня появляется мысль: вдруг опасно вести записи, вдруг они попадут в руки полиции, но до сих пор мне удается хранить их в совершенно надежном месте. И никто, кроме меня, их не найдет.

За истекшую неделю ничего серьезного не произошло. Маркос погружен в подготовку крупной операции.

— Итак, товарищи, план таков...— Человек наклонился над столом, взял карандаш и стал что-то чертить на листке из блокнота. Шестеро мужчин окружили стол и внимательно слушали. К спинке стула был прислонен автомат «М-1», как бы нацелившийся на потолок. У окна стояла женщина и наблюдала за улицей. Человек говорил по-военному четко и ясно:— Группы располагаются в указанных местах. У каждого из вас свой район. В «час 0» все выходят на улицу...— Человек сделал паузу и оглядел присутствующих.— В это время по радио будет передан призыв к борьбе, во всем городе зазвучат церковные колокола. Вы должны парализовать движение городского транспорта и обезоруживать встречных полицейских. Зажигательные бомбы бросаем в те магазины, которые будут продолжать торговать. Одновременно выделенные группы атакуют и подожгут правительственные учреждения. После этого товарищи должны занять выгодно расположенные позиции — прежде всего плоские крыши домов, чтобы успешнее сражаться с армейскими подразделениями, которые будут брошены на подавление забастовки и восстания. Если все пойдет по плану, то возможно, что часть армии, вначале стоявшая в стороне, нас поддержит. Все.— Человек замолчал, провел

[1] В данном случае кличка — деревенщина.

ладонями по коротко подстриженным волосам.— Есть вопросы? — спросил он и пристально посмотрел на каждого из присутствующих.

— А оружие, Гарсиа, оружие? — переспросил его Миранда.

— Получите за несколько дней до выступления, хотя меньше, чем вы рассчитываете. Браво просил передать вам, что он делает все возможное, чтобы достать еще оружия и боеприпасов. Однако вам придется предпринять кое-какие операции по захвату оружия — мы должны во что бы то ни стало увеличить боевую мощь каждой группы...

О «часе 0» будет сообщено за семьдесят два часа до начала выступления, причем все люди будут расставлены по точкам за двадцать четыре часа, однако в боевую готовность их надо привести заранее, за двое суток. Отныне и впредь контакт со мной поддерживать через Тереситу по телефону...— Визг автомобильных тормозов, резко донесшийся с улицы, заглушил его слова.

— Полиция,— тихо сказала женщина.

Все сразу вскочили со своих мест, выхватив пистолеты; Гарсиа спокойно поднялся, бросил сигарету и взял «М-1». На улице послышались громкие голоса, звуки хлопающих автомобильных дверец.

— Прыгайте в окно! Оно выходит на соседнюю крышу. Я останусь прикрывать отход,— сказал Гарсиа. Ствол его автомата выглянул между жалюзи.

ГУСТАВО

После лекции по истории Густаво присоединяется к студентам, которые торопливо спускаются с третьего этажа. Его обгоняют девушки в аккуратно отглаженных белых блузках, красных юбках, белых носках. Он обращается к ним, они не отвечают, но, оказавшись внизу, оборачиваются, весело гримасничают и смеются. Густаво снова кричит им, однако они уже утонули в море белых блузок и красных юбок на первом этаже. Выйдя на улицу, Густаво поджидает, пока не пройдет поток транспорта. В районе Прадо в этот час полным-полно автомашин, отравляющих воздух выхлопными газами, и очень трудно дышать. Густаво заглядывает в кафе «Ла камара», излюбленное место встречи студентов. Шум, выкрики оглушают вновь пришедшего. Напрасно официант-китаец призывает к тишине — в ответ раздаются взрывы хохота.

— Ну как? — спрашивает Рохелио, не вставая из-за столика, едва Густаво подошел к нему. Густаво плюхнулся на стул.

— Плохо, братец, плохо.

Рохелио молча пережевывает сандвич. Затем просит у проходящего мимо официанта принести еще один. И наконец спрашивает у Густаво:

— Что же случилось?

— Срезали по математике,— говорит, поморщившись, Густаво.

Рохелио равнодушно пожимает плечами.

— Что делаешь сегодня вечером? — спрашивает Густаво, взмахом руки приветствуя кого-то из входящих в кафе.— А я с Эдуардо собираюсь в «Шанхай», потом, наверное, забредем еще куда-нибудь... Пойдешь с нами?

— Мне нужно кое с кем увидеться,— отвечает Рохелио, доканчивая жевать.— Может быть, и я приду туда. Вы будете ведь в доме Марго?

— О, да, маршал! — отчеканивает Густаво, вставая.

— Пойдем, пойдем, коллега,— в тон ему отвечает Рохелио.

Вечерами мы собираемся в доме Маркоса, в комнате с голубыми обоями. Со стен на нас смотрят Марти, Масео, Гомес [1] *— в скромных рамках серого цвета. Рядом приклеена вырезанная из газеты фотография Фиделя Кастро, снятого в момент выхода из тюрьмы. За ним виднеется кто-то из его товарищей, который тянет за собой, будто упрямого пса, огромный чемодан. Фидель в приветственном жесте поднял руку. Мы пришли к выводу, что он — единственный лидер, способный дать великий урок, в котором так нуждается страна. Мы говорили о нем, спорили о политике и подыскивали возможность установления контакта с какой-либо боевой действующей группой, которая бы помогла нам раздобыть оружие. К сожалению, пока нам не удавалось связаться ни с одной революционной организацией. Так прошли ноябрьские дни, время первых холодов. А мы так рассчитывали, что вскоре произойдет революция и кровь наших врагов прольется по всей стране. Поэтому в тот недавний декабрьский день, когда мы все собрались как обычно и говорили о наших неудачах и когда все уже высказались, со своего места встал Маркос. Нервный как всегда, размахивая руками, он заявил:*

— Давайте сами поищем оружие, начнем действовать самостоятельно,— и посмотрел в глаза каждому из нас; я почувствовал, что волнение охватывает и меня.— Это не так сложно, сначала разоружить двух или трех полицейских, а затем атаковать патрульную машину.

— Ты рехнулся! — воскликнул Хавьер, прерывая его.

— Нужно только установить прочный контакт с теми, у кого есть оружие, может быть — с людьми Прио[2]*,— сказал Роман и остановился у двери.*

— Но... как мы сможем напасть на полицейских, если у нас нет оружия? — спросил Антонио.

— У нас есть в конце концов, ножи, металлические прутья... Самое главное — действовать, а не сидеть сложа руки,— заявил Маркос.

— Остановись на углу, подожди меня в машине,— сказал Миранда, и Оскар слегка притормозил автомобиль, продвигавшийся между двумя рядами автомашин, припаркованных по обе стороны улицы Сан-Ласаро. Когда они поравнялись с домом № 800, Миранда пытливо осмотрел подъезд и углы здания. Внутри машины голос радиодиктора, читавшего коммерческие объявления, сообщил о точном времени, а также передал информацию о поимке полицией нескольких лиц и о задержании судна с контрабандной партией оружия. Оскар барабанил пальцами по рулю. Миранда насвистывал какую-то мелодию.

— Их уже показывали...— заметил Миранда.

— Дьявольщина, а вот о Мартине все еще ничего не сообщают... сволочи — шестнадцать пулевых ран в теле... Моя тетушка опознала его в морге...

Миранда продолжал насвистывать, не отвечая.

Сзади раздался гудок автомобиля — требовали освободить путь. Оскар увидел, что за рулем другой машины сидит женщина. Затем он

---

[1] Хосе Марти (1853—1895), Антонио Масео (1848—1896), Максимо Гомес (1836—1905) — герои национально-освободительной борьбы на Кубе в XIX веке.

[2] Карлос Прио Сокаррас — буржуазный реакционный политический деятель, бывший президент Кубы, свергнутый Батистой 10 марта 1952 года в борьбе за власть.

посмотрел на небо: огромные черные тучи предвещали ливень. Оскар вырулил к тротуару, втиснувшись с трудом между двумя машинами.

Миранда опять внимательно осмотрелся и открыл дверцу. В этот момент у перекрестка появился полицейский патрульный автомобиль. Миранда сразу же захлопнул дверцу, чуть пригнулся, чтобы нащупать рукой автомат «М-1», спрятанный под ковриком на полу машины. Его глаза были прикованы к медленно пересекавшему перекресток полицейскому автомобилю. Когда патрульная машина скрылась, он прикрыл ковриком свой «М-1», вышел на улицу и направился к дому № 800. Из вестибюля наверх вела лестница с узкими ступеньками, усыпанная сигаретными окурками и покрытая слоем грязи, образовавшей в некоторых местах черные островки. Слева тянулся вверх деревянный поручень, напоминавший огромную протянутую руку. Перешагивая через ступеньки, Миранда поднялся на второй этаж и, повернув к квартире справа, постучал в дверь.

— Привет, дорогая, а Николас дома? — спросил Миранда у женщины, открывшей дверь. Смуглая, с мальчишески подстриженными волосами и неподкрашенными губами, в вылинявшем платье, женщина кивком головы пригласила его войти. Из смежной комнаты тотчас же вышел человек и вопросительно взглянул на Миранду.

— Что случилось?

— Наступил час, Николас,— быстро ответил Миранда.

— Когда? — спросила женщина, подходя к ним, предварительно заперев дверь. Миранда из-под гуайаберы [1] вынул пистолет и положил его на середину стола. Затем не спеша произнес, будто желая, чтобы смысл его слов лучше дошел до них:

— Выступаем через две недели,— и после паузы добавил: — Я только что с совещания у Браво. Перед нами поставлена конкретная задача.

— А как с оружием? — спросила женщина; вопрос ее прозвучал пощечиной. Миранда закурил, прошелся по комнате, разыскивая пепельницу, но женщина подала ему ее сама.

— У нас мало оружия, очень мало,— ответил он.

— Без оружия трудно что-либо предпринять,— сказал Николас.

— Это — приказ,— возразил Миранда.— Войска еще не отведены в казармы. Обстановка в городе так накалена, что, едва мы начнем действовать, народ выйдет на улицы.

Женщина прошла в середину комнаты — глаза ее были полузакрыты.

— Конечно, интереснее устраивать перестрелки, играть с огнем, но все это до тех пор, пока они не начнут охотиться за нами из-за каждого угла, как за какими-то зверями. Видали, что они сделали с Мартином? — спросила она хриплым голосом, вырвавшимся будто из глубины.— Что говорят люди Моралеса?

— Они будут в зоне Галиано,— ответил Миранда.

— А остальные организации оповещены?

— Я не знаю. Предполагаю, что мы выступим одни. Надо увидеть Мариано.

— А как насчет Полковника? Неужели это неосуществимо? — с ожесточением спросила женщина, словно устав от разговора. Миранда посмотрел на нее и, разглядывая ее худые руки, короткие, непричесанные волосы, истоптанные туфли, подумал, что за последние годы она очень изменилась, сдала.

— Есть приказ Браво. Мы должны продолжать то, что связано с Полковником. Завтра получим два автомата. Их передадут вам.

---

[1] Длинная белая сорочка навыпуск.

В понедельник у меня встреча с одним человеком, он обещал продать нам еще оружия.

— Есть одно дело, и меня оно беспокоит...— промолвил Николас нерешительно.— После покушения на Полковника Батиста обрушит на Гавану дикие репрессии, и это может помешать выполнению планов «часа 0».

Женщина поднялась со стула, на который она только что присела, сжала руки, скрещенные на груди.

— Знаешь,— взволнованно произнесла она,— все-таки самое важное — убить Полковника. Нельзя позволить, чтобы он продолжал безнаказанно убивать нас.

Миранда взглянул на нее.

— Не говори так,— сказал он,— смерть за смерть — это глупость. Его мы караем как раз за массовые репрессии в Гаване.

Она не ответила. Опустилась в небольшое кресло, стоящее в углу. Николас расстегнул рубашку: белый бинт крест-накрест, словно орденский знак, перетягивал его грудь.

— Как с этим? — спросил Миранда, показав на рану. Николас пожал плечами:

— Легче, уже не болит, врач считает, что через два-три дня я смогу забыть о ней.

Женщина опять встала с места, подошла к окну и приоткрыла жалюзи. Звуки улицы ворвались в комнату. Влетела муха и села на ствол пистолета, лежавшего посредине стола.

— Тебе повезло, что пуля прошла навылет, да и калибр был невелик,— сказала женщина, сгоняя муху.

— Кто пойдет к Полковнику? — спросил Николас.

— Во всяком случае, ты из-за простреленного плеча пойти не сможешь,— сказал Миранда.

— Еще несколько дней — и я буду чувствовать себя прекрасно. Все-таки я лучше всех стреляю.

Женщина задернула жалюзи. Солнечный луч, проникший было в помещение, угас, и белесый пистолет на столе тускло мелькнул будто сжатая кисть руки с вытянутым указательным пальцем.

— Ладно, еще посмотрим.— Миранда говорил быстро, словно желая поскорее завершить разговор и покинуть эту комнату с закрытым окном, где жара ощущалась каждой частицей тела.— Сейчас вам следует подыскать другой дом. Этот уже под подозрением. Я поговорю с людьми из «Католического действия». Позвоните сегодня Оскару о пулеметах. Оружие доставят сюда, если к тому времени для вас не подыщется новый дом. Мы увидимся послезавтра.

Миранда встал, подошел к Николасу, дружески похлопал его по спине и направился к двери.

— Подожди,— сказала женщина.

Миранда обернулся.

— Ты забыл пистолет.

Миранда спустился по лестнице, опять перешагивая через ступеньку. Он подумал: наконец механизм пущен в ход. А теперь, до дня покушения, нужно прежде всего позаботиться о безопасности. Все так походило на бег против времени. Нельзя допустить, чтобы Полковник арестовал его за какую-то неделю до намеченного дня, а уж тогда они — он сам — уничтожат волка. Смерть Полковника для него, в отличие от той женщины в доме, была бы не просто актом обычной мести, вызванной ненавистью. Быть может, больше остальных он ненавидел Полковника: этот садист пытал его в течение долгих сорока дней и ночей, обозначенных стонами истязуемых, отзву-

ками ударов,— а все это уже не вычеркнешь из памяти. Физическое уничтожение палача и убийцы — реальная возможность содействовать успеху «часа 0». Ему было ясно, что закодированное время выступления — «час 0» — почти ничего не говорило для женщины, которая, однако, ему полностью была подчинена и для которой все заключалось лишь в уничтожении Полковника.

Выйдя на улицу, Миранда смешался с толпой, спешившей в этот момент где-то пообедать. Мельком глянув на закрытое окно Николаса, он заметил небольшое белое полотенце — условный сигнал, подтверждавший, что опасности нет. Нависшая над крышами зданий черная туча, удивительно похожая на человеческую голову, прикрывала собой постепенно исчезавшее солнце, посылавшее прощальные лучи. Миранда вынул платок, отер капельки пота на лице. Затем надел темные очки.

— К дому адвоката,— сказал он, открывая дверцу машины.

Оскар включил мотор. Через несколько секунд автомобиль затерялся в потоке машин, мчавшихся по авениде Сан-Ласаро.

ЭДУАРДО

Он облизывает губы, глядит вверх, как бы высматривая что-то на потолке, а затем опускает взгляд на листок бумаги, лежащий перед ним на парте. Рядом чуть не вдвое согнулся Густаво и старательно пишет. За спиной он слышит голос Рохелио, скорее шепот — тот просит, чтобы сидящий перед ним не двигался. Эдуардо понимает: Рохелио списывает — и ему хочется заняться тем же самым. Опустив руку в карман, он нащупывает заготовленную для экзамена шпаргалку. С кафедры — тем более четыре места в середине пустуют — профессору удобно следить за ним. В этот момент Ирене встает и с экзаменационным листком в руке направляется к профессору. Когда она проходит мимо Эдуардо, юбка девушки задевает его плечо, он даже ощущает упругость ее бедра. Эдуардо вздрагивает, меняет позу. Раздается встревоженный шепот Рохелио: «Не двигайся, идиот!» Эдуардо глотает слюну, а рука его уже скользит в карман. Ага, вот и бумажка, свернутая, как сигарета,— Эдуардо медленно берет шпаргалку. Фигура Ирене, отвечающей на вопросы экзаменатора и что-то спрашивающей, скрывает от него круглую голову профессора. Эдуардо оглядывается, видит склоненные над листами головы. Пальцы, будто два муравья, осторожно вытягивают бумажку, дюйм за дюймом, пока не достигают крышки парты, на уровне которой левая рука разворачивает бумажку, тотчас же прикрыв ее экзаменационным листком, тогда как глаза устремлены вперед к кафедре. Успел! Голова профессора выглянула из-за Ирене, отошедшей в сторону, его взгляд мгновенно окидывает всех студентов, сидящих в аудитории.

— До конца осталось пятнадцать минут,— говорит профессор и, поднявшись с кресла, делает несколько шагов вперед. Ирене кладет свой листок на кедровый стол с грудой бумаг и выходит из аудитории. Кто-то свистит, а затем слышатся приглушенные смешки. Эдуардо искоса смотрит на шпаргалку, испещренную малюсенькими знаками уравнений, пытается воспроизвести их на экзаменационном листке. Еще несколько минут — и Эдуардо, подняв голову, с удовлетворением улыбается, его пальцы тщательно свертывают уже ненужную шпаргалку.

— Все. Время истекло, сдавайте,— профессор направляется к ближайшему от него студенту, затем к остальным — начинает собирать листки. Эдуардо опережает его и кладет свой листок на груду бумаг, скопившуюся на профессорском столе.

— Братец мой, если бы ты хоть на полдюйма сдвинулся с места, я бы пропал ни за что ни про что.— В коридоре Рохелио теперь смеется, все переживания остались в аудитории.

— Пинильос — вообще-то добрый человек, он заставил бы тебя выкинуть шпаргалку, вот и все.

— Да, но экзамен сам по себе каверзный, чертовски сложный,— говорит Рохелио.

— Подзаняться следовало бы пораньше,— менторским тоном изрекает Густаво.

— А ты занимался? — спрашивает с улыбкой Иоланда. Густаво смотрит на нее с досадой.

ГУСТАВО

Едва прислушиваясь к словам профессора и даже не вникая в их смысл, он смотрит на пустующее место Ирене. Сегодня ее нет, почему-то не пришла на лекции. Затем он переводит глаза на стеклянную дверь, ведущую в пока еще пустой коридор,— взглянул на часы. Звонок, прозвучавший на первом этаже, возвестил об окончании занятий. Густаво быстро собирает учебники и после заключительных слов профессора срывается со скамьи. На первом этаже студенты пьют кока-колу, переговариваются. Густаво также спускается вниз по лестнице, подходит к знакомым. Здесь уже не слышно скабрезных историй, сальных анекдотов, двусмысленных острот.

— Если Грау [1] примет участие в выборах, он себя еще больше скомпрометирует,— замечает Луис.

— Батиста поступает как шулер — игральную кость он бросает подальше, а пока все рассматривают, сколько же очков выпало, подменивает кость, лежащую возле него,— говорит Артур.

— Именно так он фокусничает с Трухильо [2]. Да и наше внимание отвлекает на Трухильо, рассчитывая, что мы перестанем думать о собственных, наших здешних проблемах,— подает реплику Рохелио.

— Хватит, надо держать ухо востро, а то еще потеряем академический год,— откликается Манолито из своего угла.

— К черту твой год! — обрезает его Рохелио, приглаживая волосы.

— Довольно, довольно, оставьте все это, еще в дирекции услышат,— раздается чей-то голос.

Густаво предпочитает не участвовать в таких спорах, считая, что риторика, громкие фразы не приведут к практическим решениям.

— Директриса — батистовская проститутка,— заявляет Рохелио, но его слова почти все встречают молчанием.

После паузы кто-то произносит вполголоса:

— Надо бы действовать через Студенческую ассоциацию.

— Правильно,— говорит Рохелио,— нужно заставить директрису, пусть разрешит нам восстановить ассоциацию...

— Да, но ее запретили после массовых исключений пятьдесят третьего года [3].

— А если выпустить журнал и потребовать этого на его страницах? — предлагает Густаво и улыбается.

---

[1] Рамон Грау Сан-Мартин — кубинский буржуазный политический деятель, был дважды президентом Кубы (1933—1934 и 1944—1948 гг.).

[2] Рафаэль Трухильо Молина — диктатор Доминиканской Республики с 1930 по 1961 год.

[3] Речь идет о «чистке» крупнейших университетов, предпринятой диктатурой Батисты после штурма казармы Монкада 26 июля 1953 года.

Все внимательно смотрят на него. К ним поспешно подходит Эдуардо. Взволнованно, прерывающимся голосом сообщает:

— Только что штурмовали Гойкуриа [1]. Передано по радио...

Машина остановилась перед серым зданием.

— Полковник не прибыл?

— Должен сейчас прибыть.

— Пока тащите парня сюда. Посмотрим, настоящий ли он мужчина..

Вокруг него сомкнулся круг лиц.

— О!..— черный кулак ударил в пах, заставив человека согнуться. Другой кулак обрушился на ребра слева.

— Я ничего не знаю...

— Как же ты ничего не знаешь, а? Ну поглядим.— Последовал новый удар, на этот раз ногой. Он пошатнулся. Еще удар — резиновой дубинкой — по спине, чуть выше лопаток.

— Говори, свинья! Где остальные? Где оружие? Сколько у тебя людей?

— Не знаю, не знаю...

Опять резиновой дубинкой — по спине. И тут же его настиг черный кулак. Отброшен к стене. Сбит с ног. Закрутился потолок над его головой.

— Говори, сволочь, говори! Научим тебя говорить!

— Дай ему покрепче, Гуахиро, дай ему, пусть почувствует!

— Дай ему еще! Только не в лицо, а то придется еще показывать репортерам, а разбитая морда фотоснимок не украсит...

— Где оружие? Где твой начальник? Где Браво?..

Ему показалось, что в спину ужалил овод. А черный кулак настигал его снова и снова. Он ожидал, что удар дубинкой придется опять по спине, но удар нанесен был в живот. «По животу, по животу». Нагнувшись, заметил: тот, у которого черный кулак, был разут. А лицо — нет, не лицо, морда — как у гориллы. Хотел было попятиться назад.

— Подойди, несчастный, иди сюда!

— Поднимите его, подтащите!.. Чтобы ты знал, как подкладывать бомбочки!

Удар был нацелен точно в низ живота. Рухнул на пол. Ногой в ухо. Струйка крови изо рта побежала по шее. Попытался уползти под стол. Выволокли за ноги.

— Еще не то будет! Теперь у нас попляшешь! А ну-ка держись! Го-о-ол!..

Спиной он ударился об пол и остался лежать неподвижно, рот открыт, глаза уставились в потолок. Он еще успел увидеть, как человек, которого тут почему-то называли Лианой — Бехуко, подпрыгнул. И — ужасный удар в грудь, будто вбивали его в землю. Не успел даже крикнуть, простонать. В глазах — полный мрак.

2 июня

В два часа пополудни парк между Альмендарес и Луасес был безлюден, металлические скамьи пустовали. Из зеркальной фабрики за парком несколько рабочих выносили стекла и складывали их в кузов грузовика рядом с кабиной водителя. Деревья, казалось, сохли под ярко-синим, безоблачным небом. Мы пересекали парк, обходя

[1] Казармы батистовских войск в городе Матансас, подвергшиеся атаке патриотов в 1956 году.

песчаные островки, отражавшие лучи солнца, где ежедневно, после занятий в школе, когда спадала жара, играли дети. По улице Лугареньо шел навстречу какой-то негр. На нем были облегающие брюки темно-голубого цвета, которые гармонировали со светло-серой рубашкой. Маркос ускорил шаг, подошел к нему. Габриэль также заторопился, а я вышагивал как и раньше. Когда я приблизился к ним, Маркос уже разговаривал с негром; на его испитом лице, полуприкрытом очками в роговой оправе, толстые губы растянулись в радушной улыбке.

— С нынешнего дня мы будем работать вместе с этим товарищем,— сказал Маркос.

— Очень приятно, меня зовут Хуан Менокаль,— представился негр мягким тоном, напоминавшим голос диктора радио, и протянул руку с длинными пальцами землистого цвета, как будто собираясь ощупать нас. Габриэль и я поочередно пожали руку человека, назвавшегося Хуаном Менокалем. Он скорее невысокого роста, лицо матового оттенка, крупная голова с вьющимися волосами, аккуратно разделенными пробором. Менокаль, глядя на нас, по-прежнему улыбался.

— Может, присядем здесь? — сказал он и указал на скамью.

Менокаль и Маркос сели. А мы с Габриэлем продолжали стоять. Я почувствовал, как голову обдает солнечным жаром.

— Сколько товарищей работает с вами? — спросил Менокаль.

— Восемь,— ответил Маркос.

— Девять — с Хавьером. Он заявил, что мы можем рассчитывать на него,— добавил я.

— Кроме того, у нас четыре пистолета, один у меня с собой,— сказал Маркос.

Менокаль внимательно посмотрел на нас, перестал улыбаться. Он теперь снял очки, и на нас были устремлены его слегка выпуклые, большие и круглые глаза.

— Необходимо, чтобы побольше товарищей включилось в борьбу,— заметил он и тут же смолк — мимо нас проходила пара.— Вам предстоит действовать в этой зоне... Можете разделиться на две группы по четыре человека. Маркос — старший, связь со мной через него...

— А что будем делать? — спросил Габриэль, не скрывая нетерпения.

— Вероятно, вскоре будет проведена серьезная операция, всем следует быть наготове,— сказал Менокаль и снова надел очки, которые держал в руках. По спинке скамьи бегали, сталкиваясь друг с другом и тут же расползаясь, муравьи.

— А пока что? Преспокойно ждем? — спросил Маркос, и в его голосе послышались нотки недовольства.— Хотелось бы чего-то более значительного...

Менокаль молча, но утвердительно кивнул головой. На соседнем дереве стайка воробьев громко раскричалась, и Менокалю даже пришлось несколько повысить голос.

— В этой зоне есть два шпика, которых мы должны казнить,— произнес он на редкость обыденно, а мне с радостью подумалось о том, что наконец-то на нас возлагается нечто важное.— Как их обнаружить, вам станет известно на днях.

— Хорошо,— ответил Маркос.

Менокаль встал и передал Маркосу пакет.

— Тут пятьсот песо, в чеках, попытайтесь обменять их,— сказал он и улыбнулся.— Итак, о шпиках я вас оповещу.

— Есть,— отчеканил Маркос.
Менокаль распрощался и отправился к авениде Карлоса III.
— Пошли, в этом парке можно «сгореть»,— проронил Маркос.

— Нам нужна ваша помощь, доктор,— сказал Миранда и посмотрел на адвоката. В правой руке Миранда держал бокал темного хайболла, стекло запотело, и на руку стекали капельки, лед в бокале постепенно таял. Адвокат вынул белоснежный носовой платок и вытер пот, проступивший на лысине и на лице. Густые темные волосы показались из рукава гуайаберы, подчеркивая сходство его массивной фигуры с медведем. В углу кабинета молча попыхивал сигарой Оскар.

— Я уже сказал Гарсиа, что они смогут рассчитывать на меня, но когда они начнут?

— Гарсиа арестован. Его позавчера схватил Полковник.

— Гарсиа арестован?.. А почему меня не предупредили — ведь он знает, кто я...

— Гарсиа — настоящий мужчина, доктор! — Голос Оскара опередил ответ Миранды. Адвокат снова вытерся платком.

— Да, я это знаю, но если он не выдержит, а пытки теперь так ужасны...— Адвокат говорил торопливо, будто не взвешивая свои слова.— У моей жены истрепаны нервы... Вчера рядом с нашим домом они устроили обыск, а потом застрелили двух ребят на углу...— Голос его прервался, адвокат машинально засунул платок в задний карман брюк.— Это ужасно... Что смогут сделать без него?

— Гарсиа не знал вашего адреса,— заметил Оскар.

Миранда взглянул на адвоката; в голове мелькнула мысль: а что, если посоветовать адвокату купить собаку, но все же сдержался, отхлебнул глоток хайболла.

— Вместо Гарсиа уже подобран новый человек. Революцию невозможно парализовать — даже если кто-то из нас погиб. Самое главное — продолжать борьбу до свержения Батисты,— подчеркнул Миранда.

— Кто он?

— Не знаю.

Адвокат полулежа утопал в кожаном кресле. Безвольно опущенные руки спускались с подлокотников, едва не касаясь пола. Однако сейчас он выглядел несколько более спокойным, услышав, что Гарсиа не знает его точного адреса.

— До свержения Батисты...— повторил он как бы про себя.

— Нам нужны две конспиративные квартиры, доктор. Одна — для пятерых ребят, которых надо укрыть от полиции, им приходится жить вместе. Другая квартира — для супружеской пары.

— Я поговорю в «Католическом действии».

— Будьте очень осторожны с ними, адвокат.— Голос Оскара прозвучал насмешливо.— На последней квартире, которую устроило «Католическое действие», к нашим людям начали приглядываться, и в два часа ночи пришлось им исчезнуть, и это всего на второй день пребывания.

— Я не знал... Но ведь друзья из «Католического действия» вообще надежны...

— Дело не терпит отлагательства, доктор,— прервал его Миранда.— Пятеро ребят утверждают, что находиться на их нынешней квартире опасно.

— Чего они хотят? Они просто перепугались, квартира тут ни при чем...

Миранда взглянул на бокал хайболла. Лед совсем растаял, да и напитка осталось немного. Ему не хотелось бы использовать квартиры, подысканные через адвоката; не всегда они полностью безопасны, однако иного выхода нет. Не доверять адвокату все же не было оснований.

— Есть еще вопрос,— сказал он. Встав с кресла, он прошелся по кабинету и остановился перед адвокатом.— Нам требуются две тысячи песо.

— Две тысячи песо?

— Две тысячи. Срочно надо закупить оружие, организация не располагает необходимыми средствами.

— Это очень много... Моя жена с каждым днем все больше нервничает, мы собираемся отправить детей в Майами... Наконец, посмотрим, что будет дальше...— Пот снова выступил на лице адвоката. Миранда про себя отметил, что адвокат донельзя напуган. «Может быть, после сорока лет все перепуганы»,— подумал он и тотчас же вспомнил, что на пальцах может пересчитать людей старше сорока, состоящих в организации,— адвокат был одним из них. Перешагнувших за тридцать начинает преследовать какая-то опасная болезнь, точно рак, омертвляющий восприятие человеческих чувств. А в сорок лет многие становились либо бандитами, либо нытиками. В памяти всплыл образ его отца — вот уж кто был уверен, что он, Миранда, и в сорок лет не будет трусом.

— Ладно, доктор, остановимся на этом...— сказал он и поставил бокал на стол.

Оскар подошел к книжной полке и выбрал томик:

— Дайте мне это почитать, адвокат. По ночам страдаю бессонницей, а от детективных историй мне тошно...

— Конечно, возьмите. Хорошо, ребята, завтра сообщу вам насчет квартир, а что касается денег, попробую уладить сегодня же.

— В таком случае завтра я позвоню.

Миранда с Оскаром направились к выходу. Адвокат их проводил. Оказавшись на улице, они пошли до угла квартала в противоположном направлении — нарочно, чтобы никто в доме не заметил, куда они идут. Всегда приходилось принимать меры предосторожности, сбивать со следа. Молча шли они посреди улицы — Миранда предпочитал держаться поодаль от стен, избегая засады и не беспокоясь, что какая-нибудь машина, мчащаяся в столь поздний час на большой скорости, может налететь на них. Через каждые сто метров между домами открывался вид на море. Приятно освежало дуновение ветерка.

На углу Первой авениды и 34-й улицы Миранда на несколько секунд задержался. Вдали виднелся корабль — точка на фоне темно-синего моря и серо-голубого неба. Черные разорванные тучи, словно стая ворон, неслись от горизонта по небу, и вот оно уже полностью затянуто тучами. Знойной духотой наполнился воздух, будто чья-то тяжелая рука распластала ее над землей.

— Когда все кончится, мне хотелось бы жить около моря и путешествовать... Ведь я еще ни разу не выезжал из Гаваны,— мечтательно промолвил Миранда и поддал ногой лежавшую на асфальте гальку.

— А этот человек, видать, сдрейфил,— сказал Оскар.

— Может быть, но пытается подавить свой страх.

— Не по душе мне трусливые, на них никогда нельзя положиться.

— Как-то в одном журнале я прочел, что, собственно, все мы подвержены чувству страха. По-моему, смелы те, кто его преодоле-

вают... Вот ты — разве не боялся, когда стрелял в первого полицейского? — сказал Миранда.

— Другое дело. Адвокат ни в кого не стрелял.

— То же самое. Я вот и сам боюсь.

— И когда бросаешь бомбы? — спросил Оскар.

— Да.

— И когда стрелял в Капитана?

— Да.

— Боишься, тебя убьют? Мне тоже порой боязно. Не хочется умирать...

Миранда засунул руки в карманы брюк, посмотрел на море.

— Нет, не то,— сказал он,— так бывало, когда ребенком окажешься в темной комнате и боишься, а чего — не знаешь сам. Просто страх, и ничего больше.

— Тогда почему ты состоишь в организации?

— Потому что надо действовать — и это главное. Все остальное чепуха — и мой страх, и воспоминания о семье, все...— Миранда нагнулся, подобрал камень и бросил его далеко, к морю.— Столько в нашей стране мерзости, с которой нужно покончить, что о страхах некогда и подумать. Если бы я размышлял о страхе, тогда с полным правом мог бы назвать себя трусом.

ИРЕНЕ

В толпе студентов она выходит из подъезда института и смотрит на улицу, как всегда забитую городским транспортом. На ней красно-белая студенческая форма, сумка на плече. На ногах вместо положенных черных туфель мокасины. Коротко подстриженные волосы и очки придают Ирене вид лицеистки. Ее приветствуют, она оборачивается, отвечает. Какой-то студент ей что-то кричит, но она не слышит — спешит пересечь улицу. Не слышит она и комплимента, брошенного по ее адресу шофером проезжающего автомобиля. На противоположном тротуаре ее ожидает Эдуардо. На углу резко тормозит автобус. Люди, толкаясь, влезают в машину.

— Эдди, ты меня ждешь? — спрашивает Ирене и задорно улыбается.

— Конечно!

— Почему тебя не было на последней лекции?

— Дела,— тут же придумывает он.— Идешь домой?

— Да... Проводишь меня?

— А почему бы и нет?

Они не торопясь шагают по улице. А за спиной у них в подъезде института появляются полицейские и следуют к патрульной машине. Несут «трофеи» — революционные листовки, разбросанные сегодня в здании. Полицейские садятся в машину, резко захлопнув дверцы. Автомобиль рывком трогается с места, скользнув по асфальту, и тотчас теряется в уличном потоке. Полицейский, ведущий наблюдение за институтом, провожает его взглядом и усаживается на свой пост: до окончания дежурства еще далеко — последний звонок в одиннадцать ночи. Ирене и Эдуардо обгоняет газетчик, монотонно выкрикивая: «Новости! Последние сообщения о заговоре!» Они входят в кафе, садятся за столик, отсюда через витрину видны контуры Капитолия. За стойкой официант-китаец протирает бокалы и с хитрецой поглядывает на них. Эдуардо заказывает взбитые сливки с шоколадом, смахивает белым платком капельки пота с лица. Ирене вышла помыть руки. Эдуардо мельком взглянул на пару, целовавшуюся в углу, но подумал о листовках, разбросанных сегодня. Вернулась Ирене, ставит свой стул рядом с Эдуардо. Неторопливо и мол-

ча они наслаждаются прохладительным напитком, принесенным китайцем. Эдуардо очень ценит эти минуты, когда он находится с Ирене; не говоря ни слова, оба чувствуют какую-то особенную близость, лишь обмениваясь взглядами.

— Как вкусно!..— прерывает она молчание.— Я могла бы проглотить добрый десяток порций.

— Взять?

— Что ты! Нет, спасибо!

— Чем собираешься заняться?

— Да есть кое-какие делишки.

— Какие?

— Надо позаниматься вместе с Иоландой.

Эдуардо, замолчав, допивает свой бокал. На улице уже стемнело, замигали фары автомобилей. Жара спадала.

— Почему ты так серьезен? Скажи мне.

— Не знаю.

— Сегодня профессор в аудитории завалил Густаво. Жаль Густаво. Очень симпатичен, не правда ли?

— Наверное.

— Разве он не твой друг?

Эдуардо не отвечает. Как только Ирене начинает кого-либо хвалить, он испытывает раздражение. Сейчас его коробит упоминание имен Густаво и Иоланды — хорошо бы, они все исчезли и он остался наедине с Ирене. Но он лишь глядит на Ирене, ничего не говорит ей, и его мучит мысль, что он просто дурак и трус, раз ему не удалось вызвать ответные чувства в Ирене, как это сделали бы другие парни, скажем, Густаво.

— Пойдем в кино, Ирене? — робко спросил он.

— Когда?

— Сейчас.

— Я же сказала: не могу. Я обещала Иоланде позаниматься с ней, у нас накопилось много долгов.

— Где будете заниматься?

— У Иоланды дома.

— Ну что ж, тронемся,— говорит Эдуардо и подает знак китайцу. Вынув бумажник, Эдуардо оставил для официанта несколько монет на столе.

— Знаешь,— говорит он,— я не смогу проводить тебя. У меня тоже дела.

20 августа

Вчера мы снова заглядывали к Туто и опять его не застали. Уже во второй раз — в этой игре запросто могли выйти из строя нервы: нелегко, сохраняя спокойствие, подняться по лестнице большого здания, возвышающегося напротив парка, подняться неспешно, внешне беззаботно, будто двое воров (только в отличие от воров мы были обязаны привести в исполнение приговор над человеком, виновным во многих преступлениях). Нам нужно, неслышно ступая, подойти на втором этаже к двери, окрашенной в белый цвет. Квартира № 3. В середину ее двери вделан глазок, похожий на монету,— этот глазок, казалось, шпионил за нами, пока мы настойчиво звонили в квартиру, вызывая, призывая, требуя человека, которого мы пришли убить. Это была игра, в которой вспотевшая ладонь сжимала рукоятку пистолета, спрятанного в кобуре у пояса под полузастегнутой рубашкой.

Так вот, когда напряжение достигло наивысшего рубежа и оставалось одно: вытащив оружие, пробить дверь, ворваться в квартиру и

настичь человека в его постели, в его логове,— в этот самый момент дверь открылась... Перед нами предстала старуха (та же самая, что и в прошлый раз, наверное, мать Туто). Она вытерла руки о сальный, перепачканный, весь в мокрых пятнах фартук (хотя покажется абсурдом, но я почему-то обратил внимание на все эти детали). Когда Маркос спросил Туто, назвав нас его «приятелями», она сказала, что ее сына нет дома, что он уехал в деревню, и посмотрела на меня прозрачно-голубыми глазами, взглядом старой собаки.

— Я не знаю, когда он вернется,— произнесла старуха, а из квартиры послышался плач ребенка, я уверен — ее внука, сына Туто, жалкого, презренного шпика.

— Спасибо, сеньора, спасибо,— пробормотал Маркос, и старуха закрыла дверь. Я вынул руку из-под рубашки, достал платок, вытер им пот, бежавший по лицу. Когда мы спускались по лестнице, смешанное чувство охватило меня: с одной стороны, злость на то, что мы не смогли выполнить порученное нам задание, а с другой — чувство жалости к старухе, мы же собирались убить ее сына (хотя ее сын и подобные ему убили бы всех нас, и у нас не оставалось другого выбора: он и такие, как он, должны быть уничтожены). Я даже порадовался, что Туто не застали дома: по крайней мере, приговор не привели в исполнение в присутствии старухи.

— Благоволит к нему фортуна,— буркнул Маркос, когда мы, выйдя на улицу, пересекли ее и направились к парку.

— Да,— сказал я и невольно оглянулся на здание; остановившись здесь, мы представляли прекрасную мишень для Туто, если бы он укрывался дома. Я оглядел фасад и окна второго этажа. По-видимому, мои опасения были излишни: жалюзи на окнах оставались полуспущенными, преграждая доступ в квартиру солнечным лучам — зной уже давал себя чувствовать,— но оставляя достаточную щель для освежающего бриза.

— Знаешь,— сказал мне Маркос,— у меня такое впечатление, что если мы не покончим с Туто, он нам причинит много зла.

— Возможно,— заметил я.

— Его нужно ликвидировать в другом месте,— возбужденно предложил Маркос.— Быть может, в доме любовницы, которая, говорят, у него есть.

— Кто его прикончит? — спросил я.

— Ты,— ответил Маркос.

Меня прозвали Ребролом, но настоящее мое имя Франсиско Дельгадо. Я был там, когда приволокли его. Гуахиро привел, по дороге продолжая пинать его. Я спросил, кто это, и Бехуко ответил: крупная рыба среди революционеров. Его доставили в кабинет Полковника. Несколько позже Сержант приказал разыскать меня. Вы знаете, я немного стенографирую и обычно записывал по ходу допросов. Я сел, вынул карандаш и начал вести записи. Крики? Нет, их, конечно, не отмечал. Только признания. Вы знаете, у меня вызывают чувство отвращения эти допросы, но как-то нужно перебиваться, содержать своих мальчишек. И потому никогда и никого я не бил, могу поклясться богом и своими детьми... Ребролом? Да, это была шутка ребят там, в полицейском отделении, в то время. Они же большие шутники. Меня прозвали так в шутку, так же как могли называть Пакито[1], а вот того прозвали Бичо[2], когда он начал работать у нас. Такова жизнь, но это неправда, что я кому-то сломал ребро...

---

[1] Уменьшительное от Франсиско.

[2] Тварь *(исп.)*.

Так вот, вошел я туда и увидел лежащего на полу парня. Гуахиро и Боксер били его резиновыми дубинками, а Бичо и Бехуко пинали. Особенно усердствовал Бичо — да, он занимался этим с особым удовольствием. Из уха парня текла струйка крови. Кажется, у него от побоев лопнула барабанная перепонка. Мне помнится, что там находились Бичо, Гуахиро, Боксер, Бородавчатый, Сержант и уборщик. Нет, Полковника там не было. Он появился спустя полчаса... Полковник вошел, и все принялись избивать парня изо всех сил. Если кто-то не делал этого, то больше не работал у него. Однажды я видел, как он сам без передышки избивал резиновой дубинкой человека. Он бил бы и дальше, да человек отдал концы. Говорят, от инфаркта.

Да, лежачих Полковник не бил. Он делал это, лишь когда человек еще держался на ногах. Но как только тот рухнет, он передавал арестованного своим помощникам и отправлялся перекусить — похоже, от «работы» у него разгорался аппетит...

А в отсутствие Полковника Сержант не слишком-то старался. Вроде работа подтачивала его силы, и, по-моему, врач рекомендовал ему не переутомляться. Он вставал в углу и лишь указывал ребятам, куда лучше ударить. Ребята часто били по лицу, а он им запрещал это, поскольку с изуродованными лицами арестованных нельзя показывать полицейским репортерам. Сержант — он умный, понимает значение прессы и международного общественного мнения. Полковника же, наоборот, все это ничуть не трогало. Он говаривал, что для него все одно — что в лоб, что по лбу, и у каждого вырвет любое признание. И это правда. Однажды он приказал «почистить» иностранного журналиста, который был задержан, а в другой раз арестовал сына армейского офицера. Конечно, по ошибке. Но когда к Полковнику явился отец задержанного, Полковник был так спокоен, будто ничего не случилось. Только когда отец разбушевался там, в полиции, и стал честить Полковника, тот не выдержал. К счастью, с отцом арестованного прибыл генерал Мендоса, встал между ними — воспрепятствовал худшему. Этот и другие генералы, которые не терпели Полковника, доложили о случившемся «Самому». Но тот отрубил, что Полковник, дескать, прав и пользуется полным его доверием. И Полковник подтвердил, что он опирается на безграничную поддержку «Самого», а это главное. Сержант, как я говорил вам, прежде всего принимал во внимание международное мнение и даже чуть не отказался выполнить приказ Полковника, чтобы он, Сержант, лично «почистил» иностранного журналиста. Но «где командует капитан, матрос лишь подчиняется» — один все-таки сержант, а другой — полковник...

Так вот, продолжу... Сержант сидел там в кресле и вел допрос. Он не терял головы как другие, кто после таких допросов теряли разум, даже забывали задавать вопросы арестованному. Они лишь били, били и били, даже тогда, когда тот уже «раскалывался». Был случай, когда продолжали избивать умершего на допросе. Нет, Сержант до такого не доходил. Так легко голову он не терял. Только иногда он взрывался, когда на допросах люди стонали или ревели, как новорожденные. Это его раздражало. Он вставал и всовывал бумажный кляп в рот арестованного, чтобы не слышать криков. Похоже, крики действовали ему на нервы...

Ну, хватит о Сержанте. Я говорил, что парень лежал на полу с поврежденным ухом. Когда я открыл дверь, Сержант мне сказал: «Иди сюда, Ребролом, этот сейчас запоет». Но тот молчал. Все время только молчал. Тут вошли Чино и Манолито и стали бить его металлическими жгутами. Бородавчатый так обозлился, что хотел дать ему еще, но Сержант остановил. Чино предложил: «Давайте качнем его». Боксер, Гуахиро и Чино подняли арестованного и подбросили

чуть не до самого потолка... Будто мешок хлопнулся о пол, когда он рухнул... Так и остался лежать навзничь. Бехуко тогда прыгнул ему на грудь, и парень как будто потерял сознание. Это все, что я знаю. Вскоре приехал Полковник и продолжал допрос. Но я больше там не сидел. Меня послали провести обыск в одном доме. Клянусь, я его не бил. Ведь я только стенографист.

6 июня

Они прибыли в три часа пополудни. Моя мать отдыхала после обеда. Они кулаками забарабанили в стеклянную дверь, прикладами винтовок выбили стекла, оставив зияющие отверстия, точно чернеющие огромные глазницы. Так они ввалились в наш дом. Моя мать надела халат и вышла из комнаты. Один из них, более высокий и мускулистый, ударил ее в грудь рукояткой автомата. Мать упала на кровать, раскинув руки, подобно распятому Христу. Как заправские бандиты, они рассыпались по всей квартире. Двое, видимо главари, остались с моей матерью.

— Послушай, старая, мы только что убили твоего сына. Он отвоевался...— сказал высокий, тот, что ее ударил, и улыбнулся, как малыш, довольный своей ложью.

Они обыскали весь дом. Вспороли матрацы, выстукали стены, но ничего не нашли. Загнанная в угол, моя мать стиснула зубы, сжала скрещенные руки и смотрела, как они залезали под столы, проверяли даже ножки столов, усердно роясь во всем. Прежде чем уйти, один из главарей обратился к матери, она — не в силах подавить дрожь — сидела в той же позе.

— Сеньора, скажите этому убийце — вашему сыну, что мы расправимся с ним, что мы найдем и убьем его, где бы он ни скрывался,— сказал он и с ненавистью сплюнул на пол. Высокий улыбнулся и, глядя на мать, указательным пальцем чиркнул по шее, как бы отрубая голову.

Солнце поднималось высоко над горизонтом, словно огромное багровое пятно. Мы с Маркосом шли по авениде Линеа к морю (вечером 7 июня, на следующий день после покушения, несколько часов спустя после того, как полиция ворвалась ко мне в дом). Я рассказывал другу о том, что испытала мать. Маркос молчал.

— Мы все еще ничего не знаем об Альберто,— наконец промолвил он.— Должно быть, схватили его.

— Разве он не был с тобой? — спросил я. Мне казалось, что Альберто и Маркос вдвоем бежали по улице Хесус Мария, укрываясь за сгрудившимися на улице автобусами и автомобилями, вдруг оставленными своими водителями. А я в те минуты бросился в противоположном направлении, по улице Компостела в сторону набережной. Между нами, ими и мной, на самом перекрестке лежало распростертое ничком тело Туто: одна его рука вытянута вперед, другая — назад, будто он плыл либо что-то искал на асфальте.

— С Альберто мы сразу расстались на Эхидо, но домой он не пришел... Я позвонил, дома его не было,— сказал Маркос.

Нам пришлось остановиться, давая пройти женщине с ребенком болезненного вида на руках. Не знаю почему, лицо ребенка я мысленно сопоставил с лицом Альберто в застенках.

— Вероятно, схватили,— повторил я, машинально добавив:— И выжимают из него... может, заговорил...

— Тогда они должны были нагрянуть и ко мне,— заметил Маркос.

— Если они убьют Альберто, Туто нам будет дорого стоить...— сказал я.

— Важно, что с Туто мы покончили. Приказ был ликвидировать Туто, за все остальное никто из нас не отвечает.

Меня удивил ответ Маркоса,— правда, он явно был взбудоражен, однако и у меня после покушения и обыска нервы крайне расходились.

— Ну, а теперь что будем делать? — спросил я.

— Скроемся у Менокаля.

— У Менокаля? — воскликнул я в удивлении. Вдруг я почувствовал собственную значимость: укрываться вместе с одним из руководителей организации! Вместе с ним мне удастся заняться и более важными делами.

— Пожалуй, невозможно найти другое место, где скрыться,— сказал он, опершись на мое плечо.— Кроме того, Менокаль хочет, чтобы я полностью взял на себя операции и чтобы ты был связным.

ЭДУАРДО

Прежде чем перейти улицу, он осматривается по сторонам, закуривает. У ворот собака роется в мусорном ящике, откуда вываливаются обрывки бумаги, шкурки папайи, очистки разных других фруктов, всякие отбросы. Эдуардо входит во двор, где босые ребятишки бурно спорят: кому первым прокатиться на старом велосипеде. Поднимается по ступенькам лестницы. На втором этаже осторожно стучит в дверь. Молодой человек с приятным лицом открывает дверь и вопросительно смотрит на пришедшего.

— Ирене дома? — спрашивает Эдуардо.

— Проходи, Эдди, проходи! — слышен голос Ирене из комнаты, и и тут же она появляется. На ней белая юбка и голубая блузка, распущенные волосы небрежно спадают на плечи.— Привет, Эдди,— говорит Ирене.— Рикардо, а ты знаком с Эдуардо?

— Нет, очень приятно познакомиться,— юноша протягивает ему руку.

— Эдуардо Сальгадо,— отвечает Эдуардо и, пожимая руку, отмечает, что Ирене очень похожа на брата: голубые глаза, небольшой нос, пухлые губы.

— Это мой прекрасный братик,— говорит Ирене. Юноша с улыбкой обнимает сестру.

— Садись, Эдди,— говорит Ирене.

Опустившись в кресло, Эдуардо бегло окидывает взглядом комнату, заставленную мебелью, и обнаруживает две закрытые двери. «Что за ними? — думает Эдуардо.— Там спит Ирене?»

— Там мама,— говорит Ирене, перехватив взгляд Эдуардо, тот покраснел и отвел глаза.

— Ну, мне пора идти,— говорит Рикардо, взяв какие-то книги.— Рад познакомиться, Эдуардо.

Как только Рикардо вышел, Эдуардо пересел поближе к Ирене.

— Почему ты всю неделю не был на лекциях?— спрашивает она.

— Заболела мать, мне пришлось оставаться дома.

— А за нею некому ухаживать?

Эдуардо отрицательно покачал головой.

— Мы живем вдвоем в Гаване. Отец недавно умер. А других близких нет. Есть еще крестный, но сейчас он не в Гаване,— отвечает Эдуардо.

— Очень любишь мать? — спрашивает Ирене.

Эдуардо смотрит на нее — если бы можно было сказать: «Так же, как тебя».

— Больше всех на свете,— отвечает он, уставившись в пол.

— А мой отец умер вскоре после переезда в Гавану,— говорит Ирене. Эдуардо горит желанием поцеловать ее, но лишь протягивает руку, прикасается к ее пальцам. Ирене не убирает своей руки, хотя и несколько отодвигается. Эдуардо притягивает Ирене к себе. Он ощущает тепло ее тела. И нерешительно, словно с опаской, целует ее в губы. Она не сопротивляется, не отталкивает его — глаза ее открыты, но губы плотно сжаты.

Октябрь

Весь этот месяц мы — Маркос, Менокаль и я — жили в комнатушке, снятой Менокалем на улице Рейны. Хозяйке мы сказали, что приехали из деревни, ищем работу. Сеньора сначала не выразила ни малейшего удивления, впервые увидев нас, вероятнее всего, потому, что ей хотелось поскорее сдать эту развалюху, в которой едва разместились три старых раскладушки. Но в последнее время наши частые отлучки стали вызывать у нее подозрения, мы замечали ее недоверие, она уже не скрывала его. Мы решили покинуть эту мышеловку, найти более надежное и удобное убежище, однако со дня на день откладывали наш отъезд, вспоминая, как до этого за четыре месяца пришлось сменить три квартиры — одна хуже другой. Тем временем я все ближе узнавал человека, называвшего себя Менокалем,— откровенно говоря, я никогда не был уверен, что таково его настоящее имя. Он возглавляет важный участок революционного движения, а мы с Маркосом являемся его ближайшими помощниками. Это произошло как в силу стечения обстоятельств в ходе подпольной борьбы, охватывающей все новых людей, так и благодаря хорошей оценке выполненной нами работы. Личность Менокаля, его врожденный талант организатора, его умение заботиться о людях, исключительный такт и деликатность, с которыми он отдает распоряжения,— все вызывает у меня искреннее восхищение.

Месяц больших материальных затруднений... Порой мы едим лишь один раз в день (хотя Менокаль располагает крупными денежными суммами, принадлежащими организации) или остаемся вовсе без еды. В сложных условиях нас спасает Маркос, которому семья иногда высылает деньжат. Но это очень скудные средства: его родные живут весьма скромно и постоянно нас не могут выручать. Обычно мы ездим в городском автобусе, не имея возможности взять такси, хотя полиция активно охотится за нами — прежде всего за Менокалем и Маркосом. Время осуществления ответственных операций... В некоторых вместе с Маркосом участвовал и я, помогая одновременно Менокалю. Я имею в виду взрывы бомб на улице Монте, покушение на Лейтенанта, захват оружия у полицейских, поджог нескольких автобусов, а кроме того, большую операцию, разработанную Менокалем и Маркосом: взрыв электростанции.

ЭДУАРДО

Безотрывно целует он Ирене. Девушка, закрыв глаза, позволяет себя ласкать. Он проводит рукой по ее волосам, ниспадающим на плечи, пальцы его коснулись ее шеи и на мгновение замерли. Он не может налюбоваться ею. Свет уличного фонаря, мелькающий сквозь листья огромного тополя, бликами падает на ее лицо, выделяя то пухлые губы, то носик, то волосы. Ирене держит в руках очки, которые она сняла, когда он впервые поцеловал ее.

— Люблю тебя,— повторяет он, а Ирене счастливо смеется.

— В деревне, где мы росли и были еще маленькими, мой брат так-

же целовал меня в нос,— говорит она, а Эдуардо с удивлением смотрит на нее.— Ну, конечно, не так, как ты, а по-братски,— добавляет Ирене, бросив шаловливый взгляд. И тотчас целует его. Бриз шевельнул ветви тополя, свет фонаря на миг осветил скамью, на которой они сидят, и слившаяся тень обоих легла на землю.

— Люблю, люблю тебя,— повторяет и повторяет Эдуардо, глядя в ее глаза.

— И я тебя очень,— шепчет Ирене; ее голос едва слышен в шелесте листвы.

— Навсегда...— то ли спрашивает, то ли утверждает Эдуардо.

— Навсегда,— откликается она, положив голову на его плечо.

Меня знают как Куко, но крещена я как Каридад Рейес. Я делала уборку, приносила еду Полковнику, ходила в прачечную за его бельем, выполняла другие его поручения и все подобное.

Нет, я не служила в полиции. Хотя мне обещали, что в январе зачислят в штат...

Я видела, как приволокли парня. Это было где-то около полудня, в полдвенадцатого. Гуахиро притащил его, пиная по дороге. Ребролом, находившийся там, также стал избивать его.

Бросили его в кабинете Полковника. Того там не было. И тотчас раздались крики... Я никогда не слышала, чтобы кто-нибудь так кричал. Кричал с полчаса. Потом смолк. Я думала, его убили. Потом увидела, как его выволокли из кабинета Бехуко и Боксер и бросили в соседнюю комнату. Я попросила сигарету у Гуахиро, спросила его, нужно ли позвонить в морг. Он ответил, что нет, и потом сказал, как только тот придет в себя, его снова будут пытать, но приходится подождать Полковника. Я выкурила сигарету и пошла было на улицу, когда появился Сержант и сказал мне, чтобы я убрала в кабинете, потому как с минуты на минуту должен прибыть Полковник. Полковник очень любит порядок и чистоту, не терпит грязи. Он уже не надевал светлый костюм, если на нем оказывалось малюсенькое пятнышко. Сержант также приказал мне принести ведро воды — привести парня в себя.

Кабинет был залит водой. Я вспотела, смывая лужи крови. Кровяные следы были повсюду. Особенно много капель на стене и около стола. Мне пришлось пустить в ход все химические средства, чтобы их отмыть. Не так уж легко отмывать кровь, как некоторые считают. Как бы ни мыла, след крови остается. Я сделала все, что могла. Подмела окурки. Их набралась целая куча. Замыла грязь на полу. Сержант во время «работы» много курил. Но не с самого начала. Только когда он уставал «от работы». От непотушенных окурков остаются отметины на полу. Их очень трудно уничтожать...

Ну да, это окурки от марихуаны. Хорошо, что он начинал курить не с самого начала допроса, а то не знаю, чем бы все кончалось. Бородавчатый и Бехуко курили, наоборот, с самого начала, но немного... Боксер не курит, но слышала я, что он впрыскивает морфий, хотя этому не верю. Гуахиро точно не колол себе наркотики, это точно... Мне как-то дали сигарету с марихуаной, но она не понравилась. Чуть не вырвало.

ИРЕНЕ

У кинотеатра «Америка» она взглянула на наручные часики. Публика уже выходила — вестибюль был переполнен. В неоновом свете фигуры людей отбрасывали странные тени, утопавшие в тол-

пе. Просигналил, требуя освободить дорогу, автобус. Напротив кинотеатра мужчина и женщина изучали витрину магазина. Ирене вновь взглянула на часы. Девять. Публика разошлась, и улица почти опустела. Видимо, обсудив свои проблемы около витрины, мужчина с женщиной направились по улице Галиано. Эдуардо чересчур опаздывал: уже на пятнадцать минут. В последние дни Ирене нервничала, возможно, из-за того, что приближались экзамены, а возможно, из-за происходящих в стране событий, возможно, из-за брата, который стал все чаще возвращаться домой поздно ночью, иногда где-то пропадал, никого не извещая, по два-три дня. Она не сумела бы определить, чем действительно вызвано ее тревожное состояние, но избавиться от него не могла. И потом беспокоил Эдуардо. Уже прошло четыре месяца, как они жених и невеста. Однако Эдуардо как-то изменился, уже не был таким, как прежде, спокойным и мягким. С каждым днем он становился грубее и раздражительнее, даже с нею.

Пара на противоположной стороне дошла до улицы Нептуно, вновь пустилась в какие-то дискуссии. Потом оба вернулись обратно. Она уцепилась за его руку, словно удерживая спутника, тот вышагивал быстро, будто хотел отделаться от нее, и нервно жестикулировал свободной рукой. Ирене наблюдала, как они пересекли улицу напротив кинотеатра, на этот раз не задерживаясь у витрины, где стояли ранее, и свернули на улицу Конкордиа. Из кафе при кинотеатре «Америка» вышли двое юношей. Проходя рядом с Ирене, они задержались и сделали ей комплимент. Ирене зло взглянула на них, отвернулась. Часы показывали девять пятнадцать. Пошла обратно, но юноши не отставали. И лишь появление Эдуардо заставило молодых ветрогонов ретироваться. Эдуардо взял девушку за руку, но за опоздание почему-то не извинился. Молча, держась за руки, они прошли вдоль всей улицы Галиано до набережной — Малекона. Ирене смотрела вперед и в лицо Эдуардо не вглядывалась, ощущая пожатие его ладони на своей руке. И только на улице Виртудес Ирене нарушила молчание:

— Почему ты так опоздал?

— Разные дела в институте, а потом пришли Густаво и Рохелио.

— Мы не сможем долго прогуливаться.

— Почему?

— Мать просила прийти пораньше. Она очень беспокоится — вот уже двое суток брата нет дома.

— Почему не сообщите в полицию? — спросил он.

Она улыбнулась.

— Единственно, куда мы не можем сообщить,— это в полицию,— ответила она и провела ладонью по юбке.

Эдуардо сдвинул брови, но ничего не сказал. Ирене оглянулась: их нагоняли какие-то люди, прошли мимо.

— Ты знаешь,— после паузы произнес Эдуардо,— не исключено, что я уеду в Соединенные Штаты.

— Теперь?

— Мой крестный это предлагает, я еще не знаю, что предпринять... Похоже, что из-за забастовок здесь нельзя будет учиться. В Сантьяго уже бастуют, и я уверен, забастовка вспыхнет и в Гаване.

— Я никогда бы не уехала из страны...

— Я тоже, только мой крестный настаивает. Я хотел предупредить тебя, а уезжать не собираюсь. Пусть вспыхнет забастовка.

Она посмотрела на него, прижалась к нему.

— Меня очень волнует...— сказала она; он погладил ее по спине, девушку била дрожь.— Не знаю, что случилось с братом.

— Ну что с ним могло случиться? — произнес он и запнулся.

18 марта

Хоть мы и полностью доверяем Менокалю, ночевать решили не в квартире на улице Рейны — возможно, в его карманах могла быть обнаружена какая-нибудь запись, способная навести на наш адрес. Сюда мы зашли на какие-то минуты, чтобы забрать все, что могло скомпрометировать нас, а также личные вещи. По указанию Менокаля наш скудный запас оружия уже находился в другом месте. Проникли мы в квартиру осторожно, чтобы нас не заметила хозяйка. Все быстро собрали в большой запыленный чемодан: брюки, рубашки и старый светло-коричневый костюм Менокаля, который он носил, когда был руководителем организации «Ортодоксальная молодежь». Положили одежду в чемодан, не обменявшись словом друг с другом, иногда поглядывая в небольшое окошко, стараясь передвигаться бесшумно. Маркос перерыл все углы в комнате — не забыто ли что. после закрыл чемодан. Мои руки дрожали. Я думал о Менокале. Представлял себе Менокаля. Еще раз осмотрев ящики письменного стола, Маркос взглянул на улицу через окошко и повернулся ко мне.

— Пошли,— сказал он, поднимая чемодан.

Тихонько, так, чтобы хозяйка нас не услышала, спустились мы по лестнице, вышли на улицу.

Ведро воды привело его в чувство.

— Полковник прибыл.

— Итак, это дерьмо не хочет говорить,— сказал Полковник.

— Думаю, он желает побеседовать лично с вами, Полковник,— сказал Бородавчатый и залился смехом, довольный самим собой.

— Ага, значит, бравый. Поглядим, сколько раундов продержится.

Круг лиц снова сжался. Первый удар нанесен в грудь. Перехватило дыхание. Черный кулак ударил в печень. Черный кулак не спешит с ударом, выжидает удобной позиции и уж тогда бьет наверняка. Бьет реже остальных, но очень больно. Снизу вверх. Этот негр был бы хорошим боксером в тяжелом весе. Вставал как на ринге, следил за соперником и вдруг молниеносно выбрасывал черный кулак.

— Не бейте меня больше, не убивайте меня... Не бейте меня... О, мама... Боже мой... Ради бога...

— Ты наплевал на бога и на свою мать. Сволочь, убийца полицейских!

— Добавьте ему, добавьте еще этой мрази!

Полковник взял резиновую дубинку и начал избивать его. Когда Полковник берет в руки дубинку, никто не знает, скоро ли он остановится. Однажды он непрерывно, в течение получаса, избивал арестованного, пока тот не умер.

— Ну, так как, будешь говорить? Как это не будешь? Ну, я заставлю тебя заговорить. Все, кто попадали ко мне, развязывали язык, все — даже самые крепкие, так что и тебе придется рассказывать мне, слышишь, ты, подонок, сука... Бейте его, бейте сильнее, чтоб он знал, кто такой Полковник, пусть ему впредь неповадно будет подкладывать бомбочки.

— Изверги, не бейте меня...

— Где твой начальник?.. Откуда у вас пистолеты?.. Кто стрелял в Манко?.. Где пистолеты?

Дубинка молнией обрушивалась на тело, била, взлетая и вновь опускаясь.

— Смотрите на этого убийцу. Он вздумал убивать беззащитных полицейских, бедных отцов семейств. Я перебью тебе все ребра.

— Ничего не знаю... Мама моя...

Лоб Полковника покрылся капельками пота. Несмотря на кондиционированный воздух, Полковник задыхался. «Надо подзаняться гимнастикой, старею,— подумал он,— раньше я мог целый день обходиться без перерыва».

— Поддайте ему покрепче, ребята! — кричал он, продолжая бить.

Один из полицейских, весом в сто девяносто фунтов, по кличке Гуахиро, схватил арестованного за поясницу и, как мяч, грохнул его о стену. По стене разбрызгались капли крови. Жертва снова потеряла сознание. Полковник вытер пот со лба.

— Как он держится... Но я заставлю его говорить. Или разорву в клочья!

18 марта

Из моих воспоминаний прежде всего всплывает в памяти печальный вечер 18 марта. В тот день, выйдя из дома на улице Рейны, я бродил вместе с Маркосом по городу, не зная, куда идти и что делать. Мы говорили о Менокале, которого в это время, вне всякого сомнения, жестоко пытали. Маркос то и дело повторял (и повторяю я сегодня), что лишь я виновен в аресте Менокаля. Он беспощадно твердил, что если бы я побежал с ним (таков был мой долг), а не в другую сторону, если бы я отвлек внимание полицейских на себя или, может быть, переключил их огонь на себя, то Менокалю удалось бы уйти от погони, пусть меня бы схватили. Маркос брел по улице, не замечая, что натыкается на прохожих. Он твердил, что я трус, для которого все кончено, которому осталось только одно — застрелиться.

Так мы добрались до парка Фратернидад. Маркос подошел к скамье и поставил на нее чемодан. Затем он достал платок, вытер пот с лица. Скамьи рядом были свободны.

— Надо известить о случившемся всех остальных,— сказал Маркос, его голос прозвучал подчеркнуто сухо. Но эти слова донеслись до меня пустым звуком — словно из порожней бочки.

— Из-за меня схватили Менокаля,— сказал я.

Маркос пристально взглянул на меня. Губы его были крепко стиснуты, он ничего не ответил. Только смотрел. Я уже докладывал ему, как все случилось. Менокаля, который собирался сесть в автобус, опознал шпик, выходивший из того же автобуса. И мы побежали в разные стороны. Шпик бросился за Менокалем. Через несколько метров полицейская патрульная машина перекрыла им дорогу.

— Этот пес опознал его, а тебя он не стал бы преследовать,— проронил Маркос.

— Из-за меня...— сказал я.— Мне надо было бы иметь при себе оружие...

— Не дури... Я сослался на закон о неприкосновенности личности, через двадцать четыре часа они должны передать его судебным органам. Он знает об этом. Ему нужно выдержать только двадцать четыре часа. Ты слышишь меня? Только двадцать четыре часа... И не дури больше...— Маркос говорил, крепко сжав ручку чемодана.

У меня дрожали руки. Я молчал. Закурил сигарету, но руки по-прежнему дрожали.

— Завтра мы встретимся с руководителями зоны, надо обсудить, что предпринять,— сказал он.

— Завтра он уже будет мертв,— сказал я, не в силах совладать с дрожью, охватившей все тело.— Надо сегодня убрать еще несколько полицейских.

Какая-то парочка села на соседнюю скамью. Маркос понизил голос:

— Мы укроемся у одного человека, он живет в районе Ведадо. За нами сюда заедут. А завтра Менокаль предстанет перед трибуналом.

ГУСТАВО

В коридоре второго этажа, у лестницы, он встретился с Роберто. Густаво видит выцветшую рубашку и старые, грязные ботинки Роберто, скорее напоминающие паршивых щенков, и чувствует себя неуютно в своих тщательно начищенных туфлях, в модной сорочке, в отутюженном костюме. Роберто, улыбаясь, протягивает ему руку. Густаво быстро пожимает ее. Не обменявшись и словом, они вместе спускаются по лестнице. Педель [1] идет рядом и поглядывает недоверчиво на Роберто, который в свою очередь отвечает достаточно красноречивым взглядом. Получив указание дирекции института, считающей, что Роберто — один из подстрекателей беспорядков, педели следят за каждым его шагом. Густаво понимает, что, будучи замеченным вместе с Роберто, он постепенно попадает в число «нежелательных», «неугодных» лиц, за которыми ведется наблюдение и которые при первой вспышке студенческих волнений должны быть исключены из института. Несмотря на предупреждение дирекции, вызывавшей его, чтобы дать совет «всегда тихому студенту и лучшему на курсе» не водиться с вредными элементами, Густаво со все большей симпатией относится к этому высокому, крепкому парню. Роберто с таким увлечением говорит о жизни, что Густаво убежден в правоте его идей и взглядов, раньше лишь смутно возникавших где-то в глубинах собственного сознания. Так Густаво постепенно отходит от своего кружка, от Рохелио и других, отходит, оставляя на их долю шутки, скандалы, ночные клубы, проституток, всю бесшабашность своих девятнадцати лет...

Вначале, после шести, когда Густаво уходил из института, а Роберто лишь являлся на лекции, они случайно встречались в вестибюле. Иногда Густаво замечал его сидящим на скамье на втором этаже или расхаживающим по коридорам между аудиториями. Когда же они познакомились поближе, то о своих встречах договаривались заранее и беседы их длились часами.

И сейчас, выйдя с ним на улицу, Густаво подумал — не зная почему,— что Роберто осведомлен о событиях в Гойкуриа значительно больше, чем о них сообщает печать. Густаво не выдерживает, спрашивает его об этом, как только они миновали патрульную машину, занявшую позицию напротив института немного ранее обычного, быть может, чтобы предупредить беспорядки,— нечто подобное, происшедшее в Гойкуриа. Роберто оглядывает полицейских с неприязнью.

— Это были настоящие люди,— говорит Роберто, а глаза его следят за патрульной машиной. Густаво, однако, не довольствуется таким ответом.

— Но почему же они столь легко провалились, дали себя схватить? — Вопрос его несколько секунд остается без ответа: за их спиной раздается сигнал автобуса.

— Не знаю, может быть, было предательство, провокация...— отвечает Роберто, когда они перешли на противоположную сторону улицы, и после паузы добавляет:— Один мой друг был в той группе, что ехала в головном грузовике. Его убили первой пулеметной очередью...

— Ужасно́, это была бойня! — воскликнул Густаво.

— Он меня, в общем, подвел...— говорит Роберто, не обращая

[1] Надзиратель за студентами.

внимания на слова Густаво.— Обещал сообщить, когда задумают что-нибудь предпринять, и даже взять меня с собой. Но как видишь — я здесь живой и здоровый.

— Скажи мне...— Голос Густаво был спокойным, как всегда.— А что потом?

Роберто остановился, не понимая сути вопроса. Какой-то прохожий столкнулся с ним, извинился и пошел дальше.

— Что потом?

— Если бы они взяли штурмом казарму, что бы делали потом?

— Не знаю...— Роберто нерешительно произнес: — Может быть, атаковали другую казарму.

— Это невозможно, их бы всех перебили, ведь и сейчас всех убили...

— Ты говоришь так, как сказали бы мне мои родители... если бы они были у меня.

— Я говорю с точки зрения логики, а это существенно. Ведь, действуя так, как они, ничего не добьешься.

Роберто взмахивает рукой, воздержавшись от ответа. Перед полицейским участком они сворачивают направо, к зданию Театра имени Марти. Театральные огни отражаются на асфальте, соревнуясь с фарами автобусов, которых к вечеру стало меньше, их как-то сразу вытеснили легковые автомобили. Мальчуганы-газетчики мчатся по улице к Центральному парку, выкрикивая заголовки свежих выпусков: «Продолжаются аресты... обвиняют Прио в руководстве неудавшейся атакой на казармы Гойкуриа...»

Густаво покупает газету, быстро проглядывает ее и передает Роберто. Фонари парка Прадо горят в полнакала. В темноте, словно горящие глаза, мелькают вспышки сигарет курильщиков, рассеявшихся по парку. Густаво возвращается к волнующей его теме.

— А нельзя было сделать лучше? — говорит он и вытягивает вперед правую руку, как будто подавая кому-то знак.

— Они стреляли, а это уже многое,— говорит Роберто, носком ботинка сбивая с дороги камешек.

— Я не отрицаю, что это важно, но ведь у них ничего не получилось.

— В любом случае их бы разбили. Их преследовала полиция, им негде было укрыться, у них не было денег. Мой друг две ночи спал в парке.

— По-моему, так никогда не свергнут Батисту.

— Если мы все-все откроем огонь, то свергнем...— говорит Роберто, и слова замирают на его губах.

Густаво осматривает улицу. За два квартала отсюда тяжело, точно слон, тащится автобус.

— Подходящий,— говорит Густаво.— Увидимся завтра.

— Договорились,— отвечает Роберто.

Густаво только сел в автобус, а фигура Роберто уже затерялась в ночном мраке.

Миранда выходит из автомобиля, оставив Оскара в машине, и не спеша, гуляющим шагом следует по улице. Вдоль тротуара здесь равномерно высятся тополя. Еще несколько метров — и он видит небольшую вывеску, оповещающую, что здесь находится школа. Навстречу ему, смеясь и прыгая, высыпали ребятишки. Миранда взглянул на часы: урок кончился, перемена. Конечно, никому не придет в голову, что именно здесь, в школе, проводится собрание подпольщиков. Миранда спросил, где он может найти директора. Человек лет тридцати

пяти, директор школы, встретил Миранду и, когда тот сказал, что пришел от Фернандо, провел его через четыре крошечных класса, заставленных партами, в маленькую заднюю комнатушку. Десять пар глаз внимательно оглядели Миранду сверху донизу, как вдруг из угла раздался голос самого Фернандо:

— Это — Капитан.— Все сидевшие моментально встали, сохраняя почтительное молчание. Суровые лица внимательно смотрели на него, как бы в ожидании чего-то очень важного. Миранду застала врасплох торжественность момента. Он попытался было нарушить напряженную атмосферу улыбкой, однако никто не ответил взаимной. Присутствующим было от восемнадцати до двадцати двух — некоторым, пожалуй, еще меньше. Только директор школы, который остался здесь же (и Миранда не мог понять зачем), был старше всех. И тут находился его старый друг Фернандо. Являясь руководителем зоны, он единственный из всех знал о характере этого собрания командиров боевых групп. Фернандо пояснил товарищам, что Миранда должен сделать оперативное сообщение.

Миранда подошел к классной доске в центре комнаты и, набрасывая схему зоны, повторил распоряжение Гарсиа и Браво.

Люди молчали. Миранда обвел взглядом каждого. Их лица отражали внутреннюю собранность, понимание всей ответственности. Только Фернандо и директор школы выглядели так, будто ничего особенного не услышали.

— До каких пор мы должны оказывать сопротивление с крыш домов?

Миранда взглянул на спросившего: восемнадцати или девятнадцати лет, высокий и очень худой, руки, как у заправского оратора, готовы жестикулировать, усики едва виднеются над верхней губой. Вероятно, студент. Миранда ждал такого вопроса. Он и сам задал бы такой вопрос, но у него еще не было никаких указаний на этот счет. Гарсиа ничего не уточнил. Само собою, люди не смогут долго сопротивляться, протянут, пока не кончатся боеприпасы, а что делать потом? Ему стало ясно: от его ответа зависит многое, и вся ответственность ляжет только на него.

— Руководство организации в нужный момент отдаст приказ, в зависимости от обстановки.— В его голосе прозвучали нервные нотки.

— Ну, а если не удастся установить контакт с вами? — задал вопрос кто-то еще.

— Нужно продержаться достаточное время, чтобы армия не смогла быстро восстановить деятельность учреждений, предприятий, возобновить работу городского транспорта. Необходимо показать, что мы взяли оружие в руки, чтобы поддержать, отстоять забастовку.— Миранда начал находить ответ на вопрос, преследовавший его в последнее время.— Позже, когда забастовка наберет силу, мы увидим, как дальше действовать. Возможно, мы оставим лучших стрелков, чтобы отвлекать армейские части, а большинство товарищей отправится выполнять другие задания. Помните, вы не одиноки. И другие группы будут действовать...

Снова воцарилась пауза. Юноша, задавший вопрос, уставился на Миранду как загипнотизированный.

— Есть две вещи, о которых мы должны помнить. Нужно повсюду создать «пробки» городского транспорта, чтобы воспрепятствовать продвижению танков...

— Танков...— Одно это слово посеяло растерянность среди присутствующих. И Миранда все понял.

— Если они появятся,— добавил он.— Но танки мы сможем вывести из строя бутылками с зажигательной смесью, их будем бросать с крыш.

— Бензин проникает в любую щель, и всем, кто находится в танке, волей-неволей придется из него вылезать,— сказал директор, поддерживая Миранду,— так мы действовали в Испании.

— И кроме того, нам нужно... насколько это будет возможно... мобильнее вести огонь с крыш. Нельзя отсиживаться на одном месте,— сказал Миранда, опершись на доску, он уже почувствовал усталость.

— Сколько оружия поступит? — спросил невысокий мулат. «Видимо, еще один студент»,— подумал Миранда.

— Немного... Может, на всех не хватит. Вам предстоит подобрать товарищей, лучше умеющих обращаться с оружием. У остальных — бутылки с зажигательной смесью. Им придется подождать, пока мы не обезоружим полицейских.

— Выступать в форме?

— Пока нет, но на рукавах командиров будут особые знаки различия.

За стенами комнаты раздался настойчивый звонок.

— Перемена окончилась. Начало следующего урока,— предупредил директор.

— Итак, товарищи, полагаю, что на этом закончим. Подготовьте своих людей. До свидания и удачи вам.

Выходили по двое. Миранда шел последним, вместе с Фернандо. У порога он простился с директором — ему понравился этот человек, у которого хватило мужества, чтобы включиться в революционное движение. Мимо них пробежали школьники, боявшиеся опоздать на урок.

— Хорошо, брат, будь осторожен,— сказал Фернандо и дружески шлепнул его по спине.

— После сегодняшней встречи я буду звонить тебе ежедневно до «часа 0», а по наступлении этого момента — по телефону связного. Будь там и докладывай мне...

Фернандо крепко пожал ему руку и пошел направо. Миранда, окинув взглядом улицу, свернул налево. Сегодня еще надо было побывать на шести совещаниях с другими руководителями зон.

19 марта

Я встал только в десять часов и почувствовал себя преотвратительно... Всю ночь не спал. Перед моими глазами все время стоял образ Менокаля. Лишь под утро задремал, а когда проснулся, Маркос сидел в старом кресле рядом с кроватью и перелистывал страницы телефонной книжки. Было заметно, что он тоже не выспался.

— Как себя чувствуешь? — спросил он.

— Плохо,— ответил я.— Болит все тело.

— Это грипп... всегда так...

Я снова прилег. Закрыл глаза. И опять увидал Менокаля.

— Что нового? — спросил я

— Ничего. Адвокат предъявил закон о неприкосновенности личности, но пока ничего не известно. Мы пытаемся подключить к этому делу сенатора и архиепископа.

— Поможет?

— Кто знает... Оба они обещали ходатайствовать перед шефом полиции и даже перед самим Батистой.

Я поднял руку к голове. Острая боль пронизывала виски. Маркос

прошелся по комнате, остановился у кровати. Под его рубашкой были заметны контуры пистолета.

— При объявленных гарантиях они не смогут ничего ему сделать,— промолвил он.

Я все-таки заставил себя встать, хотя ноги были будто налиты свинцом, вошел в ванную, принял душ. Лишь после этого мне стало несколько лучше, во всяком случае ноги уже не ломило.

Тетушка Маркоса — высокая и стройная женщина с тонкими руками — готовила нам завтрак.

Вчера, устав ожидать в парке Фратернидад человека, который оттуда должен был нас забрать и доставить на другую конспиративную квартиру (так он и не появился до полседьмого вечера), Маркос решил без всякого предупреждения проехать в район Виборы, где жила его тетя. И та, кстати, не стала возражать против нашего пребывания в ее квартире, расположенной на тихой, забытой, вероятно, самим господом богом улочке; ее лишь беспокоил вопрос, подойдет ли нам эта небольшая комнатушка. Ее муж, пришедший позднее, также оказался гостеприимной душой: без лишних слов он тепло обнял Маркоса и крепко пожал мне руку.

Пока тетушка готовила нам завтрак, я поспешно перелистал утренние газеты, надеясь найти какое-либо сообщение о Менокале, но в газете его имя не упоминалось.

После завтрака мы вернулись в предоставленную нам комнату. Маркос открыл ящик ночного столика и достал четыре пистолетных обоймы. Две из них он протянул мне, а остальные положил в карманы брюк. Тщательно проверил предохранитель пистолета, прежде чем засунул оружие за ремень под рубашкой.

— Сегодня в три часа в доме на Санхэ назначено совещание четырех ответственных за зону, но тебе лучше остаться здесь,— сказал он.

В ответ я кивнул головой. Когда он вышел из комнаты и донесся звук захлопнутой входной двери, я улегся в постель и закрыл глаза. Но думал о Менокале.

Да, парень лежал без сознания, и Полковник приказал перетащить его в одну из подземных камер и оставить там, чтобы тот немного оправился, а затем продолжать допрос. Я воспользовался этим временем — отправился домой, побыть с детьми, поскольку уже двадцать четыре часа, как их не видел. Вернулся я часам к пяти, по дороге немного задержался, покупая детям игрушки. И к тому же я немного устал, а потому, пообедав, соснул.

ИРЕНЕ

Она поднялась на второй этаж, слегка перевела дыхание, поправила растрепавшиеся волосы. И уже после толкнула дверь в квартиру. У входа на кухню высокая худощавая женщина, вытирая о передник руки, взглянула на Ирене. В узкой комнате справа, на слишком широкой для этого помещения кровати, спал мужчина в майке и синих брюках. Мужчина повернулся во сне, одна его нога свесилась с кровати, из дырки в носке виднелся короткий палец, похожий на бутылочную пробку. В гостиной, служившей также столовой, висел на плечиках, прицепленных к оконной раме, полицейский мундир.

— Не возвращался? — спросила Ирене с порога. Женщина отрицательно покачала головой. Ирене прошла через гостиную в комнату,

расположенную слева. Медленно сняла с себя студенческую форму, положила на стул. Из кухни донесся усталый голос матери:

— Рикардито и ты — вы оба убьете меня...

Ирене переоделась в юбку с блузкой.

— Двое суток его нет дома, а мы даже не знаем, где он... Хотите убить меня. И ты тоже так поздно приходишь.— Женщина говорила неторопливо, нанизывая фразы, наверно, не раз повторенные в этом монологе изболевшегося сердца. Ирене поправила блузку и вышла в столовую. Мать продолжала причитать:

— Себастьян говорит, что будет лучше, если он сам доложит у себя на службе.— Никогда она не говорила «мой муж» или «твой отчим», всегда называла его по имени — Себастьян, словно желая принизить сам факт их совместного сожительства, длящегося уже десяток лет после смерти отца Ирене.

Ирене обернулась: находившийся в комнате справа мужчина проснулся и, видимо, прислушивался к разговору. Спустя минуту он вышел из комнаты, надев синюю рубашку. Ирине бросила в его сторону взгляд, но не поздоровалась. У мужчины было лицо с впалыми щеками, глаза выражали состояние внутреннего страха, будто кто-то его вечно преследовал.

— Должно быть, он с друзьями,— сказала Ирене.

— Тогда другое дело,— произнес мужчина.

Ирене наблюдала за ним, покуда тот возился на кухне. «Кретин,— подумала она,— полицейский кретин».

Мужчина вышел из кухни с куском булки, намазанным джемом. Он — «полицейский кретин» — жевал булку и бурчал:

— Другое дело... хотя нынче все не так, как следует быть...— Капля джема упала на его ботинок.— Твой брат не понимает, куда он лезет, что делает...

— Должно быть, он где-то с друзьями,— повторила Ирене.

Мужчина ее не слушал.

— А самое худшее заключается в том, что он может скомпрометировать нас всех... и мать, и тебя, и меня... Меня в моем участке,— уточнил он, нацеливая на Ирене зажатую в руке булку.

«Несчастный полицейский... а я — всего лишь бедная желтая лошадь, что плачет и плачет навзрыд...» — вспомнила она стихи, которые сегодня прочла.

— Себастьян прав, Рикардито не знает, что делает...— сказала мать.

Ирене посмотрела на нее: бледное лицо, сжатые губы, костлявые руки сложены на переднике.

— Всегда вы твердите одно и то же. Рикардито — уже взрослый и знает, что делает.

Обращаясь к матери, мужчина поднял руки, и джем потек меж пальцев.

— Если бы я знал раньше обо всем, то не пошел бы на тысячу самопожертвований ради его карьеры... И ради твоей. По крайней мере дома было бы спокойно, и твоя мать бы не страдала.

Ирене опять взглянула на нее. Мать нервно потирала руки.

— Сегодня Себастьян обнаружил революционные листовки в его шкафу,— сказала она.

Ирене была поражена. Никогда она не предполагала, что ее брат, столь спокойный и уравновешенный, посвятивший себя изучению медицины, мог иметь какое-то отношение к политике. «Уверена, что это недоразумение»,— мелькнула у нее первая мысль.

— Себастьян (Ирене тоже называла его только так: Себастьян),

наверное, ошибается,— произнесла она, как будто того здесь не было.

— Этот мерзавец сделает нас всех несчастными, и все из-за ничего. Политика — дерьмо. Он должен закончить учебу, заниматься своей карьерой — и все...

«Полицейский кретин,— повторяла Ирене про себя,— раз платил за наше обучение, десять лет прожил с мамой, так считает своим правом давать нам советы, как жить...»

— Я хочу есть, еще не обедала,— проговорила она.

Женщина сидела на стуле, руки засунув под передник. Телефонный звонок прозвучал словно глухой, протяжный стон. Женщина было встала, но мужчина опередил ее и взял трубку.

— Да, да, квартира...— подтвердил он, женщина подошла к нему.— Да, это отец... Так... Сейчас едем...— сказал он и положил трубку.

Женщина повернулась. Ее лицо показалось Ирене еще более бледным и обострившимся, чем прежде.

— Рикардито... ранен...— с расстановкой, будто сомневаясь в собственных словах, вымолвил Себастьян и рухнул на стул.

19 марта

Уже многие часы я лежу на кровати, не шелохнувшись, испытывая отвращение к самому себе, презирая свои нервы: они изменили мне, всегда в критические моменты они отказываются мне подчиняться, превращая меня в труса. Я лежу, испытывая отвращение к собственному организму, который раздумывал, размышлял, глазел на потолок, словно ничего не случилось, будто Менокаль не арестован и не подвергнут пыткам по моей вине, из-за моего неумения подавлять первобытные инстинкты, заставлявшие убегать во имя спасения собственной жизни. В каждой кости, в черепе, в суставах я чувствовал боль лихорадки, но ничего не предпринимал, не позвал тетю Маркоса, которая возилась на кухне и слушала радио, не принял успокоительного, продолжая созерцать потолок: тело должно страдать по-своему, а по-иному я должен мстить проклятым нервам. Измученный лихорадкой, я вновь впал в забытье. Я не слышал, как открылась дверь и в комнату вошла женщина, не сразу разобрал, что именно меня она позвала. Открыв глаза, я увидел ее уже около себя — бледное, встревоженное лицо.

— По радио передали... обнаружен труп около Пасо Супериор...— сказала она и прикусила губы.

— Труп?

— Сообщили — труп молодого мулата, он был повешен.

— Как его имя?

— Не знаю, должны еще передавать подробности.

Мы замолчали. Прислушивались к голосу диктора, доносившемуся из столовой. Он подтвердил сообщение, услышанное мною от тети Маркоса. И вдруг очень отчетливо произнес имя убитого. Это имя не было точно тем, которое я знал. «Хуан Вальдес Менокаль, мулат двадцати восьми лет. Личность опознана по служебному удостоверению, сохранившемуся в его кармане»,— безразличным тоном продолжал диктор. Этот голос я уже не смогу забыть — он убедил меня, насколько я виновен, он обвинял меня: я не просто жалкий трус и грязный пес, а изменник, который не имеет права жить, который должен был умереть вместо Менокаля... я не могу называться человеком, пока не искуплю свою вину.

— Это один из ваших? — спросила тетя Маркоса.

— Он был нашим руководителем,— сказал я.

— О, боже!

Медленно я встал с кровати. Я пришел к неизбежному выводу: надо что-то сделать, чтобы снять с себя хотя бы часть вины. «Только убив десятки полицейских...» — захватила меня мысль.

— У тебя жар? — спросила тетя.

— Уже прошел,— ответил я.

Вставляя обойму в пистолет, я решил сначала встретиться с Маркосом, а затем пойти на охоту за полицейскими.

«Уже!» — Миранда даже сорвался с места, прошел вперед. Телефонный звонок, раздававшийся через определенный промежуток, будоражил. Телефонный звонок ворвался в помещение, проник в каждый его уголок, грозил уничтожить всех, кто здесь находился. Мускулы Миранды напряглись, как у боксера на ринге перед матчем.

— Пяти звонков еще не было,— сказал Оскар, положил руку на черную телефонную трубку, но ее не снимал.

Раздается еще звонок и еще, казалось, с большей настойчивостью.

— Отвечай,— распорядился Миранда и хлопнул кулаком по колену.

— Не было еще пяти звонков.

— Возьми трубку.

Оскар берет трубку осторожно, будто какого-то зверя; пальцы другой руки сжимают аппарат.

— Алло...— произносит он и смолкает. На том конце провода кто-то несколько секунд говорит. Оскар слушает, утвердительно покачивая головой.— Хорошо,— говорит он и кладет трубку на место.— Звонил Николас,— сообщает он.— Просил, если ты здесь... он придет сюда.

— Почему они не дали пять звонков?

Оскар пожимает плечами.

— Не знаю,— отвечает он, подходит к книжной полке, берет одну из книг в красном переплете и возвращается на середину комнаты.— Не знаю — повторяет он, как бы разговаривая сам с собою.

— Это мне не нравится,— сказал Миранда.— Надо работать четко.

Оскар сел на стул, углубляется в книгу. Миранда прилег на кровать, закурил и стал следить за клубами дыма, поднимающимися к потолку.

«Вот так всегда»,— сверлит голову мысль. Телефонный звонок, встреча, а затем сюрприз: полиция, издевательства, избиения, пытки... Больше уже не выдержит, на что-то решится, но больше не позволит. Хватит головных болей. Просто дурак, подумал он, напуганный дурак. Пока все идет нормально. Так же нормально, как вертится мельничное колесо под воздействием водного потока. Можно полностью довериться Ане и Николасу; он мог доверить им адрес дома, они тотчас же прибыли бы туда, и все шло бы нормально, и он сообщил бы им, как быть...

Звонок в дверь: свисток в ночной тиши. Миранда моментально встает, отбрасывает сигарету. Окурок падает рядом с книжной полкой, и сигаретный дымок в последний раз взвивается и тает. Оскар подошел к двери, взглянул через глазок. Отомкнул дверь. Там стояли Николас и Ана, ее лицо было покрыто потом. Оскар пропустил пришедших в комнату, запер дверь и занял пост у окна.

— Как прошло? — спросил Миранда.

— Сегодня ничего, оба пса находились в доме,— ответил Николас, подходя к кровати. Ана устало опускается на стул, на котором только

что сидел Оскар. На ней — старомодная юбка, белая блузка.

— Будьте бдительны, шныряют поблизости шпики,— произнес Миранда и снова закурил.

— Что-то говорит во мне, что мы убьем его,— жестко сказала Ана. У нее уверенный взгляд. Она полна решимости. Миранда разглядывает ее: руки сжаты в кулаки, волосы аккуратно причесаны на прямой пробор, сухие губы. «Она фаталистка,— подумал он,— женщины всегда фаталистки, и это может повредить организации».— Дело обстоит так.— Ана наклонилась вперед, положила руки на столик, а Николас следил за нею.— Полковник обычно прибывает около одиннадцати в свой кабинет и примерно в час дня уезжает обедать домой. Как удалось установить, дважды в неделю — по вторникам и четвергам — около трех часов он отправляется к своей любовнице в Вибора и у нее остается до шести. После возвращается в управление, ужинает и находится там до трех или четырех часов утра.— Ана замолчала, в упор глядя на Миранду.

— А псы? — спросил Миранда.

— Всегда ездит в сопровождении двух машин; по четыре человека в каждой. Обычно они начинают около десяти... работают до рассвета, а утром спят,— добавляет Николас.

Миранда перевел взгляд с Николаса на Ану. Николас улыбался, как будто был доволен проведенной работой. Ана неподвижно и пристально смотрела куда-то перед собой. У окна, засунув руки в карманы, следил за улицей Оскар.

— Мне одно не нравится,— говорит Николас, поглаживая подбородок.— До сих пор Полковник ездил домой один — теперь его сопровождают трое псов, причем один поднимается с ним в квартиру.

— Может он что-то подозревает,— подает реплику Оскар, не глядя на Николаса.

— А может быть, обычная мера предосторожности, продиктованная обстановкой,— высказывает свое предположение Миранда.

— Так или иначе — опасно,— замечает Николас.

— С ним только один полицейский,— возражает Ана,— и нечего бояться.

— Хорошо,— сказал Миранда.— Сегодня среда. Попытаемся покончить с ним на следующей неделе.— Его голос прозвучал тихо, но ясно.

Мое имя — Олегарио Фромета. Да, товарищ, я был заключенным, когда его приволокли в подземную камеру. Тогда ее называли «черный колодец», поскольку даже днем в ней не было света. Ни одного окна. В пол вмонтирована металлическая решетка. На стене кровью написано: Альберто Браво. Так звали того парня, который был обнаружен на Кальварио с отрезанным языком, отрубленными руками, с изуродованным телом. Надпись на этой стене я увидел уже после нашей победы, но когда я находился в той камере, конечно, ничего нельзя было разглядеть в двух шагах от себя. Говорят, что Альберто пробыл там три месяца и что собственной кровью, вскрыв вены, написал свое имя.

Вероятнее всего, поскольку они ничего не могли добиться от него — и даже живого места на нем не оставалось, чтобы избивать его еще,— они парня бросили в подземную камеру. Говорят, вначале они отрезали у него половые органы, потом отрубили обе руки Альберто. А затем, чтобы он не кричал, отрезали ему язык. Наконец подвесили и расстреляли... Я находился в «черном колодце» суток сорок. Больше

не стали держать, у них не было никаких доказательств, чтобы обвинять меня.

Их было пятеро, а может быть, и больше. Я сидел, съежившись в углу камеры, когда открылась дверь. Двое втащили парня, бросили его на пол. Потом ушли. Парень начал стонать, он был страшно изувечен. Что-то бормотал вполголоса, я не расслышал, кажется, звал мать... Вообще-то нет ничего удивительного, если рехнулся, стал всякое болтать...

19 марта

Ничто не могло меня заставить отсиживаться дома — ни уговоры тетушки Маркоса, на изможденном лице которой выражался испуг, ни жар, от которого у меня раскалывалась голова. И не стал дожидаться Маркоса, не стал ждать, что он скажет. Я вышел через небольшой садик, окружавший дом, сразу же оказался под жгучим солнцем, хотя темные, тяжелые тучи уже начинали скрывать его. Точь-в-точь словно робот, я двигался по улице, не сбавляя шага, не отдавая себе отчета, куда иду, точнее, чуть не бегу. Мои блуждающие глаза могли вызвать подозрение у любого полицейского. Я добрался до улицы Сан-Мигель, успел вскочить в отходивший автобус № 13, занял одно из задних мест. Кто-то толкнул меня, слегка ударил в спину, и я увидел серьезное лицо Габриэля, который склонился надо мной. Мы уселись рядом.

— Его убили,— сказал он.

— Его убили,— отозвался я и замолчал. У меня не было желания говорить. Я не хотел избавляться от мыслей, которые преследовали меня, мучили. Так мы оба долго молчали. Автобус выехал из Виборы, и как только остановился на Санта-Каталина, в машину влез тот сержант полиции с толстой, короткой, как у быка, шеей. Он испытующе посмотрел на нас и сел на единственное свободное место, первое от передней двери. Я почувствовал на себе его взгляд, заметил его подозрительность, поскольку ему я отвечал взглядом, полным ненависти. Но не поэтому я перестал следить за ним. Все может быть — сделай он несколько шагов в нашу сторону, я застрелил бы его.

Автобус резко затормозил, и сержант утонул в мягком сиденье. Я вновь вернулся к своим мыслям. На следующей остановке вышли многие пассажиры. Место рядом с сержантом освободилось.

— Не нравится мне этот педераст,— сказал Габриэль,— скорее всего это он убил Менокаля.

Я взглянул на Габриэля. Губы его сжаты, глаза прикрыты... Я отвел взгляд и посмотрел на переднюю дверь, через которую входили пассажиры. Вошел и он. Это было не логично, но он сейчас находился тут, всего в двух шагах от меня. Это было не логично, но во второй раз за два этих дня я с ним встречаюсь. Именно он садился в автобус. Меня он не заметил, хотя и быстро оглядел других пассажиров и сел рядом с сержантом со спокойным видом, как добрый отец семейства.

— У тебя есть оружие? — спросил я.

— Да, а что? — ответил Габриэль.

— Там сидит человек, который опознал и арестовал Менокаля,— сказал я.

Я встал уже с сиденья, держа пистолет в руке; Габриэль последовал моему примеру. Подошел к тому человеку и увидел белый гладкий затылок. Я выстрелил. Человек согнулся пополам, как кукла, а на затылке расплывалось красное пятно. Я успел заметить только это, струйка крови уходила за воротник сорочки.

Нет, это не походило на все прежнее, на все другие покушения. Раньше мы стреляли только ночью и издалека. А сейчас человек находился на расстоянии вытянутой руки, он скорчился, кровь, сочившаяся из затылка, испачкала спинку сиденья и медленно стекала на пол. И в его затылке для меня было сконцентрировано все: и Менокаль, и моя жизнь, и тот человек. Какая-то женщина закричала. Я еще два раза выстрелил. Агент соскользнул с сиденья, ударился головой о металлическую спинку. Я почувствовал, что у меня дрожат руки, меня тошнит от густеющей крови, размазанной по всему сиденью. А тело еще двигалось. Мне пришлось снова выстрелить, чтобы прекратить конвульсии. Я истратил всю обойму, стремясь подавить отвратительное состояние, овладевшее мной. Агент наконец свалился на пол автобуса. Одна рука у него была заброшена за голову, другая прижата к груди. Я огляделся. Крик, еще крики. Один из пассажиров широко раскрытыми глазами уставился на свое бедро, стараясь остановить сочившуюся кровь, другие забились в заднюю часть автобуса. Сержант свернулся комом на сиденье — лежал, как забытый кем-то большой мешок.

— Бежим! — крикнул Габриэль и подтолкнул меня.

В течение какого-то мгновения, которое могло стоить мне жизни, потому что сержант пытался расстегнуть свою кабуру и потому что сзади уже слышались сирены полицейских патрульных машин, я не мог сдвинуться с места, продолжая смотреть на труп, лежавший у моих ног, на кровь, выпачкавшую мои ботинки...

— Беги! — крикнул Габриэль и бросился к передней двери.

Я последовал за ним и неожиданно увидел на полу два тела — мне пришлось перепрыгивать через них. Пробежал по окровавленному полу. Мои руки уцепились за железные поручни двери, рванул ее с такой силой, будто от этого теперь зависела вся моя жизнь. На улице солнечный свет ослепил меня и вместе с тем отрезвил. Солдат-недоросток шел мне навстречу, метрах в двадцати от автобуса остановился. Мы выстрелили в него, во всяком случае, я выстрелил Вдруг что-то ударило меня в грудь, и я как подкошенный упал. Я упал на колени, солдата не было видно. Кисть левой руки была в крови. Я подумал, что умираю,— мной овладел страх. С трудом мне удалось подняться. Я поискал глазами Габриэля, но не обнаружил его. Зато заметил, что истекающий кровью солдат лежит неподалеку от меня. Шатаясь, я сделал несколько шагов и, угрожая пистолетом, остановил первую машину, потребовал от шофера отвезти меня. Пришел в себя в доме моей матери. Помню, как она смыла кровь, перевязала бинтом рану в плече. Видимо, ранение было сквозное. Потом, почувствовав себя лучше, я покинул дом. Я сказал матери, что не могу остаться, что человек, который довез меня, очевидно, уже сообщил о случившемся полиции и та с минуты на минуту нагрянет сюда. Я решил отправиться к Маркосу, к товарищам, которые не были замешаны в происшедшем. Наконец я подъехал (шофер такси всю дорогу искоса поглядывал на меня) к двухэтажному зданию, с трудом поднялся по лестнице. Они все находились в помещении. Маркос и другие товарищи, увидев меня, были поражены.

— Друзья, Менокаль отомщен...— сказал я и бессильно опустился на стул.

«Через несколько дней все кончится — хорошо ли, плохо ли, но все кончится»,— эта мысль не покидала Миранду. Стукнув кулаком по кулаку другой руки, он откинулся на спинку сиденья машины, прикрыл глаза — хоть на какой-то миг передохнуть. «Если бы можно было

выспаться, если бы представилась возможность уснуть, не тревожась, что тебя убьют, что в любой момент взломают дверь и схватят тебя, что нагрянут палачи, будут тебя пытать. Если бы уснуть на семьдесят два часа, если бы только было можно...»

— Почему они убивают? — прервал его размышления Оскар, который сидел за рулем.

— Кто?

— Да они, полиция. Псы.— Голос Оскара звучал глухо.

— Не знаю... ради удовольствия, наверное. Им нравится убивать.

— Мы тоже убиваем...

Машина резко затормозила: на светофоре — красный свет. Миранда посмотрел по сторонам. Оскар нетерпеливо постукивал по рулю. Улица, как всегда, была безлюдна.

— Между нами огромная разница, мы не просто убиваем, а выполняем наш долг.

— Может, они из-за ненависти к нам...

— Может быть, многим нравится убивать. Вопрос — зачем, во имя чего...— Миранда снова положил голову на спинку сиденья. Машина тронулась, свернула налево.

— Кажется, приспустил баллон,— сказал Оскар.

Миранда ничего не ответил, наблюдая за улицей.

— А мне не нравится убивать,— сказал Оскар.— И еще пытки...

— Тому, кто убивает часто, нетрудно и пытать.

— Не думаю. Мы же никогда не смогли бы пытать. Убить врага — одно дело, но пытать — нет...

— Не пытать тех, кто пытает? Тех, кто тебя пытал?

— Мучают только звери.

— Звери не мучают, это делают только люди.

— Дело не в физической боли, а в унижении, которое ты испытываешь из-за того, что тебя избивает человек, и унижение испытываешь, когда избиваешь человека. Я никогда не смог бы ударить беззащитного.

— Видимо, как раз в этом палачи находят смысл своей жизни — в унижении других людей.

— Должно быть... Левый баллон спустил, придется подкачать в каком-нибудь гараже.

— Вот сюда...— Миранда показал на серое пятиэтажное здание, видневшееся впереди.

Оскар остановил машину за полквартала до этого здания, напротив домика, окруженного небольшим садом с зеленым газоном. Из домика вышла женщина, посмотрела на них с испугом и поспешно скрылась в дверях.

— На третьем этаже...— сказал Миранда.— Там живет человек, служит в Телефонной компании, симпатизирует нам. Ты передашь ребятам эти сто песо. Скажи, чтобы завтра выехали из квартиры. Она ненадежна, а тем более там пятеро.

— Куда им уходить?

— К адвокату... Девятнадцатая авенида, дом № 1210. Их будут ждать после полудня. Передай, чтобы не все сразу появились там, а по очереди, постепенно...

Оскар открыл дверцу машины.

— Пусть из того дома никуда не выходят,— добавил Миранда,— и пусть ждут моих указаний.

Оскар захлопнул дверцу. Он неторопливо шел по тротуару, глядя на носки своих ботинок. И как-то особенно ощущалась холодная сталь

парабеллума, заткнутого за пояс под рубашкой, сзади. «Может, передвинуть пистолет на бок — правда, тут он слишком заметен». Пересек улицу. Из лавчонки на углу вышел молодой человек и нагло оглядел его. Скорее не заметил, а почувствовал, что и за его спиной к нему прикованы глаза другого агента. До здания оставалось шагов двадцать. Окинул взглядом подъезд. Никого нет. «Уже лучше»,— мелькнула мысль. Убыстрил шаг. Пистолет ерзал по спине, в любой момент мог вывалиться. «В квартире поправлю». Миновав подъезд, не спеша поднимался по ступенькам. На втором этаже остановился. Локтем сдвинул парабеллум назад. Размышляя о словах Миранды и все же обратив внимание на очень грязные ступени, прошел третий этаж и стал взбираться на четвертый, как над его головой раздался голос: «Давай сюда». Вскинул голову. На лестничной площадке четвертого этажа стоял полицейский, нацелив на него автомат.

Апрель, первая неделя

Целые дни безделия — ранение в грудь вынудило меня провести добрых две недели с лишним в этой комнате с желтыми ставнями. Единственное развлечение — потрепанный альманах (его вид так не соответствует окружающей роскоши). Казалось, в этой квартире на четвертом этаже господствует атмосфера покоя и время здесь течет медленно, как спокойная река. Мне оставалось только изучать безжизненную улицу, которая тянется от моря, в двух кварталах отсюда. Я наблюдаю за улицей из огромного окна, у которого стоял еще несколько минут назад и через которое в бессонные ночи слежу за тенями в ожидании полицейских ищеек. В безделии, восстанавливая в памяти все, я опять продолжаю вести дневник, чистых страниц в нем становится все меньше. Я начал с описания событий, предшествовавших ликвидации Туто, а закончил тем, что произошло вскоре после того дня, когда Маркос привез меня, обессиленного, сюда, в апартаменты старого полковника, одна из дочерей которого — участница движения Сопротивления. В течение всего этого времени — может быть, из-за нервов, может быть, из-за того, что я долго работал в условиях строжайшего подполья, а может быть, оттого, что я нахожусь далеко от дорогих мне людей,— мне трудно было вернуться к дневнику, возобновить записи, которые я веду почти уже год. Но теперь я попытаюсь вспомнить упущенное, если здесь придется пробыть еще долго. Рана болит уже не так сильно, как в первые дни, когда у меня был жар и врач ежедневно приходил сюда. Теперь я знаю, что врач больше не нужен, а перевязки могут сделать мои друзья в квартире.

После отъезда доктора, после его последнего визита все мои связи с внешним миром — не считая огромного окна, следящего за мной, как угрюмое лицо, да редких посещений Маркоса — ограничились старым полковником и Сильвией, его дочерью, плодом позднего брака, когда полковник уже разбогател. Ежедневно полковник приходит в десять утра, после того как служанка (мне сказано — абсолютно надежная женщина, так же как и шофер Сильвии) приготовит для меня завтрак. Он садится в кресло возле окна и справляется о моем самочувствии. Затем, пока я завтракаю, он беседует со мной о вопросах, которые его волнуют: о правительствах Мачадо[1] и Батисты. Обычно он проводит параллели с сегодняшним днем и высказывает свои соображения о том, как свергнуть режим. Я слушаю его не пре-

[1] Генерал Херардо Мачадо — диктатор Кубы (1924—1933).

рывая, с большим вниманием. Пью кофе с молоком и слушаю его. Он приглаживает рукой волосы, белые, словно мел. Он говорит и смотрит в окно, как будто ищет там воспоминания. Когда я заканчиваю завтракать, полковник встает, говорит, что ему надо на работу, и тихо удаляется. Позднее я слышу звук закрывающейся внизу двери. По правде говоря, не знаю, выходит ли он на улицу или работает у себя в кабинете, поскольку еще ни разу я не рискнул покинуть свою комнату, да и никогда никого не расспрашивал.

Днем я обедаю один. И думаю о Хуане Менокале, о Туто, который, падая, что-то бормотал о перестрелке в автобусе, когда был отомщен Менокаль. Думаю и ем. Потом до шести сплю. Потом приходит Сильвия, а иногда и полковник — побеседовать со мной. Она говорит, и я отвечаю ей, но думаю о Туто, о Хуане Менокале, обо всем остальном. Она спрашивает меня о ране, и я отвечаю ей, что все идет хорошо, и снова думаю о Менокале. Она улыбается и говорит, что я смелый. Я сижу, глядя в окно. Закрываю глаза и думаю, что, очевидно, это я должен был лежать подобно Менокалю — на глубине в три метра под землей.

ГУСТАВО

Он повернул на улицу Лейтенанта Рея, направляясь в Старую Гавану. По дороге к морю по узкой улочке брел старик, толкая перед собой тележку, нагруженную корзинками с цветами и зеленью.

Старик с тележкой остановился на углу Агуакате, наверное, надеялся здесь продать свой товар: пучки травы альбааки, букеты гладиолусов, хризантем, лилий и роз — он держал их в маленьких кувшинах и ведерках, до половины наполненных водой. Цветы, хотя и стояли в воде, казались увядшими. По всему было видно, что покупателей у старика не находилось. Густаво пристально рассматривал его: сквозь рваную рубашку проглядывает грязное тело, кожа да кости. Ухватившись за металлическую ручку, человек снова толкнул тележку, расхваливая свои жалкие цветы, которые никто не спешил брать. Солнце немилосердно жгло его, и пот выступил даже на ладонях, оставляя влажные следы на ручке. Тележка медленно катилась вперед.

«Она слишком тяжела для него»,— подумал Густаво и вдруг ощутил прилив бесконечной жалости к старику и к самому себе. А он, что он сделал для несчастного? Да и что вообще можно сделать? Все же следовало хоть как-то облегчить участь этого человека. Густаво шагнул было к старику, но остановился. Толкать вместо него тележку? Но старик посмеется над ним или заподозрит неладное. Как бы там ни было, он не принял бы такой помощи. Подать ему милостыню? Это значило бы оскорбить его. Ведь человек этот не побирался — он работал. Купить у него цветов? Густаво нашел в карманах два песо. Для него это пустяки, а для старика — целое сокровище. Он спрыгнул с тротуара и бросился к тележке. Старик взглянул на него с удивлением. Густаво замер. Какая глупость — ну что он будет делать с букетиком цветов там, где его ждут? Рука его скользнула по борту тележки и на мгновение легла на стальную ручку, раскалившуюся на солнце. Старик толкнул свою тележку вперед. «Ну и дрянь же я,— сказал себе Густаво.— Надо было купить все цветы». Он пересек улицу. Нужно что-то сделать, чтобы все это кончилось, все — и директриса, и полицейские, и старик с тележкой. Отец его тоже пытался что-то делать, в свое время, разумеется; теперь он всего-навсего старый ворчун и скептик. Но Густаво не станет таким, как отец. Необходимо действовать, говорил он себе, нет,

нельзя сидеть сложа руки, ничего не предпринимая, ничем не рискуя, и спокойно ждать, пока все устроится само собой. Ведь потом ему плюнут в лицо, скажут, что он вел себя как трус и в решительный момент не совершил ничего достойного. Потом, позже ему никогда не простится эта леность, это бездействие. А с другой стороны, разве мало причин для возмущения?..

Следом за тележкой Густаво свернул за угол. За полквартала отсюда находился тот дом, где его поджидал Роберто. Он остановился. Впереди, сделав несколько шагов, остановился и старик, видно размышляя, стоит ли идти дальше. Движение на улице замерло: поперек нее стояли два патрульных автомобиля. Возле них, опершись на дверцы, трое полицейских с автоматами наблюдали за входом в соседнее здание — дом под номером 256, как раз рядом с тем, где должна была состояться встреча с Роберто. Один из полицейских подошел к тележке и взмахом автомата приказал цветочнику убираться. Густаво заметил, как другой полицейский уставился на него, и подумал, что, повернув назад, вызовет подозрения.

Он пересек улицу и медленно зашагал вперед по другой стороне, стараясь не терять из виду вход в здание. Вдруг из дома вышло несколько полицейских, они вели двух юношей. Густаво успел только разглядеть, что Роберто среди них не было. Одного юношу полицейские тащили под руки, голова его свесилась почти до земли. Когда они подошли к машинам, арестованный на мгновение замешкался. Тогда полицейский с силой ударил его автоматом в висок. Юноша рухнул навзничь, от брови по лицу поползла тонкая струйка крови. Его подняли за руки и швырнули в машину, на заднее сиденье, где уже находился другой. Густаво отвел взгляд, чувствуя, что весь дрожит. Медленно побрел он дальше, миновал еще квартал и свернул налево, на улицу Муралья. Еще несколько шагов — и он опустился прямо на ступеньки у двери какого-то дома. На него внимательно посмотрела проходившая мимо женщина. «Вам плохо?» — спросила она. Густаво не ответил.

А один парень и вовсе потерял рассудок. Пришлось отправить его в сумасшедший дом — в Масорру, он и сейчас еще там. Оно и понятно — после всего того, что с ним сделали. У него на глазах они изнасиловали дочь и жену. Боксер и Сержант. Дочери было всего тринадцать лет. Я говорю «было», потому что девочка вскоре наложила на себя руки. Она забеременела. Подумать только!..

Людей там было полным-полно, особенно после того, как палачом заделался Бичо. Выродок. Не знаю уж, откуда у них брались силы избивать и мучить столько людей. Начинали они в девять вечера и не прекращали пыток до четырех часов утра. Мне тяжелее всего было переносить не побои, не боль, а стоны и вопли заключенных. Я еле сдерживался, чтобы не закричать: «Негодяи, да перестаньте же вы терзать людей!» — но молчал, потому что понимал: это бесполезно. Однажды я почти взорвался — когда они мучили женщину. Кажется, они повалили ее на пол, потому что она кричала: «Нет, только не это, не делайте этого! Вы, мразь, свиньи!» Самыми мерзкими были Гуахиро и Боксер, ну и Бичо — он занимался своим поганым делом так, словно был на тренировке. Всякий раз, когда меня оставляли в покое в моей камере, появлялся он, отвешивал мне удар кулаком, гоготал и спрашивал: «Эй, старик, как делишки?» Они были как стая волков: стоило им только почуять кровь — и они кидались на людей.

II

Матушка, родимая, дошло, видно, до меня. Как запищит, да как захрустят эти косточки — крр... крр... не человек я стал.

Л. ТОЛСТОЙ

ИРЕНЕ

Невидящим, словно мертвым взором смотрит она на что-то большое, покрытое белой простыней и лежащее в центре комнаты на санитарных носилках. Помещение озаряет огромная лампа, в свете ее белизна простынь режет глаза. Рядом с Ирене растерянно топчется ее отчим, он одет в штатское.

— Минутку,— говорит им человек в белом халате (наверное, врач), подходит легкими шагами к носилкам и жестом приглашает их приблизиться.

Человек протягивает руку к простыне. Стоя рядом, отчим следит за его движениями почти безумным взглядом. Ирене проводит рукой по краю носилок, ее пальцы ощущают холод металла.

— Это он? — спрашивает человек в белом халате и одним взмахом отдергивает простыню. Показывается голова: почти совершенно заплывший глаз, багрово-фиолетовый след на шее.— Это он? — повторяет человек и отходит в сторону. Ирене бросается к телу — оно теперь открыто почти до пояса — и видит два черных отверстия в груди. Голова девушки склоняется к мертвому, она безудержно рыдает. За спиной у нее раздается надтреснутый голос отчима:

— Да, это он, мой сын Рикардо.

Человек в белом халате подходит к Ирене и пытается мягко отстранить ее от носилок, но она крепко обнимает мертвого. Отчим тоже подходит к Ирене, гладит ее по волосам. Наконец, врачу удается оторвать девушку от носилок, и он усаживает ее в кресло. Ирене бессильно опускается на сиденье, закрывает лицо руками и прячет голову в коленях. Отчим в нерешительности стоит у носилок, не зная, что делать. В конце концов он направляется к Ирене. Посреди комнаты по-прежнему одиноко лежит бездыханное тело, прикрытое до плеч белой простыней,— оно напоминает мумию в саркофаге или большую рыбу, запутавшуюся в сетях. Глаза юноши закрыты; свет лампы падает прямо ему на лицо, на заплывший глаз, на багрово-фиолетовый след вокруг горла.

Человек в белом халате поспешно натягивает на него простыню и идет к отчиму.

— Как, вы сказали, его имя?..

— Рикардо Маркес,— отвечает отчим, не отрывая взгляда от трупа.

— А ваше?

— Себастьян Роке.

— Но вы говорили, что вы — его отец...

— Отчим. И ее отчим тоже.

— Род занятий?

— Чей?

Человек кивает в сторону носилок.

— Студент-медик. Четвертый курс.

— Возраст? — человек аккуратно заносит в блокнот все ответы.

— Двадцать четыре года.

— Адрес?

Слышно, как за дверьми комнаты передвигают санитарные но-

силки. Отчим отвечает, и человек вновь записывает. Он пишет, поджав губы, качая головой — словно в знак осуждения.

— Род занятий? Ваших...

— Полицейский из... Полицейский...

Отчим запинается, отводит глаза. Человек вопросительно смотрит сначала на труп, потом на полицейского. Ирене встает — она уже больше не плачет — и направляется к носилкам. Сдергивает простыню и, опершись руками о края носилок, замирает в неподвижности, всматриваясь в мертвое лицо. Сзади отчим шепчет прерывающимся голосом:

— От чего он умер? То есть как все это случилось?

Человек в белом халате закладывает карандаш между страниц блокнота и прячет блокнот в карман. «Этот полицейский — просто идиот,— думает он.— Впрочем, у них так всегда».

— Его нашли на Пасо Супериор с веревкой на шее,— говорит он быстро, словно читая по бумаге официальный отчет.— Смерть наступила от выстрела в сердце.

Ирене поднимает голову, делает несколько шагов к врачу. Ее волосы в беспорядке, красная блузка выбилась из-под пояса юбки.

— Повесили его, когда он был уже мертв,— произносит врач, медленно, как бы с трудом подбирая слова.

Ирене кажется, что она сейчас выбежит отсюда и громко закричит: «Убийцы!» — потом будет наносить удары направо и налево, убьет первого встречного полицейского, а потом...

— Вам придется пойти в полицейский участок и сделать заявление о случившемся,— бесстрастно говорит человек.— Если хотите — можете потребовать расследования убийства.

— Да, да, нужно пойти,— соглашается отчим.— А еще я должен сообщить об этом у себя на службе... Не известно, что может произойти.

Мгновение Ирене смотрит на него. «Жалкий полицейский, он умирает от страха,— думает она.— А я отомщу. Они поплатятся — все до последнего!»

2 апреля

Я говорил медленно, с усилием собирая разбежавшиеся мысли, стремясь вспомнить свое душевное состояние, стараясь как можно точнее восстановить все события того дня, когда схватили Менокаля. Однако детали, последние слова, которыми мы обменялись, то, как он улыбался, рассказывая мне о своих планах на будущее, после победы,— все это ускользало от меня, словно бы стершись из памяти. Пришлось довольствоваться обрывками воспоминаний, грубо, приблизительно соединяя их, а это, конечно, не...

ЭДУАРДО

Женщина будто выпаливает слова — лихорадочно, торопливо. Погрузившись в кресло, Эдуардо низко наклонил голову, рассматривая ее ноги. Позади женщины на стене неопределенного цвета, покрывшейся пятнами от сырости,— распятие в золоченой рамке: Христос со скорбными глазами смиренно протягивает руки.

— Заклинаю тебя... Заклинаю,— повторяет женщина и молитвенным жестом сжимает ладони у груди. Потом она мечется по комнате, не умолкая ни на минуту. Эдуардо провожает взглядом каждый ее шаг.

«И это моя мать,— думает он,— моя мама...» Женщина, раньше времени состарившаяся, с потухшими, когда-то сияюще-черными гла-

зами. У нее увядшие, дрожащие губы, мертвые губы. Веки дергаются от нервного тика, будто ее слепит свет.

— Но я уже говорил тебе...— отвечает Эдуардо и засовывает руки в карманы.

— Ты должен обещать мне, поклянись мне...— твердит женщина, не слушая его, и останавливается прямо перед ним. Ее нервный тик становится все сильнее, так что в какой-то момент начинает походить на эпилептическую судорогу...

Солнце уже село, и комната постепенно погружается в полумрак, стирающий очертания мебели,— его не в силах оттеснить даже проникающий из кухни свет лампы. Как зачарованный, Эдуардо смотрит на искаженное тиком лицо матери, следит за движением ее глаз — в надвигающейся темноте они кажутся черными дырами.

— Я этого не перенесу, никогда, никогда, ведь ты у меня единственный сын,— женщина говорит все медленнее, будто в изнеможении.

В полумраке комнаты Эдуардо не различает ни одного звука — слышны только мольбы матери.

— Но я же сказал тебе: да, да, да,— повторяет Эдуардо, и голос его срывается. Он чувствует, что не может больше говорить.

Женщина опускается на софу рядом с ним и обнимает его за плечи. В полутьме белеют ее поседевшие волосы.

— Если тебя убьют, я этого не переживу... Что со мной будет? — Эдуардо чувствует, как руки матери сжимают его плечи.— Одна-одинешенька на свете... Нет, если тебя убьют, я этого не вынесу... Сыночек мой...— Ее голос замирает; она бросается вдруг к ногам Эдуардо и разражается рыданиями.— Поклянись мне... ты ни во что не будешь вмешиваться, ни во что...

— Мама, мамочка,— бормочет Эдуардо, поднимая женщину с колен и чувствуя, как ему на руки капают ее слезы.

10 апреля

Что касается плана взорвать электростанцию, то не все еще потеряно. Маркосу удалось восстановить связь (она оборвалась было из-за ареста Менокаля) со служащими станции, и они сообщили, где лучше всего заложить взрывчатку. Единственное препятствие — пока нет динамита (тот, у кого он хранился, оказался трусом и, узнав об аресте Менокаля, бесследно исчез). Маркос рассчитывает достать динамит через одного человека, с которым его обещал познакомить Браво, ответственный за работу в провинции.

— И тогда конец близок! — говорит Маркос и заразительно смеется, улыбка у него великолепная, но даже она не может рассеять моей тревоги и грусти.— Сначала — электростанция, а потом — всеобщее восстание, вот увидишь, увидишь! — повторяет он. Моя тоска все растет; я говорю себе: нужно провести в этом доме несколько дней в бездействии, наедине с воспоминаниями — а они сводят меня с ума.

Ощущение такое, будто грудь чем-то сдавлена, дышится тяжело, с трудом...

Оскар медленно поднялся по ступенькам, не отводя глаз от черного дула автомата. На лестничной площадке он остановился, перевел дух; руки его слегка дрожали. Человек в синей форме жестом приказал ему подойти ближе. Оскар встал перед дверью — она была полуоткрыта — той самой квартиры, где жили юноши. Ладони у него

стали влажными от пота. Полицейский сделал шаг в сторону — и тогда Оскар увидел под дверью лужицу крови (кровь струилась из передней). Полицейский ступил в лужицу, и его подошвы оставили темные следы на полу. Оскар почувствовал приступ тошноты, но подавил его. Попытался унять и внезапную дрожь в левой руке. Правая рука почему-то не дрожала. Он посмотрел на полицейского: угрюмое лицо, взгляд, полный недоверия и ненависти. Придерживая автомат правой рукой, полицейский начал обыскивать Оскара левой. Оскар сразу же подумал о пистолете, который он сдинул за спину. Рука полицейского быстро скользила, ощупывая его грудь, подмышки, потом талию, бедра. Левая рука Оскара дрожала все сильнее. Полицейский похлопал его по бедрам, но ниже рука его не поползла — мешал автомат, придерживаемый правой рукой. Наконец он кончил обыск и снова взялся за автомат обеими руками. Оскара бросило в жар.

— Куда ты шел? — спросил полицейский.

Оскар сделал усилие, чтоб овладеть собой.

— У меня поручение к хозяину вон той квартиры, напротив,— сказал он, и на память ему пришли слова Миранды.— Я сослуживец сеньора, который там живет.

Полицейский смотрел на него подозрительно, хотя лицо его стало менее мрачным.

— Звони,— приказал он и дулом автомата повел в сторону двери.

Оскар сделал несколько шагов. Когда он подошел к двери квартиры, силы покинули его, он даже не мог нажать кнопку звонка.

— Звони,— повторил полицейский.

Оскар едва коснулся кнопки — внутри послышался глухой звук, но никто не открывал. Тогда полицейский забарабанил в дверь прикладом — она медленно, ровно наполовину, приотворилась, и в проеме появилась старуха. В глубине Оскар успел рассмотреть девочку лет пятнадцати, скорее всего — служанку, она пряталась за высоким креслом. Старуха у полуотворенной двери подняла руку, словно обороняясь. Тело ее вздрагивало. Оскар вновь ощутил волну дрожи — только бы она не передалась голосу.

— Сеньора .. сеньора,— начал он, и старуха бросила на него удивленный и испуганный взгляд.— Я работаю в Компании. Меня послали узнать, почему ваш муж не вышел сегодня на работу.

Оскар замер, ожидая, что ответит женщина. «Если она разоблачит меня — брошусь на полицейского. Что угодно, только бы не попасться им в лапы»,— решил он.

С минуту женщина глядела на него, потом на полицейского. Там, в глубине квартиры, девочка по-прежнему старалась укрыться за спинкой кресла — словно это была неприступная стена. Старуху все заметнее била дрожь.

— Ничего с ним не случилось,— выговорила она наконец.— Все в порядке. Он там, дома У него все в порядке.

— Спасибо, сеньора, спасибо,— пролепетал Оскар и почувствовал, что теряет сознание.

Женщина захлопнула дверь Полицейский опустил автомат и направился в свой угол — туда, откуда увидел поднимавшегося по лестнице Оскара. Оскар повернулся и двинулся было назад, но тут новый страх охватил его: а вдруг полицейский заметит теперь его пистолет, болтающийся за спиной? К счастью, полицейский утратил к нему всякий интерес.

Медленно начал Оскар спускаться по лестнице, с каждым этажом приближаясь к желанному выходу на улицу. В вестибюле по-

слышались голоса. Двое мужчин в штатском поднимались навстречу Оскару. Они столкнулись с ним на втором этаже.

— Это еще кто такой? — спросил один из них громко, указывая на Оскара.

— А ну-ка, посмотрим,— ответил другой.

ГУСТАВО

Он наблюдает за Роберто, сидящим рядом, на скамье парка, что у железнодорожного вокзала. Тот сощуривает глаза, уставшие от яркого солнца. Нагруженные сумками и свертками, по парку проходят мужчины и женщины, они пересекают улицу, входят на вокзал и исчезают за огромной дверью, напоминающей разверстую пасть какой-то чудовищной рыбы.

Роберто вытаскивает платок и вытирает струящийся по лицу пот. Густаво отводит от него взгляд и смотрит вдаль.

— Звери — вот кто они такие. Звери...— повторяет он и кулаком ударяет себя по подбородку.

Роберто сидит, уставившись на свои башмаки — как всегда, поношенные и грязные.

— Я уже говорил это, говорили и другие, те, кто не хочет, чтобы все продолжалось по-старому: те, кто штурмовал Монкаду и сражался у казарм Гойкуриа... Фидель, Эчеверриа...— на мгновение Роберто широко раскрывает глаза и тут же начинает моргать.

— Они просто убийцы... Надо что-то делать,— бормочет Густаво.

— Делали и делают.

— Кто? Фидель?

— Фидель обещал выступить в этом году...

— Да, но что же все-таки делается? В Гаване ведь ничего не происходит.

Роберто морщится, словно от слишком яркого солнечного света, меняет позу.

— Люди организуются, готовятся... Почти во всех крупных учебных заведениях действуют группы товарищей.— Роберто говорит мягко, но слова его звучат очень весомо.— Хочешь работать вместе с нами?

Несколько мгновений Густаво молчит, лихорадочно обдумывая его слова. Подпольная организация... вероятность участия в военных действиях, причем без должной боевой подготовки, без соответствующего вооружения: «В Гойкуриа перебили невооруженных людей», «Руководство перебросило на Кубу десять тысяч винтовок», «Фидель выступит в пятьдесят шестом». Как же все это пойдет? С минуту он колеблется, глядя на Роберто.

— Хорошо,— говорит он,— можете на меня рассчитывать, но с одним условием: если хотите, чтобы я участвовал в какой-нибудь вылазке, дайте мне автомат.

Роберто улыбается.

— Пока что ты можешь вести работу у себя в институте... А там посмотрим.— Роберто опять прикрывает глаза и замолкает.

— Итак, когда начнем? — спрашивает Густаво.

— На днях мы увидимся.

Да, это я разносил заключенным еду. Два раза в день. Завтрака не давали, потому что Полковник говорил, они еще чего доброго растолстеют. Меня прозвали Галисийцем [1], хотя родился я здесь, на

[1] Так на Кубе зовут выходцев из Испании.

Кубе. Это правда, еда была просто ужасной — объедки из ресторанчика на углу. Да, конечно, расходы на продукты были предусмотрены, но эта тварь Полковник преспокойно клал денежки себе в карман и посылал в ресторан за объедками. И заключенные рано или поздно с этим мирились — без пищи ведь больше недели не протянешь, тем более если тебя избивают...

Его привезли часов в пять. Он был почти без сознания... Я принес ему еду, но он и не прикоснулся к ней. «Зачем она мне? — сказал он.— Все равно через полчаса меня вызовут на допрос». Больше я его не видел. Увели его часов в десять. Куда — не знаю, мне разрешалось находиться только в нижних помещениях, наверх я никогда не поднимался.

12 апреля

Сегодня полковник пришел позже обычного. Я уже позавтракал и, прислонясь к окну, разглядывал улицу. Войдя, он некоторое время постоял, потом уселся в кресло и тоже принялся глядеть на улицу. Так прошло несколько минут. Слышно было его шумное, тяжелое дыхание — видимо, что-то не давало ему покоя.

— Это абсурд, безумие,— заговорил он наконец.

— Что? — спросил я.

— Всё.

— Всё?

— Весь этот их метод борьбы против Батисты... Может быть, им и нравится напрасно жертвовать собой, но Батисту они так не свалят.— Он сунул руку в карман пиджака, и тут я заметил, что там у него газета.— Напрасные жертвы,— повторил он и развернул газету. На первой полосе была фотография: три трупа, лежащие около автомобиля.

— Я уже слышал об этом по радио,— сказал я.

— Но ведь это же абсурдно: атаковать патрульную машину, имея при себе всего два пистолета! А у тех, кто в машине,— автоматы.

Он свернул газету, страница перегнулась, и один из трупов оказался как бы разрезанным пополам.

— Может, они рассчитывали на внезапность, но этот план сорвался?

— Какая уж тут внезапность! Вы же прекрасно понимаете, что́ бывает, когда идешь с двумя пистолетами против трех автоматов.— Он неизменно обращался ко мне подчеркнуто уважительно на «вы», несмотря на мою молодость. В глубине души я был ему за это очень благодарен.

— А все-таки у них могло бы и получиться, полковник.

— Куда там! Всех вас перебьют...

— Но другого выхода, кроме уличных перестрелок, нет,— сказал я, несколько задетый его словами. Вдруг мне вспомнилась, не знаю уж почему, одна фотография — похороны Франка Паиса[1] в Сантьяго-де-Куба. Это меня разожгло.

— Прекрасно! Но все дело в том, как стрелять! Стрелять так, чтобы убить врага, а не так, чтобы убили тебя.— Он говорил совсем как школьный учитель.

— Не согласен с вами, полковник... Стреляют потому, что не стрелять нельзя, чем бы это ни кончилось, а неудача — это дело другое.

Он молчал. Не понимаю, почему он молчал, когда я говорил. Он,

[1] Активный участник кубинской революции, убитый батистовцами.

полковник, человек, за спиной у которого — богатый опыт участия в политической жизни, а я почти мальчишка. Может быть, он считал меня героем, потому что в меня всадили пулю?

— Ваша дочь тоже работает в нашей организации,— сказал я.

— Дерьмо все это! — воскликнул он. В первый раз я услышал от него ругательство. Видимо, внутри у него все кипело.

— Можно попытаться получить поддержку у армии,— сказал он и бросил взгляд в окно.

— Ни военные, ни состоятельные люди с положением не встанут на сторону революции,— заметил я, припоминая фразу не то Менокаля, не то Маркоса. Он шевельнулся в своем кресле.— Разумеется, за исключением таких, как вы, полковник,— добавил я.

— В революцию пришло бы гораздо больше людей, если бы ваши выстрелы попадали в цель,— ответил он.

— Но вы-то сами — за революцию!

— Со мной все иначе: тут замешана моя дочь, и я не могу оставить ее без помощи.— Он провел рукой по волосам.

— Просто вы — особенный человек... а большинство — обыкновенные свиньи.

Я был недоволен собой: не очень-то деликатно разговаривал я со старым полковником.

— Не в этом дело,— сказал он.— Вы еще слишком молоды и порой не слишком задумываетесь над тем, что делаете. Стрелять надо так, чтоб от этого была польза.

— Может быть, мы и не умеем хорошо думать, зато умеем хорошо умирать! И нам не помогает никто,— ответил я, чувствуя, что с меня хватит: разговор был мне не по душе.

— Возможно,— сказал он, поднимаясь с кресла.— Вы очень мало цените жизнь. Я тоже не дорожил ею раньше, когда мне было столько же, сколько вам. Теперь — нет! Теперь я стал бы стрелять в самого Батисту, а не в какую-то там патрульную машину.

— Возможно,— откликнулся я.

— Что ж, до свидания, завтракайте на здоровье,— сказал он, хоть я уже кончил есть. Взглянув в окно, я увидел, что в заливе показался корабль.

Покружив по комнате, он останавливается. Руки заложены за спину. Еще один круг — и он подходит к окну, смотрит на улицу. Все остальные следят за ним. Фарфоровые часы на столе показывают ровно девять.

— Мы не можем убить его,— сказал Миранда и встал прямо перед ними.

— Но у нас нет уверенности, что Оскар арестован,— возразил Николас.

— Он бы уже давно связался со мной... А кроме того, я сам видел, как он входил в тот дом.

Ана слегка постучала кончиком сигареты по ручке своего кресла, потом закурила.

— Один сосед,— начала она,— слышал автоматные очереди, а потом видел, как полицейские волокли по крыше дома двух юношей, похоже, раненых. Затем их сбросили на улицу. Но это случилось почти за два часа до вашего появления.

— Это были парни из Кальварио. Завтра они должны были сменить явку,— сказал Миранда.

Ана прошлась по комнате — до окна и обратно.

— Хорошо, допустим, Оскара схватили, но это не значит, что нельзя стрелять в Полковника.

— Да они же в отместку убьют Оскара! — воскликнул Миранда.

— Если мы что-нибудь предпримем, его, возможно, отправят в Принсипе[1],— заметил Николас, играя связкой ключей.

— Полковник не выпустит его, по крайней мере сейчас,— сказал Миранда и тут же обронил, как бы обращаясь к самому себе: — Они, наверное, уже установили его личность.

— Не думаю,— проговорила Ана.— Оскар сумеет выкрутиться... Потом, охотятся они все-таки за тобой.

Миранда опять подошел к окну. Все тело его напряглось, вероятно, он очень нервничал.

— Те, кто не прошли через пытки, понятия не имеют, что это такое... *Там* никто не выкручивается,— сказал он.

Ана вскочила и замерла у своего кресла.

— Есть вещи и похуже, но даже их можно вынести,— бросила она.

Все трое умолкли, погрузившись в свои мысли. На какой-то миг Ана почувствовала себя совершенно подавленной. «Будь это кто-нибудь другой, не Оскар...— подумалось ей.— А впрочем, какое право имеем мы приносить в жертву кого бы то ни было?.. Но я не отступлюсь, ни за что не отступлюсь!»

— Главное сейчас — убрать Полковника,— заговорила она.— И если Оскар погибнет, это не наша вина. Другие ведь тоже гибли.

— Жизнь Полковника не стоит жизни Оскара,— ответил Миранда.

— А я уверена, если б решать пришлось Оскару, он сказал бы «да».— Ана крепко-накрепко сцепила пальцы.

— Собственной жизнью всегда легче пожертвовать, чем жизнью товарищей,— заметил Миранда, покачав головой.

Ана рванулась было вперед, но остановилась и вновь застыла в неподвижности у своего кресла. Шевелились только ее руки, словно они жили независимо от тела: пальцы что-то беспокойно перебирали в воздухе — как лапки паука, ткущего свою паутину.

— Знаешь, по-моему, речь идет не о жизни Оскара и не о нашей, речь идет о жизни всех наших павших товарищей...

— У павших нет жизни. А у Оскара она есть, и мы ее отнимем у него, если пристрелим Полковника,— сказал Миранда.

— Но почему они после покушения обязательно убьют Оскара? Они могут убить любого из схваченных, не только Оскара,— вступил в спор Николас, барабаня пальцами по спинке стула.

Миранда взглянул на Николаса и Ану: лица их были взволнованы, как перед принятием важного решения.

— Я уже говорил... Даже если через несколько часов Оскар не даст о себе знать, в Полковника стрелять мы все равно не будем,— сказал Миранда.— К тому же наша главная цель — не Полковник, а «час 0».— Наступила пауза.— А Полковника мы успеем расстрелять и после победы революции.

Ана замотала головой:

— Нет, не согласна... Смерть Полковника приблизит «час 0»... Ты не вправе мешать тому, что все мы готовили столько времени! Не вправе!

Не отвечая ей, Миранда закурил сигарету.

— Наш руководитель — Браво. Давайте поговорим с ним. И если он не даст разрешения, проведем операцию на свой страх и риск,—

---

[1] Старинная испанская крепость в Гаване, превращенная в тюрьму.

торопливо говорила Ана, жестикулируя руками и головой.— Ты не можешь помешать нам отомстить за павших, не можешь...

Миранда повернулся к Николасу. Он знал: тот колеблется, и взглянул ему прямо в глаза.

— Скажи ты сам, скажи, раз старые товарищи собираются пожертвовать тобой, говори! — прокричал он, сжав кулаки.

«Вот она, неотвратимая необходимость сделать выбор»,— подумал Николас. Он предпочел бы тысячу раз оказаться на месте Оскара, даже подвергнуться пыткам. Только бы не делать выбора в такой момент! Если он скажет «нет», Ана все равно осуществит покушение, пусть в одиночку. К тому же вовсе не обязательно Оскар, именно Оскар, падет жертвой репрессий.

— Ана права,— произнес он и перевел взгляд на окно.

ИРЕНЕ

Металлические стулья выстроились вдоль стен, в центре зала они образуют небольшие группы, залитые холодным светом ламп. Медленно покачиваются деревянные кресла-качалки. Налево, в маленькой полутемной комнатке, едва освещенной миниатюрными светильниками, стоит черный гроб, окруженный стеклянными свечами, похожими на пальцы, тянущиеся к небу. В одном из кресел, сотрясаясь от конвульсий, плачет женщина. Вокруг, успокаивая ее, хлопочет несколько человек. Перед ней, сжав голову руками, упершись локтями в колени, сидит Ирене; взгляд ее прикован к гробу. Словно не слыша рыданий матери, она смотрит на крышку гроба. Сияние свечей заливает цветы и венки, прислоненные к стенам и к гробу; они отбрасывают на пол длинные тени, и кажется, будто это дикообразные животные подползают ближе и ближе к краю гроба.

Голоса в зале, словно по мановению палочки невидимого дирижера, то становятся яснее, переходя в громкий ропот, то вдруг звучат приглушенно. И тогда оживившиеся было лица вновь обретают серьезное, скорбное выражение. Ирене отрывает взгляд от гроба и обводит глазами зал. Несколько родственников и друзей, остальные — незнакомые ей люди, почти все молоды. Мать уже больше не плачет, измученная, она сидит, согнувшись почти пополам. Отчим осторожно гладит ее по спине. Кто-то протягивает ей стакан воды — она медленно пьет, запрокинув голову. В зале появляется Густаво и стремительно, с сосредоточенным видом направляется к комнатке. Ирене замечает его, идет к нему навстречу. Густаво сжимает ее руки в своих.

— Разделяю ваше горе,— произносит он и умолкает.

Ирене делает несколько шагов и опускается на стул в углу. Густаво садится рядом с нею.

— Когда похороны? — спрашивает он.

— Завтра в три.

Густаво опять замолкает.

— Как это все случилось? — вдруг задает он вопрос.

— Брата нашли на Пасо Супериор. Его страшно пытали... А потом застрелили,— с трудом бормочет Ирене, делая огромное усилие, чтобы не разрыдаться.

— Но ведь он...

— Он участвовал в каком-то заговоре вместе с людьми из университета.— В лице у Ирене ни кровинки.

— Кто это был?

— Полковник... Он сам, лично... Он повесил его, уже мертвого... Товарищи узнали об этом от одного заключенного — он был там и

рассказал всю историю... Неужели это правда? Неужели можно быть таким извергом? — Ирене склоняет голову, молчит. Как бы хотелось ей закричать, а еще лучше — бить, ударить что-нибудь живое или неодушевленное, да так, чтобы разбить руки в кровь.

«Сейчас она заплачет»,— думает Густаво, но Ирене сдерживается. Стиснув кулаки так, что ногти вонзаются в ладони, она упорно смотрит в пол.

Густаво, не отвечая, глядит на нее. Да у него и нет ответа. «Как же можно быть таким садистом? — думает он.— Наверное, убивать для таких людей удовольствие — вроде как переспать с женщиной. Нет, это немыслимо. Ради удовольствия не убивают. Мучают, пытают — да, но не убивают. Должно быть, убивают, чтобы убрать свидетеля этого удовольствия, живое напоминание о пытках. Но зачем же еще вешать мертвого человека?»

— Убивать — это их образ жизни,— произносит Густаво.

Ирене слушает его, не вникая в слова.

— Да,— говорит она,— но мой брат погиб, а его палачи целы и невредимы.

Сначала Густаво не отвечает Ирене, потом обращается к ней вполголоса, медленно:

— Знаешь, в институте действует революционная ячейка, мы готовы отомстить за твоего брата, и ты сама можешь принести пользу, работая в ячейке.

ГУСТАВО

Стоит ли предлагать это и Рохелио? Нет, наверное, лучше сделать все самому. И словно что-то очень приятное на ощупь, он ласково погладил квадратный сверток, который держал в руках: тысяча революционных листовок — их нужно разбросать в институте, с четвертого этажа, когда прозвучит последний звонок и студенты после занятий гурьбой помчатся вниз по лестницам. Утром неожиданно пришел Роберто, дал ему эти листовки и настойчиво посоветовал бросать их веером — так, чтобы они падали как можно медленнее и долго парили над головами. Дело простое, большого риска не требует, сказал он. Его первое задание.

Густаво посмотрел на часы: половина шестого. Звонок прозвенит в шесть. Он положил сверток на скамейку рядом с собой и вытащил из кармана пачку сигарет. Закурил. В этот час в Центральном парке было очень многолюдно: люди спешили с работы, кого-то поджидали, безработные и старики сидели на скамейках, чтобы как-то убить время. «И прекрасно,— подумал он,— никому не покажется подозрительным молодой человек на скамейке с подарочным пакетом в руках». Он положит листовки в коробку, насыплет сверху печенья, а если у входной двери его вздумают обыскивать, поднимет вверх руки вместе с пакетом — никто ничего и не заметит.

— Послушайте,— обратился к нему с другого конца скамейки старик-негр,— сигаретки у вас не найдется?

Густаво протянул ему свою пачку распечатанным концом. Старик вытянул одну сигарету, очень осторожно, чтобы не повредить остальные, закурил и жадно затянулся. Потом вернул Густаво пачку.

— Большое спасибо,— сказал он и улыбнулся.

— Не за что.

Так даже лучше — то, что на скамейке вместе с ним сидит старый негр, промелькнуло в голове у Густаво. Сверток с листовками лежит как раз посередине между ними, так что если кто-нибудь любопытствующий и обратит на него внимание, то вполне может поду-

мать, будто пакет принадлежит старику — а старики, как известно, не вызывают подозрений. Да, но все-таки что он, Густаво, делает здесь, на этой скамейке — ведь можно было бы прийти в институт без пяти минут шесть прямо из дому? Ладно, плохо ли, хорошо ли, но он здесь. «Необходимо создать ячейку на дневном отделении,— сказал ему Роберто, передавая листовки.— Только подбирай людей как можно осмотрительнее». Да, но кого же? Есть, конечно, такие, что всегда выражают протест против директрисы института, интересуются политикой. Их не много, но кое-что с ними сделать все-таки можно. На Рохелио вряд ли стоит полагаться — уж очень он неосторожен и мог бы, пожалуй, поставить все под угрозу. А вдруг он ошибается? Конечно, друзья друзьями, даже если знаешь их еще по школе, но «когда берешься за такое, нужно делать все безупречно». Итак, придется отставить дружбу на второй план, самое главное — безопасность. Однако очень мучительно — не доверять другу. Впрочем, об этом еще будет время подумать. Эдуардо весьма сдержан во всем, что касается политических вопросов, хотя и неравнодушен к ним — будто остерегается чего-то. Тем не менее с ним надо поговорить.

Густаво во второй раз посмотрел на часы: без десяти шесть, пора уходить. И тут он почувствовал искушение остаться и мирно сидеть здесь, рядом с этим старым негром, который так уютно покуривал, почти не выдыхая дыма. Так хорошо было сидеть здесь, глядя на огромное световое табло на улице Нептуно, оно загорится чуть позже, сообщая результаты игр в бейсбол... Он встал и направился в сторону Прадо. Дойдя до угла, остановился у светофора, подождал. Зеленый! Он зашагал дальше. Около кинотеатра «Пайрет» выстроилась очередь за билетами. Через полуоткрытые двери кинотеатра вырывался воздух, охлажденный кондиционером. Гигантский плакат на стене рекламировал новый супербоевик: полуобнаженная красотка на алом фоне крепко обхватила коленками ковбоя, который целился из револьвера в прохожих. Вверху красовалось название фильма и огромное «СЕГОДНЯ». А что, если войти и посмотреть фильм? И разбросать листовки в кинотеатре? «Когда прозвенит последний звонок, с четвертого этажа». А если его схватят, когда он будет распространять листовки? И директриса выдаст его полиции? Весьма вероятно. К кассе подошел высокий тучный полицейский и купил билет. Густаво вспомнился человек, которого ударили в висок. А если бы кто-нибудь подложил бомбу в первые ряды кинотеатра? Или в туалет? Тогда взлетели бы на воздух все те, кто веселится теперь, когда страна в горе... И его мать тоже. Они с отцом отправились в кино. «Когда прозвенит звонок...» Всего только первое задание — а он уже боится. А если бы его били в полицейском участке? Прикладом автомата в висок? Он миновал фотоателье и зашел в кафе «Ла камара». За вторым столиком ел мороженое Эдуардо. Густаво подбежал к нему. «Помоги мне, пожалуйста»,— выпалил он и бросил сверток на столик. Эдуардо смотрел на него с изумлением. Глаза его, похожие на две булавочные головки, быстро перебегали с пакета на лицо Густаво.

— Каким образом? — спросил он.

— Ведь ты знаешь, что директриса — мерзавка, что правительство — банда убийц... Ну, в общем, помоги мне, пожалуйста, распространить эти листовки в институте.

Ложечка с мороженым, которую Эдуардо подносил ко рту, застыла в воздухе, потом легла обратно — в вазочку. Он опустил глаза и стал пристально рассматривать сверток.

— Я и не знал...— начал он.

— Так как же?
— А когда?
— В шесть, после звонка с занятий...
— Не могу... сегодня никак не могу,— сказал он и, сдернув руки со стола, положил их на колени.
— Почему?
— У меня уже назначена встреча.
— Ну что ж,— сказал Густаво с презрением, повернулся и, подойдя к стойке, купил несколько бисквитов, потом вышел в туалет. Вернулся он почти тотчас же: пакета в руках у него уже не было. Не взглянув на Эдуардо, он двинулся к выходу.
— Чао! — сказал ему вдогонку Эдуардо.
— Увидимся,— сухо ответил Густаво.

Через минуту после того, как ушел Густаво, Эдуардо расплатился и выскочил на улицу. Свернув налево, он поспешил вслед за Густаво. Догнать его удалось в тот момент, когда он собирался пересечь улицу Сулуэта. Эдуардо окликнул его, но Густаво не расслышал или сделал вид, что не слышит. Лавируя между автобусами, он подошел к институту и медленно поднялся по лестнице. У входной двери он поднял руки вверх, и швейцар обыскал его. Эдуардо опять окликнул, но Густаво был уже внутри. Эдуардо взглянул на большие часы над киоском, где продавали гуарапо: было без двух минут шесть.

16 апреля

Случилось то, что я предвидел и чего всегда опасался. В три часа дня на квартиру к полковнику нагрянули полицейские; они арестовали и увели с собой Сильвию. Правда, потом ее выпустили. С самого начала при ней находился старинный друг семьи — высокопоставленный чиновник Верховного суда, человек влиятельный, располагавший большими связями в правительстве. Его присутствие избавило Сильвию от самого худшего. Через несколько дней она уехала в Майами: там девочка бросила играть в революцию, в жизнь и смерть. Что до меня, то в тот момент, когда явилась полиция, я (чудом!) находился на улице вместе с Маркосом и пожалел лишь о том, что пришлось расстаться с немногими личными вещами, которые у меня еще оставались. Если бы Полковник знал, что я скрывался в этой квартире (до сих пор понятия не имею, знал ли он, так как главные действующие лица исчезли со сцены: Сильвия живет в Майами, а где сейчас старый полковник — мне неизвестно; правда, как-то случайно я встретил на улице их старую прислугу, но она так перепугалась при виде меня, что смогла рассказать лишь то немногое, о чем я уже написал),— он бы, конечно, устроил облаву на меня.

Вновь я очутился в сложнейшем положении: нужно было срочно найти достаточно надежное и безопасное убежище, где я мог бы отлежаться до полного выздоровления. С Маркосом я расстался, не доходя нескольких кварталов до дома (я так и не подошел к нему, мне показалось подозрительным, что у входа стояло сразу несколько машин), и уже не видел его в тот день, пришлось подождать следующего раза.

ИРЕНЕ

Вместе с Эдуардо они шагают по набережной Малекон. Позади остаются великолепные здания Ведадо, высящиеся почти на берегу. Справа, как огромное покрывало, расстилается море — прозрачное, нежное покрывало, переливающееся всеми оттенками сине-голубо-

го,— над ним носятся стаи чаек, а далеко, за самый его край, как огромная капля крови, опускается солнце.

— Я не буду кончать курс,— говорит Ирене.— Мне это не нужно.

Эдуардо резко останавливается и пристально смотрит на нее.

— Нелепо! — восклицает он.— Бросить занятия на пятом курсе! Не вижу в этом ни малейшего смысла.

— А я вижу... не могу я заниматься теперь, когда Рикардо мертв,— отвечает Ирене и идет дальше. Эдуардо догоняет ее и подстраивается под ее быструю походку.

— Как же так? Разве он не хотел бы, чтобы ты довела учебу до конца? — Голос его доносится откуда-то издалека, то, что он говорит, неинтересно и неважно.

— Будь я ближе к нему, всего этого, может быть, и не случилось бы! — Ирене говорит скорее для себя самой, изливая в словах то, о чем столько дней размышляла.

По парапету Малекона бегут дети.

— Не понимаю...

— Ты никогда ничего не понимаешь,— говорит она, и ее пальцы, державшие руку Эдуардо, разжимаются.— Я ведь могла бы помогать ему, я могла бы работать вместе с ними.

— Ты?

— Я! — Ирене с неприязнью смотрит на него. «Боится, ах, как он боится»,— думает она.

— Чепуха! Все равно случилось бы то же самое...

— А может быть, и нет! — отвечает Ирене. Они идут молча, не глядя друг на друга. Глаза ее — она шагает слева — устремлены на море.

— Ну, хорошо, но все-таки я не понимаю, почему ты должна бросать учебу,— возвращается он к прежней теме.

— Сейчас на Кубе нельзя больше учиться.

— Тогда можно поехать на север, в Штаты, и продолжать учебу там. Мой крестный устроит нам стипендии... Мы можем пожениться,— говорит он и жадно ловит ее взгляд.

Ирене долго всматривается в его лицо. «Человек, которого я любила,— думает она,— но больше не люблю. Теперь — нет».

— Нет, Эдди, нет.— Голос Ирене звучит так резко и жестко, что, кажется, исходит вовсе не из ее груди.— Я остаюсь здесь.

— Но...

— Я останусь здесь, пока те, кто убил моего брата, не окажутся под землей.

Надо подавить боль мыслью о мщении, переплавить боль в ненависть — нельзя жить болью, упиваться собственной болью.

Эдуардо снова останавливается. Улыбаясь, берет ее за руки:

— Но это же глупо... А как же мы?.. А я?

— Мы?.. Не понимаю, о чем ты...— Мгновение Ирене колеблется.— Поможешь мне отомстить за брата? Мы можем сделать это вместе...

Голос Ирене прерывается. Она освобождает свои руки из рук Эдуардо, взгляд ее спокоен и тверд. С моря долетает порыв ветерка, треплет ее волосы. Глаза ее сверкают, губы неподвижны, крепко сжаты, напряжены, как и все тело.

— Ну знаешь, ты говоришь совсем как в радиопостановках... твой брат погиб и...

— Есть люди, готовые решиться на это... Просто нужно иметь немного достоинства, чтобы открыто пойти против палачей,— говорит Ирене.

Они стоят, не двигаясь, посреди тротуара. Из проносящейся мимо машины им что-то кричат. По набережной к ним приближается полицейский в обнимку с какой-то женщиной. Заметив его, Ирене дерзко, с вызовом смотрит ему в лицо.

— Все это глупо. Сейчас мы должны учиться, а потом поженимся,— говорит Эдуардо, нежно лаская руки Ирене.

Полицейский уже совсем рядом. Обхватив женщину за талию, он что-то говорит ей на ухо. Она улыбается. В нескольких шагах от того места, где стоят Ирене и Эдуардо, парочка слегка сворачивает в сторону, чтобы не столкнуться с ними.

— Убийца,— с ненавистью бросает Ирене вполголоса, но достаточно громко, чтобы полицейский услышал. Эдуардо, оголбенев, смотрит на нее, затем на полицейского: тот продолжает свой путь — кажется, он ничего не слышал. Ирене улыбается и снова вырывает свои руки у Эдуардо.

— Трусишь? — спрашивает она.

— Не трушу... Но я хочу доучиться, хочу стать инженером. Меня интересует только это — и ничего больше... А брат твой мертв — и ему уже никак не поможешь.— Он говорит твердо, как человек, принявший наконец решение.

— Трусишь!

— Я хочу учиться!

«И отчим боялся, боялся, жалкий и малодушный шпик,— он не мстил за сына, а жил бок о бок с его палачами». Ирене отступает на несколько шагов, солнце светит ей прямо в лицо, обращенное к морю, глаза ее полузакрыты.

— А я — нет, а я — нет! — кричит она, сжимая кулаки, и опять отступает — еще и еще. У самого края тротуара она вдруг поворачивается и бежит по мостовой, не обращая внимания на автомобили. Застыв неподвижно, Эдуардо следит взглядом за ее красной юбкой, которой играет ветер, пока она не исчезает из виду в потоке машин.

Меня взяли десятого февраля, вечером. Едва успели доставить в тюрьму, как сразу же избили. А ночью потащили в кабинет Полковника. Там уже был Костлявый, а немного спустя привели и его. Полковник хотел устроить нам троим очную ставку, сравнить наши ответы. Костлявый, когда вышел на волю, пустил себе пулю в лоб. Хороший он был товарищ, только в этот единственный раз сплоховал... Каждый из нас однажды бывает слабым.

Когда того, третьего, ввели, у меня даже волосы встали дыбом. Похож он был на труп.

Полковник сказал ему: «Посмотрим, как ты запоешь сегодня, в присутствии этих вот двоих». Костлявый тут же стал уговаривать его:

— Ну, пожалуйста, скажи все, Полковнику все уже известно... я рассказал ему... я обещал Полковнику, что выложу все как есть, иначе нас убьют, брат... я больше этого не выдержу. Говори — иначе нас всех отправят на тот свет. Мою мать тоже схватили, она здесь. Ее били — я этого не могу вынести. Поэтому я заговорил. Раньше я молчал, но после этого... Моя мать — это моя мать. Полковник сказал, что больше не тронет ее и нас не тронет, если ты все расскажешь. Ради бога, ради моей матери, говори!

— Я ничего не знаю, я уже сказал все, что зна...— внезапный удар обрушился на него — удар в ухо. Удар сорвал корочку запекшейся крови — опять потекла медленная, тонкая красная струйка.

Полковник набросил ему на шею полотенце и стал душить. Он задыхался. Когда, казалось, все было кончено, они быстро отпустили полотенце. Так повторялось дважды. Он почти потерял сознание. Перед глазами поплыли круги, ослепительные, как холодный свет лампы. Его привел в себя вкус крови во рту.

— Я ничего не скажу.

Последовал удар резиновой дубинкой — сначала по левому легкому, потом по правому.

— Что вы со мной делаете? — В лицо ему словно вонзились иглы.

В десяти шагах стоял Бородавчатый и целился в него из ружья, заряженного дробью. Всякий раз, как ему удавалось попасть, он разражался хохотом.

— Полюбуйтесь, какая у меня верная рука, ни разу не промазал,— хвастался Бородавчатый и заливался хохотом.

— Дай-ка и мне попробовать.— Бехуко вырвал у него ружье, чтобы продемонстрировать свою меткость.— Сейчас я влеплю ему свою долю в плечо, я стреляю лучше тебя, Бородавчатый!

— Да говори же, сукин ты сын, где спрятано оружие? Где пистолеты? Говори, выродок... твою мать... Где твой командир? Кто подложил бомбу на станции? Где Браво? Где пистолеты? Говори же, подлец! Кто связной у Браво? Получай, вот тебе, чтобы вспомнил! — Ничего я не знаю, ничего не знаю, боже мой, мама, не знаю, не бейте меня, ничего не знаю, вы меня убьете,— говори, выродок,— не бейте меня, не знаю, я ослепну, мамочка, мама моя, я ничего не вижу,— дай ему, дай как следует, чтобы он в самом деле ослеп, сволочь,— не бейте меня по голове,— дай-ка мне сигару, я ему сейчас погрею задницу, подожди, я раскурю хорошенько, стяни с него рубашку, снимай рубашку, негодяй, давай сигару сюда, к спине, пусть погреется, а ну-ка, еще раз, посмотрим, развяжется ли у тебя язык...

17 апреля

Солнечный луч заскользил по моему телу, как морская волна, и задержался у ног. Я очнулся в третьеразрядной гостинице. Лежа в постели, широко открытыми глазами я оглядел жалкую коробку, в которой находился. Через покрытое трещинами оконное стекло в комнату неудержимым потоком врывался свет, его пятно, задержавшись на двуногом столике, напоминало чем-то открытую рану. Устав до предела, я заснул часов в пять утра, а теперь солнце уже стояло высоко и пригревало жарко. По моим расчетам было часов десять. Я проспал целых пять часов, но кости ломило так, словно накануне меня избили палками.

Оставаться дольше в этом номере было опасно. Именно в такого рода места частенько заглядывала полиция в поисках уголовников и революционеров. К тому же я допускал, что хозяин гостиницы мог быть осведомителем. Вполне вероятно, что он успел сообщить обо мне и полицейские ищейки уже идут сюда... вполне вероятно... Я постарался взять себя в руки. Встал и выглянул в окно. Напротив, на запасных путях железнодорожного вокзала, неподвижно, как огромные черные бизоны, стояли вагоны. Я повторял себе, что, если б полиции что-нибудь стало известно, она давно бы уже явилась. Я отошел от окна и уселся на единственный стул. Постепенно я успокаивался. Первое, что мне следует сделать, рассуждал я, это разыскать Маркоса. Наскоро умывшись из крошечного рукомойника, я вышел из гостиницы. Часы показывали одиннадцать.

ИРЕНЕ

Она ненавидела его. Он оказался трусом. Как жалкий трус, он испугался первого же встречного полицейского. Никогда больше она его не увидит. Он не понимал того, что она пережила после смерти брата, и вовсе не собирался помочь ей. Обыкновенный эгоист. А ведь они могли пожениться и, кто знает, даже быть счастливы вместе, думает она, пока ветер треплет ее волосы. Солнце светит ей прямо в лицо, она изо всех сил зажмуривается, стискивает губы.

ЭДУАРДО

Медленно, словно у него вдруг отяжелели ноги, бредет он вдоль Малекона. С моря несутся порывы холодного ветра пополам с мелким дождем, оставляя на лице капельки влаги, похожие на слезы, и превращая мостовую в настоящий каток. Автомобили замедляют ход, старательно объезжая лужи, образовавшиеся в углублениях асфальтового покрытия. Там, где парапет набережной недостаточно высок, волны перехлестывают через него, выбрасывая на тротуар и возвращая земле куски дерева, мусор — все, что когда-то, отступая с суши, унесло с собой море.

Мимо Эдуардо, укрывшись одним плащом, пробегает влюбленная парочка. Эдуардо с завистью смотрит, как он обнимает ее за талию, как они прижимаются друг к другу и, смеясь, стараются удержать над головами плащ — его срывает налетающий ветер, смешанный с дождем. Он думает об Ирене: она не вернется к нему. «Я должен показать себя сильным,— говорит он себе, и дыхание его прерывается.— Но если бы она захотела, если бы только она захотела, мы поженились бы»,— повторяет он и тыльной стороной ладони стирает с лица капли дождя. Он струсил, а ему следовало предложить ей помощь... следовало сказать ей «да», а он... «Нет, я не могу идти этим путем»,— говорит он себе. Тело его бьет холодная дрожь. Дождь усиливается, превращается в ливень. Он обещал матери ни во что не вмешиваться... Ирене он потеряет, ну что ж, мать — прежде всего. А что будет с ним самим? Какое право имеет мать связывать его по рукам и ногам?

Он не может распоряжаться собственной жизнью, его сковывает сострадание и жалость к матери... Да нет, он просто трус, малодушный, прячется за ее спину, чтобы скрыть свой страх... Он немедленно пойдет к Ирене, попросит у нее прощения... «Слишком поздно, слишком поздно»,— повторяет он себе.

Эдуардо переходит улицу. На омытом дождем асфальте блестят мелкие, словно зернышки риса, капли воды.

— Все готово,— сказал Миранда и протянул часы Фернандо.— Сверим часы. Сейчас девять. Через три дня, ровно в девять, все начнется.

— Или кончится,— улыбнулся Фернандо.

— Важно начать, а чем оно кончится — увидим,— ответил Миранда и завел свои часы.

Несколько минут прошло в молчании. Они сидели на скамье в парке близ улицы Сан-Мигель, в районе Вибора, и ждали, когда придет человек, обещавший продать Фернандо десять автоматов. В парке не было никого, кроме двух нянек, прогуливавших на другом конце детей. Фернандо наблюдал за машинами (их было довольно мало), сворачивавшими в соседние улицы.

— Известно что-нибудь об Оскаре? — спросил он.

— Ничего,— ответил Миранда.

— А о Николасе и...

— Я их не встречал... Два дня тому назад они ушли со своей явки с твердым намерением убить Полковника.

— А оружие и люди?

— Людьми командовал Николас, а оружие — два моих автомата. Остальное — пистолеты.

— А гранаты?

— У них есть.

— А нельзя ли связаться с людьми, предупредить их?

Миранда наклонился и поднял с земли камешек. Зажал его между большим и указательным пальцами и швырнул подальше, в сторону улицы.

— Пока я не представляю себе, как их найти. Связь с ними шла через Оскара, а еще — через Николаса.

— Что же ты собираешься делать?

Миранда молчал, обдумывая ответ. Поднял еще один камешек, потом повернулся к Фернандо — тот не спускал глаз с автомобиля, который появился из-за угла и приближался к парку.

— Исключить их из организации,— отрезал наконец Миранда и швырнул камешек под колеса проезжавшего автомобиля.

— Но они уже давно участвуют в борьбе, никого нельзя осуждать за одну-единственную ошибку,— сказал Фернандо и откинулся на спинку скамейки.

Миранда резко вскочил, руки его взметнулись вверх.

— А чего, собственно, они хотят? — Голос его срывался на крик.— Не подчиняться приказам? Плевать на организацию? Наконец, спровоцировать гибель своего же товарища?! Чего они еще заслуживают, если не...

Фернандо выпрямился:

— Я только говорю, что речь идет о наших старых боевых товарищах, соратниках.

Миранда в волнении ходил взад-вперед вдоль скамьи. Его охватывала глухая ярость, немой гнев на самого себя, на абсурдность всей этой истории, на нелепость положения, обязавшего его быть судьей товарищей по борьбе, решать их судьбу. И тем не менее — он знал это — решать придется.

— Прежде всего — организация, прежде всего — победа, прежде всего — жизнь товарища. И только в последнюю очередь — личная ненависть и личная месть...

— Ненависть?

— Да, ее ненависть к Полковнику,— уже тихо произнес Миранда.— Сейчас для нее все на свете окрашено этим гневом, этой ненавистью. Но жить одной ненавистью нельзя, это ни к чему не ведет.

— Возможно... А впрочем, не знаю... Порой, когда у тебя ничего нет, можно жить и одной ненавистью; уж она-то по крайней мере всегда с тобой,— сказал Фернандо.

Миранда сел, взглянул на часы: половина десятого. Няньки с детьми уже ушли, в парке были только он и Фернандо.

— Я не считаю,— продолжал Фернандо,— что жизнь Оскара зависит от покушения; как бы они ни поступили, ему в любом случае вряд ли удастся вырваться из их лап живым.

Сидя на скамейке, Миранда вытянул ноги и закурил сигарету. С его места хорошо просматривалась почти вся улица Сан-Мигель; автобусы, проезжавшие в нескольких кварталах от парка, казались лениво летящими мухами. Лучи декабрьского солнца, вышедшего на-

конец из-за туч, приятно согревали Миранду. Он почувствовал, что вот-вот задремлет: сонливость туманила ему голову. Человек с автоматами, наверное, не придет... Как хочется спать... Вряд ли Оскар выкарабкается, думалось ему, разве что они не установили, кто он. А может быть, его убили еще в том здании? Тогда действительно не было оснований мешать покушению на Полковника — Николас и та женщина были правы; покушение может стать катализатором событий, а он отнюдь не уверен, что Оскар еще жив, да если он и жив... И все-таки у покушения мало шансов на успех, учитывая, что казармы забиты войсками, и он правильно сделал, высказавшись против него. А Полковника будут судить после победы... и пусть бы они обратились к Браво, раз им так хотелось... в конце концов, они в военной организации, и их следует исключить за нарушение дисциплины... Жизнь Оскара стоит куда дороже, чем жизнь любого полковника... Разве не так? И разве для торжества их дела самое нужное — это смерть Полковника? Ах, как ему не хотелось принимать на себя ответственность за выбор... Он закрыл глаза. «Хорошо бы сбросить с себя лет пять и перенестись в студенческие времена, когда наша четверка... Нет, старина, того, что ушло, не вернешь»,— сказал он себе, улыбаясь.

— Вижу того человека! — Фернандо указывал на коротышку, быстрыми шагами направлявшегося прямо к ним. Подойдя к скамье, тот с живостью приветствовал Фернандо, потом обернулся к Миранде.— Вот приятель, о котором я тебе говорил,— представил его Фернандо. Миранда протянул подошедшему руку. Лет сорока, на голове уже обозначилась довольно заметная лысина, лицо с сочными губами, на крючковатом носу — очки с темными стеклами. Кто он — спекулянт? Или бескорыстный друг, который возьмет с них за оружие столько, сколько заплатил сам? Или трус, желающий отделаться от опасного товара, отданного ему на хранение? «Скорее всего,— решил Миранда,— это тип из «Трипле А» [1], собрался выйти из игры и пытается избавиться от компрометирующих вещественных доказательств». Фернандо как-то упомянул, что этот человек — член «Трипле А», настаивает на том, чтобы вести переговоры только с самим руководителем. Как бы там ни было, доверять ему нельзя...

Коротышка улыбался, довольно откровенно рассматривал Миранду, но не произносил ни слова. Он стоял лицом к солнцу, и золотые блики отражались в стеклах его очков.

— Фернандо сказал, что у тебя есть кое-какие железки и ты не прочь их уступить.— Миранда обратился к нему на «ты», как и следовало обращаться к человеку, предлагающему оружие.

Коротышка не переставал улыбаться. Приближалась парочка, и пришлось замолчать. Миранду начинала раздражать улыбка человека в темных очках.

— Верно,— подал тот наконец голос,— но я должен говорить с руководителем.

Полицейский шпик? Ловушка?.. Миранда тщательно оглядел вокруг: не видно никого, но в соседних домах могут скрываться люди в ожидании условленного сигнала... А что, если этот человек все-таки не из полиции?

— Я — руководитель.

Человек в очках вновь улыбнулся, и рука его потянулась к поясу. Миранда нащупал под рубашкой пистолет и обменялся взглядом

---

[1] «Трипле А» («Тройное А») — террористическая организация, не игравшая серьезной роли в сопротивлении режиму Батисты.

с Фернандо. Очкастый сунул руку в карман и вытащил пачку сигарет.

— Сколько ты просишь за оружие? — Миранда хотел кончить дело как можно скорее.

— Нисколько.

— Нисколько?.. Совсем ничего?

Человек спокойно выбрал сигарету и закурил ее.

— Я вхожу в группу — нас там четверо,— которая не желает больше работать с «Трипле А».— Человек выпустил изо рта струйку дыма.— Мы хотим действовать... Поэтому и отдаем вам автоматы даром, однако при одном условии.

— Каком?

— Чтобы двое из нас участвовали в той операции, где вы пустите в ход наше оружие. Вот почему мы его вам уступаем. Мы хотим серьезных действий, а «Трипле А» ими не занимается.

«Наверняка это ловушка... какая-нибудь западня»,— насторожился Миранда. Его нарочно оставили на свободе до поры до времени, собираясь выведать цели операции. А теперь схватят их всех. Весьма хитрый план! Но автоматы ему все равно нужны. С ними можно совершить нападение и на министерства. Ну, а если коротышка не лжет? Нет, невероятно.

— Кто же из вас пойдет?

— Я и еще один товарищ.

Этого человека всегда можно убрать. А оружием завладеть нужно — это самое важное.

— Когда вы передадите нам автоматы?

— Когда скажете.

— Хорошо, мы берем вас с собой в дело. Надеюсь, вы умеете обращаться с оружием?

Его ответ прозвучал сухо:

— Да.— Человек перестал улыбаться.

— А автоматы нам понадобятся завтра же.

22 апреля

Вот уже почти полчаса сидели мы в маленьком кафе на углу 19-й и 4-й улиц, ожидая человека, который должен доставить нам динамит для взрыва электростанции. Маркос знал только имя и номер телефона этого человека, а еще ему было известно от Браво, что человек сам вызвался добыть взрывчатку для операции на электростанции. Встреча с ним была назначена на три часа, и вот теперь мы ждали его в кафе, бомбардируемые подозрительными взглядами официанта. Когда было уже без двадцати четыре, Маркос скрестил руки на груди и стал рассматривать улицу.

— Позвони ему по телефону,— сказал он и протянул мне микроскопического размера записную книжку; она была раскрыта на странице, сплошь исписанной мелкими цифрами; среди них я с трудом нашел номер телефона, который Маркос отметил ногтем.— Это номер его связного. Позови его от моего имени и узнай, в чем дело.

Я медленно направился в другой конец кафе, где стоял телефонный аппарат, и набрал номер — впоследствии мне пришлось звонить по нему столько раз, что я и до сих пор помню его наизусть: Ф-32-52; по этому номеру можно было безошибочно установить, что владелец его проживает на Ведадо, скорее всего — очень близко от того места, где мы находились.

Усталый женский голос — я подумал, что только у больной женщины может быть такой голос,— сообщил мне, что человек, которого мы ждали, приносит свои извинения, но прийти сегодня не может и

просит позвонить ему завтра в одиннадцать утра. Я поблагодарил, повесил трубку и вернулся к столику.

— Вот как,— сказал Маркос и положил на стойку несколько монет.— Тогда пошли.

Мы двинулись по 4-й улице, в сторону 17-й, и за все это время ни один из нас не проронил ни слова. На углу 17-й мы остановились, ища глазами автобус. На остановке уже было несколько человек, среди них один полицейский.

— Отправляйся домой,— сказал мне Маркос.— Сегодня на восемь часов у нас с Габриэлем намечены кое-какие дела. Позже я позвоню тебе.

— Я тоже могу вместе с вами...— предложил я.

— Нет... не нужно.

К остановке подошел автобус.

— До свидания,— сказал Маркос и сел в автобус. Я не двинулся с места, пока он не скрылся за поворотом на Пасео. Только тогда я побрел домой, чувствуя, как с новой силой охватывает меня тоска одиночества.

Меня поставили охранять камеру, где он сидел. Когда его привели, лицо у него было распухшее. Он сел и стал разговаривать сам с собой, а через некоторое время сделал мне знак, что хочет поговорить со мной. Я подошел.

«Ради бога, капрал, ради вашей матери, ради детей, если они у вас есть... я больше не могу этого выносить... Послушайте, пустите меня... я побегу, а вы застрелите меня, как при попытке к бегству, только стреляйте наверняка, чтобы убить...»

Понятно, я передал Сержанту все, что сказал мне этот парень. Что поделаешь! Долг есть долг. Я обязан был все передавать Сержанту.

«Так ты хочешь, чтобы тебя пристрелили при попытке к бегству? — орал на него Сержант.— Что ж, давай беги, беги, выродок, я покажу тебе, как бегать! Получай — вот тебе для науки! Ах, дерьмо ты эдакое, запачкал меня. Эй, капрал, принеси тряпку — ботинки вытереть: его вырвало. И воды захвати — чтоб он у меня очухался».

ИРЕНЕ

Кто-то засвистел ей вслед. Когда она пересекала улицу Галиано, незнакомый мужчина, нагнав ее, пытался заговорить с ней. Проходя мимо стеклянных витрин Сан-Рафаэля, она увидела свое отражение с красной сумкой в руке. И ускорила шаг.

На углу улицы Агила прохаживались две крикливо одетые крашеные блондинки, бросая призывные взоры проходящим мужчинам. «Шлюхи»,— подумала Ирене и перешла на другую сторону улицы, глядя прямо перед собой. Ее обжигал стыд, но краешком глаза, невольно, она все еще следила за ними. Одна из красоток, подцепив мужчину, вскоре удалилась вниз по улице Агила, другая прогуливалась в одиночестве. «А вдруг меня примут за такую же, как они?» — пришло в голову Ирене. И она замедлила шаг, напряженно выпрямилась, стараясь, чтобы не было заметно естественного покачивания бедер. Перед ней, как длинный зеркальный туннель, тянулась улица Сан-Рафаэль, и огни фонариков, белых и цветных, отражались в ее витринах десятками маленьких сверкающих капель.

Угол улиц Сан-Рафаэль и Амистад был почти пуст, всего несколько человек стояло у кинотеатра «Дуплекс». Какая-то женщина, ведя за руку девочку, вошла туда. «Пожалуй, «Пайрет» подходит

больше, чем «Дуплекс» — здесь бывает слишком много детей»,— решила Ирене. Она опять ускорила шаг, по тротуару звонко застучали ее каблуки. Ей казалось, будто стук их разносится по всей улице. «Не нужно было надевать туфли на каблуках»,— с досадой подумала она. Громоздкая сумка, которую Ирене несла в левой руке, больно ударяла по икрам ног. В этот момент улицу пересек мужчина и исчез в дверях «Дуплекса». «Эдуардо?» Нет, она ошиблась. Эдуардо гораздо выше ростом. Может быть, она не нервничала бы так, если бы это действительно оказался он. Нравится ли он ей? Любит ли она его еще?

Ирене вышла на Прадо и свернула направо. Она не испытывала ни страха, ни волнения, разве что легкую тревогу. Забыв и об Эдуардо, и о Густаво, и о брате, она думала только о сумке, напоминавшей о себе ударами по ногам. Дождавшись зеленого света светофора, Ирене перешла авениду Прадо и поспешила к кинотеатру «Пайрет».

У билетной кассы толпилась очередь, Ирене встала в конец. Подошли еще несколько человек и тоже встали в очередь. Через окошечко Ирене видела кассиршу: глаза, скрытые темными очками, руки, похожие на клещи, автоматически отрывают билеты и протягивают их покупателю. Вдруг Ирене ощутила, как взгляд кассирши словно впился в нее. Инстинктивно она прижала к себе сумку.

«Зал почти полон. Остались только места в передних рядах»,— раздался из окошечка голос кассирши. Она обращалась к Ирене. Ничего не ответив, Ирене заплатила и взяла свой билет. И вновь крепко прижала к себе сумку. «Часовой механизм действует бесшумно,— вспомнилось ей,— устройство сработает в девять часов, не перепутай, в девять!» Совершенно спокойно она подошла к двери, ведущей в зал, и подала свой билет контролеру. На мгновение задержалась и взглянула на стенные часы: без четверти девять. Потом повторила себе, что совсем не волнуется, и вошла в зал.

— Итак,— сказал Миранда и скрестил на груди руки,— давайте в последний раз продумаем все детали.

Напротив в кожаном кресле сидел Фернандо, склонившись над столиком, на котором был разложен план города, усеянный разноцветными пометками.

— Вот наша зона,— произнес Миранда и показал на карте участок, обведенный красным карандашом.

— Нас будет около двухсот человек, из них вооруженных — менее шестидесяти... мы атакуем четыре министерства и обстреляем полицейское управление...

— А нельзя ли атаковать и его?

— Для этого мы недостаточно вооружены, нам выгоднее напасть на министерства — охрана в них немногочисленна и обычно находится на улице. Командиры отрядов уже готовы, остается только дать инструкции Торресу — ты свяжешься с ним сегодня же.

— Ясно. Луис и Перес будут командовать еще двумя отрядами, а кто войдет в четвертый?

— Ты и твои люди.

Миранда наблюдает за Фернандо: спокойное лицо,— про такое лицо, пожалуй, скажешь «беззаботное», думает он.

— Мне это по душе.

— Кто будет у тебя заместителем?

— Директор школы.

— Но он женат, и у него дети.

— Да.

— Может, лучше выберешь другого — Рейеса, например.

— Ни в коем случае. Директор самый подходящий.

— А его дети?

— У каждого из нас кто-нибудь есть. А кроме того, он сам говорит: «Перед смертью, как и перед славой, все равны».

— Что ж, пусть получит свою долю той славы, которая достанется всем.

Внутри зоны, обозначенной красным цветом, Фернандо начертил четыре синих круга. Четыре министерства. У входа в каждое стоят по два полицейских, вооруженных древними «спрингфилдами», внутри помещения находится маленький арсенал — склад старых винтовок.

— Как поступим с пленными?

— Будь моя воля, я расстрелял бы их в ходе операции, но у меня как раз другие инструкции... так что заприте их где-нибудь.— Миранда замолчал и шумно вздохнул.— Уличные стычки — это мы уже обсудили... Ах, да, вот еще что: люди, которые займут министерства, должны в них закрепиться. Те, у кого нет оружия, обязаны находиться поблизости, чтобы после штурма завладеть всем имеющимся в министерствах оружием и занять позиции на крышах соседних домов. Займись вместе с руководителями зоны отбором участников штурма... Хорошо? — Миранда вновь замолчал и закурил сигарету.

Фернандо прищелкнул пальцами и наморщил лоб.

— Оставаться внутри министерств — чистое безумие,— сказал он.— Их трудно оборонять, слишком много входов и выходов... лучше всего забрать оружие и сразу перебраться в другое место.

Миранда посмотрел на Фернандо и, заложив руки за спину, стукнул кулаком о кулак.

— Министерства — вполне пригодные для обороны объекты... Их крыши господствуют над окрестностями, а двери...

Фернандо прервал его:

— Восстание не должно ставить своей целью оборону, оно должно быть с самого начала наступательным... Иначе нас сотрут в порошок.

Миранда жадно курил, словно ему не терпелось покончить с сигаретой, рука его, то и дело подносившая ко рту сигарету, будто сжимала и растягивала мехи невидимого аккордеона.

— Сначала атака, потом переход к обороне и ожидание реакции населения... Другого выхода нет... это приказ.— Миранда выдохнул целый клуб дыма, на мгновение почти скрывший от него Фернандо.

— Пусть так... А полицейское управление?

— Это дело людей Хуанчо. Они его только обстреляют, а потом перейдут на крыши соседних домов и оттуда будут держать полицейских под прицелом — если те попытаются высунуть нос из здания.

— Трудно им будет контролировать с крыш прилегающую местность. Тем более, что под крышей самого управления установлены два пулемета пятидесятого калибра.

— В любом случае они должны выполнять задание.

Склонив голову, Фернандо изучал карту. Потом завел свои часы.

— Что ж,— сказал он.— Раз так нужно, Хуанчо все поймет.

— Им вовсе не обязательно сидеть на крышах совсем рядом с управлением. Они могут закрепиться где-нибудь в ближайшем квартале и оттуда следить, чтобы полицейские не появлялись на улице.

— Главный штаб расположен в доме напротив скобяной лавки — пусть обращаются туда за дальнейшими инструкциями.

Миранда провел рукой по лбу, потрогал подбородок.

— Мне и самому кажется, что осталось множество нерешенных вопросов... не знаю... Мне тоже кое-какие вещи неясны, и все-таки,— Миранда положил руку на плечо Фернандо,— это наша единственная возможность, и мы обязаны ее использовать.

Фернандо улыбнулся.

— Оружие уже роздано людям? — спросил Миранда.

— Мы занимаемся этим со вчерашнего дня. А тот человек из «Трипле А»?

— Будет вместе с тобой штурмовать министерство. Завтра мы заберем у него автоматы.

Вдалеке послышались один за другим револьверные выстрелы, и тут же раздались автоматные очереди — они перекрывали отдельные редкие выстрелы, пока наконец не подавили их.

Миранда и Фернандо бросились к окну. На мгновение автоматные очереди смолкли. Потом они возобновились еще яростнее, на этот раз — гораздо ближе к дому. На углу показались два полицейских автомобиля, их пронзительные сирены остановили все движение. Машины пронеслись под окном и свернули в боковую улицу. Выстрелы почти совершенно затихли.

— Надо пойти посмотреть, в чем дело,— сказал Фернандо, оторвавшись от окна и проверяя свой пистолет.— Вдруг это наши люди?!

— Бесполезно.— Миранда сел в кресло у стола.— Ничем мы не поможем.

Воцарилась тишина. Выстрелов уже не было слышно. Зловещая тишина.

— Насколько мне известно, наши люди здесь операций не проводят.

— А те? — спросил Фернандо. Было совершенно ясно, кого он имеет в виду, хотя в разговоре их имена не были упомянуты ни разу. Зато собеседники не переставали думать о них.

Миранда отвернулся. Ему было больно говорить о Николасе и Ане.

— Это не здесь. Любовница Полковника живет в Виборе,— сказал он.

— Ты по-прежнему стоишь на своем?

Глупый вопрос, подумал Миранда, ведь об этом уже было все сказано утром.

— Да.

— А они не убьют Оскара в «час 0»? Если, конечно, он еще жив...

— Не думаю. Полицейским некогда будет думать о заключенных.

На улице вновь завыла сирена. На сей раз это оказалась патрульная машина, она промчалась в другую сторону.

— Арестованных повезли,— сказал Фернандо.

Миранда молчал.

— А если нас ждет неудача?

— Все равно это не разгром.

— И трудящиеся поднимутся на забастовку в разгар вооруженного восстания? — спросил Фернандо, понизив голос.

Именно этот вопрос не давал ему покоя с самого начала; и вообще — не слишком ли много вопросов за эти считанные дни? Оскар... Человек из «Трипле А»... Позиция рабочих... Миранда чувствовал, что нервы его на пределе. Но нужно держаться, любой ценой — ведь он руководитель.

— Ты рассуждаешь как семинарист,— сказал он.

— Если уж я ставлю жизнь на карту, предпочитаю, чтоб мне все было ясно,— раздраженно ответил Фернандо.

Следует немедленно вырвать с корнем даже намек на пораженчество — в такой момент оно особенно опасно. Ведь я руководитель, повторил Миранда. Я должен быть бдительным, даже если сам не во всем убежден.

— И ты спрашиваешь об этом в такой момент? Конечно, поднимутся,— голос его звучал твердо.— И потом, еще есть армия! Если дела пойдут хорошо, нас, возможно, поддержит часть армии.

— Не верю! Все солдаты — сукины дети...

По тротуару, на противоположной стороне улицы, идут люди. Миранда наблюдает за ними из окна. Солнце заволакивает огромная черная туча. В комнате темнеет.

— Это еще не все,— сказал он как бы про себя. «А вдруг они именно таковы?» — шевельнулась у него мысль.

— Шайка убийц,— бросил Фернандо.

— В этом-то и заключается риск... Поверить в них... Верить рабочим, доверять другим слоям населения... И, наконец, люди в горах...

— Поверь, я не чувствую страха, но... если мы потерпим поражение? Что потом?

— Никакого «потом» не будет.

23 апреля

Часов в десять утра мне домой позвонил Маркос. Он говорил волнуясь, голос его прерывался, и мне сразу пришло в голову, что, должно быть, случилось нечто серьезное.

— Вчера заболел Габриэль,— сказал он.— Ты меня слышишь?

— Да...— ответил я.— Где?

— Во время ночной работы... Ты хорошо слышишь?.. Что-то трещит в трубке,— заторопился он, будто собираясь прервать разговор.

— А ты?.. Как ты?..

— Все в порядке.— У меня не осталось ни малейшего сомнения: он был чем-то встревожен. Очень уж необычно звучал его голос.— Слушай меня хорошенько, я сейчас улажу кое-какие дела с людьми, которые знают Габриэля, а потом, часов в семь вечера, зайду к тебе, и мы все обсудим. Никуда не уходи, не выбирайся из дому... С Габриэлем все в порядке, и к тому же ему неизвестен твой адрес,— сказал он, а я подумал, что не очень-то осторожно с его стороны сообщать такое по телефону.

— Жду тебя,— ответил я, и Маркос повесил трубку.

Я прошел в гостиную, сел в кресло и задумался, глядя на ясное, чистое небо: «Поразительно, просто поразительно, как это мы попадаемся один за другим» Вытащив из-за пояса пистолет, я тщательно проверил обойму, затвор, затем опять сунул его за пояс — туда, где всегда носил его. Потом закрыл глаза.

Нет, я никого не пытал. Пытали они — Боксер, Гуахиро, Бехуко, Бородавчатый и еще этот — он свирепствовал больше всех. А того парня я видел только один раз, ночью. Меня послали за ним вниз и велели привести в кабинет к Полковнику. Там я его и оставил, с ними. Был примерно час ночи.

Что произошло потом? Я стоял у дверей кабинета, но с наружной стороны — на карауле. Вскоре раздались крики. А где-то в се-

редине допроса парню, видно, пришлось совсем худо, потому что я слышал, как он кричал: «Выродки, сволочи, подло убиваете меня... посмотрел бы я на вас в честном бою...» В этот момент вышел Бородавчатый и приказал мне принести веревок — они собирались связать его. Через полчаса они выволокли парня и потащили на улицу — на нем живого места не оставалось. Больше я его не видел.

Генератор? Да, я кое-что смыслю в электричестве, но, клянусь, я его током не пытал. Это они подводили ему провода к причинному месту... Вышел Сержант и потребовал генератор. Я принес и сразу ушел из кабинета. Внутри были Сержант, Полковник, Боксер, Бехуко и этот тип. А после Бородавчатый рассказал мне, что Боксер ударил парня в лицо и перебил переносицу, а когда парень упал, этот тип прыгнул ему на живот, а потом Полковник сам приложил электрод к его... простите, половым органам. От боли парня стошнило, и мне приказали вывести его в туалет. Из носа и изо рта у него текла кровь — вся моя форма испачкалась. Тогда появился Полковник и сказал: «Получил свое, вонючая мразь, теперь он у меня заговорит. Убери-ка тут. И принеси мне мое прохладительное, я вспотел, как кочегар. Сообщите моей жене, что я не буду ночевать дома, пусть ждет меня в одиннадцать утра — я повезу дочерей на открытие карнавала».

Помню еще, Бородавчатый мне сказал: «Видел бы ты, как Бичо плясал у него на брюхе — точь-в-точь жаба,— обмочился бы со смеху». Вот и все. Клянусь, я ничего ему не сделал. Я даже смыл с него в туалете кровь и дал ему во что переодеться — его одежда уже ни на что не годилась.

23 апреля

Вышло совсем не так, как мы с Маркосом договорились. Я прождал его весь вечер и всю ночь в доме на 37-й улице. Это была третья моя конспиративная квартира. Я успел уже побывать в доме на улице Вапор, уйти оттуда меня умоляли хозяева: я им внушал смертельный ужас; затем я перекочевал в убогую комнатку пансиона Паррага на улице Атуэй, из нее я сбежал сам, терзаемый страхами и подозрениями: каждый сосед мне казался доносчиком, повсюду чудилась опасность. Так я оказался в доме на 37-й улице; его хозяйка, донья Исабелита, заботилась обо мне как о родном сыне; может быть, я действительно напоминал ей сына. бывшего флотского капитана, сосланного два года назад на остров Пинос за участие в неудавшемся военном заговоре.

В этот вечер полумрак гостиной сквозь раскрытые окна сливался с тенями сада, в нем словно растворились вещи и мебель, и с трудом можно было различить седые волосы Исабелиты и тусклый блеск золотого обручального кольца на левой ее руке. Она рассказывала мне, как ее сына предали другие заговорщики, в решающий момент не поддержавшие попытку переворота. Тихие и скорбные, слова ее плыли ко мне из полутьмы, и я думал, что Маркос, наверно, уже не придет. Она говорила о том, сколько выстрадал ее сын (по ее словам, раньше ему не приходилось страдать), а я рассказал ей о Маркосе, о себе, обо всех нас, о суровой жизни, выпавшей нам на долю,— и мы спрашивали друг друга, неужели так будет всегда.

Исабелита замолчала, и с улицы стал явственно доноситься треск цикад и кузнечиков — в моих ушах он отдавался сигналом тревоги, предвещающим новые несчастья. Она закурила сигарету, при слабом мерцании зажженной спички я разглядел на ее губах ласковую улыбку, напомнившую мне о матери.

— Нет, долго так продолжаться не может,— сказала она.— Господь не допустит этого. Но пока это длится, вы должны беречь себя.

Я ощутил прилив беспредельной нежности к этой женщине. Захотелось расцеловать ее и поблагодарить.

— Что ж,— сказал я,— пожалуй, пойду лягу.

Ворочаясь в постели и приминая простыни (новые, чистые простыни), я не переставал задавать себе вопрос, почему все-таки Маркос не пришел.

В полночь его разбудили. Еще полусонного, его ввели в кабинет Полковника. Кондиционер работал на полную мощность, и из кабинета пахнуло холодом покойницкой. С одной стороны от Полковника стояли Боксер и Гуахиро, с другой — Бородавчатый, а за спиной — Сержант и Бехуко. Полковник восседал на письменном столе. Резиновая дубинка в руках Бичо не предвещала ничего хорошего.

— Давай обсудим еще раз детали,— говорит Николас и обшаривает улицу глазами: она пуста.

— Около трех,— говорит Ана,— он навещает свою любовницу — ее квартира находится на верхнем этаже, над банком. Он ездит к ней всегда на двух машинах, в каждой по четыре человека. Одна машина останавливается поодаль, а другая — с Полковником подъезжает прямо к зданию. Полковник вместе с псом поднимается наверх, остальные ждут в автомобиле.

— Так,— говорит Николас.— Дальше!

— В два часа сорок минут ты и Эктор войдете в банк, направитесь к телефонной кабинке, что у стеклянной двери, и сделаете вид, что звоните. Я буду прогуливаться на улице и в случае опасности предупрежу вас... В два часа сорок пять минут на грузовике Электрической компании подъедут Хуан Альберто и Куко — якобы для того, чтобы исправить неполадки с электропроводкой... В грузовике у них будет два автомата... Когда Полковник войдет в здание, вы выскочите навстречу и выстрелите в него и в его телохранителя, а Хуан Альберто и Куко возьмут под обстрел людей в автомобиле.— Ана говорит тихо и размеренно, словно повторяя урок из катехизиса. Кончив, она наклоняет голову и отирает рукой губы.

Из вестибюля кинотеатра «Аламеда» Николас и Ана внимательно наблюдают за пассажирами, сошедшими с автобуса и расходящимися в разные стороны. Николас одет в белый, тщательно отутюженный костюм и белую, туго накрахмаленную рубашку с синим галстуком. Темные очки защищают его глаза от слишком яркого солнца. На Ане черные брюки и белая блузка. В руке у нее — широкая сумочка из черной кожи.

Николас смотрит на часы: час дня.

— Я точно назвала ему время и место,— говорит Ана и перекладывает сумочку в другую руку.

— Когда? — Николас беспокойно оглядывается.

— Вчера, в восемь вечера, в доме Ренато, там они разместились,— нетерпеливо отвечает Ана, оглядывая улицу.

Вдалеке, на углу улицы 10 Октября, показывается еще один автобус и через несколько минут останавливается у кинотеатра. Среди выходящих пассажиров Эктора снова нет.

Мучительное ожидание. «Не случилось ли чего?»

Николас поднимается по ступенькам кинотеатра.

— Пойду звонить,— говорит он. Вверху, у двери в кафетерий, телефон-автомат. Николас набирает номер. Пока он разговаривает, солнце светит прямо в его темные очки, блестит золотая оправа. Николас взмахивает рукой, качает головой, дергает пальцами шнур аппарата и наконец бросает трубку и быстро возвращается к Ане.

— Ребята уже вышли, но об Экторе никто ничего не знает... Вчера он туда не приходил.— Николас говорит быстрым шепотом.— В одиннадцать часов он заявил, что хочет повидаться с женой и детьми, и отправился ночевать домой, однако обещал сегодня в час быть здесь... Неужели струсил?

— Эктор никогда не был трусом.— Ана изо всех сил сжимает руками свою сумочку, словно этот жест может выразить ее уверенность.— Подождем еще... у нас есть время до половины третьего... Если в два часа его не будет, сделаем все сами... Я заменю его.

Николас подносит левую руку к лицу, снимает очки. Правую руку он крепко сжал в кулак и держит ее на уровне пиджачного кармана, словно собираясь нанести кому-то удар.

— Это невозможно! — говорит он, и в голосе его слышны тревога и боль от предчувствия катастрофы,— невозможно, я тебе не позволю...

— Я умею стрелять из пистолета... из автомата — нет, но из пистолета — вполне прилично... Стрелять из автомата я бы не стала, а из пистолета буду.— Голос Аны звучит сурово и жестко, и Николас понимает, что не устоит перед ее решимостью.

— Хуан... остальные ребята... любой из них троих сможет его заменить... любой...

— У каждого из них свое задание, и, кроме того, уже поздно, они ушли раздобыть грузовик,— обрывает Ана и смотрит на часы: двадцать минут второго.

— Эктор придет,— твердит Николас, стараясь убедить себя, что так и будет.— Подождем его.

Ана отрицательно качает головой и глядит в ту сторону, откуда появляются автобусы.

— Хоть бы он приехал на такси,— шепчет она.

Николас надевает очки. Его терзают мучительные опасения: вдруг Эктор не явится и ему, Николасу, придется принимать трудное решение. Отменить ли операцию (а как быть с теми, кто уже выехал на место?), или в одиночку выполнить возложенную на него и Эктора задачу (что сводило к минимуму шансы на успех), или же, что хуже всего, позволить Ане заменить Эктора? «Нет, этого я никогда не разрешу... ни за что,— повторяет он про себя,— я застрелю Полковника один».

Николас прислоняется к стене кинотеатра, и на его безукоризненно белом костюме появляется темное пятно; в который раз глядит он на часы и собирается что-то сказать, но в этот момент за их спиной раздается шум и слышится голос. Он и Ана оборачиваются одновременно. На ступеньках лестницы стоит Эктор и смотрит на них.

— Наконец-то ты при...— начинает было Николас, но слова замирают у него на губах.

Эктор спускается на несколько ступенек, они поднимаются ему навстречу.

Первое, что бросается им в глаза,— его голова: волосы в полном беспорядке, будто кто-то их яростно растрепал, багровое пятно разлилось по левому виску и скуле, от уха до глаза, веки ужасно вспухли, и глаз наполовину закрыт.

— Что с тобой стряслось? — почти шепотом спрашивает Ана, но

Эктор не отвечает. Он вцепился в перила лестницы, словно вот-вот упадет.

— Простите меня, простите,— едва слышно говорит он, с трудом шевеля распухшими губами.

— Ни с места! — раздается вдруг громкий, резкий голос.

Ана поднимает глаза. На верхних ступеньках лестницы стоит молодой человек, очень молодой — первое, что бросилось в глаза Ане, его крайняя молодость — и целится в них из пистолета.

Ана скорее угадывает, чем видит, прыжок Николаса через всю лестницу, на нижние ступени. Он падает, поднимается и, хромая, бежит к краю тротуара, где стоят машины. Вверху, там, откуда раздался голос, появляется дуло автомата и почти мгновенно язычки пламени. «Нет, меня им не схватить, не схватить»,— шепчет Ана, падает и катится вниз по лестнице. Колени ее больно ударяются о ступени. Присев на корточки у автомобиля, Николас прицеливается из своего «люгера» и стреляет в язычки пламени. Какие-то секунды Ана видит Эктора, бегущего по улице Санта-Каталина в сторону улицы 10 Октября; потом человек на лестнице поднимает руку — и Эктор, словно переломившись надвое, падает. На некоторое время воцаряется странное, пугающее затишье, Ане оно кажется бесконечным, хотя все это длится не более двух-трех секунд. Те, наверху, осторожно спускаются по лестнице. Укрывшись за автомобилем, Николас в своем безнадежно перепачканном костюме подстерегает их, он тяжело дышит, жадно хватая воздух открытым ртом. Держась за стену, Ана делает попытку встать и броситься к нему на помощь, но ноги ее не слушаются. Наверное, сильно ушибла их, когда упала. «Может быть, я ранена?» — мелькает у нее подозрение. Но никакой боли она не чувствует. Вдруг она замечает, что сумочка все еще с ней. Молнией проносится мысль: в сумке гранаты! Открыв сумку, она вытаскивает одну, круглую, как ананас, и с силой дергает за предохранительное кольцо. Несколько мгновений она держит гранату в руке, затем бросает ее, словно мяч, об стену, так, чтобы взрыв обрушился на тех, кто на лестнице,— и, сжавшись в комок, ждет. Сверху вновь доносится частая дробь выстрелов. С противоположной стороны улицы к Николасу бегут вооруженные люди. Он стоит к ним спиной и не видит их. Ана вскакивает и, хромая, спешит к нему.

— Ложись на землю... ложись! — кричит ей Николас и сам пригибается, Ана смотрит на него и слышит дробь выстрелов впереди, потом дробь выстрелов раздается позади нее.

— Они у тебя за спиной, берегись! — кричит Ана, но Николас не шевелится. На его белом пиджаке появляется пятно — как ярко-красная монета. Тогда Ана выхватывает вторую гранату и крепко прижимает ее к себе, не выпуская из пальцев предохранительное кольцо. Последнее, что можешь сделать в жизни,— это умереть. «Живой они меня не возьмут!»

Сильный удар по руке заставляет ее выронить гранату — и она катится туда, где лежит Николас. Его окружают вооруженные люди, один из них, самый высокий, приставляет автомат к его груди. Ана не разбирает, что говорит Николас, но слышит хриплый голос высокого: «Сволочь!» — вспыхивают языки пламени, грохочет автоматная очередь.

Упираясь руками в землю, Ана пытается приподняться, но боль в коленях снова подкашивает ее.

— Убийцы! — кричит она.— Убийцы!

К ней подходит полицейский и прикладом автомата бьет ее по голове. Больше Ана ничего не чувствует.

Четвертая неделя апреля

Прошла целая неделя, но Маркос так и не появился. Целая неделя, в течение которой с какой-то зловещей неотвратимостью следовали аресты членов нашей группы (они начались вскоре после того, как схватили Габриэля,— о нем, кстати, нам тоже ничего не известно). Немногие оставшиеся на свободе товарищи затаились в надежных укрытиях. Я не выхожу из своего убежища (да и к чему?); к счастью, о нем знает только Маркос.

ГУСТАВО

Он улыбается, отирая потное лицо платком. Липкий пар поднимается от земли, проникая во все поры тела. Кое-где на улице плавится асфальт, его вязкая масса прилипает к подошвам редких прохожих, торопливо пересекающих улицу и старающихся держаться теневой стороны.

Сидя у стойки маленького бара на улице Нептуно (хозяин бара — член организации), Густаво разглядывает улицу и усмехается. Рядом с ним из тонкого длинного бокала потягивает пиво Роберто. В глубине бара большие стенные часы показывают два часа.

По узкой улице едет полупустой автобус.

— Как же все это вышло? — спрашивает Роберто, опустив на стойку свой бокал с пивом.— Кто подложил бомбу?

— Ирене.

— Та, что учится в институте?

— Училась, но год назад бросила.

— Тогда же, когда и ты.

— Да, только меня исключили.

Роберто отхлебывает, на губах остаются следы белой пены.

— С тех пор произошло немало событий.

— Да, немало. Многих товарищей мы потеряли... У нашего института уже есть свои герои и мученики.

В бар входят люди, заказывают пиво. Густаво наблюдает за ними.

— Но организация значительно окрепла. Теперь мы уже не маленькая горстка людей, как в пятьдесят шестом году,— говорит Роберто, пригубив бокал.

Вошедшие подходят к стойке, пьют пиво, смеются. Бармен подает им игральные кости, и они, не отрываясь, следят за белыми кубиками, катящимися по отполированной поверхности стойки.

— Батиста долго не продержится, если мы будем действовать умело,— говорит Роберто, глядя, как игроки бросают кости.— Теперь Браво призывает нас вести работу, имея в виду перспективу всеобщего восстания.

— Давно пора!

— Есть еще одно обстоятельство.— Роберто умолкает и допивает свой бокал.— Вот почему я хотел встретиться с тобой. Командир считает, что я слишком на виду и дольше оставаться здесь мне опасно; меня посылают с заданием в горы.

Забыв про недокуренную сигарету, Густаво в изумлении смотрит на Роберто.

— А наши люди?

— Меня заменишь ты,— говорит Роберто.— Я уже обсудил это с Браво, он согласен... Руководителем группы назначаешься ты.

Ну да, я и есть тот самый Гуахиро, знаменитый Гуахиро. Зовут меня Хосе Робле. Не знаю, что вам еще от меня нужно. Уже три

раза меня вызывали в суд, каждый день — судебное разбирательство. Зачем вам это? Расстрелять меня вы все равно можете только один раз... А все из-за того, что мне чертовски не повезло и у меня кончились патроны, иначе не видать бы меня вашим милисиано.

Раз уж меня приговорили к смерти, я расскажу все, что мне известно. Ничего не утаю... Пусть все знают, я не был там единственным убийцей, были и другие, те, что теперь прикидываются святыми ангелочками. Верно, я причастен к пыткам, но это — все. Остальное делали другие.

Я был в охране Полковника. В тот вечер он поехал на праздник в дом Альвареса, богатого помещика,— дочь Альвареса кончила курс в американском университете, и они отмечали получение диплома. Уже после полуночи нам сообщили по рации, что какие-то неизвестные в штатском обстреляли из автоматов нашу патрульную машину. Я доложил Полковнику, и тот выехал в управление. Рассвирепел он страшно — просто как зверь. Кричал: мол, покажет им всем, пусть знают, с ним шутки плохи. Раньше я только раз видел его в такой ярости — когда стреляли по полицейским, выходившим из управления... В ту ночь прямо на улицах вывели в расход восемьдесят человек. Сам Полковник в управлении прикончил больше двадцати арестованных. Тогда-то и вышла эта промашка: под горячую руку он кокнул сына самого командующего — его накануне случайно задержали за какую-то драку...

По дороге Полковник чертыхался: «Я им задам жару, этим подонкам, они у меня узнают, что к чему. Что скажет Генерал, когда узнает, что в городе запросто, без помех, убивают полицейских? Да он выкинет меня к чертовой матери! Нет, я выловлю всех, кто стрелял. Пусть Генерал видит мою работу. Наверняка этот сопляк знает, кто стрелял. И он у меня заговорит, он у меня заговорит — или я ему хребет перешибу».

ИРЕНЕ

Она глядит на мужчину, который улыбается ей и называет себя Николасом Сантаной (впрочем, может быть, это подпольная кличка); мужчина протягивает ей руки и не отрываясь смотрит на нее. Она его прежде никогда не видела, но он как будто давно знает ее. И повторяет, что его зовут Николас Сантана. Командир знакомит их и тут же уезжает, оставив вдвоем. Начинается ливень, струи воды обрушиваются на землю словно камнепад. Люди бегут, торопясь укрыться в парадных. Они тоже прячутся в парадном какого-то здания. Николас достает из кармана платок и предлагает его Ирене, она вытирает мокрое лицо. Несколько минут они стоят совсем близко друг к другу, глядя, как тротуары и мостовая покрываются лужами.

— Дождь вроде зарядил на весь вечер,— говорит Николас и улыбается.

— Вроде так,— отвечает Ирене.

— А у меня в пять часов собрание,— говорит он, но Ирене не поддерживает разговора. Она смотрит на струи дождя.— Наверное, мы будем работать вместе,— произносит он и снова улыбается.

— Да,— роняет Ирене, не оборачиваясь к нему. Николас замолкает и принимается рассматривать улицу. Ливень все усиливается. По мостовой течет уже настоящая река, которая вот-вот затопит тротуары.

— Похоже, ты не из разговорчивых,— говорит Николас, и лицо его грустнеет.

Ирене оборачивается и впервые улыбается ему.

— Прости,— говорит она.— Это не из-за тебя. Просто я устала... засмотрелась на дождь, задумалась о своем... Это красиво, когда идет дождь... иногда мне хочется бегать под дождем и кричать...— Ирене обрывает себя, смотрит на Николаса и громко смеется.

— Я тоже люблю дождь...

— В детстве я жила в деревне. Когда шел дождь, мы с братом выбегали из дому и гуляли, пока не вымокнем насквозь. Мой брат носился бегом и кричал, я его догоняла. Потом, прикрыв голову полотенцем, выходила мать и грозила рассказать про все отцу. Но он возвращался поздно и ничего нам не говорил, потому что тоже любил мокнуть под дождем...

— Мне бы тоже это понравилось...

Ирене хохочет так звонко, что смех ее заглушает шум дождя.

— Я все это сочинила, а ты поверил! Я родилась и выросла в маленьком тупичке на улице Эстрелья и в деревне никогда не была.

Ирене весело, но Николас хранит серьезный вид.

— Не думай, я не сумасшедшая,— улыбка исчезает с губ Ирене.— Но иногда у меня такое чувство, словно голова вот-вот раскалется от забот, и тогда я должна что-нибудь придумать и хоть немного посмеяться... Не обращай внимания... И не считай меня дурочкой...

Николас опять улыбается, но выражение лица у Ирене уже снова суровое. Ливень стал ослабевать, какая-то женщина, держа в руке зонтик, пытается перейти вброд через поток, несущийся по мостовой.

— Ничего, со мной тоже частенько такое бывает...

По улице, поднимая тучи брызг, проезжает автомобиль, женщина выкрикивает ему вслед ругательство.

— Почему ты за революцию? — спрашивает Николас.

— Мой брат... его убили,— сдавленным голосом объясняет Ирене.— А ты?

— Бог знает почему. Просто мне все это не по душе... У нас дома всегда все были против Батисты.

Ирене высовывает руки из парадного, проверяя, не утих ли дождь. Несколько капель падает ей на пальцы. По улице, затопленной водой, движется автобус.

— Дождь почти перестал,— говорит она.— Если побежим, успеем сесть на автобус. Остановка здесь близко.

— Нет,— отвечает Николас и кивает на свою ногу.— Мне за ним никогда не угнаться...

— У тебя что-то с ногой? — удивленно спрашивает Ирене.

— Она у меня... плохо действует... В бою без жертв не обходится.

— А что случилось?

— Меня подстрелили,— с горечью улыбается Николас.

Ирене пристально всматривается в него, Николас начинает моргать. Луч солнца, выглянувшего наконец из-за туч, освещает его широкую атлетическую спину. «А он смелый,— думает Ирене.— Он смелый и, наверное, поможет мне отомстить за брата».

Автобус, постояв на углу, вновь трогается в путь. Солнце окончательно разрывает кольцо туч и заливает все ярким светом. Дождь прекратился, из укрытий выходят на улицу люди.

— Пойдем,— говорит Николас и тоже идет на улицу. Ирене выходит вслед за ним и берет его под руку. Они шагают вместе, осторожно минуя лужи. Николас слегка прихрамывает.

15 мая

В парке, на углу 15-й и 16-й улиц, где мы, бывало, совещались с Менокалем, я встретил Блондина. Он казался очень встревоженным, его глаза беспокойно блуждали по сторонам. Тем не менее он твердо заявил мне, что не двинется из Гаваны, даже если его убьют.

— Отсюда я выеду только ногами вперед,— сказал он и сделал попытку улыбнуться, однако губы его тронула лишь вымученная гримаса, его исхудавшее, измученное лицо стало еще страшнее.

Мы, как могли, разобрались в обстановке, подсчитали, кем и чем еще располагаем. Не считая Маркоса и Габриэля, было арестовано пятнадцать товарищей; пятеро пропали без вести — возможно, скрываются где-нибудь в Гаване. Мы потеряли два автомата и шесть пистолетов. На свободе осталось десять товарищей, при них — пять пистолетов и один автомат.

— Что будем делать? — спросил Блондин.

Из похожей на старинный корабль церкви, что напротив парка, стали выходить прихожане — закончилась месса.

— Нужно провести реорганизацию,— сказал я и взглянул на свои руки: отросшие грязные ногти, точь-в-точь заплесневелые когти...

— Правильно,— ответил Блондин, не спуская глаз с богомольцев.— А связь с Браво?

— Потеряна вместе с Маркосом. Но я знаю, как восстановить ее, через одного из его людей,— сказал я, вспомнив о человеке с динамитом.— Я позвоню ему сегодня же.

— Хорошо,— произнес Блондин и опять улыбнулся, на сей раз улыбка получилась.— Займись им, а я увижусь с теми людьми, которые еще на свободе.

ИРЕНЕ

Из-за стола адвокат сияет широчайшей улыбкой. Сидя в кресле, Ирене посматривает на правую руку Николаса: он сидит рядом, в точно таком же кресле и подписывает бумагу, которую ему только что вручил адвокат. Кончив, он с минуту разглядывает бумагу, потом протягивает ее Ирене. Стоя позади них, за всем происходящим наблюдают Иоланда и ее родители, а также Густаво и Фернандо. Ирене берет бумагу и, не глядя, выводит на ней быстрый росчерк. Затем поднимает голову и смотрит на адвоката. Николас улыбается, она, напротив, очень серьезна.

— Вот и прекрасно,— произносит адвокат.— А сейчас очередь за свидетелями.

Иоланда и Густаво подходят к столу и ставят свои подписи. Принимая от Густаво бумагу, адвокат торжественным голосом произносит:

— Теперь вы муж и жена.

— Да здравствуют новобрачные! — тихонько восклицает Иоланда и хлопает в ладоши.

Николас и Ирене встают с кресел и поворачиваются к присутствующим. Зал полуосвещен — занавеси на окне почти до конца задернуты. В воздухе чувствуется сырость — на улице дождь.

— Пусть поцелуются,— требует Фернандо, вскинув руки.

Николас поднимает руку, словно для присяги.

— Поцелуи и медовый месяц — после победы,— объявляет он, и все смеются.

— Да услышит тебя господь,— шепчет мать Иоланды и, подойдя к Ирене, долго обнимает ее.— Доченька моя, такая молоденькая и

уже замужем. Ведь ты почти дитя... А может, так-то и лучше...— говорит она, целуя девушку в обе щеки.

— Мама,— с упреком шепчет ей Иоланда и тоже целует Ирене. Отец Иоланды жмет руку Николаса.

— Свадебного путешествия у вас не будет,— говорит он,— зато знайте: вы можете остаться у нас на две недели, пока из деревни не приедет мой сын.

— Спасибо, Маркос, мы знаем...— улыбается Николас.

В коридоре появляется старушка с подносом в руках, на нем — полные бокалы. Она молча обносит собравшихся. Адвокат высоко поднимает свой бокал.

— Ну, дорогие мои, желаю вам большого счастья и много приятных неожиданностей — но только приятных,— говорит он. В ответ ему слышится смех, несколько напряженный. К Николасу подходит Густаво.

— Нам пора идти,— говорит он.

Николас пересекает зал и исчезает в соседней комнате. Оттуда доносится звук заряжаемого пистолета. Николас возвращается в зал и целует Ирене. Потом вместе с Густаво и Фернандо направляется к выходу. В распахнутую дверь с улицы врывается холодный воздух. Ирене смотрит, как они выходят, один за другим, последним — Николас.

— Боже мой! — тихо восклицает мать Иоланды.

Ирене вспоминает Эдуардо, потом — брата: «Если бы он мог быть сейчас со мной!» Руки ее крест-накрест ложатся на юбку.

17 мая, утром

Мне опять ответил усталый, надтреснутый голос женщины: да, она все передаст и просит позвонить еще раз через двадцать минут. «Спасибо»,— сказал я, вешая трубку. Часы с кукушкой на стене гостиной Исабелиты показывают двенадцать. Я сел и положил ноги на маленький столик, стоящий в центре комнаты. Не нравился мне этот человек. Слишком уж осторожный, какой-то скользкий... Ровно в двадцать минут первого я снял телефонную трубку и медленно набрал номер, который мне дал Маркос.

Ответил голос старухи:

— Сегодня в три часа, в кафе Лопеса Серрано.— Она произнесла это так, словно назначала деловое свидание.— У него в руках будет черный чемоданчик с приготовленными бумагами, а вы купите себе газету «Мундо», сегодня она печатает интересные новости.— Она выделила голосом слова «черный чемоданчик» и «газета», и я понял, что по ним мы узнаем друг друга.

— Хорошо,— ответил я и положил трубку.

Из кухни, улыбаясь, показалась Исабелита.

— Кушать подано,— сказала она, шутливым и ласковым жестом приглашая меня в столовую.

— Сейчас иду,— ответил я, следуя за ней к столу, хотя, по правде говоря, не чувствовал ни малейшего аппетита.

— Садись-ка сюда.— Полковник старался, чтобы голос его звучал мягко.— Слушай, малыш, мы, конечно, малость переборщили с тобой, но ты уж не серчай. В конце концов, все для твоего же блага. Ведь ты умный парень и понимаешь, что свалить «Самого» просто невозможно. Вы, жалкие молокососы, подбрасываете свои бомбы, устраиваете покушения — но чего вы этим добьетесь? Да ничего!

Своими действиями вы лишь подрываете государство, а ведь оно в конечном счете — наше общее. Вместо того чтобы заниматься глупостями, вам бы следовало побеседовать с «Самим». Он человек широких взглядов... Хотите убрать его — для этого есть выборы, именно на них народ изъявляет свою волю... Послушай, я хочу помочь тебе, я ведь вижу, ты парень разумный; вот тебе,— он сунул руку в ящик стола,— жетон капрала полиции, пистолет и триста песо, на первое время. Если тебе не по душе быть полицейским, я дам тебе триста песо и добуду для тебя заграничный паспорт, отправляйся на все четыре стороны. От тебя требуется одно: сотрудничество с нами — ненадолго. Скажешь нам, где твой командир и кто стрелял в полицейскую патрульную машину. Сущая чепуха — зато ты решишь все свои проблемы.

— Плевать я хотел на вас, Полковник, и на вашу...— договорить он не успел. Сзади на него обрушился мощный удар в затылок.

Он упал на четвереньки. Удар ногой в грудь перевернул его на спину. Глядя в потолок, он сжался, ожидая новых ударов.

— Ах, вот ты как, свинья... Ну, держись!

Сержант схватил его за горло и поднял на ноги; кулак Сержанта, глубоко войдя в живот, казалось, пропорол желудок.

— Сукин сын!

Одним рывком он высвободился из лап Сержанта и отскочил к стене, выставив вперед сжатые кулаки. Потом выбросил руку вперед, стараясь достать Сержанта. Тот парировал его удар, случайно подставив запястье с часами. Часы разлетелись вдребезги.

— Подлец, разбил мои часы, они стоили мне сто песо! Да я убью тебя...

К нему протянулось сразу восемь рук. Один кулак угодил ему в нос — точно в переносицу. Кровь брызнула на рубашку.

Они принялись топтать его. Бичо отплясывал у него на животе. «Видел бы ты, как Бичо скачет, точно жаба, обмочился бы со смеху».

— А теперь посмотрим, вправду ли ты такой храбрец,— громко объявил Полковник.— Нене, принеси генератор.

На минуту его оставили в покое.

— А ну, спускай штаны.

— Сам спускай, сволочь!

Хищная рука рванула ему рот.

— Давай сюда веревки, Бородавка!

С него стянули брюки, трусы. Он лежал посередине комнаты, голый, со связанными руками и ногами. Прямо в глаза ему направили свет лампы.

— А-а-а-о-ой, мерзавцы...

Нене опять согнулся над ним. И вновь две проволоки, отходившие от генератора, вонзились в его тело.

— Давай, давай еще! Сейчас он у нас заговорит!.. Раз ты такой смельчак — получай! — От страшного удара ногой голова, казалось, треснула.

— Хватит, стойте, я больше не могу... Хватит, я все скажу!

— Стоп, Нене! — приказал Полковник.— Парень как будто уразумел, что к чему.

Его развязали, посадили.

— Говори или получишь еще порцию тока.

— Хватит, я все скажу, я приведу вас туда, где все они, где те люди, которые стреляли в патрульную машину. Только оставьте меня в покое!

— Где твой командир и Браво?

— Адреса я не знаю, но могу отвести вас туда. Это в одном жилом доме.

— Отлично, едем сейчас же. Чино, приготовь людей! — крикнул Полковник.

17 мая, вечером

Я шел между пустыми столиками кафе, разыскивая взглядом человека с черным чемоданчиком, но в зале находился только один старик, довольно дряхлый,— скорчившись в углу, он неторопливо потягивал что-то из темной бутылки. За стойкой официант быстрыми, ловкими движениями перетирал чистые бокалы. Я сел за столик у окна — оттуда можно было держать в поле зрения и улицу, и входную дверь — и попытался мысленно представить себе человека, которого ждал. «Бесполезно! — сказал я себе наконец.— Единственное, что было у меня с ним связано,— голос больной женщины, отвечавшей по телефону. Но разве этого достаточно, чтобы судить о нем самом?»

— Шоколадный коктейль,— заказал я официанту; старик в углу, услышав мой голос, на мгновение поднял голову, точь-в-точь как тюлень, и снова уткнулся в свою бутылку.

Я встал и направился к стенду с газетами, взял один номер «Мундо» и, заплатив пять сентаво, вернулся к столику. Официант принес мой коктейль, и я отпил потихоньку его, чувствуя, как в горло вливается холодная жидкость. С улицы донесся шум тяжелого грузовика, проезжавшего мимо кафе. У входа послышались шаги, и я впился глазами в дверь.

В кафе вошла очень полная женщина лет пятидесяти, одетая в черное; обежав глазами помещение, словно высматривая кого-то, она уселась за столик в углу, недалеко от старика. Я пристально вгляделся в нее. Солнце безжалостно освещало сухую, как шершавая бумага, кожу ее лица. Женщина сильно вспотела и никак не могла отдышаться. «Неужели эта толстуха и есть та больная, говорившая по телефону? Не послали ли ее сказать мне, что встреча не состоится? Значит, я не увижу человека с черным чемоданчиком?»

— Добрый день,— послышался за моей спиной голос. Знакомый голос, но я так давно его не слышал, что не мог сразу вспомнить, кому он принадлежал. Поворот головы — и мой взгляд уперся в знакомые, широко раскрывшиеся глаза.

— Густаво! — воскликнул я и вскочил навстречу ему, готовый обнять его.

— Ты! — воскликнул в ответ Густаво.

Скользнув по нему взглядом, я увидел в правой руке у него черный чемоданчик.

«Густаво, человек с черным чемоданчиком, человек с динамитом, связной Браво»,— повторял я про себя, чувствуя, как его сильные руки сжимают мои плечи и звонко, точно весла по воде, хлопают меня по спине.

Мы сидели, не произнося ни слова, улыбаясь друг другу и не замечая, что женщина в черном и старик в углу, заинтригованные нашим поведением, не сводят с нас глаз. Я жадно смотрел на Густаво: он очень изменился, стал как-то выше, окреп. «Может, пополнел?» — подумалось мне.

— Мы не встречались почти два года,— заговорил он оживленно.— Как ты жил все это время?

Я уловил наконец, что мы оказались в центре внимания, и, понизив голос до шепота, коротко рассказал ему обо всем, что делал, пока мы не виделись — с той поры, как он оставил институт и следы

его затерялись, вплоть до последних дней... Потом я умолк, и за нашим столиком вновь воцарилась тишина. Старик, сидевший в углу, уже ушел, но женщина в черном по-прежнему сверлила нас недобрым взглядом.

— Ну, а Маркос? — сказал он, вопросительно глядя на меня.

— Рохелио,— ответил я медленно,— две недели назад он пропал.

Улыбка исчезла с его губ, лицо приняло напряженное выражение. Такой, озабоченный, он казался старше, гораздо старше своих двадцати двух лет.

— А как ты сам? — полюбопытствовал я, не решаясь спрашивать ни о каких подробностях.

— Когда будет поспокойнее, я все тебе расскажу.— Он снова улыбнулся. Медленно, не спуская с нас взгляда, женщина расплатилась и вышла. Из-за стойки на нас приветливо смотрел официант.

— Антонио,— попросил Густаво, обернувшись к нему,— одно пиво.— И пояснил мне: — Ему можно доверять, он работает с нами.

— Итак,— начал Густаво, когда перед ним появилось пиво,— зачем ты хотел меня видеть?

— Наша группа распалась, мы хотим восстановить связь с организацией,— ответил я, пряча руки в карманы.

— Будешь работать со мной,— сказал он твердо.— Мне нужны кадры... Разумеется, если сам захочешь...

Глядя на бутылку пива, я помедлил с ответом. Густаво внимательно наблюдал за мной. Он закурил сигарету, неторопливо выпустил колечко дыма.

— С тобой или с кем-нибудь другим... главное — работать... с тобой, конечно, лучше, ведь ты мой друг... Завтра я посоветуюсь с ребятами.

— Мне нужен доверенный человек... Ты водишь машину? — спросил он. Я утвердительно кивнул головой.— Ладно, увидим... Кстати, у меня для тебя сюрприз.

Густаво встал я последовал его примеру.

— Приходи ко мне завтра. Вот адрес,— сказал он, протягивая листок бумаги.— Это в Лоутоне... Если меня не застанешь — подожди или спроси.

Я взял листок, прочел то, что было там написано, и, скатав его в бумажный шарик, зажал между большим и указательным пальцами.

— А кого спросить? Густаво? — поинтересовался я, бросая бумажный шарик за окно.

— Нет-нет,— быстро ответил Густаво,— спросишь...

— Знаю! — прервал его я.— Спросить Миранду.

ИРЕНЕ

Забившись в глубину ресторана, туда, где освещение приглушено, Ирене за столиком медленно ест мороженое. Лавируя среди столиков и стульев, к ней пробирается юноша; она замечает его только тогда, когда он останавливается перед ней.

— Привет, Ирене,— говорит он и протягивает ей руку, она пожимает ее. Бледная, мягкая рука. «Его рука», — думает Ирене. Молодой человек с минуту не выпускает ее ладонь из своей, улыбается.

— Как поживаешь, Эдуардо? — спрашивает Ирене, отнимая руку. Эдуардо садится, кладет локти на белую скатерть, покрывающую столик.

— Давно мы с тобой не виделись,— говорит он, и губы его вздрагивают.

— Почти два года,— отвечает Ирене, глядя на улицу. Она уже не ест мороженое, оставила ложечку.

— С пятьдесят пятого...

К столику подходит официант в белой куртке и белых брюках; окинув презрительным взором поношенную рубашку Эдуардо, выбившуюся вдобавок из брюк, он спрашивает:

— Что вам подать? — и слегка наклоняется.

— Взбитый крем с яйцом и сандвич,— говорит Эдуардо. Официант записывает заказ и удаляется. Эдуардо чувствует, что очень голоден, что охотно съел бы гораздо больше, но тут же вспоминает, что в кармане у него всего одно песо.— Два года — большой срок,— замечает Эдуардо, снимая руки со стола и опуская их на колени.

«Как раз такой, какой нужен, чтобы забыть кого-нибудь напрочь, чтобы кости погребенного стали серым прахом»,— думает Ирене.

— Годы революции,— говорит она.

Возвращается официант, оставляет заказанное на столике и отходит. Ирене берет свою ложечку и вновь принимается за мороженое.

— Ты никогда не пыталась разузнать обо мне? — спрашивает Эдуардо и смотрит ей прямо в глаза, словно стремясь вернуть ушедшее время и то, что их некогда соединяло.

Ирене глядит на улицу: там густая тень, которую не может рассеять свет уличных фонарей, будто скользящий по ней. «Как поделиться тайными мыслями, скрыто живущими в нас, хотя мы сами о них порой не догадываемся?» — думает она.

— Никогда... но несколько часов назад Густаво сказал мне, что ты работаешь с нами и что я должна с тобой встретиться,— глаза Ирене сощуриваются почти до крохотных щелочек.

— Ты ушла из института, ушла из дому... и никто не мог... или не хотел... ничего о тебе сообщить... ни Иоланда, ни Рохелио, ни Густаво, никто.. Я много о тебе думал, я всегда думаю о тебе,— говорит Эдуардо, и его руки под столом судорожно сжимаются.

— Да...— В голосе Ирене звучит столько безразличия, сколько бывает у того, кто не имеет ни малейшего желания ворошить старые воспоминания.

— Ты, конечно, считаешь меня трусом.— Эдуардо говорит очень тихо и сдавленно, слова словно застревают у него в горле. Его руки под столом судорожно сцеплены, взгляд устремлен на белую скатерть.— Может быть, я такой и есть, но свой долг я выполнил, я тоже в организации... и знаешь, я всегда думаю о тебе... И вообще... все, что я сделал, я сделал ради тебя, но ты считаешь меня трусом, ты судишь обо мне по той, самой первой реакции.— Голос его слегка повышается и вдруг прерывается.

Ирене протягивает было к нему руки, но тут же отдергивает их. Несколько мгновений она молчит, но когда заговаривает, голос ее звучит сухо:

— Ты с нами, ты за революцию. Это — главное, а прошлое не в счет.— Лицо ее очень серьезно, она опять смотрит на улицу. «Достоинство человека, которого судят»,— думает она. Был ли Эдуардо трусом только потому, что не примкнул к борьбе с самого начала?

— Неправда, неправда, прошлое вечно тяготеет над нами, оно всегда будет давить на меня... поэтому ты и разлюбила меня... А вот я, я люблю тебя, как прежде.— Эдуардо говорит взволнованно, руки его стискивают край стола.

Издали доносится звук мощного взрыва, потом еще одного. Переполошившиеся посетители кафе выглядывают на улицу. За соседним

столиком требуют счет слишком громким для такого помещения голосом.

— Все изменилось...— торопливо, явно желая поскорее кончить разговор, говорит Ирене,— я люблю другого.

Эдуардо поднимает голову, глядит на нее, будто не веря. Потом снова прячет руки под стол.

— Густаво сказал мне, что мы должны обсудить одно дело,— напоминает Ирене.

— Да, верно... прости...— Голос Эдуардо уже звучит как обычно.— Завтра в девять мы должны забрать два автомата в магазинчике на улице Беласкоаин. Они спрятаны в коробки из-под одежды. Без четверти девять встретимся на углу Беласкоаина и Рейны.

— Хорошо,— отвечает Ирене. Оба молчат, Эдуардо сосредоточенно жует, Ирене доедает свое мороженое. Из глубины за ними наблюдает официант. Столики постепенно пустеют. Остается лишь несколько посетителей на террасе ресторана.

— А ты, где ты пропадал все это время? — спрашивает Ирене с милой улыбкой. Глаза ее, однако, смотрят строго и ясно.

— Разве Густаво тебе не рассказывал?

— Густаво — очень сдержанный человек... Совсем не тот, каким был в институте... Он только сказал мне, что теперь ты работаешь с нами и мы должны встретиться. Вот и все.

Эдуардо покончил с едой.

— Это долгая история... и не очень интересная. Как-нибудь я тебе ее расскажу.— Эдуардо подзывает официанта, расплачивается и встает.

Только что кончилось представление в «Трианоне», и выходящая публика заполняет весь тротуар перед рестораном. Спускаясь по ступенькам на улицу, Ирене оборачивается к Эдуардо:

— Раньше тебя звали Эдуардо Сальгадо. Тебя и сейчас так зовут?

— Нет, теперь я Оскар,— отвечает Эдуардо.

Итак, Полковник выехал вместе с тем парнем на шести машинах. Я был шофером в машине Полковника. Рядом с парнем сел Бичо. Мы окружили весь квартал. Десять человек остались сопровождать Полковника. Огни в доме были погашены. Мы поднялись на одиннадцатый этаж. Полковник спросил: «Где квартира?». «Вот она»,— сказал парень. Мы тут же ворвались туда. Он остался за дверьми, под охраной одного полицейского...

— Не могу больше! Прости меня, мамочка! — крикнул он и вдруг пустился бегом по лестнице. Мы и опомниться не успели, как он бросился в пролет вниз головой.

В пролет лестницы, вниз головой. Одиннадцать этажей. «Прости меня, мамочка!»

— Держите его! Хватайте его внизу, на первом этаже. Все вниз! Быстро! — отдавал приказы Полковник.

Когда мы спустились, он уже лежал там, лицом вверх, и не шевелился. Кажется, у него треснул череп. По крайней мере, кость одной руки прорвала кожу и торчала наружу. Видел я раньше людей после таких падений — и они всегда были мертвы.

— Пристрели его, Бичо, быстрее, пока не приехала «скорая помощь» и не увезла его! Стреляй, этот тип еще жив!

ИРЕНЕ

Все тело покрыто какой-то влагой, вокруг — совершенно темно, словно перед глазами плотное покрывало или бездонный черный ко-

лодец. Левая нога болит, в голове, около уха,— пульсирующая боль. Она подняла руку и пощупала висок: запекшаяся кровь. Попробовала двинуть ногой, колено тоже болело, зато она убедилась, что нога сгибается. Она опустила руку, ощупывая место вокруг себя, под пальцами — какая-то шершавая поверхность. Ту же шершавую поверхность ощущало и тело. Она лежала на неровном полу.

Потом рука ее скользнула по груди, бедрам, ногам — она была совершенно раздета, и пол царапал ей кожу. Она шевельнулась — колено снова пронизала боль. Она замерла неподвижно, напрягая зрение, чтобы рассмотреть помещение, где находилась. Где-то далеко от нее, почти у самого пола, пробивался едва различимый лучик света. Должно быть, там дверь, решила она.

В голове у нее пронеслись последние сцены у кинотеатра. Бегущий и падающий Эктор... Это он их выдал... Но как его арестовали?.. Белый костюм Николаса, забрызганный кровью. Николаса убили, подумала она и произнесла вслух, словно желая удостовериться: «Николас мертв». К горлу подступили рыдания, но она сдержалась. Хуана и других, наверное, тоже схватили; все потеряно, все безнадежно потеряно. «Никогда нам не убить волка, никогда, никогда»,— повторяла она. Но тогда жизнь ее утратила всякий смысл — для нее все было кончено, жизнь сама по себе ничего не значила, и лучше было бы ей погибнуть там, на улице, вместе с Николасом. Но она здесь, в этой мрачной камере, одна в этом черном колодце, нагая, все потерявшая. Впрочем, нет, с ней ее достоинство, и это ее дань павшим — лучшая, чем была бы сама смерть. «Умереть может всякий, но не все умирают достойно, достоинство — это единственное, что остается потерпевшим поражение»,— думала она. Губы ее сжались. Вновь, но гораздо сильнее заболело колено — пришлось сделать усилие, чтобы не закричать. Должно быть, колено разбито. Или вывихнуто? Инстинктивно, чтобы успокоить боль, она погладила колено рукой. Нога распухла. Тупо ныло все тело. Она медленно водила рукой по груди, талии, бедрам... И вдруг мучительный вопрос обжег ее: почему она раздета? «Боже мой!» —прошептала она. До сих пор она не спрашивала себя об этом — боль туманила ее сознание... Почему на ней ничего нет? Кто раздел ее? Невыносимое отвращение и стыд охватили девушку. «Они надругались надо мной. Надругались над раненой, потерявшей сознание...» — беззвучно говорила она себе. Ужасная мысль молотом застучала в голове. «Нет-нет, неужели они такие мерзавцы?!» Сомнение словно затеяло с ней жуткую игру, то отступая, то снова овладевая ею. Рука ее стремительно потянулась вниз, к обнаженному лону, прикрывая его наивным, обороняющимся жестом. «А если они ждут только, чтобы я пришла в себя,— и тогда?.. Почему я раздета?.. Ну, нет, сначала пусть убьют меня!» У нее закружилась голова, ей показалось, что вот-вот снова померкнет сознание. Тогда она поднесла руки к лицу и с силой надавила на глаза. Ее душили слезы.

Послышался приближающийся звук шагов. Собрав все силы, девушка заставила себя подавить плач, подняться, сесть. В дальнем конце камеры на двери отодвигали засов, с лязгом снимали цепочку. Лучик, робко струившийся из-под двери, расширился, и слабый свет проник в помещение. Кто-то вошел. У порога затопталась, словно не решаясь шагнуть в непривычный полумрак камеры, пара светло-коричневых техасских сапог с утолщенными каблуками и носками.

— Ну как, девочка уже встала? — раздался голос поверх сапог. За дверью послышался смешок. Сапоги наступали на нее, она инстинктивно отодвигалась назад.

— Идем! — прозвучал приказ, и один сапог слегка ударил ее по

плечу. Ирене вся сжалась. Сапоги в нетерпении застучали каблуками по полу. Проникавший через дверь свет позволял рассмотреть каждую складку их тщательно выделанной кожи.

— Куда? — спросила Ирене, чувствуя прилив непобедимого страха, безотчетного ужаса.

«Хватит ли сил, чтобы выполнить то, что себе пообещала?» — думала девушка. Она вскинула голову и метнула взгляд поверх сапог. Нет, она не уронит своего достоинства, не унизится перед ними.

Один сапог отодвинулся на несколько сантиметров, готовясь размахнуться, и нанес новый удар, в грудь — и на сей раз куда сильнее. Ирене пронзила острая боль, грудь словно обожгло. Девушка вскрикнула. Медленно, напрягая все силы, цепляясь за стену, она встала на ноги. Сапоги зашагали вперед, она с трудом, хромая, побрела вслед за ними. Дойдя до двери, она будто споткнулась, ослепленная светом, хлынувшим снаружи.

Они шли по узкому, длинному коридору с рядами крошечных камер по обеим сторонам. Боль в колене стала невыносимой, но Ирене старалась не отставать от сапог. Наконец, они остановились у раздвижной двери,— сапоги открыли ее одним ударом носка. Ирене на мгновение замешкалась, и сапоги с силой толкнули ее вперед. В зале, где было четыре двери, беседовали и курили несколько мужчин. Один из них держал в руках хлыст, конец которого волочился по полу. Молодые холеные лица, некоторые безбородые. Все не старше двадцати пяти лет. Ирене была поражена, увидев их: это и есть «псы» Полковника, его подручные? Юные, как и она, но уже убийцы. На нее смотрел человек с хлыстом — ему лет двадцать; не больше, чем ей. В юноше, стоящем в углу, она узнала того, кто целился в них, затем нашла глазами и того, кто стрелял в Эктора. Который же из них расправился с Рикардито, с Эдди, с Николасом? Она закусила губы.

— Это что за шлюха? — спросил один из палачей.

Другой сделал в ее сторону неприличный жест.

— Сейчас дождешься! — захохотал он.

К Ирене подошел тот, что с хлыстом, и концом его стукнул ее по руке, прикрывавшей тело. При этом он идиотски улыбался.

— Сукин сын! — вполголоса бросила ему Ирене.— Сукин сын!

Человек поднял хлыст.

— Оставь ее в покое, это блюдо — специально для Полковника,— сказал человек в сапогах и подтолкнул ее к стеклянной двери. Вдруг открылась боковая дверь, и вошли еще два человека с хлыстами в руках. Они втащили Хуана — он был в полуобморочном состоянии.

«Сколько же им придется расплачиваться за все это? — подумала Ирене.— Сколько?»

Сапоги распахнули дверь и впихнули Ирене внутрь. Струя холодного воздуха из кондиционера заставила ее вздрогнуть. Дверь захлопнулась, и Ирене оказалась в кабинете, где за палисандровым письменным столом сидел, изучая ее взглядом, человек. Это был Полковник. Ярко-голубые глаза, открытый лоб, тонкие, ухоженные руки.

— Ну вот, я и поймал тебя, Ирене Маркес,— заговорил он.

— Меня зовут Ана Фернандес.

Полковник рассмеялся.

— Садись,— сказал он почти ласково и указал на стул, поставленный напротив, в самом центре кабинета.

Ирене села, вся сжавшись. Ее била дрожь.

— Тебе холодно? — спросил он ровным голосом. Она не ответила.

— Возьми-ка простыню,— сказал он и кивнул на белую простыню, лежавшую на софе. Ирене не шелохнулась. Глаза ее быстро обежали комнату. Около письменного стола стоял еще один стол, а ря-

дом — рация, по которой принимались полицейские донесения. Справа, на стене висел автомат без затвора. Ирене невольно задержала на нем взгляд. На стене за письменным столом висели два портрета в золоченых рамках: один — Батисты, другой — Марти. На столе лежали какие-то бумаги и хлыстик с перламутровым наконечником. Слева стояла софа, а около нее на квадратном столике — аквариум с разноцветными рыбками.

Полковник поднялся и, подойдя к софе, сам взял с нее простыню и набросил на Ирене. Потом опять уселся за свой письменный стол. Ирене стало лучше. По крайней мере, холод ощущался меньше и нога болела не так сильно. Как зачарованная, смотрела она на рыбок, резвившихся в аквариуме. Одни были розово-коричневые, и их длинные, пышные хвосты трепетали при малейшем движении, у других, голубоватых, на спине, словно крохотные крылышки, шевелились прозрачные плавники. Рыбки то мельтешили в воде, то вдруг замирали, прижавшись к стеклу аквариума, глядя на происходящее снаружи.

Послышались крики. Ирене узнала голоса Ренато и Хуана. «Началось»,— подумала она, не сводя глаз с аквариума. Сквозь стекло на нее неподвижно глазела рыбка. «Человек обретает достоинство только через страдание,— сказала она себе,— говорят, что идущим на смерть вспоминается вся их жизнь». Ирене постаралась вызвать в памяти свое детство и отрочество, прошедшие в деревне, на ферме, прогулки с братом под дождем, приезд в Гавану, годы учебы, любовь...

Полковник перехватил взгляд Ирене, устремленный на рыбок в аквариуме, и усмехнулся.

— Они тебе нравятся? — спросил он, затем снова встал и взял со стола чернильницу.— Так они тебе нравятся? — переспросил он, и лицо его внезапно исказила ярость.

Быстрым движением он опрокинул чернильницу, и ее содержимое выплеснулось в аквариум. Черная жидкость мгновенно смешалась с водой; рыбки одна за другой беспомощно опускались на дно стеклянного сосуда, отравленные чернилами.

— Шлюха, стерва! — закричал Полковник.

Ирене взглянула на него, и губы ее сжались еще плотнее. В памяти ее встали брат, Эдуардо, Николас. «Да, в один прекрасный день волка все-таки убьют!»

Полковник поднял руку и швырнул чернильницу в Ирене. Она ударилась о плечо девушки, и остаток чернил черным пятном растекся по простыне. Ирене стояла неподвижно. Взгляд ее широко раскрытых глаз по-прежнему был прикован к рыбкам, бившимся в агонии на дне аквариума. Сжав кулаки, с налитым кровью лицом, Полковник шагнул к ней, голубые глаза его хищно сощурились.

— Так ты охотилась за мной, дрянь?! Вот я, я — перед тобой! — крикнул он и яростно ударил ее по лицу. Ирене согнулась пополам, ее глаза оказались почти на уровне сапог Полковника. Вдруг она резко выпрямилась и, собрав все силы, плюнула в него. Потом на нее обрушился хлыст Полковника, и, уже теряя сознание, она все еще думала об Эдуардо.

■

«Обвиняемого Хермана Гомеса, по прозвищу Бичо, виновного в смерти Эдуардо Сальгадо, трибунал приговаривает...»

Я стоял рядом с парнем, и мне стало жаль его, когда я его там увидел. От выстрела я почти оглох. Я получил одну пулю в грудь, другую в глаз — вполне достаточно, чтобы отправиться прямо на тот свет. Я был ужасно зол на Хермана, по его вине я чуть было не остался глу-

хим. К тому же в той квартире не было никакого Миранды, нас обманули — там жил какой-то американец.

«...к высшей мере наказания»... Гавана, 10 января 1959 года.

ГУСТАВО

В тесной комнате, усевшись на стулья или устроившись на полу, пятнадцать человек пьют кофе и негромко разговаривают. Кое-кто молча листает журналы и газеты. Все босы. В стороне, у стены, за столиком с телефонным аппаратом Густаво чистит фланелевой тряпкой затвор своего «М-1», крепко зажав его между ног. Рядом Фернандо, слегка наклонившись, следит за ним глазами, изредка отрываясь, чтобы взглянуть на телефон. В другом конце комнаты, прислонившись к стене, сидит человек в темных очках; руки его скрещены на груди, глаза закрыты, кажется, будто он дремлет. На стуле у окна сидит директор школы.

— Известно что-нибудь об Ирене и Николасе? — спрашивает Фернандо и вытягивает ноги. Потом осторожно касается рукой «М-1».

Густаво пожимает плечами и на мгновение прекращает работу.

— Ничего, так же как и о Рохелио и Эдуардо. Исчезли — и все... Ужасно! — говорит он и с ожесточением трет свое оружие фланелью.

— Зато не зря! — с чувством произносит Фернандо.

— Конечно, не зря! — эхом отзывается Густаво, проводя рукой по дулу «М-1».

Человек в темных очках открывает глаза, встает и, стараясь не задеть сидящих на полу, подходит к Фернандо и Густаво.

— Итак, уже скоро...— голос его выдает волнение.

— Да, уже скоро,— отвечает Густаво и смотрит на свои часы.

Человек в очках возвращается на прежнее место, садится и снова закрывает глаза. В углу один из собравшихся говорит что-то. Ему вторит приглушенный смех. Фернандо бросает на группу взгляд, пожимает плечами. Телефон — он звонит трижды, потом замолкает. Раздаются еще два звонка. Затем звонки повторяются через правильные интервалы. Разговоры затихают, все глаза устремляются к черному поблескивающему аппарату. Фернандо быстро поднимает трубку, подносит ее к уху, кратко отвечает, слушает.

— Да-да, уже выступаем,— говорит он и кладет трубку. К нему обращен вопросительный взгляд Густаво.— Это был Браво... можно начинать,— говорит Фернандо, и на его губах играет детская улыбка. На какое-то мгновение она передается и Густаво, но почти тотчас же лицо его вновь становится серьезным. Люди встают, обуваются. Фернандо открывает шкаф — внутри него видны винтовки, пистолеты. Люди подходят и быстро разбирают оружие.

— А остальные группы? — спрашивает Густаво.

— Тоже выступают,— весело откликается Фернандо.

Оружие распределено, люди безмолвно смотрят на Густаво.

— Ну что же...— начинает было он и останавливается. «В такой момент, как сейчас, когда мы входим в историю,— думает он,— следовало бы произнести длинную речь...»

Лица людей суровы и тверды, хотя кое-кто улыбается.

— Пошли! — говорит Густаво и направляется к двери. Один за другим, не торопясь, вслед за ним выходят все остальные. На полу белеет оброненный кем-то клочок бумаги.

■

СЕСАР ЛЕАНТЕ

Дом в осаде

РАССКАЗ

Перевод с испанского Г. В.

По правде говоря, рассказать мне особенно нечего — ведь я стала работать у доньи Мерседес, когда ее дети уже уехали на север, в Штаты. Ходила по ее поручениям, стряпала, закупала всякие продукты, убиралась раз в неделю — дом-то у нее вон какой большой,— выводила гулять ее собачку, чтобы и та могла погреться на солнышке и сделать свои дела, и все-таки вредная животина эта предпочитала отправлять свои нужды на полу в доме — вот мне и приходилось держать по всем углам старые газеты и подтирать за ней. А собирала да приносила их я сама, потому что уже много лет в этом доме даже строчки печатной не появлялось.

Донья Мерседес жила в своей вилле как в осажденной крепости и совсем никуда не выходила — разве что по воскресеньям отправлялась к утренней мессе в церковь св. Риты. Но в последнее время прекратились и эти ее отчаянные вылазки во внешний мир. Так что все двери особняка, кроме парадной, никогда не открывались. И не то чтобы на них повесили замки да засовы — донья Мерседес дверей попросту не замечала, словно бы их вовсе не существовало. Ой, как нелегко жить с такой женщиной, но семья, где я раньше служила, уехала, а часто менять хозяев я не любила — так и осталась у доньи Мерседес и постаралась притерпеться к ней как к неизбежному злу.

С одним из своих сыновей она регулярно переписывалась. В те дни, когда, по расчетам старухи, от него должно было прийти письмо, она просто места себе не находила от беспокойства. «А ты уверена, что почтальон не приходил?» — спрашивала она то и дело. «Нет, сеньора, не наведывался».— «А может, он был здесь, когда ты отлучалась в бакалейную лавку, а я не слышала?» Спустя несколько дней, когда у входа, наконец, раздавался свисток почтальона, она спешила к двери и, если меня не оказывалось поблизости, кричала на весь дом, чтобы я открыла. Полученные письма она обычно пересказывала мне. «Альберто сообщает, что малышки Эстер и Берта уже прекрасно говорят по-английски». Альберто — это ее старший сын, а Эстер и Берта — ее внучки. Младший сын сеньоры, Майито, жил в Канаде и почти не слал ей писем — за все время, что я у нее служила, их пришло не более десятка. «Бедняжка так занят, что у него совсем не остается времени писать мне»,— оправдывала его старуха. Седеющие волосы доньи Мерседес — она стягивала их тонкой сеткой — были

словно присыпаны пеплом, с подбородка и шеи дряблыми складками стекала кожа, глаза жалобно слезились. А давным-давно была она очень красива — я открыла это, когда в руки мне попался альбом, старый альбом с семейными фотографиями, она прятала его в комоде. Высокая, волосы черные, гладкие, блестящие, кожа белая, черты лица точеные — от всего этого прежнего великолепия осталась разве что высокомерная осанка, которую старуха изо всех сил старалась сохранить, да домашние халаты со шлейфом и черные платья с кружевами, в которые она и теперь еще частенько наряжалась.

«Я состарилась за одну только ночь»,— так она начинала обычно свои жалобы, когда усаживалась у себя в спальне в кресло напротив окна и, держа на коленях собачку Кучи, гладила непослушными пальцами ее длинные мягкие уши. Сквозь покрытое пылью стекло всего только и можно было разглядеть что соседний парк да вдали кусочек набережной Малекон. Когда донья Мерседес погружалась в свои докучливые сетования, я старалась поскорее найти первый удобный предлог, чтобы улизнуть,— терпеть я не могла старухины охи да вздохи. Однако, волей-неволей выслушивая эти жалобы, я узнала, что ее сын Альберто в великой спешке тайно сбежал на катере во Флориду. С тех самых пор время для старухи остановилось, а если текло, то назад. Дни, месяцы, годы словно застыли в неподвижности. Конечно, они проносились, но где-то над крышей дома, за стенами, с которых почти слезла ярко-зеленая краска, по ту сторону заброшенного сада, где буйно разросшаяся растительность грозила скрыть дорожку из каталонской плитки, что вела от парадной двери к чугунной ограде. Зато внутри особняка время будто отменили. «Они обложили мой дом со всех сторон, я окружена врагами»,— твердила донья Мерседес, переходя от окна к окну и вглядываясь в плакаты, расклеенные на столбах уличных фонарей, или в транспарант на фасаде продовольственного магазина, расположенного напротив.

С яростным упорством сопротивлялась донья Мерседес малейшему соприкосновению с тем, что считала враждебным миром. Мне было запрещено открывать дверь кому бы то ни было, за исключением тех, кто заранее представится как друг дома или родственник; не разрешалось ни включать радио, ни приносить в дом журналы и газеты — кроме тех, которыми я промокала лужицы, оставляемые Кучи на каждом шагу. Внешний мир и реальное время проникали в особняк только в виде звуков: крики и гомон школьников, игравших в парке, мерный, настойчивый стук их башмаков о мостовую, когда они, маршируя, возвращались после перерыва; в праздничные дни — лозунги и звонкие мелодии военных песен, которые неслись из громкоговорителей, установленных на автомобилях, оглушительный скрежет танков и грузовиков с солдатами, проносившихся по улицам... С неутомимым пылом боролась донья Мерседес с просачивавшимися в дом шумами. «Закрой окно!» — кричала она мне, буквально выходя из себя; несмотря на все ее усилия, эта вездесущая революция все-таки достигала ее ушей. Если же я отвечала, что окно закрыто, она накидывалась на меня с удвоенной злостью: «А щели между рамами? Сквозь них все слышно! Сейчас же заткни все щели!» Напрасно дрожащими, непослушными руками запихивала она во все оконные зазоры то простыню, то полотенце — звуки, ее враги, не отступали. Наконец, устав от отчаянной, но безуспешной борьбы, донья Мерседес спасалась от них бегством и укрывалась в спальне — там, тщательно запершись, она прятала голову под пухлыми подушками до тех пор, пока ее утомление и нервное напряжение не переходили в сон.

Пробудившись, она казалась как-то внезапно и страшно постаревшей и долго-долго приходила в себя — иногда для этого ей требова-

лось несколько дней. Совсем по-другому раздражал ее гвалт, поднимаемый школьниками,— он уже успел стать чем-то привычным, обыденным, она воспринимала его не так остро, словно примирившись с неизбежным его соседством. С высоты своих окон она наблюдала за детворой отчужденно и даже с ненавистью. Мелькали ярко-оранжевые рубашки, черные брючки, голубые или желтые блузки, серые юбки, а она с горечью плакалась: «Конец пришел Мирамару, они погубят все дома». В письмах к сыновьям донья Мерседес выражалась куда откровеннее и пространно жаловалась на непоправимые разрушения, на запустение вокруг...

Когда у нее началось *это* — точно не помню, зато в память мне крепко врезался тот вечер, когда я впервые услыхала, что она разговаривает со своими детьми. Темнело, она стояла у двери, ведущей на улицу,— разумеется, плотно закрытой. Кучи, крутившаяся у ее ног, подняла к ней шелковистую мордочку. «Возвращайся пораньше, Майито», — сказала она в воздух и протянула руки, словно обнимая кого-то невидимого. В другой раз я застала донью Мерседес, когда она бранила своих внучек за то, что они спускаются по лестнице бегом. Эти видения бывали у нее все чаще, и я — хотя наши с ней отношения никогда не были близкими — встревожилась. Как-то однажды я осмелилась и спросила ее: «Что с вами, сеньора? Вы не больны?» Она ужасно разобиделась и ответила мне с вызовом: «Ничего со мной не происходит. Я прекрасно себя чувствую! И вообще, займись-ка ты лучше своими делами!» Я бы и занималась преспокойно своими делами, если бы очень скоро она не заставила меня участвовать в своем чудно́м спектакле. Видно, в голове у доньи Мерседес окончательно помутилось, потому что в одно прекрасное утро она распорядилась: «Начиная с сегодняшнего дня изволь накрывать стол на шесть персон». Наверное, вид у меня был вконец ошеломленный, так как донья Мерседес поспешила разъяснить, не ожидая моих расспросов: «Мои сыновья, внучки и моя невестка отныне будут есть у меня». С тех пор пришлось мне подавать на стол шесть приборов — расставлять севрский фарфор и бокалы, которых не касались ничьи пальцы, кроме моих, раскладывать столовое серебро, салфетки, которые затем неразвернутыми возвращались в буфет,— все это, никому не нужное, понапрасну теснилось на столе. Донья Мерседес совсем перестала меня стесняться, теперь она затевала свои странные выходки в моем присутствии и даже старалась сделать меня их участницей. «Добавь еще супу Берточке»,— требовала она, и я делала вид, что подливаю суп в совершенно чистую тарелку. Вдруг она вскидывала голову и обращалась к другому концу стола: «У тебя сегодня плохой аппетит, Альберто,— ты даже не притронулся к жаркому». Или с легким шлепком останавливала, слева от себя, маленькую Эстер: «Не мажь столько масла на хлеб, это вредно для кожи». С невесткой донья Мерседес держалась куда холоднее: «Будь добра, Тереса, передай мне, пожалуйста, салат». На Майито она обычно ворчала: «Ешь не спеша, иначе кушанья не пойдут тебе впрок. Вечно ты торопишься. Ни минутки лишней не хочешь посидеть дома».

Никого, кроме нас с ней, в столовой не было, и она отлично это знала — я уверена. Дряхлеющая, суровая, восседала она в одиночестве за столом и тщетно пыталась воскресить минувшее, заселить дом призраками давно покинувших его людей. А я должна была участвовать в этой игре, изо дня в день повторяя одни и те же сцены, должна была, не показывая виду, подчиняться ее бредовым причудам, чувствуя, что эта ложь, это наваждение постепенно завладевают мной так же, как завладели ею.

Мало-помалу донья Мерседес перенесла свою игру и в спальни. Она приказала, чтобы я убиралась в них так, словно это все еще были жилые комнаты. Каждое утро я перестилала постели, на которых не было ни единой складки, взбивала подушки, на которые не опускалась ничья голова, разглаживала простыни, и без того безупречно натянутые. Пока я все это делала, донья Мерседес не спускала с меня недреманного ока. Она очень придирчиво следила за моей работой: то ей казалось, что покрывало лежит неровно, то нужно было сменить наволочки, то она замечала, что халат Майито в беспорядке брошен на кресло. Я должна была без конца заботиться о дорогих гостях — смотреть, чтобы домашние туфли дона Альберто всегда стояли справа от кровати, всюду ходить по пятам за маленькими Эстер и Бертой, которые то и дело шалили. Донья Мерседес одинаково любила побранить и своих домашних, и прислугу. Не отпуская меня ни на шаг, она расхаживала по комнатам, распоряжалась, ворчала, делала замечания — словом, давала почувствовать всем, кто в доме хозяйка. Не знаю уж, действительно ли донья Мерседес уверовала в свою игру, но вела она ее с истовостью кающегося грешника. Я тоже втянулась в эту игру, подчинившись ее правилам настолько, что временами пугалась самой себя. Оставаясь одна в своей комнатке, я, бывало, со страхом вглядывалась в зеркало, чувствуя, как по спине бегут холодные мурашки.

Не все связи между виллой доньи Мерседес и внешним миром оборвались. Связующей нитью служила и я. Мне частенько случалось выходить — то за покупками, то по какому-нибудь поручению, то чтобы погулять с собакой. И при всяком удобном случае я старалась подольше не возвращаться. Дома донья Мерседес сначала выговаривала мне за поздний приход, а потом засыпала вопросами — хотела выведать у меня все что можно про трудности и неполадки в стане своих врагов, про неудачи тех, кто держал ее дом в осаде.

Ничто не доставляло ей столько удовольствия, как выпытывать у меня после моего похода по лавкам: «Так ты не достала маланги [1]?» — «Нет, сеньора, ее нет. В магазине пусто».— «Совсем ничего нет?» — «Ничего нет, сеньора».— «Вот радость-то! Так им и надо. Значит, правительство долго не продержится. Народ не будет терпеть и в конце концов взбунтуется».

Радио тоже связывало дом с внешним миром. Правда, мне строжайше запрещалось его включать, зато донья Мерседес, запершись в своей спальне, каждую ночь тайком слушала, приглушив звук, далекий «Голос Америки». Она упорно ловила его и жадно впитывала все, что «Голос» изрекал, и старухино сердце радостно билось и все сильнее разыгрывалось и без того воспаленное воображение. Однажды я поймала ее на том, что она ходит из комнаты в комнату, из спальни в спальню и торжественно сообщает невидимым членам своего семейства приятные новости. «Знаете, в деревнях неспокойно,— приговаривала она, то похлопывая по несуществующему плечу, то дотрагиваясь до призрачной руки,— а в горах Эскамбрая [2] началась война против коммунистов». Донья Мерседес знала об этих событиях ровно столько, сколько говорилось в передачах подпольных радиостанций, и была уверена, что истреблены целые батальоны милисианос и силы Фиделя терпят поражение за поражением. «Скоро они придут и сюда»,— возбужденно твердила она, и воображению старухи, без особых усилий с ее стороны, рисовались другие партизаны-бородачи. Пропыленные и оборванные, зато сияющие торжеством,

---

[1] Маланга — тропический корнеплод *(здесь и далее — прим. перев.)*.

[2] Гористая местность в центральной части Кубы, где действовали контрреволюционные банды после победы революции.

они спускались с гор и под ликующие крики народа вступали в Гавану — точно так же, как недавно в столицу входили те, другие, ее враги, принесшие ей столько горя. Эти, новые, будут ее избавителями; как только они достигнут города, она первая побежит им навстречу, будет благодарно целовать их руки... Каждый день, едва проснувшись, она спешила к окну, распахивала его и, не отрываясь, смотрела на улицу, потом — на набережную Малекон, в полной уверенности, что оттуда вот-вот покажутся победоносные шеренги тех, кого она так ждала. Случалось, что на улице действительно появлялись военные, но, приглядевшись, донья Мерседес, к великой досаде и разочарованию, замечала, что одеты они в оливково-зеленую форму бойцов Повстанческой армии, и тогда она с силой захлопывала окно, поворачивалась к нему спиной.

Совсем отчаявшись, она спросила у меня:

— Когда же, наконец, они войдут в Гавану?

Сперва я не могла взять в толк, о ком она говорит, и в свою очередь полюбопытствовала:

— Кто?

— Да восставшие! — ответила старуха, ни минуты не колеблясь.

Растерявшись, я молча глядела на нее, потом постаралась ответить поуклончивее, прикинувшись дурочкой:

— Знать ничего не знаю, сеньора. Совсем ничегошеньки.

— Разве ты не слыхала никаких разговоров на этот счет?

— Нет, никаких.

Не раз жизнь наносила жестокие удары по ее бредовой, но неистребимой надежде на то, что в стране все пойдет вспять. Через некоторое время произошла битва на Плайя-Хирон, а еще год спустя разразился октябрьский кризис [1]. Каждое такое событие доводило ее до крайнего отчаяния, но с тем большим упорством продолжала она цепляться за свои безумные надежды. Она слепо верила, что рано или поздно правительство будет свергнуто и что те, кто некогда бежал из страны, с триумфом возвратятся назад. Альберто, ее сын, несколько раз в письмах уговаривал ее — хотя и не слишком настойчиво — переехать к нему в Соединенные Штаты, но она всегда отказывалась наотрез. «Здесь мой дом, здесь я и останусь до последнего дня жизни»,— непреклонно заявляла она. И это была не одна только жадность человека, который страшится расстаться со своей собственностью. Сама того, может быть, не осознавая, донья Мерседес подвижнически служила цели (хотя и ложной!), которую себе поставила: спасти, сохранить в неприкосновенности частицу отошедшего в прошлое мира — поэтому ее нежелание покинуть свою виллу выглядело как некий символ.

Каждую осень с деревьев в парке облетала листва и на город обрушивались крепко просоленные северные ветры, разъедавшие решетку ограды и смывавшие со стен виллы последние следы краски, мелкий серый дождь без устали кропил неухоженный, разросшийся сад и то, что раньше было живой изгородью из бугенвиллей, надолго пропитывая воздух влагой. А донья Мерседес по-прежнему не показывалась из своего убежища, окруженная стенами и минувшим. Мимо нее проходили месяцы и годы — а она все так же бродила по комнатам и переходам своего владения, где ничто не менялось, и все так же волочился за ней уже порядком поистрепавшийся шлейф ее домашнего халата, подметая пол, по которому никто не ступал. По вечерам она в одиночестве усаживалась во главе стола, одетая в строгое черное платье с кружевами, и на жилистой ее шее, в склад-

[1] Речь идет о попытке империализма США поставить мир на грань ядерной войны осенью 1962 года с целью задушить социалистическую революцию на Кубе.

ках дряблой кожи жалко болталось жемчужное ожерелье в четыре нитки. Нескончаемые послеполуденные часы она проводила, разглядывая сквозь спущенные жалюзи враждебный ей мир, открывавшийся за окном,— ее узловатые пальцы погружались в шелковистую шерсть собаки, такой же дряхлеющей, как и она сама.

Я все чаще рассматривала себя в зеркале, и все неотвязнее преследовал меня холодный ужас. Пытаясь разгладить на лице морщины, я вдруг со страхом различала у себя в глазах отчаянную тоску; когда я трогала свою увядающую кожу, меня пронизывала болью постоянно крепнувшая догадка: я все больше и больше похожу на донью Мерседес. Так оно и было. Уже и без ее распоряжений я — с неизменностью ритуала — накрывала стол на шесть персон, будто и в самом деле ожидала увидеть всех шестерых. В кухне я порой ловила себя на мысли, что нужно бы приготовить для дона Альберто его любимый десерт; а то вдруг неожиданно вспоминала, что забыла бросить ароматические соли в ванну для сеньоры Тересы. Я вздрагивала и скорее бежала к окну в сад — глотнуть свежего воздуха.

Должно быть, я так и осталась бы навеки у доньи Мерседес, если бы не то, что произошло вчера вечером. Донья Мерседес сидела в зале, а я возилась на кухне, когда вдруг погас свет. Так бывало и раньше, — на этот случай мы держали в запасе свечи. Я взяла в шкафу свечу, зажгла ее и собралась было вытирать вымытую посуду, когда внезапно вспомнила, что в зале донья Мерседес осталась одна и впотьмах. Я достала еще одну свечу и поспешила к ней. Старуха сидела в своем кресле, напряженно выпрямившись, широко раскрыв глаза, устремленные вдаль, на что-то невидимое мне. Лицо доньи Мерседес сияло, у ног ее, положив морду на пол, примостилась Кучи. Хозяйка не слышала, как я вошла, и вообще не замечала меня, пока я, подойдя ближе, не заговорила с ней. Мне пришлось окликнуть ее несколько раз, прежде чем она очнулась от своего забытья. И тогда вдруг она вскочила и, дрожа всем телом от нетерпения, приказала мне: «Что же ты стоишь? Поди же открой им! Разве не слышишь, что у двери звонят?!» Я буквально обомлела.

— О ком вы, сеньора? Никто не звонил.

— Звонили. Мои сыновья. Я их видела. Иди же впусти их.

Я не двинулась с места. Тогда она выхватила у меня из рук свечу и сама направилась к двери. Впервые за все время, что я служила у нее, она отворила сама. С криком радости, уронив на пол подсвечник, раскрыв объятия, она принялась горячо обнимать кого-то бесплотного и, рыдая, твердила имена Альберто и Майито, Берты и Эстер... Стояла ясная лунная ночь — и в прямоугольнике распахнутой настежь двери четко вырисовывались мощные стволы деревьев в парке, блестела вода в реке Альмендарес, светились уличные фонари и окна домов по другую сторону туннеля.

И тут на мгновенье, только на одно мгновенье, мне почудилось, что в дверном проеме рядом с мечущейся фигурой доньи Мерседес мелькнули тени человеческих тел. Кажется, я тоже закричала — теперь не помню. Помню только, что потом я опрометью кинулась в свою комнатку.

Утром, едва забрезжил рассвет, я поднялась, сложила в чемодан свои вещи и, стараясь не шуметь, вышла на улицу. Только отойдя на порядочное расстояние от дома, я остановилась, перевела дух — и оглянулась назад. Туманная дымка окутывала виллу доньи Мерседес. Скоро она проснется, начнет звать меня — и никто не отзовется, никто не придет к ней, подумалось мне. И еще я подумала, что теперь она осталась совсем одна.

АРАГОН

Стихи из трех книг (1960-1974)

■

Перевод с французского МОРИСА ВАКСМАХЕРА

Не имеет права на покорность судьбе человек

«Хочу быть достаточно сильным, чтобы своими руками изменить мир»,— так ответил Арагон в 1960 году на вопрос одной анкеты. В том же году вышли из печати «Поэты» — поэма, в которой пульсирует мучительная мысль: но как же быть человеку, если изменить мир — целиком, сейчас — он не может, если путь к справедливости гораздо длиннее, чем ему хотелось бы, чем верилось в молодости?

> Малыши под окном гомонящие дети подростки у меня к вам великая жалость
>
> Вижу всё я что вам предстоит вижу горе и кровь и печали
> Вы из наших ошибок уроков не извлекли да и мы ничему не сумели заранее вас научить...
> *(«Поэты»)*

Не только в «Поэтах», в каждой книге, созданной позднее — романах «Гибель всерьез» (1965), «Бланш, или Забвение» (1967), «Театр/роман» (1974), поэмах «Меджнун Эльзы» (1963), «Комнаты» (1969),— сопоставляются позиции уставшего скептика и несущего людям свет Прометея. Прометея, который совсем не ждет благодарности, напротив, он предвидит тяжелую расплату «за уверенность, подаренную им человеку», и все-таки идет навстречу гибели с огнем на протянутых вперед ладонях.

Как соотносится этот образ с героями романов и поэм Арагона предшествующих десятилетий, таких, как «Богатые кварталы» (1936), «Коммунисты» (1949—1951), «Страстная неделя» (1959), или alter ego автора из поэм «Глаза и память» (1954) и «Неоконченный роман» (1956)? Преемственность очевидна. Героям Арагона всегда была присуща психологическая сложность: сомнение у них порой сочеталось с восторженностью, склонность к легким увлечениям с жаждой большой любви, ранняя усталость от неудач с верой в необратимость перемен к лучшему. Единственное, что чуждо любому персонажу Арагона,— равнодушие. Каждый из них пристрастен к себе и миру, он ищет, ошибается, падает, стонет от боли и снова встает...

Подойдя к порогу восьмидесятилетия, Арагон не отбросил приобретенного ранее опыта; вот почему параллельно с произведениями последних лет он готовил второе издание романа «Коммунисты» (1967); вот почему он увлеченно работает над комментарием к многотомному собранию своих поэтических произведений, бережно выверяя строки своих стихов 30—40-х годов. Высокая нота гражданственности, которая впервые зазвучала тогда, перенесена Арагоном и в произведения последних лет. Но, попав в иную историческую эпоху, иной художественный контекст, слышна как бы в ином регистре.

Начиная с поэмы «Глаза и память» (1954), Арагон особенно внимателен к судьбам тех из своих современников, чей путь к истине мучителен и долог. Характерны названия глав — «Приходят издалека», «Как вода становится чистой»...

Именно такое пристальное внимание к «незавершенным» душевным битвам, к войнам, которые идут и на земном шаре, и «во всех уголках человека», почувствует читатель, знакомясь с новыми переводами из Арагона: фрагментами книги «Поэты»,

цикла «Комнаты», стихотворным монологом Актера из «Театра/романа»; в монологе Актера угадано напряжение поиска и борьбы человека с самим собой за все лучшее в себе, трудное движение к высотам духа, что свойственно многим героям современной зарубежной литературы.

Арагон сам определяет своеобразную полифонию, присущую его романам и поэмам: мое зеркало, разъяснял он свой творческий принцип, «не совсем такое, как у Стендаля, с которым он ходил по дорогам. В зеркале, перед которым я стою, я то не вижу себя, то вижу только себя в зависимости от освещения; то вижу в себе других, хотя притворяюсь, будто от них отворачиваюсь; то вижу в других себя, хотя смотрю только на них». Поэт-романист хотел бы проходить сквозь зеркала, как Алиса, примерять чужие одежды, лица, судьбы, ощущая все реальнее — с каждым перевоплощением — иные душевные состояния, мотивы поступков, которые сам совершить не мог.

В многомерном изображении исторических и личных судеб — вспомним хотя бы скрещение эпох, сопоставление их «голосов» в «Страстной неделе» — принцип арагоновского реализма 60—70-х годов. «Реализм — это значит внимательно слушать пульс грандиозного действия, где совсем не всегда соблюдаются три единства...» Сколь ни причудлива игра зеркал, сколь ни призрачны увлекающие автора тени, он просит помнить:

По жизненной мерке кроится моих вымыслов странных одежка чудная

Только мерку эту художник хочет выточить при максимально полном знании всех условий жизненной «задачи», многообразных сил, вступивших в борьбу или взаимодействие; его не устраивает взгляд «с одной стороны». Он хотел бы посмотреть на каждое явление со всех сторон и еще обязательно из будущего:

«Реализм, чтобы отвечать поставленным перед ним требованиям, должен базироваться не на реальности настоящего... а на реальности будущего. Он должен стать реализмом предвидения». Ведь если писатель даже уверен, что просто описывает представшее взору, или художнику кажется, будто он только переносит на полотно краски реальности, оба неизбежно запечатлеют все по законам своего внутреннего видения мира, «придав предметам **определенный цвет идей»** *(подчеркнуто автором)*. Одна из глав книги Арагона о Матиссе, только что появившейся в русском переводе [1], так и названа — «О цвете, вернее, определенном цвете идей». Естественно праздничны, считает Арагон, тона полотен Матисса: «Он рисовал прекрасное... повинуясь самому себе, той глубокой доброте, что, предвосхищая будущее, знает, где положить светлую краску. Матисс не льстит, он видит красоту. В этом смысле его красота — реальность».

Картины, воссозданные поэмой «Поэты», циклом «Комнаты», что рождался в предчувствии близкой разлуки с Эльзой Триоле, и книгой «Театр/роман», не столь мажорны, как полотна Матисса. Автор пытается зафиксировать не итог, а процесс и не спешит расставлять четкие акценты: даже при полной уверенности в приближении дня, когда над всеми континентами «в радостном небе зажгутся победы огни», «заранее знать, где добро и где зло, очень трудно бывает порою». Сначала нужно понять сцепление общественных сил, индивидуальных темпераментов, неуправляемых страстей, попробовать представить себе, что твое суждение не обязательно бесспорно, что оно требует ежедневной проверки и коррекции с учетом иных мнений и многочисленных мотивов, по которым «другой» возражает тебе.

Лирический герой Арагона стремится навстречу людям. Его ведет любовь-доверие. Читатели, плененные в свое время «Глазами Эльзы», естественно воспримут и в новых поэмах Арагона мотив любви как мотив антиэгоизма. Культ женщины — женского тела и женской интуитивной мудрости,— может быть, ни разу не достигал в поэзии XX века такой ренессансной силы, какую дала ему муза Арагона. Ей подвластны восторг первой встречи и отчаяние разлуки, романтическая грусть и безумие ревности, нетерпение обладания и верность без надежды на взаимность. Арагон заключает в «умении любить» — savoir aimer — целый мир: победу над эгоизмом, радость взаимопонимания, уважение к другому, даже если с ним споришь, талант убеждать, а «не гордиться хорошим зрением среди незрячих».

Отсюда, собственно, и берет исток арагоновская тема двойничества и зеркала, к которой обращались не раз и русские, и зарубежные художники. «Мерцающий», изменчивый образ героя характерен для романов «Гибель всерьез», «Бланш, или Забвение», появляется он и в «Театре/романе».

В «Театре/романе» автор еще дальше от сюжетно-повествовательной формы, чем, например, в «Бланш»: сюжета нет, но из отдельных фрагментов, эпизодов-воспоминаний, эпизодов-размышлений складывается долгая — со взлетами и падениями — жизнь. Это жизнь актера Ромена Рафаэля (от его лица написана первая часть романа); но

---

[1] Арагон. Анри Матисс. Перевод Л. Зониной. Москва, «Прогресс», 1978. Получив это издание, Арагон поблагодарил директора издательства В. Н. Седых «за перевоплощение этой книги, которая для меня не просто книга, а образ человека, которого я долго любил, нашего великого Анри Матисса, вместе с которым я провел первые два года войны».

одновременно это и жизнь писателя Пьера Удри (от его имени ведется повествование во второй части), который считает Ромена Рафаэля плодом своего воображения, героем рождающейся под его пером книги. Среди воспоминаний того и другого персонажа вмонтированы отдельные события, пережитые самим Арагоном, но ни с Актером, ни с Писателем Арагон себя не отождествляет.

Время действия книги уточнено — конец 60-х годов (свежи воспоминания о войне в Алжире, грядет майский бунт в Париже 1968 г.), однако Актер охватывает внутренним взором время гораздо большей протяженности,— от детства до приближающейся старости. Ее символ в романе — астматический Старик («Я — это ты через тридцать лет»), который все о Рафаэле знает и говорит его словами, подбрасывая иногда под дверь его квартиры письма, где предугадано, что должно случиться завтра. Актер — человек, ведущий неумолчный спор с самим собой. Автору порой не нравится его чрезмерная откровенность, но еще труднее было бы ему сейчас принять героя, которому все ясно, который прозорливо развел по клеточкам друзей и врагов, скептиков и оптимистов, героев и трусов, демонов и страдальцев. В этом смысле Актер показателен для арагоновского реализма последних лет. Важны и поэтические фрагменты, останавливающие течение романа и проясняющие его суть. В монологе Актера резко сфокусировано желание автора научить каждого своего современника умению

Быть вечно
Кем-то другим А это скажу вам
Вовсе не просто

Гораздо проще замкнуться в себе, отвернувшись от всех, быть «бесконечно довольным собой и только собой, не другими...». Истинная верность себе — это не смолкающий вопрос to be or not to be [1], постоянные сомнения и новые рубежи, движение вперед.

Вот почему монолог Актера перед обманчивым зеркалом помогает поэту-роману увидеть лучшее в нем: отвращение к благополучному обывательскому прозябанию (он как «рифма среди прозаической речи»), непрестанную готовность к выбору («меж одной и другой судьбой»), стремление к нравственной чистоте, воплощенной в моцартовской теме Lascia mi dare la mano, потребность ощущать рядом другого человека. Если так навязчивы поиски полученного недавно письма, это потому, что волнует его «не столько само письмо, сколько стоящий за ним человек» и, может быть, отгадка грядущего, таящаяся в этом послании. Найти человека, которому ты, возможно, нужен, который ждет твоей помощи, и вместе с ним пройти еще один отрезок своего жизненного пути Мотивом письма как бы продолжен мотив зеркала, удваивающего твой образ, позволяющего взглянуть на себя со стороны.

Для структуры «Поэтов», как и «Неоконченного романа» или более поздних стихов Арагона, важным оказывается не конечный вывод, а настроение, впечатление, мозаика разноречивых деталей и психологических реакций, которые воссоздают внутреннюю борьбу лирического героя. Поэтому так причудливо течение стиха. То величественный шестнадцатисложный стих, которым, по мнению французской критики, Арагон «владеет с истинно королевской грацией», то рубленые короткие строки, каждая из которых словно удар боли:

Предметы
Нелепые Настежь распахнутый шкаф
Больше нет
Ни малейшего
смысла закрывать дверцы шкафа
Вещь
упавшая на пол
Вечер когда я тебя потерял

В монологе Актера случайное и очень важное, мельком увиденное и давно выстраданное сплетено в одну нескончаемую поэтическую фразу. Свободный стих здесь завоевал такую степень свободы, что не страшится показаться прозой. Но автор подчиняет его ход не описанию (предметов, переживаний), а поиску — поиску трудной истины, и поэтому как проблески прозрений пронизывают его внутренние рифмы, ассонансы, аллитерации. Игра словом весьма значима для этой формы стиха, и переводчику приходится преодолевать высокие пороги трудностей, с чем Морис Ваксмахер, по-моему, прекрасно справился.

Движение арагоновского стиха в его последних произведениях максимально полно передает то, что хочет поведать автор о своих героях: эти герои действительно чаще страдают, чем получают от жизни радость, чаще побеждены, чем побеждают, легче настраиваются на горестные воспоминания, чем на светлые мечты.

Важен, однако, совет, который дает автор, тот нравственный максимализм, которого он ждет от них.

---

[1] Быть или не быть? *(англ.)*.

В ноябре 1977 года, когда после вручения ему в Кремле ордена Дружбы Народов Арагон встречался с руководителями Советского государства, советскими писателями, читателями, зрителями Москвы и Ленинграда, студентами, всех поражала его живая реакция на реплики собеседников. Словно нет за плечами восьмидесяти лет. Арагон чувствует себя и сегодня активным участником строительства социализма и укрепления мира на земле. Пассивность чужда его характеру, чужда его концепции мира, чужда его книгам, даже если в них берет порой верх щемящая нота горечи.

Вновь и вновь возвращаясь к драматическому вопросу, как же быть, если ты сейчас, сегодня не в силах изменить баланс добра и зла окончательно в пользу первого, поэт, преодолевая боль и усталость, зовет нас идти вперед. Помнить о тех, что «пальцы живые свои шестеренкам подставили чтобы // Хоть немного разладился этот порядок вещей к человеку исполненный злобы». Продолжить их дело, зажечь хоть одну маленькую звезду на далеком и «радостном небе» грядущего. Отбросить покорность судьбе.

Т. БАЛАШОВА

Из книги «ПОЭТЫ». 1960

Эпилог

Я на пороге жизни и смерти с потупленным взором с пустыми
руками стою
И слушаю ропот недальнего моря оно никогда утонувшего в нем
не выбрасывает на сушу
После меня с молотка продадут мои сны и развеют по́ ветру душу
И уже мои сохнут слова точно листья в осеннем краю

Я хочу эти строки писать чтобы сердца набат в них гудел
Петь хочу вдохновенно и щедро себя самого обгоняя срывая
дыханье и голос
Я косарь от косьбы охмелевший я как ниву кошу свою жизнь и за
колосом падает колос
Неустанно косить задыхаясь боясь не успеть отбивая неистово косу
таков мой удел

Мой удел сочинять безоглядно стихи на созвучьях себя распиная
Неподкупной цезуры ножом разрезая строку наугад
Я чрезмерность мою влить в размеренность мерную рад
И по жизненной мерке кроится моих вымыслов странных одежка
чудная

Жизнь пройдет и похожею станет на старый заброшенный за́мок
вокруг лишь унылая пустошь
Двери хлопают от сквозняков голо в комнатах и паутина в углу
И какие-то люди иные из них почему-то с оружьем устало сидят
на полу

И до краев переполнены рвы половодьем травы и решетку увы
пред врагом не опустишь

И всем новичкам старожилам нам тошно торчать в этом царстве
тоски без границ
И не знает никто как сюда он попал как он здесь оказался может
быть это все ему снится
Холод мучит одних голод мучит других и тревогой отмечены лица
И порой возникают из мрака монархи безликие и обитатели замка
перед ними падают ниц

Был я молод и мне говорили что скоро наступит всеобщего счастья
пора
Ах как верил я в это как верил и вот я старик и скоро разверзнется
яма
Возраст юноши как непокорная длинная прядь на глаза налезает
упрямо

Возраст старости жидок и короток короток короток лишь бы дожить до утра

Старики размышляют о главном о том чему еще стоит отдать свои силы которых так мало осталось
Они видят прекрасно как мало успели свершить за свое земное житье
И становится сумрак желанным как отдых а грядущее что же грядущее вечно ничье
Малыши под окном гомонящие дети подростки у меня к вам великая жалость

Вижу всё я что вам предстоит вижу горе и кровь и печали
Вы из наших ошибок уроков не извлекли да и мы ничему не сумели заранее вас научить
И за всё буквально за всё ту же цену что нам вам тоже придется платить
Вижу я как понуро бредете с опущенными плечами

О конечно конечно вы скажете мне что так было всегда и так будет вовек
Но отвечу ведь были же люди которые пальцы живые свои шестеренкам подставили чтобы
Хоть немного разладился этот порядок вещей к человеку исполненный злобы
Не имеет отвечу вам права на покорность судьбе человек

Будет день когда в радостном небе над вами зажгутся победы огни
Не забудьте тогда что и мы это счастье познали когда-то
Не забудьте что тех кто с Акрополя сбросил позорное знамя схватили солдаты
Чтобы в братской могиле истории сгнили они

Но борьба ни на миг затихать не должна пораженье на пользу герою
Верь в победу и знай что ты нужен другим и доверье читай в их глазах
Грандиозные вещи свершались пред нами временами внушая нам страх
Ибо заранее знать где добро и где зло очень трудно бывает порою

Вы пройдете дорогами теми которыми мы прошагали
И такое же сердце что колотится в вашей груди оно и в моей колотилось полное бурь и скорбей
Я теперь уже знаю чем и как вы его надорвете будет биться оно все слабей и слабей
И как на розу озябшую осень дохнет на него и над ним замерцают холодные зимние дали

Я не хочу вас пугать Просто следует небытию
Глянуть спокойно в глаза и его не бояться А старая песнь угасая
Так же прекрасна как песня которую с эхом вдвоем на холмах распевает девчонка босая
В нашей опере жизни со всеми другими певцами и с их голосами я песню сплетаю свою

В этой опере надо уметь свою партию честно исполнить и даже когда
Замолкает певец надо верить что хор подхватит его музыкальную фразу
Лишь бы только певец продержался до самой последней секунды до ноты последней и сразу
Грянет хор И тогда пусть певец и молчит не беда

Вот и я в свою очередь вас покидаю как старый танцор напоследок поднявшийся на эстраду
Не говорите ему что гибкости прежней в его движениях нет
Я ничего не могу вам в подарок оставить только этот мерцающий свет
Люди грядущего угли раздуйте
То что я вижу сегодня вы завтра поведайте миру и граду

Из книги «КОМНАТЫ». 1969

■

День когда я тебя потерял и я про него говорю
Из другого уже не из этого дня но что значит другого это слово во мне словно крик словно птичий
Отлет

Из другого и я все твержу и твержу это слово Разве вы не заметили Я повторяю его невпопад под предлогом подбора созвучий
Из другого назойливый говор доносящийся с улицы или
Звучащий во мне Из другого и слово бормочет во мне я барахтаюсь в нем Было б надо
Собрать воедино эти шорохи шумы мои все эти
Обрывки таинственных слов перечеркнутых черных утопленных где-то в тетради
Или в листках где-то в дебрях стола а их ведь могут найти
Когда я умру или даже еще не умру но буду уже погребен под морщинами будет
Это клеймо на плоти моей кричать во весь голос о том что давно уже можно со мной не считаться
И я уже только
Помарка
И все что хотел я сказать не успел завершить все мои озаренья а ими
Была полна голова
Все исчезло в тот день
Когда я тебя потерял

И память навалится вдруг на меня с такой немыслимой яростью
Среди ночи и точно во сне да нет почему же во сне
Наяву что-то щелкнет во мне
Среди ночи и вот я встаю и по комнатам полным густой
Темноты я бреду наугад и вся мебель вокруг почему-то стоит по-другому
Всегда по-другому
Я бреду в темноте натыкаюсь на письменный стол
Где топорщатся карандаши точно волосы вставшие в ужасе дыбом
И бумага исписана скомкана брошена в корзину для мусора
Ах да́ что же с собою мы сделали мы нет только я слово «мы» на коленях стоит среди тьмы

В день когда я тебя потерял

Я на ощупь дорогу ищу в лабиринте часов и минут в этом тихом
Аду я бреду и не ведаю ночь сейчас или солнечный день
Я не знаю почти ничего уже больше не знаю может быть это прошлая ночь
Или утро я нащупал пальцами серое утро на дне стеклянного неба
Спал ли я в эту ночь неужели уснул я один неужели попался один в сети сна
Серое утро в разгромленной комнате без тебя .

Предметы
Нелепые Настежь распахнутый шкаф
Больше нет
Ни малейшего
смысла закрывать дверцы шкафа
Вещь
упавшая на пол

Вечер когда я тебя потерял

Но скажите когда занялся этот день почему вообще этот день
Занялся я гляжу
на пустую бескрайнюю комнату где
Все твоим отсутствием сброшено сметено опрокинуто взорвано Я торчу
Бесприютным обломком у самого края вселенной
Безответным и жалким обломком
Я приткнулся на нижней ступеньке на ступеньке себя самого
О только бы больше не видеть развороченную постель со свисающими
Простынями

Но как и какими путями какими судьбами занялся этот день
Туманный и серый пустынный немой этот день опустелый постылый слепой

Как и какими путями занялся как в меня просочился и прокатился по мне этот день бесконечный белесый не похожий на день
Этот день без единого слова только звякнуло что-то в дверях будто поставили
Бутыль молока я распахнул я рванул эту дверь
Я сорвал ее с петель
Никого На лестнице чьи-то шаги Никого уже нет Только бутыль молока

День когда я тебя потерял

Нескончаемый день у меня впереди со своей распахнутой дверью по которой судьбы не прочесть
Нескончаемый день и тысячи мелких подробностей в нем незабвенных забытых
Нескончаемый день начинается кровоточащею ссадиной мне не понять
Что́ со мной не продрог ли я не проголодался ли не заболел ли
Ох нельзя так сидеть надо двигаться почему надо двигаться надо место сменить надо спуститься в дыру спуститься до самого дна да что же творится со мной

Мне нужно пойти поглядеть на бутыль молока
Нескончаемый день и скажите на милость как небо решилось переменить свои краски
Я уже больше не знаю здесь ли там ли сменило оно свою серость на чуть меньшую серость но знаю что это
Оскорбляет меня а я все хожу машинально хожу и произвожу машинальные жесты
Даже солнечно кажется было в другом каком-то квартале
Небывало пустынного города невозможно представить себе до чего может город
Вдруг опустеть
Замолчать Я никогда б
Не поверил что Париж на такое способен
Способен на такой день

День когда я тебя потерял

В этот день в этот день
Я был человеком выброшенным на свалку
Как пустая консервная банка
Как гнилая арбузная
Корка и даже уличный шум
Был тишиной для меня
Над Парижем висела
Твоя тишина
Непонятная внутренняя тишина когда
Каждый прохожий на оглохшую рыбу похож и
Ни души
Нигде ни души
Только немые шаги

Куда мне пойти и зачем мне ходить и зачем мне стоять
Я долго смотрел как работает
Дворник с метлой на улице
Первой Кампании
Двор Ник
Самофракийских
Дворник тоже как я побывал на войне
И тоже на первой

Что-то есть необычное в профессии дворника Знакомство поддерживать
С дворником Кто из нас беседует
С дворником Кто остановится подле него
Чтобы простым человеческим словом перемолвиться с дворником
Кто поведает
дворнику
как было дождливо
В одна тысяча четыреста пятнадцатом году в день Азинкура
Кто рассказать догадается дворнику о смерти Патрокла и вместе с ним с дворником прослезиться по этому поводу
Провожая глазами обрывки газет бегущих с водою вдоль тротуара
Я тоже не стал говорить на улице дворнику про свое горе
Это был день как другие такие же дни день без птиц

День пробитый навылет день когда я тебя потерял

Актер перед обманчивым зеркалом

В пыльной уборной где стены в обрывках афиш говорят о надеждах рассыпанных в прах о других говорят вечерах полных сердцебиенья

В хаосе грима и крема примостившись на краешке стула как забытое миром мгновенье

Полуголый мужчина глядит на своего двойника и удивляется оттого

Что в комнате с кем-то вдвоем оказался когда он один и может быть даже здесь нет его самого

Удивляется в зеркале мнимом лицо свое видя и не видя лица Не понимая что это такое начало или начало конца

Где-то рядом оркестр заглушаемый стенами прорывается стонами повторяя мелодию не имеющую касательства

К этому тусклому дню и к памяти живущей отдельно от сыгранных человеком ролей

Он пристально вглядывается в призрачный лик и не знает кого же он в зеркале видит себя ль полуголого

Или некое чувство сидящее в нем наподобие голода

Злого сосущего голода или оркестра замолкшего где-то внутри у него

Замолкшего оттого что всем его трубам заткнули кляпами рты и они голосов лишены

Но это конечно лишь видимость тишины

По узкому коридору рассыпается цоканье женских шагов и крики вдогонку и смех и сальные

Шутки

А он он всю жизнь себя чувствует рифмой нелепой среди прозаической речи

Он сидит бесприютно на пороге невнятной мечты

Он плохо выучил роль и сегодняшний вечер

Выползает лениво навстречу из долгого черного дня точно ночь сразу вслед за заспанным утром

Он сегодня себя не находит

Он но кто это *он* То что маячит перед ним в туманном провале ничуть на него не похоже

Он не может узнать эти руки

Это руки чужие которые тащишь как груз на пределе изнеможенья это уже не твои

Не прежние

Не молодые руки Темные вены Можно прочесть свою жизнь по цвету собственных рук а я никогда почему-то об этом не думал руки это ты сам ведь ты их без зеркала видишь это сам ты без грима без зеркала это цвет твоих собственных рук без лжи без кривлянья

Это усталость существованья Нужно будет чтоб я

На сцене в огнях перед черной пропастью зала нужно будет

Чтобы я мои руки про вас позабыл станьте руки моими словами только словами Станьте видимыми словами

Которые я говорю сам не знаю кому и зачем

В тишине жемчужина зреет и взбухает слой перламутра

© Gallimard, 1974.

Но помилуйте что это я говорю Откуда все это идет откуда берутся скажите слова которые я
Говорю

Дело наверно в письме Ну конечно ведь я его даже
Не распечатал а сунул
В карман чтобы прочесть по дороге
Там на ширме оно в пиджаке От кого оно я не знаю
Может это рекламный проспект или кто-то из давнего давнего прошлого
Вспомнил вдруг обо мне прочитав мое имя в газете
Или просто вдруг взял да и вспомнил нет вряд ли А почерк
И на марку я не взглянул Если это письмо
Пришло из каких-то заморских краев где в роскошных лесах щебечут роскошные птицы
Мне его и читать ни к чему Вот скажем к примеру
Сицилия Ах бубенчики сказанных слов
Уж я и не помню откуда писала мне та незрячая девушка которую звали
Сесиль И я что ни день получал от нее цветные открытки с видами
Сама она этих картинок конечно не видела Их наверно словами
Кто-нибудь разрисовывал ей Разрисовывать этот глагол мне казался
Всегда странноватым Он делает жизнь черно-белой
Раз-рисовать это словно у жизни отнять ее краски рисунок отнять
Это на вещи накинуться с ножницами слепоты
Снаружи
грохочет
невидимый гром
Гроза внезапные ножницы ливня
Стригут непокорные кудри видений
В колосниках небосвода скачут безумным галопом
Апокалипсические диалоги
В них мечется страх и тоска
Боже что происходит раска-
Лываются звезды элек-
тричество
гаснет
Нет зажглось нет погасло опять Ах Сесиль
Мы оба с тобою не знаем
Как выглядит молния
Я сижу на краешке стула раздираемый надвое театром и самим собою
Сбросив одежу как кожу сижу между одной и другой судьбою
Между анатомией сижу и собственной болью
Разве новая кожа в силах кого-нибудь новой душой одарить
«Новая кожа» расскажите мне эту пьесу
О если зеркало было бы настоящим было бы зеркалом из стекла и в нем бы текла
Настоящая жизнь моих мышц поперечных и длинных и круглых -
Крабовидных и всяких иных

Текла в перламутровых переливах сухожилий и связок
В глухом содроганье от собственной силы о эта внутренняя гроза
Если зеркало было бы настоящим зеркальным
А я перед ним оказался без маски или хотя б
В маске собственной масти
Если б умел я меж двумя представленьями
Смерть свою прятать в чужую чью-нибудь жизнь
Гамлет из театра домой возвращаясь не забывает купить по дороге минеральной воды
Вы Офелию в баре соседнем найдете
К сожалению мсье у нас сейчас этого нет
А жаль говорят превосходное средство
Нет уж если б я мог выбирать я бы выбрал не этого Принца
Датского а скорее уж Дон Жуана да вот незадача Никто
Не предлагает мне этого выбора Но в жизни-то я до сих пор
Держался пожалуй как этот испанский сеньор
Женщины в жизни моей ах право слово
Я сходил от женщин с ума Да и что тут сказать Я и вправду
Сходил с ума от любви или может быть от того что любовью считал
Я не ведаю сам кто из нас притворялся они или я Лишь в одном я уверен
В том что испытывал наслажденье
Но я мог его получать и от всякой другой
Женщины или от чудищ морских пригрезившихся в сновиденье или от себя самого для которого женщины это лишь зеркало
По существу только зеркало в котором ты плещешься с упоеньем
Исступленный туман в котором ты топишь звенящий в тебе мотив
А я это Сфинкс у стен семивратных Фив
Но кому задавал я вопрос Впрочем Сфинкс это женщина
По дорогам к нему приближаются путники
На грязные плечи наброшены шкуры овечьи а ноги босые
Цвéта пыльных камней придорожных сбиты в кровь
Посохи ритм отбивают несложный шагают самцы грубияны одержимые жаждой власти
Бредут землемеры пустынь подступающих к стенам столиц
Ломовые шагают извозчики в прах повергшие эллинов с их лучезарным Олимпом
Тираны идут порождение кровосмешенья
Ах этой фразе не будет наверно конца потому что в нéй нет
Назиданья Но я-то по-прежнему Сфинкс я царю
Над грядущими Фивами и задаю вопросы не нашего мира
Как вы думаете они в самом деле любили меня эти женщины
По утрам в измятой постели после моего поспешного бегства Нет они только
Хотели меня я для них оставался лишь монстром объятий и больше
Никем и опять каждый раз начиналась для них та же песня опять меня заключить
В клетку горячих рук
И опять убедиться что я как река как вода
Ускользаю
А им остается за мною бежать до самого моря отчаянно пальцы ломая

Горькие пальцы сплетая на ветру в пустоте
О неоплодотворенные лона

Честно сказать любовь к моей скромной персоне разделял я пожалуй
Только с вами творцы легенды моей
Но знаю но знаю прекрасно вы были при этом готовы всегда
Окутать меня покрывалом анафемы
Чтобы от взоров грядущего
Скрыть нечистые помыслы ваши а я от вас ускользал
На рассвете И так же как те
Несчастные жертвы Испанца ведь недаром всю жизнь я испанское имя ношу
Вы тщетно пытались передо мной отворить
Врата преисподней Или монастыря И оглаживая похотливой ладонью партнеров своих
Вы мечтали меня залучить
В сети вашей проклятой любви

У меня уж немало скопилось портретов моих
Но им всем я готов предпочесть
По крайней мере
Сегодня
тот где к фразам моим к моим словесам и руинам
Добавляется музыки славный обман чудесная ложь
Мерцанье причудливых бликов мне хотелось бы выбрать
Неуловимый портрет альтовый взволнованный бред итальянские арфы о Моцарт
Из портретов своих я бы выбрал волшебный твой образ
Из всех моих собственных «я» мне бы хотелось быть только лишь тем
Кого поет эта ария Lascia mi dare la mano [1] о мне бы голос иметь Мне так бы так бы хотелось твоим созданием быть
И все же я не соблазнитель не тот и не наш французский
Во мне неизбывно сидит и все портит какая-то ярость
Нет не дано мне ни тем соблазнителем быть и ни этим И также не Принцем о котором чуть выше шла речь и который умеет играть
Мертвым черепом словно мячом Не перед ним предо мною
Стоит ныне вечером вечный вопрос быть или не быть
Или как говорится в чужую дуду труби or not труби

Сейчас на дворе у нас
Тысяча девятьсот шестьдесят седьмой год и войны всякого сорта
Идут во всех уголках человека
До самого неба идут до черного неба летнего солнцестоянья
И сегодня все роли мои мне видятся слабыми
Существование стало теперь телевиденьем
Смерти Но искусство театра никогда еще не было
Важным и нужным таким Речь идет о том чтобы быть
Быть вечно
Кем-то другим А это скажу вам
Вовсе не просто

Кем-то другим а все эти люди
Бесконечно довольны собой и только собой не другими

[1] «Ручку мне дай, красотка» *(итал.)* — ария из оперы Моцарта «Дон Жуан».

Как же мне перед ними для них выговорить слова такие непроворотливые
Которые так тяжело перекатываются во рту слова которым назначено
Вместо меня говорить слова
Мне чужие жестокие ах
Я напрасно их пробую на язык
Они все равно мне чужие
Слова прибежавшие к нам из разных веков
Слова в которых я заблудился

А может быть для души необходимы котурны
Чтоб развернулась пред ней перспектива соборов дворцов
И колонн
О лживое зеркало я бы хотел
Чтобы лицо в тебе увеличилось
Чтобы мой призрак стал ростом повыше а вдали рокотал
Гул семимильных шагов моей мысли в лепечущем сумраке
Где зарождается некий туманный трактат
Отдаваясь в ушах бесконечных балконов
Вот я снова один на один с этой бездной С человеческим этим Зеркалом без лица
Я один на один с отсутствующим отраженьем которое стерло меня
Ибо я незнакомец для собственных глаз
Мне бы надо это письмо прочитать но я
Не могу это сделать Имя стоящее на конверте
Оно не мое уже больше
Мне бы это письмо прочитать
До того как ослеп я
До того как я стал королем по воле Шекспира
Двойником несчастного Лира
Королем бредового мира
И больше никем

Письмо Всегда остается письмо которое ты не прочел
От кого ж оно было Вот пожалуй еще одна роль
Которая мне предназначена
сценой
Где я стану сейчас жалким нищим среди необъятной вселенной
С мертвой дочерью на руках
А вокруг будут молча толпиться все персонажи
Герцоги и шуты и гонцы и убийцы
И скоро все те кого они убивали пока шла пьеса
Пока рос вереск все они встанут в крови Их слова
Тоже убиты и ва-
Лятся мертвые на пол

Простите пожалуйста мне показалось что я средь холмов
Что другая играется пьеса и мне двадцать лет
И я возле озера и на лице моем легкие пряди льняные

Кто я скажите Король Или я это я
Где же где же письмо я его потерял впрочем все письма на свете
Это ошибка Неизвестно кому они
Пишутся
Всегда кому-то другому Какому-нибудь

Ярко-рыжему великану который измучен дальней дорогой и падает наземь
С коня Они пишутся мясникам оседающим
Под тяжестью освежеванной туши
Пишутся
Хищным птицам И женщинам проданным в рабство И феям

Я письмо потерял по дороге Оно
Выпало из кармана Я его потерял проиграл
Цвет не мой выкликает крупье
Проиграл я письмо а ведь может быть снова
От меня в нем требуют денег
За квартиру Или налог Или в нем счет от портного
За этот вот плащ

Ради бога скажите какую здесь пьесу играют
И какая в ней роль
Для меня Пьеса Брехта или Шекспира
Или давние горести в давних стихах
Ах на свете дела идут все хуже и хуже
Могу вас уверить Но письмо но письмо да куда ж его я
Подевал

Он становится на четвереньки не в пьесе а в жизни чтобы найти потерянное письмо или хотя бы облегчить свою совесть Он шарит среди прохожих у них под ногами у них в карманах Дорогой мой если ты сейчас же не перестанешь дело кончится плохо тебя изобьют можно подумать что ты этого только и ждешь

Жду говорит он с вопросительной интонацией Конечно я жду Жду что найдется письмо И даже не столько само письмо сколько стоящий за ним человек Я ведь не знаю чего он от меня хочет Чего он вообще может от меня

Хотеть Странное слово хотеть идущее от подбородка на первый взгляд оно выглядит кротко но кротость его это ложь и вот оно уже требует вынь да положь На четвереньках в жизни не в пьесе под ногами прохожих как в темном лесе Хотеть к этому слову есть славная рифма потеть Вот в чем должно быть судьбы моей суть Было бы надо прочесть мнє его а потом уж

Выбрасывать Или хотя б распечатать Чтобы взглянуть Удостовериться что это рекламный проспект и его можно выкинуть в урну

Хватит вставай тебе еще надо загримироваться
Все громы небесные взятые вместе не в силах
Помешать актерам играть Надо любою ценою играть
Ту или эту историю историю про королей
Лишенных короны Разодранный плащ
В ненастной ночи на перекрестке дорог Подымайся Уже
Не гроза это Это оркестр ты чувствуешь как
Пронизали тебя окровавленным шилом слова
Жестокие не твои чужие слова
Призраки Грифы Змеиные жала
Подводные рифы и в темноте
Дыхание зала

Давай Выходи Подымайся
На сцену и майся
Но цену
Новую
Старым словам придавай

ПАМЕЛА ХЭНСФОРД ДЖОНСОН

Особый дар

РОМАН

Перевод с английского С. МИТИНОЙ

1

Шел второй день осеннего триместра в Кембридже, где третий год учился Тоби. Погода стояла мягкая, солнечная, и трое молодых людей — Тоби Робертс, Боб Катбертсон и Эйдриан Стедмэн — расположились на берегу Кема, радуясь октябрьскому теплу. Тоби был, пожалуй, самый приметный из них; он сидел, поджав под себя скрещенные ноги, как заправский йог. На редкость гибкий, он иногда проделывал настоящий акробатический номер: сцепит ноги на затылке и превратится в этакое забавное большущее яйцо. Был он высокий, веснушчатый, и в чертах его грубоватость странным образом сочеталась с тонкостью; сверкающий свет дня высекал из его волос красноватые искры. Тоби исполнилось двадцать, Боб был старше его на полгода, а Эйдриан почти на два. Сын викарного епископа, ныне покойного, Эйдриан изучал богословие и собирался по окончании университета принять сан священника Высокой церкви [1]. Тоби его намерения не одобрял, но помалкивал. Он вообще привык держать свое мнение при себе.

Круглоголовый Боб занимался физикой. По происхождению он был шотландец, но родился и вырос в Шеффилде, где отец его работал мастером на сталеплавильном заводе. Он верил в себя и в свое будущее и не особенно щадил чужие чувства. Вот и сейчас Боб спросил Тоби:

— Ты ведь неравнодушен к Мейзи, а?

Тоби улыбнулся.

— Я ее толком не знаю. Но она симпатичная. Мы с ней встречались разок-другой в прошлом триместре,— сказал он, а сам подумал, что он-то знает о Бобе все, а Боб о нем — ровным счетом ничего.

Тоби изучал историю и пока не очень представлял себе, что его ждет: на диплом с отличием он, пожалуй, не потянет, так что, возможно, придется ему довольствоваться местом учителя. Вряд ли у

---

[1] Направление в англиканской церкви, тяготеющее к католицизму. *(Здесь и далее — прим перев.)*

© Pamela Hansford Johnson, 1975.

него хватит литературного дарования на то, чтобы писать исторические труды.

— Что у тебя за книги? — спросил Эйдриан.

Тоби молча положил перед ним Мишле, потом Карлейля, потом Матьеза.

— Вот, смотри.

По Кему еще сновали ялики-плоскодонки. В чистом свете дня ярко блестели каменные шары над мостом, а за ним вставало здание колледжа — ничего более величественного ни Тоби, ни Бобу до приезда в Кембридж видеть не доводилось.

Эйдриан, сосредоточенно и сурово наморщив лоб, перебирал книги. Был он, как и Тоби, высокого роста, но смахивал на итальянца; заострившееся его лицо казалось аскетическим. Тоби подумалось, что он вообще не такой, как все, и девушкам должен нравиться каким-то вывихнутым. Зачем только он обрекает себя на безбрачие? Дурацкая, в сущности, затея: ведь он еще так молод...

— Карлейля я не читал,— прервал Эйдриан его мысли.— Что он такое?

— А знаешь, стоит,— после некоторого раздумья ответил Тоби.— Нечто вроде кинобоевика в великолепном цвете. Но в истории не силен. Вот Матьез — другое дело; у него и познания были куда обширнее.

— Пошли вечером в кино,— предложил Боб. Он нисколько не старался изменить свой выговор — сочетание шотландского и северного. Но как раз с ним у профессора Хиггинса трудностей бы не было. Тоби, с его мягким произношением жителя лондонской окраины, задал бы ему работу потруднее.

— Я — пас. Надо заниматься.

— А ты, Эйдриан?

— Как-нибудь в другой раз. Только не сегодня. Потому же, что и Тоби.

Боб был явно разочарован.

— Ты у нас головастый,— бросил Тоби.— Тебе зубрить незачем — не то что нам, простым смертным.

На самом же деле вечер он собирался провести не за книгами, а с Мейзи — поужинать с нею в кафе. Но не очень шикарном: такое ему не по карману. Впрочем, она девушка непритязательная.

— Ну что ж, надо снова запрягаться.— Боб поднялся и пошел, приземистый, коротковатый, и приземистая, короткая тень следовала за ним.

— Кстати, насчет Мейзи,— вдруг сказал Эйдриан, и Тоби внутренне вздрогнул: вот чудеса, телепатия да и только — Моя мама довольно близко знакома с ее матерью. У нее, кажется, нечто вроде салона — бывают художники, писатели и всякая такая публика. Деньги там, видно, немалые. Мейзи тебе про нее рассказывала?

— Нет, говорила только, что она живет в Суффолке. Мейзи вообще не особенно о себе распространяется. (Тоби догадывался, что при этих словах Эйдриан подумал: «Ну, а сам-то ты?»)

Но Эйдриан сказал совсем другое:

— Знать бы, что станется с каждым из нас через пять лет...

Он частенько вот так перескакивал мыслью с одного на другое, без всякой видимой связи. Это неумение сосредоточиться мешало ему в занятиях, хоть он и относился к ним очень серьезно. На свой вопрос Эйдриан ответил сам:

— Надеюсь, что к этому времени у меня будет сносный приход, более или менее перспективный.

— И уж конечно, все принципы Высокой церкви будут там соблюдаться неукоснительно,— поддел его Тоби.

— Ну, в том смысле, какой ты в это вкладываешь, пожалуй, да. Обрядовая сторона имеет для меня большое значение.

Эйдриан не удержался и последние слова произнес тоном проповедника.

— Отец Стедмэн...

— Да, надеюсь в конце концов им стать. А ты, Тоби, в бога не веришь?

— Может, верю. А может, и нет. В сущности, сам никогда не мог разобраться.

Мысль о доме Мейзи уже засела у него в голове. Интересно, у миссис Феррарс и в самом деле «салон»? Вот бы поглядеть!

— А ты бы об этом поразмыслил,— проговорил Эйдриан с глубокой серьезностью.— Вера действенна. Молитвы помогают, это бесспорно.

Тоби дружелюбно кивнул в знак согласия, хотя сам не молился с младенчества.

— Ну, а ты? Кем ты надеешься стать через пять лет?

— В тысяча девятьсот пятьдесят пятом... Мне будет двадцать пять — цифра вполне солидная, если учесть, что на земле нам отпущено не так уж много... Понятия не имею.

— Будешь уже, наверно, женат.

— А ты — нет. Большая потеря. Для женщин, я имею в виду.

Эйдриан зарделся, словно юная девушка.

— Я в этом ничего не смыслю. А о чем не ведаешь, о том и не горюешь, я так полагаю.

Тоби промолчал. Что, если его все-таки пригласят в загородный дом Феррарсов в Суффолке? С кем там можно познакомиться? Он твердо верил, что полезные знакомства — это все. Как бы это сделать, чтобы Мейзи его пригласила? Надо будет обмозговать. Для начала можно пригласить Мейзи в дом его родителей. Но понравятся ли они ей? И мысленно он тотчас же грудью стал на их защиту: мать и отец ему дороги, он благодарен им за те жертвы, на которые они идут ради него. А все-таки ничего не поделаешь: всякий раз, возвращаясь в ЮВ $\frac{1}{1}$, он испытывал примерно то же чувство, что Фанни Прайс [2], навещающая семью после долгого пребывания в Мэнсфилд-парке. Как бы то ни было, действовать надо осторожно: он-то покуда в Мейзи не влюблен, а она, видно, начинает к нему привязываться всерьез. Интересно, умеет ли она применяться к непривычной обстановке?

На ладонь ему, сверкая кованой медью, лег палый лист.

— Хорош,— отметил Тоби вслух.

...С Мейзи он встретился в маленьком кафе на Риджент-стрит. Она приехала на велосипеде из Гертона радостная, оживленная, и Тоби в который раз подивился — до чего она похожа на Фриду Лоуренс в молодости: такое же треугольное лицо, яркие глаза с приспущенными в углах веками, вздернутый нос, большой рот изогнут улыбкой в два завитка, волосы тоже в завитках, золотистые — впрочем, сам Тоби упорно считал, что они золотые.

— Предпочел бы повести вас в «Клэридж»,— сказал он.

— А мне здесь не хуже.— Она сидела против него, вся обратившись в слух. Но он только и спросил, как идут у нее занятия (Мейзи

---

[1] Почтовый индекс одного из окраинных районов Лондона.

[2] Героиня романа известной английской писательницы Джейн Остин (1775—1817) «Мэнсфилд-парк».

изучала английский язык и литературу и разделяла все idées reçues [1], что для девушки в общем-то очень независимой было довольно странно).— Помаленьку. Джордж Элиот [2] просто чудо, верно?

Но Тоби не согласился: он всегда считал, что стиль у этой писательницы несколько тяжеловесный, а «Мидлмарч» — такая тоска, спятить можно. Кэзобоны и Лидгейты — еще ничего, но ведь в романе без конца мелькают разные второстепенные персонажи, и впечатление нарушается.

Мейзи была явно разочарована:

— Нет, вы это не всерьез!

И Тоби подумал: а случается ли, чтобы ей не понравился автор, если восхищаться им положено, или же запал в душу такой, кто переступил черту, за которую Мейзи и ей подобным заглядывать не подобает?

— Раз она вам нравится, я готов ее полюбить. Ну, а Диккенс?

— Диккенс — просто развлекательное чтение,— изрекла Мейзи презрительно.

Тоби улыбнулся и спросил, что она будет есть.

— Камбалу с хрустящим картофелем,— поспешно ответила Мейзи. И, помолчав, добавила: — Понимаете, в детстве мне их есть не приходилось. Потому я их так и люблю.

— А я люблю именно то, к чему привык с детства,— вставил он осторожно.— Например, пудинг с мясом и почками.

Этим он сказал о себе многое — куда больше, чем говорил до сих пор. Что ж, посмотрим, как она отреагирует.

Но Мейзи только кивнула в ответ. Так-так, стало быть, она любит то, чего в детстве ей есть не приходилось. О себе она особенно не распространялась, как он и говорил Эйдриану, но вообще-то болтала весело и оживленно, и завитки ее улыбки пленяли его. Ела Мейзи с аппетитом, лихо поливала камбалу уксусом, как будто привыкла к этому с малолетства, но он-то знал, что это не так.

— Красивое платье,— сказал он. Платье было из мягкой шерстяной шотландки неброских тонов. Интересно, сколько за него заплачено? В таких вещах он разбирался слабо.

— Пожалуй, чересчур теплое для бабьего лета. Мама будет жалеть, что упустила такую погоду; она сейчас отдыхает: решила, что осень будет холодная, и сбежала.

Тут Тоби, наконец, позволил себе задать вопрос:

— Отдыхает?

— Уехала на Ямайку.

(...Н-да, а вот его мать вообще не бывала за границей.)

— Она очень устала. Все лето гости и гости, а ей это иной раз не под силу. Ну, а как идут занятия у вас?

Он стал рассказывать, а она ободряюще кивала.

— У вас все будет хорошо,— проговорила она со значением, словно имела на этот счет особую, секретную информацию.

Но тут Тоби вдруг стал самоуничижаться. Да нет, он высоко не метит. Получить бы приличный диплом, и ладно, на большее рассчитывать не приходится.

— А вот у вас все будет блестяще,— поддел он Мейзи.— Только отвечайте всегда как положено.

Она обиженно глянула на него, но потом улыбнулась, радужно и открыто.

— Но у меня, знаете ли, и своя голова есть.

---

[1] Расхожие мнения *(франц.)*.

[2] Псевдоним английской писательницы Мэри Эванс (1819—1880).

— Притом прелестная.— Это была первая интимность, которую он себе позволил.— И очень мне нравится.

Явно польщенная, Мейзи отвела глаза.

— Да нет, ничего особенного. Так, память хорошая, и все.

Неоновые огни кафе слепили глаза. Из кухни доносился шум холодильника. Студенты — кто с приятелем, кто с девушкой — приходили и уходили. А Мейзи чувствовала себя здесь как дома. Судя по всему, она где угодно будет чувствовать себя как дома.

Мейзи между тем завела разговор о спектаклях, пластинках, фильмах. Он «Карусель» смотрел? Потрясающий фильм. До того захватывает! И вдруг, остановившись на полуслове, попросила:

— Пожалуйста, позвольте мне самой заплатить за себя. Я же лопала как лошадь.

— Ну, нет. Я человек старых правил.

Тоби жил на стипендию — в Кембридж он поступил после классической школы — и небольшую сумму, которую давал ему отец. И прекрасно этим обходился: тратил деньги весьма осмотрительно.

Мейзи не настаивала, но посмотрела на свои часы.

— Просидели тут бог знает сколько, и я все время болтаю за двоих.

— И очень мило болтаете.

— Поздно уже. Мне пора.

— Если вы согласны дойти со мной до колледжа, я возьму свой велик и поеду вас провожать. Что ни говори, нас все-таки не держат под замком, взаперти, за глухою стеной, как вас, бедных девочек.

Толкая ее велосипед, он двинулся по Риджент-стрит, затем вверх по Петти Кьюри, где в витринах магазина «Хеффер» еще поблескивали в свете ламп глянцевитые обложки книг, потом — через Рыночную площадь (где, как и на рыночных площадях всех городов, самый воздух был насыщен волнующим предвкушением чего-то приятного, на великолепную Кингс-пэрейд. Светила полная луна. В потоках бледного ее света поблескивала капелла Кингс-колледжа.

— Кто-то сравнил ее с перевернутой вверх ногами свиньей,— проговорил Тоби.— А, по-моему, она просто чудо.

Черно-белое здание университетского сената казалось больше, чем днем. На дороге за его задним фасадом не было ни души.

Прислонив велосипед Мейзи к тумбе, Тоби наклонился и поцеловал ее — в первый раз.

— Это не просто так,— сказал он. Мейзи возбужденно хихикнула и тут же смолкла; он так и не понял, как же она к этому отнеслась. Поцелуй был неожиданный и короткий, ответить на него она все равно не успела бы; но этот смешок несколько его озадачил: очень уж он не вязался со всем ее обликом — будто горничная какая-то, подумал он, хотя с горничными ему иметь дела не доводилось. Когда они ехали по Хантигдон-роуд к Гертону, он сказал: — Славный был вечерок. Сходишь со мной еще куда-нибудь? В субботу, а?

Но Мейзи ответила, что в субботу не может: возвращается мать, и она хочет побыть с нею.

Когда они прощались у ворот колледжа, он уже больше не сделал попытки поцеловать ее. Именно тут к нему пришло решение: конец недели он тоже проведет в родительском доме.

2

Домой Тоби явился в пятницу под вечер, заехав предварительно в Лондонскую библиотеку. К его девятнадцатилетию родители наскребли нужную сумму и подарили ему пожизненный библиотечный

абонемент, за что он был очень им благодарен. Выбрав в библиотеке несколько книг, он отправился к себе.

День был хмурый, дождливый, и свет фонарей двоился, отражаясь на мокром асфальте. Зеленные лавки радовали глаз, изливая на улицу все богатство своих красок — оранжевой, лимонной, ярко-зеленой: плоды ночи, затопленные дождем.

Прежде всего Тоби зашел к отцу. Витрина киоска была завалена сладостями в заманчиво ярких обертках, журналами и — для большего престижа — дешевыми книгами в бумажных обложках, которые никто не брал. Они покрылись бархатистой патиной пыли, несколько их облагораживающей. Покупателей не было; заслышав звон колокольчика, отец вышел из внутренней комнатушки, где хранил запасы и время от времени отдыхал.

Мистер Робертс был высокий, плотный; карими глазами он напоминал сына, но этим сходство и ограничивалось: в грубоватом его лице никакой тонкости не было.

— А, вот и ты!

— Мама получила мое письмо?

— Да. И заклала в твою честь упитанного тельца.

Глянув на засиженные мухами часы, мистер Робертс сказал, что через пять минут можно закрывать.

— Ну, как ты, мальчик? — спросил он ласково.

Тоби — а он разговаривал с отцом совсем другим языком, чем с друзьями,— ответил, что держит хвост морковкой и трудится не покладая лап, как бобр.

— Но пока еще,— добавил он,— рановато судить, сдюжу я или нет.

— Сдюжишь, старина. У нас с мамой на этот счет ну просто никакого сомнения.

От этой его уверенности Тоби стало не по себе. Правда, дело у него идет, но не ждут ли они от него слишком многого? Не хотелось бы их разочаровывать.

— Еще книг набрал?

— Да. Тяжеленные — тонну тянут.

— Вернуть бы мне молодость,— слова эти прозвучали грустно,— я только и продавал бы что книги, книги, книги. Но в те годы прожить на это было нельзя.

Они подошли к домику с террасой на бедноватой, но благопристойной улице. От остальных домов его только и отличали что необычные занавески, свидетельствовавшие о незаурядном вкусе миссис Робертс: одинаковые на обоих этажах, кретоновые, со смелым узором — яркие гранаты на светлом фоне (при виде их кое-кто из соседей недоуменно поднимал брови). У калитки, по обе стороны которой тянулись мокрые кусты бирючины, блестевшие в свете уличного фонаря, Тоби замешкался. Так бывало в каждый приезд из Кембриджа: его страшил домашний запах. Грязью в доме не пахло, отнюдь — миссис Робертс во всем была великая аккуратистка. Нет, то был медленно рассеивающийся в узких коридорчиках смешанный застоялый дух еды, карболового мыла (мать до сих пор в него верила), скипидара и еще ветхости, что, в общем-то, непонятно (дом был построен не так уж давно, году в двенадцатом). И затхлости Бывая у друзей, в домах куда более старых, Тоби удивлялся, почему там этого запаха ветхости нет, но потом решил: потому что они просторнее. Привычное и мимолетное чувство отвращения причудливо переплелось в нем с искренней радостью при мысли, что сейчас он увидит мать. Они вообще были близки, а кроме того, его восхищало упорство, с которым она занималась живописью и всячески расширяла свой кругозор.

Услышав, как муж поворачивает ключ в замке, миссис Робертс вышла им навстречу — маленькая, словно воробышек, женщина с небольшими очень блестящими глазами. Она сжала сына в объятиях и расцеловала в обе щеки (можно было бы сказать, что она поздоровалась с ним по-русски, если бы не то обстоятельство, что миссис Робертс ни одного русского в глаза не видела).

— Ты смотри, кто приехал! А мы и не чаяли увидеть тебя так скоро.

— Да вот пришлось. Ну, как ты, мама? Что-то попахивает скипидаром — видно, ты вся в творческих исканиях.

— Нет, вы его только послушайте,— сказал мистер Робертс.

Живопись не была воскресным увлечением миссис Робертс. Она писала ежедневно, в спальне для гостей, прислонив плиту сухой штукатурки к спинке стула.

Будь ее картины чуть-чуть получше, она, пожалуй, заслуживала бы сравнения с Бабушкой Мозес [1], считал Тоби; да только где его взять, это самое «чуть-чуть».

— Грех жаловаться. Написала цветы, прямо из головы.— Она слегка его отодвинула: — Дай-ка на тебя поглядеть.

— Ты ж меня на той неделе видела. Я за это время не вырос.

Мать спросила Тоби, голоден ли он: она приготовила много вкусных вещей — его любимые блюда. Все пошли на кухню. В недолгий период процветания семейства Робертсов ее расширили, и теперь это была самая большая комната в доме. Стол был застелен клетчатой скатертью, как принято на континенте. Его украшала ваза с желтыми хризантемами, расставленными прямо-таки с японским изяществом.

— Да, голоден. Как гончий пес. Кстати, есть ведь созвездие Гончих Псов. Кем же мне считаться, если я голоден: псом из своры или звездой из созвездия?

— Ой, да отстань ты со своими остротами. До того востер, скоро сам о себя порежешься.

Мать действительно приготовила все любимые блюда Тоби. Правда, как-то раз, в доме у одного из богатых друзей, Тоби попробовал паштет из гусиной печенки, и он ему тоже пришелся по вкусу — впрочем, он не знал, доведется ли ему еще когда-нибудь это яство отведать. Домашние пирожки с мясом, коричнево-румяные и сочные, с пылу, с жару; хрустящий картофель; пирог со свининой, тоже домашний (миссис Робертс была большой мастерицей по этой части); консервированная лососина (Тоби раз и навсегда отдал ей предпочтение перед свежей); компот из груш с корицей; апельсиновый кекс, покрытый сахарной глазурью; большущий, дымящийся чайник. У Тоби слюнки потекли. Как там ни повернется жизнь, подумалось ему, это всегда будет моя любимая еда... Знать бы все-таки, что сулит будущее... Вот фазанов как будто пробовать не приходилось — а вкусно, наверное...

Он уже принялся за еду — аппетит у него разыгрался. В Кембридже он питался куда хуже, чем они думали,— узнай родители об этом, они пришли бы в ужас.

— Вкусно — потрясающе!

Миссис Робертс смотрела на жующего сына с любовью почти жертвенной. В отличие от мужа она понимала, что рано или поздно Тоби покинет их... Говорит он по-прежнему примерно так же, как они, но вот голос у него... и тут в голову ей невольно пришел самый избитый оборот ...у него уже голос истинного джентльмена.

[1] Анна Мозес — американская художница примитивистка, получившая шумную известность после второй мировой войны. Живописью стала заниматься в 78 лет.

— Ты сегодня и уедешь?

— Нет, переночую, если вы готовы меня терпеть. Нужно, чтобы все эти вкусности как следует улеглись в животе — что-то неохота бежать на поезд.

После трех чашек чая и шести сигарет, чувствуя, что ужин основательно «улегся», он предложил матери помочь ей с посудой. Но мать сказала — не надо; она привыкла считать, что мытье посуды — не мужское дело, и супруг охотно поддерживал ее в этом убеждении.

— Посуда подождет. А вот картину мою я тебе покажу, если хочешь.

Они поднялись наверх. Композиция была смелая: на ярко-синем фоне — белые и желтые цветы в терракотовом кувшине. Меньше всего удался кувшин — не ощущалась фактура, и потом, он почему-то не отбрасывал тени; но все-таки картина Тоби понравилась; он даже спросил, нельзя ли взять ее с собой в Кембридж — повесить в комнате. Миссис Робертс вспыхнула от удовольствия. Для нее это была наивысшая похвала.

— Вот только сперва отдам вставить ее в рамку.

— Незачем. Я знаю в Кембридже хорошую мастерскую, там мне все сделают как надо.

Он почувствовал, как в нем поднимается нежность к матери. Какая она маленькая, легкая; это от нее он унаследовал рыжеватые волосы; она закалывала их в пучок — то ли по старинке, то ли по художнической причуде. Тоби знал: попросив картину, он обрадовал ее несказанно, и в нем шевельнулось то же чувство, что и в детстве, когда ему случалось порадовать мать каким-нибудь благоразумным поступком и лицо ее вдруг словно освещалось изнутри.

— Видишь, что я читаю? — мать с гордостью протянула ему «Анну Каренину» — старую, потрепанную, в бумажном переплете.— Сколько же он всего о людях знает, прямо жуть берет,— задумчиво проговорила она, тщательно выбирая слова.

— А которой из героинь ты себя воображаешь? — Он поддразнивал ее — именно так, как ей это особенно нравилось.— Анной?

Она дала ему тычка.

— Ты только представь себе меня в черном бархате, с гирляндой анютиных глазок в волосах.

— Нет, в Анны ты не годишься. Ужасно жаль, но Анна определенно была полновата. У Толстого так прямо и сказано.

— А я кое-что предпочитаю забывать, вот и это тоже забыла. Полнота как-то портит Анну. А ты и правда повесишь мою картину у себя в комнате?

— Да, пусть все видят. Заберу ее в следующий раз. А то сейчас загрузился книгами.

Они снова спустились в кухню. В гостиной, как обычно в таких домишках, принимали посетителей не слишком близких — скажем, страхового агента.

Отец, сытый и ублаготворенный, дремал у затухающего камина. Мать принялась убирать со стола.

— Ну, хоть тут я могу внести свою лепту,— сказал Тоби, проходя следом за ней в посудомойню. На этот раз мать не противилась, и он понял, что ей еще о многом хочется с ним поговорить. Прежде всего она спросила:

— Питаешься ты как следует?

То был второй из ее неизменных вопросов.

— Но я же выгляжу сносно, правда?

— В самом колледже питаешься?

— Большей частью — да. Кормят ничего, но нормирование еще, конечно, здорово дает себя знать.

— Я думаю, ты и с девушками встречаешься?

Увлекшись расспросами, она даже не замечала, что он вытирает тарелки,— обычно такое не допускалось.

— Сватовством решила заняться, а, мам? — Тоби ухмыльнулся про себя: уж не хочет ли она удостовериться в том, что его не тянет к мальчикам? И вдруг решился: — Знаешь, может, скоро приведу к чаю одну девушку.

Мать встрепенулась:

— Кого?

— Мейзи Феррарс. Я тебе дам знать заранее.

— Надеюсь, она не из очень шикарных? Как бы мне не ударить перед нею в грязь лицом.

Теперь миссис Робертс не смотрела на сына: она с ожесточением оттирала с чайной чашки коричневатый налет.

— А ты, мама, ни перед кем в грязь лицом не ударишь.

Раньше он постоянно говорил ей «мам», но последнее время слово это выговаривалось у него редко.

— Почем знать, может, люди считают тебя богаче, чем ты есть.

— Гордячка ты, вот кто. Нет, просто она очень славная. Только не подумай, что между нами что-нибудь серьезное. Не знаю даже, поедет ли она сюда.

Но мать уже снова сияла. Ведь это впервые после окончания школы он собирается пригласить кого-то к ним в дом.

— Ты так симпатично тут все оборудовала,— сказал он совершенно искренне. Простая синяя дорожка на лестнице, белые стены — все это отличало их дом от соседских, и он знал: в это вложено немало ее труда. В каждой комнате — какая-нибудь одна обивочная ткань с красивым узором. Повсюду связанные из тряпичных жгутов коврики. Отец этого не замечал, а вот Тоби замечал. И раздумывал над тем, насколько иной была бы ее жизнь, родись она в другой среде. Ее тонкий вкус художника сказывался во многом, только не в одежде: одевалась она довольно убого. Во-первых, на наряды у нее оставалось слишком мало денег. Во-вторых, она вкладывала душу только в творения своих рук, а о собственной внешности заботилась мало.

К тому времени, когда они вернулись в кухню, мистер Робертс успел проснуться.

— Надо бы спрыснуть твой приезд,— сказал он.— Когда ты являешься, нам всегда охота выпить на радостях.

— Тогда мне лучше приезжать пореже,— сказал Тоби, глядя, как отец достает полбутылки виски.— Не то я вас разорю.

Мистер Робертс поставил на стол кувшин с водой и два стакана. Миссис Робертс не пила: то был единственный след воспитания, полученного ею в методистской семье. Просто говорила, что запах спиртного ей неприятен. Мужчины уютно расположились у камина, потягивая виски.

Уютно, подумал Тоби. Вот это — точное слово. И что бы ему ни уготовила судьба, вряд ли он где-нибудь будет чувствовать себя так уютно, как тут, дома. Какой я есть, такой и есть. А вот надо ли это показывать другим — еще вопрос. Но сейчас его обволакивало тепло семьи, тепло камина, тепло виски, и он был доволен. Будет ли он доволен всегда, он и сам не знал, а в общем — какая разница? Тоби жил мгновением — теми радостями, какие оно могло ему дать.

У себя в спальне он сразу же заснул мертвым сном. Но до того, как закрыл глаза, успел заметить, что простыни пахнут лавандой. Как это похоже на мать — вот этот последний, завершающий штрих...

3

Друзья пили кофе в колледже, у Тоби в комнате. Час был поздний. Красавец Эйдриан по их просьбе толковал библейское изречение: «Грех не вменяется, когда нет закона»[1], но рассуждения его были настолько туманны, что ни Боб, ни Тоби ничего не могли понять.

Боб с Эйдрианом все спорили и спорили, и Тоби начал терять терпение. Ему хотелось разузнать о салоне миссис Феррарс, но пока не представлялось возможности спросить об этом Эйдриана. Он встречался с Мейзи уже несколько раз, однако дело все еще не продвинулось дальше прощального поцелуя; нет, она, видно, не из тех, с кем можно запросто переспать. Но с неделю тому назад он поймал на себе ее взгляд, исполненный, как ему показалось, самой откровенной любви. А вот готов ли он к роману с ней? Тоби и сам не знал.

И вдруг Эйдриан выложил на стол свою козырную карту. (Он нипочем не пошел бы ею, если бы Боб не донял его спором.)

— А я ездил на субботу и воскресенье в Хэддисдон.

— Где это — Хэддисдон? — спросил Боб.

— Почему вдруг именно ты? — вырвалось у Тоби, и этим он невольно выдал себя.

Лицо у Эйдриана стало удивленное:

— Но я же тебе говорил, моя мама знакома с матерью Мейзи.

— Ну, и как там?

— Очень симпатично. Дом ее неизменно открыт для всяких литературных светил.

— А сама она что собой представляет?

После некоторого размышления Эйдриан ответил:

— Это личность.

Более подробные характеристики как-то не давались ему.

— Вот как,— бросил Боб без всякого интереса. Яркие личности не привлекали его: он предпочитал иметь дело с людьми заурядными.

А Тоби между тем раздумывал о своих друзьях. Боб сам по себе — человек заурядный, но по прихоти случая у него талант к математике. Так что физик из него получится сильный. А вот Эйдриана заурядным не назовешь. Он добр по натуре: случая не было, чтобы он о ком-нибудь отозвался резко или презрительно, а такие люди попадаются не слишком часто. И потом, он очень религиозен, чем иногда, сам того не желая, ставит окружающих в затруднительное положение. Тоби снова подумал о том, до чего Эйдриан обеднит свою жизнь, приняв обет безбрачия. И ведь такое решение он принял не потому, что секс значит для него меньше, чем для других: просто он всецело захвачен одной-единственной идеей, это у него уже пункт помешательства; не исключено, что ради идеи он поведет свое суденышко на рифы. И какие же они будут, эти рифы?.. Отец Стедмэн, такой стройный в священническом облачении, кумир голодных прихожанок...

— Кого же ты видел в этом самом Хэддисдоне?

— Ну, Эдуарда Крейна, он там бывает постоянно.

Услышав это имя, удивился не только Тоби, но даже и Боб. Эдуард Крейн считался самым знаменитым из современных драматургов: одно время в театрах Вест-Энда шли сразу три его пьесы. Пьесы были коммерческие, но при всем том умные и глубокие. Мода на него пока еще не прошла. Но не исключено, что такое вскоре может случиться. Вот будет жаль! И он с удовольствием вспомнил пьесу Крейна о Джоне Никольсоне и Индийском восстании. Как же она

---

[1] Из послания к римлянам апостола Павла, 5, 13.

называлась? Броское какое-то название. «Библия и меч»? Что-то в этом роде.

— А кто еще там бывает? — спросил он.

Эйдриан назвал молоденького романиста, приверженного к лицам одного с ним пола, весьма популярного поэта, который умудрялся сбывать свои стихи, и художницу, чья известность в ту пору росла.

— Впрочем, я ведь побывал там всего один раз,— добавил он.— Широко мыслят, но и живут широко.

Тоби призадумался: как же это им удается? Его мать творит чудеса почти что из ничего, но в большинстве своем люди живут крайне скудно. Яйцо стало деликатесом. В совершенно ужасном омлете, который им дают на завтрак в столовой колледжа, яиц вообще нет. Тоби зевнул.

— Прошу прощения, но я должен пожелать вам доброй ночи, хотя самому мне особенно спать не придется. Нужно кончить распроклятый реферат о Калонне, тоска зеленая.

Эйдриан не сумел скрыть обиду. Вечно он засиживался у кого-нибудь в комнате, не умел уйти вовремя, и его выставляли. Времени он просто не замечал.

После ухода друзей Тоби действительно поработал и спать лег в три часа ночи. Наутро он прочел свою работу блестящему молодому «дону»[1], руководящему занятиями студентов-историков их колледжа, и тот сказал без обиняков:

— Несколько сонно написано, вам не кажется?

Звали «дона» Ноэл Хартфорд, и у него были все ученые степени, какие мыслимо получить к двадцати семи годам.

— Ужасно сонно,— подтвердил Тоби.— До смерти хотелось спать. В следующий раз напишу лучше.

После ленча он пошел в город и там сквозь витрину книжного магазина «Боуэс энд Боуэс» увидел Мейзи: как ни странно, она оглядывала стеллажи с детективами.

— Привет, малыш,— сказал он у нее за спиной. Ласковое это обращение прозвучало так, словно сорвалось у него с языка случайно.

Мейзи повернулась к нему. Ей бы хотелось сделать вид, что она интересуется книгами более серьезными, но было уже поздно.

— Поймана на месте преступления,— сказал Тоби.— А я-то думал, детективы — нечто для тебя совершенно запретное.

Мейзи ответила не сразу. И пока она подыскивала слова, Тоби отметил про себя, что она на редкость хорошенькая.

Наконец Мейзи бросила:

— Я страшно опаздываю. Придется, пожалуй, взять такси. Сюда я ехала автобусом, так что не разорюсь.

Они перешли Рыночную площадь.

Такси. Она может на них разъезжать. Он смотрел на задний фонарь, пока машина не скрылась за поворотом. И тут до него дошло. Надо работать. И не только сегодня вечером, а постоянно, изо дня в день. Стать кем-то. Ведь еще не поздно. Спрошу у Хартфорда: если взяться за дело основательно, на что можно рассчитывать? А если кое-какие предметы и будут нагонять тоску, надо себя перебарывать. Будь у меня такие способности, как у Боба... Но их нет. И все равно надо приналечь на занятия, хотя бы ради отца с матерью, а если это принесет какие-то дополнительные блага — что ж, чем больше, тем лучше.

Он шел к себе в колледж, не замечая дождя, наполовину влюбленный — нет, чуть больше чем наполовину. Странное это было чувст-

[1] Преподаватель, наставник, ученый или глава колледжа в Кембриджском и Оксфордском университетах.

во — такого ему испытывать не доводилось, хотя до Мейзи у него были мимолетные связи с девушками. Но тут что-то другое — не то чтоб совсем другое, а все-таки... Хэддисдон. Собственная машина... Э, риск — благородное дело!

Наутро он позвонил ей и пригласил к своим родителям.

— Дом у нас не очень шикарный, но есть в нем свои прелести. И мама будет тебе рада.

Он никак не ожидал, что она согласится с такой готовностью. Мейзи оговорилась только:

— Но не раньше чем через две недели. До тех пор мне никак нельзя уезжать.

(А почему, собственно, нельзя?)

— Значит, через субботу? Приезжай к чаю, а потом мы с тобой куда-нибудь сходим.

Тоби знал, что в Лондоне у нее есть родственники — тетка и замужняя сестра, так что где переночевать найдется, это не проблема.

— Договорились.

Он пообещал, что подробности они обсудят дополнительно.

— Будь здорова, малышка.

— И ты тоже.

Матери Тоби написал только через неделю. Трудно ему далось это письмо.

«Я говорил тебе, что, может быть, приведу в гости одну девушку. Что, если мы приедем в субботу к чаю, а? Хорошо бы показать ей несколько твоих картин, ты их подготовь. Да, имей в виду: ест она как птичка». (Вот это уже была явная ложь.) «Так что роскошного чая не устраивай, хотя сам я от него бы не отказался. Примерно в половине пятого, идет? Может, сандвичи — она любит огурцы, а ты их нарезаешь мастерски — и какой-нибудь пирог. Больше ничего не нужно, так что мы вас не объедим и не обопьем». Он представил себе, как возмутит отца эта просьба — подать столь жалкое, по его понятиям, угощение,— но вместе с тем Тоби знал, что мать все поймет как надо. Недаром она в молодости была служанкой в богатом лондонском доме. И он поспешил поставить заплатку: «Пожалуйста, не накрывай в гостиной, если только не сочтешь это обязательным. Кухня куда симпатичней. В глазах Мейзи это нас не уронит. Она очень славная и простая. Дело, видишь ли, в том, что после чая я куда-нибудь ее поведу, так что плотно заправляться она все равно не станет». (А не пережал ли он? Пожалуй, нет. В самый раз.) «Пусть все будет мило, приятно — ты только не суетись. Она и сама не из суетливых. Чтобы тебя порадовать, сообщаю, что тружусь прилежно, день и ночь шагаю к намеченной цели. Хартфорд считает, что я получу более или менее приличный диплом, если буду упорно его добиваться».

(В ученых степенях мать разбиралась слабо: получил бы сын хоть какую-нибудь, все равно какую, чтобы после его фамилии можно было ставить заветные буквы [1].)

«Только пыль, пыль, пыль от шагающих сапог»,— приписал Тоби. Мать поймет, откуда это. Она всегда любила Редьярда Киплинга (даже в ту пору, когда он был непопулярен) и говорила об этом с некоторым вызовом. Многие его стихи знала наизусть. «Так что не взыщи, если я заявлюсь домой весь пыльный, с песком в волосах, изнуренный долгим переходом. Напиши, как тебе этот мой план? Годится?

Самые лучшие пожелания тебе и папе».

---

[1] Имеются в виду сокращенные обозначения ученых степеней.

Он понимал, что отказ от «роскошного чая» очень ее огорчит. Она так его любит, и нет для нее большего удовольствия, чем приготовить ему великолепный чай или обед на свой собственный вкус. По его письму мать догадается, что Мейзи из другого круга, более высокого, чем они сами, и будет держаться несколько настороженно и скованно. Это ему вовсе не улыбалось — так приятно, когда она бывает самой собою, но что тут поделать? Привыкшие к родительской любви дети неизбежно ранят родителей — причем все, даже самые любящие; что ж, он постарается ранить их как можно меньше.

Что бы там Мейзи ни говорила о своем пристрастии к простой пище, устраивать для нее «роскошный чай» нельзя. Ой, кого я, собственно, дурачу? — мелькнуло у него в голове. Может, вообще никого. Он чуть было не изорвал письмо, но потом решительно встал, вышел на улицу и бросил его в почтовый ящик.

Ответ от матери пришел с первой же почтой — исполненный достоинства, но и с некоторым холодком, впрочем, едва приметным, как легчайший налет инея на листьях садового лавра.

«Мы оба рады будем познакомиться с твоей приятельницей. Конечно, пускай все будет, как она хочет, но мы с отцом считаем — не дело это. Правда, может, она привыкла к огурцам. Если твое такое желание, мы готовы хоть обдирный хлеб с маслом подать, пожалуйста. Но только не в кухне, сделай милость. Я в гостиной все устрою как следует, и зябнуть вы там не будете. Иногда там бывает сыровато и холодно, но я за два дня начну протапливать.

Рада, что ты хорошенько взялся за ученье. Я знаю, ты всего добьешься, стоит тебе только захотеть. Пишу я сейчас совсем новое: улица, детишки идут в школу. Покажу тебе и твоей приятельнице, если ты уверен, что она надо мной не посмеется».

Что ж, ответ лучше, чем он ожидал. Тоби почувствовал укол совести. Но ведь он решил пойти на риск, так? В нем шевельнулось недоброе чувство к Мейзи: а вдруг она и вправду станет презирать его родителей? Да нет, на нее непохоже. Она такая цельная, такая милая. И потом — Хэддисдон: этакую рыбищу поймать на плотвичку...

Когда Мейзи ввели в гостиную, у нее вырвался восхищенный возглас:

— Какая прелесть!

Комната и вправду была прелестная. Белые с розоватым отливом стены (миссис Робертс красила их сама), темно-синий ковер с частым узором из сплетенных роз. Занавеси, подбитые розовым сатином. Темно-зеленый гарнитур — три кресла и диван. На стенах — два натюрморта работы миссис Робертс: цветы.

— Рада, что вы ее одобряете,— бросила миссис Робертс.

Возможно, этого говорить и не следовало, но Мейзи ответила именно так, как нужно:

— А кто же может такое не одобрить?

В гостиной было тепло: мать сдержала свое обещание насчет двухдневной топки. Но никаких следов приготовления к чаю.

— Дора — мастерица украшать дом,— неторопливо и солидно пояснил мистер Робертс.— Она и меня в это дело втягивает.

— Это вы писали? — спросила Мейзи, взглянув на картины.

Мать Тоби кивнула.

— «Невзрачные творенья, но мои»[1],— с некоторой торжественностью произнесла она невесть каким образом запавшие ей в память слова.— Покажу вам потом мою последнюю, если хотите.

Мейзи сказала, что это будет замечательно.

---

[1] Искаженная цитата из Шекспира («Как вам это понравится», акт V, сц. 4).

Миссис Робертс вышла в кухню.

— Так-так,— проговорил мистер Робертс.— Ну, а вы что изучаете?

— Английский язык и литературу,— ответила Мейзи.

— А я-то думал, вы уже знаете английский,— и он рассмеялся.

— Это дело куда сложнее, чем ты думаешь,— вставил Тоби.

Казалось, Мейзи чувствует себя у Робертсов как дома. Она и везде будет как дома, подумал Тоби. Они втроем дружески болтали, пока не появилась миссис Робертс с двумя новыми своими приобретениями: сервировочным столиком на колесиках и заполненной до отказа подставкой для кексов. Увидев все это, мистер Робертс был явно поражен.

Мейзи поглощала угощение с таким аппетитом, что Тоби с его предсказаниями был посрамлен: она съела полдюжины сандвичей с домашним вареньем — на белом хлебе и на обдирном, попробовала кексы обоих сортов. Тоби заметил в глазах матери веселые искорки.

За чаем Мейзи спросила мистера Робертса, далеко ли от дома он работает; в свои вопросы она всегда вкладывала самый прямой смысл, вот и сейчас ясно было, что она вовсе не старается что-то выведать.

— У меня газетный киоск,— ответил он, явно удивленный тем, что Тоби еще не сказал ей этого.— Газеты, сладости, сигареты и все прочее.

— Будь у меня такой киоск, я бы только и делала, что читала газеты, жевала сладости и курила сигареты. Мне всегда казалось, что быть киоскером очень заманчиво.

— И живо вылетели бы в трубу,— подхватил мистер Робертс. Потом, видя, что она кончила есть, спросил: — Вы курите? — и протянул ей пачку сигарет «Плейерс».

— Больше, чем следовало бы. Спасибо.

— А мне нравится, когда девушка — компанейская и не прочь выкурить со мной сигаретку.

— Осторожней, Мейзи, курите поменьше,— сказала миссис Робертс.— А то еще наживете что-нибудь худое.

Губы Мейзи изогнулись в завитках улыбки:

— Так ведь нам всем в конце концов этого не миновать.

— Но уж если это суждено, то пусть случится как можно позже.

Так я считаю,— возразила миссис Робертс.

Потом она повела всех наверх — показать свою новую картину и, покуда они смотрели ее, машинально вытирала руку о платье. Она нервничала; тревожило ее не то, что скажет Тоби, а что скажет Мейзи,— а почему, она и сама не знала. На картине вытянувшаяся крокодилом толпа школьников в ярко-зеленых блейзерах переходила серую улицу, над которой нависли густеющие, набухшие влагой тучи. Сценка эта отдаленно напоминала Лаури, но было в ней и нечто очень самобытное, личное, что миссис Робертс бессознательно стремилась выразить. Тоби почти сразу же похвалил работу матери и поздравил ее с удачей. Мейзи помолчала. Потом повернулась к миссис Робертс:

— Просто чудесно! До чего вы талантливы! Где вы учились?

— В жизни меня никто ничему не учил. Я же понимаю, это грубая работа. Фигуры-то неправильные.

— А можно мне посмотреть еще что-нибудь из ваших вещей?

Миссис Робертс принесла еще пять картин и, пока они их рассматривали, стояла чуть поодаль. Ее потемневшее лицо выражало подо-

зрительность; Мейзи и этими картинами восхищалась, а все-таки то и дело посматривала на уличную сценку. По тому, как она ее разглядывала, Тоби понял: девушка знает толк в живописи.

— А ты разбираешься в картинах,— сказал он.

Она посмотрела на него открыто и прямо:

— Немножко. У нас есть дома несколько. Мама их коллекционирует.

— Поди, все Рембрандты и Тёрнеры? — спросила миссис Робертс, и оттого, что она нервничала, вопрос прозвучал как-то язвительно.

— Нет, не такого класса,— ответила Мейзи очень серьезно.— Но есть и хорошие. Мы обе ходим в галереи, где картины выставляют на продажу. А почему вы не выставляете своих?

— То есть как? Вы хотите сказать, вот это — на выставку? — Миссис Робертс явно была ошарашена.— Да я понятия не имею, как к этому и подступиться. Вот и Тоби тоже. — Она торопливо составила картины, повернула их к стене.— Нет, вы меня просто разыгрываете, не иначе.

Но Тоби видел, что мысль эта уже запала матери в душу. Ему вдруг пришло в голову, что ведь это первый раз на его памяти, чтобы по возвращении из Кембриджа в нос ему не ударил обычный сложный домашний запах; пахло только скипидаром, да и то чуть-чуть. Похоже, мать проветривала все комнаты несколько часов подряд.

Вскоре молодые люди собрались уходить: у них были билеты в «Нью тиэтр» на «Генриха IV». Прощаясь с Мейзи, родители Тоби выразили надежду, что она опять к ним приедет.

— А вы меня пригласите, пожалуйста,— попросила Мейзи.

Тоби понял, что вечер удался на славу и что с Мейзи будет удаваться все.

4

Тоби все больше и больше привязывался к девушке. У нее было редкое свойство — она внушала людям симпатию. А как прекрасно она держалась у него в доме — если только тут вообще уместно слово «держаться»: ведь оно предполагает некую заранее продуманную линию поведения, а Мейзи — сама непосредственность. Он много думал о ней, старался почаще приглашать куда-нибудь — насколько это позволяли его возможности. И ясно понимал: надо узнать точно, на какой диплом он может рассчитывать. С этим вопросом он и обратился к Хартфорду.

— Ну что ж,— задумчиво проговорил Хартфорд и, протянув к огню худые длинные ноги, жестом предложил Тоби коньяку. То была не беседа с воспитательной целью, а консультация, и, стало быть, случай особый.— Если вы и впредь будете заниматься так же упорно, как в последний месяц, и на будущий год не потеряете темпа, можно считать, что перспективы у вас неплохие, я бы сказал — где-то посередине между умеренными и блестящими.— Тоби явно был ему по душе, хотя знал он о нем мало; разумеется, ему было известно, из какой среды вышел его ученик, но не более того. Понимал он и то, что Тоби честолюбив, но куда приведет его честолюбие или хотя бы к чему он сам стремится — об этом Хартфорд не имел представления.

— Если сумеете перебороть себя и одолеть такие вопросы, которые наводят на вас тоску...

— Взять хоть Калонна!

Тоби позволял себе некоторую вольность в разговоре с Хартфордом — ведь между ними было всего несколько лет разницы.

— ...вот именно, и перестанете чересчур увлекаться чисто роман-

тическими сторонами проблемы, все будет хорошо. Французская революция — это вам не только Диккенс [1] и Ça ira [2].

— А вам никогда не бывает скучно, доктор Хартфорд?

— Довольно часто. Но поддаваться этому — непозволительная распущенность: все равно что слишком много пить или слишком много спать. Перебарывать себя даже интересно, поверьте мне. Когда удается одолеть трудный вопрос, понять его в должном контексте, испытываешь большое удовлетворение. Даже самым выдающимся романистам порою надоедали их персонажи, и им приходилось себя перебарывать. Ну, не Толстому, конечно,— тот вообще величайшее и непостижимое исключение из всех правил. Налейте себе коньяку, а? Что-то не хочется вставать. У вас бывает лень душевная, и только порой, а у меня — лень физическая, притом постоянная.

Хартфорд был холост и жил в колледже, но все знали, что он собирается жениться и ведет переговоры о покупке дома на Чосер-роуд.

— Чем бы вы хотели заниматься, Тоби?

— Пока не знаю. А другие знают?

— Те, кто метит высоко, обычно знают. Во всяком случае, в большинстве. У некоторых из них цель одна — взлетать все выше и выше, а куда их в конце концов занесет, это им все равно.

— Ну, я-то высоко не мечу. Но я знаю твердо: мне нужно зарабатывать на жизнь. Вы были ненамного старше меня, когда написали первую книгу.

— Незрелую, преждевременную. И все же, должен признаться, мне это помогло.

Тоби глядел на него с таким нетерпеливым, глубоким интересом, что Хартфорд, словно загипнотизированный его взглядом, дал разговору уйти в сторону: стал рассказывать о начале собственного пути. Поговорить о себе с Тоби было приятно: у него был особый дар — он так умел слушать!

— Ну, где мне с вами равняться,— сказал он, когда Хартфорд кончил.

— А почему же нет? Пусть не сейчас, пусть потом. Стиль у вас недурен. Слушайте, ко мне скоро должен прийти студент. А вы действуйте в том же духе, и, если я чем-нибудь смогу быть вам полезен, сделаю все возможное.

Но после этой приятной, успокоительной беседы Тоби ждал разговор совсем другого свойства. Он еще раньше условился с Бобом Катбертсоном, что зайдет к нему за сорок пять минут до обеда и они пойдут в столовую вместе. Боб сидел опустив плечи; стиснутые кулаки зажаты между коленями, глаза — затравленные.

— Что с тобой стряслось?

— Обрюхатил девчонку.

Тоби задал сам собою напрашивающийся вопрос:

— Ты уверен?

— В том, что обрюхатил, или в том, что это я?

— И в том, и в другом.

— Вполне.

Тоби сел.

— Расскажи-ка мне все. То есть если хочешь, конечно.

История оказалась донельзя банальная. Девушка работает в магазине тканей, и Боб подцепил ее, когда покупал носовые платки. Зо-

---

[1] Имеется в виду роман Диккенса «Повесть о двух городах», посвященный Великой французской революции.

[2] «Пойдет! Пойдет!» *(франц.)*—припев и название песни из времен Великой французской революции.

вут ее Рита Чемпиен, ей девятнадцать лет, и он у нее первый. Как на грех, добавил Боб, отец у нее полицейский. Услышав это, Тоби с трудом сдержал улыбку.

— И что же ты собираешься делать?

— А что я могу поделать? У нее уже два месяца. Перепробовала все: и с лестницы прыгала, и джин пила, и горячие ванны принимала, и таблетки глотала — никакого толку.

— Она хочет, чтобы ты на ней женился,— сказал Тоби, и прозвучало это отнюдь не вопросительно — то была констатация факта.

— Если б ей только удалось от этого избавиться! Ну как я могу на ней жениться? Ведь мне бы пришлось бросить университет и пойти работать. Ничего другого не остается.

— Нельзя тебе бросать. Сдашь в будущем году выпускные, а уж потом сможешь зарабатывать как следует.

Вид у Боба был такой, словно он вот-вот расплачется. Тоби достал из шкафа пиво, налил ему.

— Слушай, Тоби, ты не знаешь, к кому с этим обратиться?

— Не по моей линии. Могу осторожно поспрошать кое-кого.

Но кого же, собственно? В узком кругу его друзей беспутство было не в чести.

— Значит, подпольный аборт,— сказал Боб с горечью.— Мерзость, антисанитария, риск.

— А если не это, что тогда? Сам подумай.

И тут пришел Эйдриан. Вид Боба испугал его.

— Что случилось? Я врезался в какой-то разговор?

— Вы уж не взыщите, отец Стедмэн,— сказал Боб, и в голосе его было еще больше горечи, чем раньше,— нам бы сейчас очень не повредили пастырские наставления.

— Пока я не вправе никого наставлять,— ответил Эйдриан просто.— Но, может, ты скажешь, в чем дело?

Боб был явно не в силах говорить, так что пришлось Тоби рассказывать всю историю.

Вправе был Эйдриан наставлять других или не вправе, но именно этим он и занялся.

— Ты, разумеется, должен на ней жениться,— сказал он.

— Ну, понес поповскую ахинею,— буркнул Боб уже обычным своим тоном.— Нам необходимо от этого избавиться, вот какое дело.

— Никто из нас не имеет права лишать человека жизни.

— Он же еще не живой.

— Ничего подобного. Живой, и даже очень.

Они помолчали. Потом Тоби сказал:

— Спустимся-ка лучше в столовую.

— Мне кусок не полезет в горло,— возразил Боб.

— Ну, а я не могу позволить себе такую роскошь — пропустить обед. Но тем временем я пораскину мозгами.

И Тоби ушел, предоставив Бобу выслушивать наставления Эйдриана и спрашивая себя, долго ли Боб сможет их выдержать.

...Фарфор и стекло посверкивали в свете люстр и бра, на стенах мягко блестели портреты прежних ректоров и прославленных покойников; сев за длинный стол, Тоби увидел входящего Эйдриана — тот был подавлен, удручен, но к нему не подошел, сел поодаль.

Во время обеда к Тоби пришло решение. Из столовой он снова отправился к Бобу и застал его в прежней позиции: сидит на стуле, но теперь еще и руки его, по-обезьяньи длинные, свисают чуть не до полу.

— По-моему, я кое до чего додумался,— сказал Тоби.— Тебе надо поговорить с Маркемом. (Это был наставник Боба.)

— А что он может сделать?

— Он старик дошлый. Для таких вот случаев его и держат.

И они пошли к наставнику Боба. Маркем — низенький тучный лысый человечек — встретил их приветливо и вместе с тем настороженно.

— Вы ведь знаете Тоби Робертса,— сказал Боб.

— Знаю, конечно, хотя пути наши скрещиваются довольно редко. Присаживайтесь оба. Ну, что у вас за беда?

Когда Маркем узнал, что произошло, грузное тело его сотряс глубокий вздох — и во вздохе этом была бездна житейской мудрости.

— И что же вы собираетесь предпринять?

— Если она не скинет, придется мне, пожалуй, жениться. А это значит: моей научной карьере — крышка.

— Что ж, давайте разберемся во всем по порядку. Вы получаете стипендию. Родители не смогут давать вам больше? На них рассчитывать можно?

— Нет,— ответил Боб, слабо улыбнувшись.— Нас у них семеро. Причем четверо — моложе меня.

— А на семью молодой женщины?

— Понятия не имею.

— Может, я смогу вам кое-что подкинуть. Не очень много, но, безусловно, кое-что наскребу.

— Я не могу допустить, чтобы вы...

— Придется вам принимать любую помощь, от кого бы она ни исходила. Вам никак нельзя сейчас вот так взять и все бросить. Да никто вам этого и не позволит: лично я, безусловно, такого не допущу. В будущем году вы, по-видимому, сможете ей предложить кое-что посущественней. Но ни в коем случае не следует, повторяю, не следует бросать учение. Это было бы безумием. Ну, вот что: сейчас ступайте домой, а завтра мы с вами опять поговорим. А вы, Робертс, смотрите, чтобы он не свалял дурака, и втолкуйте ему, что это еще не конец света.

Молодые люди пошли через дворики колледжа обратно к себе — они жили в одном здании. На небе одна за другой появлялись звезды, и деревья слабо поблескивали в их свете. Ночь впивала аромат листвы.

— Это он серьезно? — спросил Боб.— Если б он смог меня выручить, я бы потом с ним расплатился.

— А он и не откажется. Он же не Санта-Клаус, в самом деле.

— Слушай, а странное дело. Старина Эйдриан дико на меня обозлился, но ведь кое-что он усек правильно. Я имею в виду не всякую там ахинею, а суть. Ребенок-то мой. Мой. Месяцев через пять он уже будет брыкаться. Тут есть над чем поразмыслить. В общем, я решение принял — хоть и молю небо, чтобы пронесло. Как бы то ни было, сегодня я буду спать лучше.

Назавтра, после закрытия магазинов, Тоби столкнулся в городе с Бобом и его девушкой. Она оказалась совсем не такой, какой он себе ее представлял,— ее вполне можно было принять за студентку. Небольшого роста, даже чуть пониже Мейзи, полноватая, в простом сером пальто, в ярком шарфике. Лицо смуглое, нежнокожее, с довольно резкими чертами, прямые волосы на концах подвиты внутрь «под пажа» — такая прическа все еще была в моде.

— Рита, это Тоби. Тоби — Рита.

— Рада с вами познакомиться,— сказала она тихим голосом благовоспитанной девушки.

— Нам задерживаться нельзя,— объявил Боб.— Мы идем в «Артстиэтр».

Так что поговорили они всего минуту, не больше.

— Ну, пока,— сказала Рита, приветственно подняв руку.

Тоби постоял, глядя им вслед.

Что ж, могло быть хуже, гораздо хуже, подумал он. А если б такое случилось с ним самим? Его мороз подрал по коже. Будущее расстилалось перед ним, прекрасное в своей неизведанности. Оказаться связанным по рукам и ногам в двадцать лет с небольшим — нет, это было бы невыносимо; разве только если знать совершенно точно, что будешь с тою, с кем сможешь такую жизнь вынести. И до чего ж это непохоже на практичного, осторожного Боба — так глупо влипнуть. Как это вышло? Видно, не принял мер предосторожности. Может, положился на нее, а она подвела. Или же поддался желанию (вот это куда вероятнее) и решил, что в первый раз ей ничто не угрожает. А может, это было и не один раз? Нет, думать такое о Бобе нет оснований. Боб, скорей всего, подождет — может, все обойдется, а уж если другого выхода не будет, женится на ней. Он человек с повышенным чувством ответственности. Тоби убедился в этом, когда ездил с ним в Шеффилд и познакомился с катбертсоновской оравой.

Бракосочетание Боба и Риты состоялось в городском регистрационном бюро перед самым началом рождественских каникул. Возле церквей уже стояли украшенные елки и ящики для пожертвований, во всех витринах были разбросаны комочки ваты — имитация снега, и, хотя еще не было и полудня, любители песнопений уже горланили «Тихая ночь, святая ночь». Тоби терпеть не мог эту слащавую тевтонскую мелодию. По улицам Кембриджа сновали толпы людей; все тащили набитые рождественскими подарками сумки, и из каждой, словно верхушка рога изобилия, торчал рулон глянцевитой оберточной бумаги. Тоби не любил этой благостной рождественской картины: из года в год одно и то же; так и кажется, что с прошлого рождества минуло каких-нибудь полтора месяца. Вот и родители опять готовятся к осточертевшему празднику и тратят при этом куда больше, чем могут себе позволить. Только бы они не заставили его и на сей раз есть пудинг, а то от него неизменно портится желудок. Снова в каждом соседском домишке будет виднеться елочка, украшенная стеклянными шариками, свечками, канителью и всем прочим...

Нельзя сказать, чтобы бракосочетание прошло весело. Присутствовали Тоби с Мейзи (они уже считались «прочной» парой); полицейский — рослый хмурый человек и его жена — нервная, трепещущая от волнения; мать Боба, такая же круглоголовая, как он сам (ее явно раздирали противоречивые чувства: умиление и досада), и Маркем, который провел ряд финансовых переговоров и доложил сто фунтов из своего кармана — чтобы все было как полагается. Отец Боба не смог отлучиться с работы — так он, во всяком случае, просил передать. Одна только Рита держалась непринужденно. На голове у нее была шапочка из белых матерчатых цветов, такие же цветы были приколоты к лацкану жакета. Церемония регистрации показалась Тоби удручающе поверхностной.

После регистрации был ленч в кафе «Дороти», где подавали только безалкогольные напитки. Атмосфера была довольно напряженная. Хотя Тоби, Мейзи и Маркем усердно старались веселиться, единственным, кто веселился от души, был сам Боб. Как только он надел Рите на палец кольцо, его словно подменили. Боба наполняло гордостью сознание, что он женился. Что он станет отцом. Рита была ни весела, ни печальна; участвовала в общем разговоре, и только.

Молодожены договорились, что на каникулы Боб домой не поедет, а проведет их у Чемпионов; им с Ритой предоставят просторную спальню в глубине дома, и там они поживут, пока не смогут устроить-

ся получше. Ну и тощища, подумал Тоби, страшное дело. Но сам Боб, с тех пор как решение было принято, выглядел вполне счастливым. А что касается Риты, то, хоть Боб и отзывался об ее уме пренебрежительно, Тоби находил, что держится она тактично; как бы далеко Боб ни пошел, она не повиснет на нем камнем. Тоби и сам не мог бы сказать, нравится она ему или нет, но известное уважение она внушает, это бесспорно.

— А теперь, может, пойдем в пивной зал? — без особого энтузиазма предложил папаша Чемпиен, после того как ленч был окончен и счет оплачен.— Надо бы отпраздновать это как следует.

Пивные вот-вот должны были открыться. Они пошли в «Красного льва»; мужчины пропустили по нескольку кружек пива, дамы, включая Мейзи, выпили джину с тоником, и от него у миссис Чемпиен вдруг развязался язык.

— Не так-то часто выдаешь дочурку замуж,— объявила она, и это была первая сентиментальная фраза, сказанная за все время церемонии.

— Надеюсь, тебе не придется выдавать меня замуж слишком часто,— пошутила Рита.

— Только посмей, живо схлопочешь у меня,— подхватил Боб.— Это я тебе гарантирую.

Нет, если я когда-нибудь женюсь, решил Тоби, на моей свадьбе все будет по-другому.

Процедура была весьма тягостная, и Тоби с Мейзи обрадовались, когда представилась возможность уйти.

— Эйдриан такой свадьбы не одобрил бы,— сказал Тоби.— Даже учитывая всю ситуацию.

— А что, ей надо было быть в белом?

— Ну, против этого он, пожалуй бы, возразил. Он у нас в некотором роде пурист, Эйдриан.

— Откровенно говоря, все было довольно уныло.

— Надеюсь, на твоей свадьбе или на моей,— объявил Тоби (он умышленно не сказал «на нашей»),— будет несколько оживленней.

Но сейчас он особого оживления не испытывал. Мысль о будущем ребенке давила на него тяжелей, чем на Боба.

А вот Мейзи, как и всякую женщину, свадебный обряд взбудоражил. К тому же джин с непривычки ударил ей в голову: прощаясь с Тоби, она крепко его обняла.

— Кажется, я тебя люблю.

Тоби не растерялся.

— Дай тебе бог здоровья, малыш,— здоровья и долгой-долгой жизни,— ответил он уклончиво. Но любящее сердце ждет только прямого ответа, и он это знал.

5

Во время каникул Тоби получил от Мейзи письмо, и это его удивило. Вообще-то они не переписывались — может быть, потому, что сам он ни разу не написал ей. Мейзи выражала желание вновь побывать у его родителей: у нее наметились кое-какие планы насчет картин миссис Робертс, и она произвела разведку, пока еще очень предварительную. Все рождество она пробыла в Хэддисдоне, а теперь гостит у одних друзей неподалеку от Кембриджа, где ей надо было кое-что уточнить. «Можно я приеду? Я на машине, и если твоя мама разрешит мне увезти картин пять-шесть, это поможет делу».

— Что она имеет в виду? — спросила миссис Робертс, явно взволнованная.— Хоть бы узнать поскорее, о чем речь, я просто дождаться не могу. Пригласи ее на вторник, вот так. Ко второму завтраку. И уж

завтрак будет настоящий. Теперь-то я знаю доподлинно, какой у этой девочки аппетит.

Мейзи приехала в «фольксвагене», и при виде его Тоби кольнула зависть. В дом она вошла с таким видом, словно бывала у Робертсов постоянно. Щеки у нее разгорелись от холодного январского воздуха.

— Надеюсь, я вам не помешала?

Миссис Робертс поспешила ее заверить, что нет, не помешала. На сей раз стол был накрыт в кухне, и хозяйка принесла свои извинения по этому поводу.

— А по-моему, здесь очень уютно. Я вообще предпочитаю есть на кухне. Дома обычно только там и завтракаю — мама считает, я встаю слишком поздно.

— Кто рано ложится и рано встает...[1] — машинально проговорила миссис Робертс, всецело поглощенная мыслью о том, что же собирается ей сообщить Мейзи.

Но Мейзи ни о чем таком не заговаривала, пока они не покончили с завтраком и не принялись за чай.

Наконец Мейзи объявила:

— Миссис Робертс, я кое-что поразведала насчет ваших картин, но если вы считаете, что я сую нос не в свое дело, пожалуйста, скажите мне прямо.

Оказывается, она навела справки в Кембридже, в картинной галерее над магазином на Рыночной площади, где время от времени устраивают небольшие выставки — главным образом местных художников. Иной раз какая-нибудь из картин находит покупателя, но по большей части они остаются нераспроданными. Владелец галереи — человек обеспеченный, и это его хобби. То, что ему рассказала Мейзи (а он, по-видимому, хорошо знал и уважал ее), его заинтересовало, и он выразил желание посмотреть несколько картин миссис Робертс, чтобы решить, стоит ли ему их выставить. Никаких гарантий он, естественно, заранее дать не может.

— Нужно показать ему картин десять, не меньше,— обратилась Мейзи к миссис Робертс.— Но если бы вы дали мне с собою хотя бы шесть, он уже мог бы получить довольно точное представление о том, что вы делаете. Вы много успели написать после того, как я у вас была?

— От ваших слов у меня голова пошла кругом, я как-то не могу собраться с мыслями. Да, за это время я написала еще две уличные сценки и сценку в парке. Но писала-то я, конечно, не в парке. Просто по памяти, из головы.

— Разрешите взглянуть на них?

— Но ведь ничего из этого не выйдет, а? — сказала миссис Робертс, и вопрос ее прозвучал печально.

— Не знаю,— ответила Мейзи.— Я пока только провожу рекогносцировку.

И миссис Робертс в полном смятении повела ее наверх показывать картины. Она и в самом деле потрудилась изрядно. По размеру картины были разные, и каждая привлекательна на свой лад. Присев на корточки, Мейзи долго рассматривала их с видом профессионала — то хмурилась, то улыбалась. Наконец, она поднялась.

— Если он решит их выставить, вам нужно будет на каждой вещи указать цену.

— Вы хотите сказать, мне за них заплатят? — Миссис Робертс была ошарашена.

---

[1] Имеется в виду поговорка: «Кто рано ложится и рано встает, здоровье, богатство и ум наживет».

— Конечно — если только они будут проданы; но при этом галерея удержит пятнадцать процентов комиссионных.

— Да я ни малейшего понятия не имею, сколько за них просить!

— Ну, грубо ориентировочно, так: за небольшие — по десять фунтов, за уличные сценки — по тридцать. Не отдавать же их даром. Цена сама по себе уже производит впечатление на покупателя.

— Тридцать фунтов!

— В общем, послушаем, что скажет мистер Дриффилд.— И Мейзи улыбнулась своей внезапной, милой улыбкой.— Может быть, у нас ничего не получится. Вот и выйдет, что я вас только зря обнадежила. Но попытаться стоит, правда ведь? А если все-таки не получится, вы не будете на меня в обиде?

— В обиде? Да я не знаю, как вас и благодарить за все, что вы уже сделали для меня.

Тоби даже не предполагал, что у матери есть такие честолюбивые мечты, а может, они появились только сейчас, и это Мейзи их пробудила. Он понимал, что девушка взяла на себя хлопоты не только из любви к живописи, но и главным образом из желания его порадовать.

Вскоре Мейзи сказала, что ей пора: темнеет сейчас рано, а ей не очень улыбается вести машину в сумерках. Тоби снес вниз шесть отобранных ею картин, разместил их на заднем сиденье.

Когда он вернулся в дом, мать сидела сложив руки на коленях и уставившись перед собой застывшим взглядом.

— Очень-то не надейся,— сказал он.— Постучи по дереву — от сглаза.

— Подумать только: чтобы кто-то строил такие планы — для меня!

— Но ты того заслуживаешь!

Когда он приехал в Кембридж, Мейзи встретила его на вокзале: он постоянно ездил одним и тем же поездом. Она едва могла говорить от радостного волнения.

— У нас будет выставка! Дриффилд увидел картины и загорелся, насколько он вообще может загореться. Он хочет получить не меньше десятка, а если можно, то и больше.

— Ну, это замечательно. Ты просто замечательная.

— Но выставит он их не раньше начала марта. Да ведь и сделать еще предстоит многое. Вернисаж устроим в наилучшем стиле, я об этом позабочусь. Вино и сыр, представители прессы — сколько их удастся согнать.

А Тоби подумал: кто же будет за все это платить? Может, Мейзи собирается? А может, она уже и дала какие-то деньги? Он совершенно не знал всей этой механики.

— Надо это дело отметить,— сказал он.— Как ты считаешь? — И предложил пойти в итальянский ресторанчик; он понимал: это ему не по карману, ну да ничего, можно будет сэкономить на чем-нибудь другом.

Они заказали графин кьянти, и за вином Мейзи передала ему слова Дриффилда: он считает, что миссис Робертс — примитив, и очень интересный. Расспрашивал про нее: как она начала писать, в каком возрасте. Полагает, что одну, а может, и две картины удастся продать. (Стало быть, этот самый Дриффилд уже получил от нее некоторую сумму, подумал Тоби, и мысль эта его резанула. Ему вовсе не хотелось одолжаться у Мейзи, пусть даже не прямо, а косвенно: брать деньги — значит, принимать на себя обязательства, а он старательно уклонялся от каких бы то ни было обязательств.)

— Приедет моя мама,— говорила между тем Мейзи,— смею думать, что и Эдуард тоже, а ты должен собрать всех своих. Ой, я просто дождаться не могу этого дня. Кстати, мамин «сезон» еще по-настоящему не начался, но, я думаю, лучше тебе побывать в Хэддисдоне не откладывая. Большого общества там сейчас нет, но ведь самое главное — это мама.

Сердце у него подпрыгнуло, на миг он забыл обо всех своих сомнениях.

— Я — с удовольствием!

Проводив Мейзи до ее колледжа, Тоби попрощался с ней особенно нежно. Вернувшись к себе, он открыл окно. Тоби смотрел на вещи очень трезво, а потому не исключал того, что где-то в недалеком будущем ему и впрямь может понадобиться щедрая поддержка. Пожалуй, лучше не спрашивать Мейзи вот так, в лоб, что именно она сделала, чтобы устроить эту выставку. Если на нее насесть и она признается, что действительно выложила деньги (а он все больше и больше утверждался в этой мысли), придется ему все отменить; а это было бы ужасным разочарованием и для его матери, и для самой Мейзи. Нет, о таком даже помыслить невозможно. Лучше помалкивать до поры до времени и ждать, а там видно будет. Пусть считает, что он несмышленыш. И потом — впереди у него Хэддисдон.

К рассвету наверняка похолодает. Тоби встал и закрыл окно, затем снова улегся в постель и уснул.

6

В феврале его пригласили в Хэддисдон на субботний ленч. Мейзи собиралась уехать домой в пятницу вечером, а Тоби предложила добраться поездом до Садбери — там она его встретит с машиной и подвезет. День был солнечный и пронзительно-холодный, кое-где, словно скупо рассыпанный на рождественских декорациях, посверкивал иней. С утра Тоби стал ломать себе голову над тем, что надеть. Это же поместье. Как одеться, когда едешь за город? Впрочем, у него только и было что пара фланелевых брюк, две пары синих джинсов да два шерстяных свитера, свалявшихся от многократной стирки. Раздумывал он об этом еще ночью, лежа без сна, хотя вообще-то бессонницей не страдал и не имел привычки тревожиться по пустякам.

Мысленно перебрав свой гардероб, Тоби остался им недоволен. Желтый свитер — уже не первой свежести, зеленый не имеет вида. Остается синий костюм, который он надевал на экзамены и по торжественным случаям. Пока Тоби брился, он в который раз попробовал представить себе Хэддисдон. Дом в стиле тюдор, с характерными трубами, широкая зеленая лужайка, полого спускающаяся к дороге. О самой Мейзи он почти не думал.

Но вот и Садбери. Мейзи поджидала его с машиной. На ней был большой шотландский берет, показавшийся ему до странности старомодным; в нем она еще больше походила на Фриду Лоуренс. Как обычно, Мейзи была очень оживлена и приветлива.

— Ехать всего три мили,— сказала она.— Ты проголодался? Я — да.

Внезапно показались ворота, машина покатила по дуге подъездной аллеи, и Тоби увидел дом.

Какой там тюдор! Современной постройки большое здание из белого камня, притягивающего утренний свет. Дом изысканно красивый, но в каком он стиле, Тоби понять не смог (он вообще не разбирался в архитектурных стилях). Длинный, двухэтажный, с боков — закругленные каменные стены, которые можно принять за флигели. Дверь красного дерева меж парных пилястров, а над нею — изящное вееро-

образное окно. Все это он увидел лишь мельком, и ему вдруг захотелось выпить для храбрости.

К ним стремительно шагала рослая женщина в твидовом костюме, смуглая, с крупными чертами лица, черные волосы заколоты на затылке в большой пучок.

— Тоби! — воскликнула она.— Добро пожаловать. Поездка была приятная?

— Весьма. Но довольно короткая: от Кембриджа до вас не так уж далеко, правда?

— Мне она всегда кажется бесконечной. Входите скорее, Мейзи покажет вам, где вымыть руки. А потом мы все выпьем хересу и возвеселимся. Ведь вы человек веселый. Я хочу сказать — по натуре. Я такие вещи улавливаю сразу.

Как бы это ее обработать? Наверно, считает себя ясновидящей, подумал Тоби. Более неподходящей матери для Мейзи невозможно себе представить. Интересно, как выглядел ее муж. Может, здесь есть его портрет или хотя бы фотография. Об интерьере дома представление у него было пока самое смутное — он успел только заметить, что комнаты здесь светлые, с высокими потолками. Все сияет белизной, на стенах — картины в ярких тонах.

В ванной он пробыл недолго, и она ему очень понравилась. Устланный ковриками пол, пластиковая занавеска, отделяющая душ; немыслимой мягкости полотенца; мыло с чудесным запахом. Он с удовольствием пробыл бы тут целых полчаса.

Экономка, ожидавшая Тоби внизу, у лестницы, проводила его в гостиную. Там были только Мейзи с матерью.

— Ну, Тоби,— начала миссис Феррарс,— я знаю от Мейзи все — и про вас, и про вашу маму. Так что можно обойтись без вступительных фраз, правда ведь? — Она подошла к столику с напитками.— Вы любите херес?

Хереса Тоби не хотелось, он с удовольствием выпил бы пива. Но сказать об этом было неудобно (а ведь пиво, по всей вероятности, в доме водится!). И он кивнул.

Пока миссис Феррарс наливала вино, Тоби успел осмотреться. Просторная комната, два великолепных окна выходят в большой тенистый сад; может быть, сад так велик, что его не охватишь взглядом. (Впрочем, в его воспаленном воображении все принимает сейчас сильно преувеличенные размеры — это Тоби понимал и потому решил, что охватить сад взглядом все-таки можно.) На стене — превосходная картина, не исключено, что Констебл.

— Я знаю о вас все,— повторила миссис Феррарс, подавая ему рюмку. Но всего она, конечно, не знала.— Почему бы вам не написать книгу о Сен-Жюсте? — спросила она неожиданно.— Напишите когда-нибудь, непременно. Интересная личность. «Никакой свободы врагам свободы». Насколько я знаю, о нем писали мало — правда, в моем образовании есть значительные пробелы.

— Для этого надо сперва набраться побольше опыта,— ответил он.— Ведь пока я историк начинающий.

— Начать никогда не поздно. А вам лично Сен-Жюст по душе?

— Интерес он у меня вызывает. Но смогу ли я проникнуться к нему симпатией, не уверен.

Она трижды кивнула — очень серьезно.

— Хорошо сказано. Стало быть, воздержимся от поспешных суждений, так?

— Я пока вообще недостаточно подготовлен, чтобы иметь суждение на этот счет,— сказал Тоби и подумал: а может, она просто дура? Что ж, такого рода дуры его вполне устраивают.

— Нет, вы непременно должны за это взяться, непременно. В дальнейшем можете и изменить свою точку зрения. Главное — начать. А вот и Эдуард! — воскликнула она, завидев входящего в комнату высокого седоватого человека.— Эдуард, скажите, должен Тоби Робертс написать книгу о Сен-Жюсте, как вы считаете? Эдуард — Тоби,— только и сказала она, представляя их друг другу.

Эдуард Крейн поцеловал ее и Мейзи. Потом обменялся рукопожатием с Тоби:

— А вы собираетесь писать о Сен-Жюсте? Ну, что ж. Не вижу, какие тут могут быть возражения.

Держался он с подкупающей простотой, но глаза за толстыми стеклами очков смотрели проницательно, остро.

— Вам хереса, Эдуард?

— Вы же знаете, Аманда, хереса я не пью. Вышел из этого возраста. Шотландского виски, пожалуйста,— и он тяжело опустился на диван рядом с Тоби.

— А вы и в самом деле любите херес? — спросил он.

Тоби не знал, что ответить — он уже допивал рюмку,— и лишь неопределенно хмыкнул. Потом сказал — с застенчивостью, отчасти искренней:

— Я восхищаюсь вашими пьесами, сэр. По возможности стараюсь не пропускать ни одной.

— Благодарю вас. Впрочем, едва ли ими будут восхищаться долго. Ведь у них есть начало, середина и конец, и для их исполнения нужна самая обычная сценическая площадка.— Он повернулся к Мейзи.— Как дела?

— Занимаюсь, но в меру. Не так, как Тоби, до него мне далеко.

— Смотрите, Тоби, не переусердствуйте,— сказал Крейн.— Во всем следует соблюдать умеренность.

— Но если соблюдать умеренность, моего курса, пожалуй, не одолеешь.

Крейн внимательно оглядел его.

— Я и сам преподавал когда-то в Кембридже. А вы не знали? Так вот, накануне экзамена я обычно отправлял своих молодцов на реку. То, чего они не усвоили до сих пор, за один день им все равно не выучить, а хвататься за книги в последнюю минуту бесполезно — только рискуешь позабыть то, что знал раньше.

Они перешли в овальную столовую, тоже очень уютную, посреди комнаты — овальный стол, на белой скатерти сверкают фарфор и хрусталь. Тоби заметил, что у каждого прибора стоят фужер, бокал и рюмка.

Снетки. Суфле под винным соусом. Рейнвейн и кларет. А затем еще и портвейн — его подали к кофе, который пили тут же, за столом. На Тоби все это произвело сильное впечатление. Его удивило только, что между блюдами миссис Феррарс курила,— а он-то полагал, что знатоки вин за едою не курят.

Беседу за столом направляла хозяйка. Какого мнения Тоби о книге такого-то? А такого-то? А такого-то? Речь шла о романах, только что вошедших в моду. Тоби ответил, что, к сожалению, не в курсе последних новинок литературы — времени нет, грызет гранит науки.

— Но вы непременно должны выкраивать для этого время! Быть на уровне совершенно необходимо, отставать никак нельзя, правда, Эдуард? — настаивала миссис Феррарс.

— Не знаю,— медленно проговорил Крейн.— Как посмотришь, что они все трое пишут... На мой взгляд, лучше уж отстать.

— Насмешник Эдуард,— бросила она невозмутимо.— А сам, наверное, ни единой их строки не прочел. Как бы то ни было, все они будут у меня здесь в мае. Так что же вы все-таки читаете?

— Достоевского — более или менее постоянно.

— А знаете,— глаза у нее расширились,— он меня ужасно пугает. Обожаю его, но всякий раз чувствую страх, словно ребенок, которого оставили в темноте.

— Что ж,— вставила Мейзи.— Должно быть, именно на это он и рассчитывал. Иначе зачем бы ему было забираться в такие дебри?

— А вы, Эдуард, по-прежнему каждый год перечитываете Пруста? — спросила миссис Феррарс.

— Как правило — да. Если только не пишу в это время сам. Его манера заразительна, и этим он опасен. Прилипчивый писатель.

— А Достоевский разве нет? — неуверенно спросил Тоби.

— Для моего жанра — нет. Вообще-то некоторые писатели — как корь. Будь я романистом, я просто не осмелился бы читать Джеймса Джойса — впрочем, слишком многие романисты им зачитываются.

— А вот Джейн Остин вовсе не прилипчива. Для этого она чересчур совершенна,— объявила Мейзи.

— Рад, что ты, по крайней мере, не назвала ее «мисс Остин». Ведь те, кто так величают ее потому, что высоко чтят — можно сказать, ставят выше всех других писателей,— не говорят же «мистер Шекспир».

— Эдуард, вы негодник,— бросила Аманда Феррарс, впрочем, вполне миролюбиво, скорее по привычке.

Они вернулись в гостиную. Погода испортилась, а с нею и настроение Аманды. Тоби сразу подметил это и заключил, что оно подвержено внезапным перепадам. Большой кедр на лужайке вдруг словно выцвел под налетевшим ветром.

Крейн подсел к Тоби и попытался вызвать его на откровенность; однако откровенничал Тоби редко. Он отвечал вполне вежливо, но заставить его разговориться было не так-то просто.

— Что-то скучно становится,— заметила Аманда.— Эдуард, скажите что-нибудь остроумное.

Крейн повернулся к ней:

— Но я вовсе не остроумец. Разве что в том смысле, как это понималось в семнадцатом веке; впрочем, теперь такого остроумия не признают.

Видно было, что он относится к хозяйке дома с уважением, но помыкать собой не позволит. Как ни говори, из всех ее львов он самый знаменитый и рычать по заказу не собирается — а может, и вообще никогда не рычит.

— Мама,— встрепенулась Мейзи.— Ты хочешь заставить Эдуарда прыгать через обручи? Но он не из таких.

— Итак, на что вы рассчитываете? — спросил Крейн, обращаясь к Тоби.

— На приличный диплом. Не более того.

— А писать не собираетесь?

— Пожалуй, я не прочь попробовать свои силы.

— Но вы понимаете, что это значит? Регулярно, изо дня в день, столько-то часов отсиживать зад. И не ждать вдохновения, потому что оно не приходит никогда. Троллоп такие вещи понимал и говорил о них прямо, а его за это презирали.

— Но Тоби и так работает очень регулярно, изо дня в день,— сказала Мейзи. Ей до того хотелось выставить его перед всеми в наилучшем свете!

— А вообще-то идея насчет Сен-Жюста неплоха; как во всех идеях Аманды, в ней что-то есть.

Тоби вдруг почувствовал благодарность к этому человеку за его заботливость и участие.

— Раз вы так считаете, я попробую,— пообещал он.— Только не сейчас.

— Вот видите, я «запускаю» людей,— объявила Аманда. Настроение у нее явно поднялось.— Не вздумайте это отрицать.

— А я и не отрицаю, напротив,— возразил Крейн.

— Надеюсь, мне удастся «запустить» и вашу маму, Тоби. Только, разумеется, сперва я должна посмотреть ее картины.

— Ее будет трясти от страха, когда вы станете их смотреть,— сказал Тоби, и Крейн метнул на него острый взгляд.

— Почему? — спросила Аманда, явно довольная.— Разве я нагоняю на людей страх?

Но Тоби увильнул от прямого ответа.

— Ну, может, на некоторых... — сказал он, и Крейн снова посмотрел на него.

— Но только не на вас! — бросила Аманда, подавшись к нему.

— А мне бы и не хотелось, чтобы вы так считали. Вы очень добры ко мне,— сказал Тоби.— И потом, не знаю, удобно ли говорить об этом, но ленч был просто чудесный.

— Смотрите-ка, Эдуард, у вас с Тоби много общего! — воскликнула Аманда.— Нет, говорить об этом вполне удобно. Просто не понимаю, какой смысл продумывать до тонкостей завтрак или обед, если люди не получают от них удовольствия. Тоби, выражаю вам свое одобрение.

И Тоби невольно почувствовал себя польщенным. Впрочем, он вовсе не жаждал, чересчур горячего одобрения с ее стороны — ведь вообще-то он еще не решил насчет Мейзи окончательно. Теперь он ясно понимал: и сама Мейзи, и ее мать принадлежат к числу имущих. По его понятиям, они богачки. Но зачем связывать себя раньше времени? Ведь ему еще предстоит завоевать мир! Тоби поблагодарил хозяйку и сказал, что ему пора ехать.

— Но это невозможно,— возразила Мейзи.— Поезд будет только в пять. Давайте сыграем в буриме.

До этого он понятия не имел, что она питает пристрастие к салонным играм. Но, по счастью, не растерялся — что ж, он тоже в грязь лицом не ударит.

— Я не мастак по этой части,— объявил Крейн. Потом протянул Тоби бумажку с такими словами:

. . . . . топор
. . . . . нож
. . . . . ложь
. . . . . укор

Тоби взял ее и быстро написал:

На телку обрушил я топор,
А уж потом взялся за нож.
Право же, это совсем не ложь:
Вопль ее — вечный мне укор.

Потом пустил свой опус по рукам, и он вызвал шумное одобрение.

— Бойня,— сказал Крейн.— Что ж, очень складно. А я-то думал, что загнал вас в угол.

— Да он сокровище! — Аманда так и сияла.

В буриме они играли до самого чая, и Тоби немножко выдохся. Но все-таки чувствовал, что все идет хорошо: он пускает в Хэддисдоне корни. Такого рода игры ему по плечу — и всякий раз, как понадобится, он будет на высоте.

После чая — весьма обильного — он поднялся, чтобы попрощаться, и тут Крейн сказал ему:

— А вы далеко пойдете.

— Благодарю вас, сэр.

— Ценю столь несовременную учтивость, но здесь я просто Эдуард.

— Спасибо, мистер Крейн,— ответил Тоби,— пока я не могу называть вас по имени, как-то не выговаривается.

Он и сам понимал, как обаятелен в этой своей почтительности.

— Надеюсь, скоро сможете.

Волшебный день подошел к концу. Тоби поблагодарил хозяек и откланялся.

— Еще увидимся,— сказал Крейн.

Тоби понимал, что это успех. Мейзи отвезла его на станцию, и тут он поцеловал ее — более долгим поцелуем, чем собирался.

Подошел поезд-тихоход, который повезет его в Кембридж мимо реки и прелестных деревушек... Тоби махал Мейзи до тех пор, покуда она не скрылась из виду.

7

В последующие две недели Мейзи занялась делами миссис Робертс вплотную. Они обменялись письмами. Мейзи дважды приезжала к Робертсам, оба раза одна, без Тоби (он и вправду трудился не покладая рук), и во второй раз вернулась сияющая — привезла с собой еще пять картин: три — на холсте, две — на сухой штукатурке; она доставила их прямо в галерею и сказала Тоби, чтобы он при первой возможности сходил их посмотреть.

— Потом нам надо будет отвезти все картины к багетчикам, чтобы их как можно скорее вставили в рамку. Филлипсы — очень славные люди и берут совсем недорого.

Все это было Тоби крайне неприятно. Нечего ей вмешиваться в сугубо личные дела его матери — пока он сам не решит, что у нее есть на это право. Беспокоил его и разговор о рамках. Он прекрасно понимал, что мать об этом вряд ли подумала — стало быть, Мейзи намерена все расходы взять на себя. А такого позволять ни в коем случае не следует. У него кое-что отложено, если говорить точно — пятьдесят фунтов тринадцать шиллингов и четыре пенса, они и пойдут на рамки, вот так. Он объявил ей это незамедлительно, весьма решительным и уверенным тоном. И от такой его решительности она растерялась.

— Тоби, но столько денег не потребуется. Мы хотим, чтобы рамки были самые простые: узенькие деревянные — белые или вообще некрашеные. Взгляни на картины, и тебе все станет ясно.

Он пошел с ней в галерею и. увидев новые работы матери, в самом деле был потрясен. Так же, по-видимому, как и владелец галереи. Тот сразу объявил:

— Ваша матушка — поразительная художница.

Миссис Робертс прислала две сценки в парке, одну уличную сценку и два натюрморта — цветы; тут мать пустилась на хитрость: понимая, что вазы или чаши ей как следует не выписать, она дала их лишь намеком, а все внимание сосредоточила на самих цветах. Получилось несколько необычно, но сильно. Вообще работоспособность у миссис Робертс была редкостная: картину она писала за два дня, не

больше, а иногда и за один. Вот и сейчас она пообещала Мейзи написать за неделю еще три. Всего, значит, их будет четырнадцать.

— Завтра я заеду,— обратилась Мейзи к Дриффилду,— и отвезу все это багетчикам. Эффектные рамки нам ни к чему — они только будут отвлекать внимание от самих картин.

Дриффилд почтительно согласился с нею.

Когда они снова вышли на улицу, Тоби заставил Мейзи пойти с ним в кафе, хотя она и отказывалась, ссылаясь на то, что у нее нет времени.

— Да и откуда тебе его взять? Слишком много ты его тратишь на мамины дела. Пожалуйста, не сочти меня неблагодарным, но если так будет продолжаться, ты завалишь выпускные.

Мейзи недоуменно подняла брови и спросила, почему он с ней так суров.

Он снова заговорил о рамках.

— Слушай, я в таких делах совершеннейший профан. Но у меня есть пятьдесят фунтов, и я намерен их выложить, если только этого хватит; и давай-ка без споров, малыш.

— Но столько денег не потребуется,— возразила Мейзи и тут же послушно добавила: — Впрочем, раз ты решил платить сам, будь по-твоему.— Вид у нее был покорный, но, как ему было известно по опыту, это вовсе не означало, что она готова подчиниться.— Я скажу им, чтобы счет послали тебе.

Что ж, может, она и намерена договориться с багетчиками у него за спиной, но уж об этом ему и словом не обмолвится, а раз так — пускай. Как бы то ни было, большую часть расходов он покроет сам.

Тут Мейзи сказала, что в ближайшие дни картины посмотрит Аманда.

— Мама может быть в этом деле очень полезна, но должна тебя предупредить: если они не взволнуют ее, она палец о палец не ударит.— Мейзи усмехнулась: — Вот видишь, я тоже могу быть суровой, когда захочу.

— Суровая киса, — сказал Тоби.

На следующей неделе в пятницу, как и было договорено, галерею почтила своим присутствием Аманда. Тоби вместе с Мейзи встречал ее у дверей и видел, что прибыла она в собственной машине с шофером. На Аманде был ярко-красный костюм с меховым воротником и весьма экстравагантная шляпка в тон.

— Ну так, mes enfants[1],— сказала она.— Показывайте.

Дриффилд, который вообще-то знал, кто она, встретил ее, словно вдовствующую королеву.

Он почтительно выносил одно полотно за другим, и, к ужасу Тоби, каждое она встречала хмурым взглядом. Потом попросила Дриффилда расставить их все вдоль стены и, опустившись на корточки, принялась их разглядывать. Ее выпуклые глаза блестели.

— Да,— проговорила она. Потом: — Да и еще раз да, это талант, хоть и очень необычный.— Она вдруг повернулась к Тоби.— Считайте, что вас тут нет. Я не могу исходить в своих оценках из личных отношений.— В голосе ее были покаянные нотки, и это напугало Тоби еще больше. Ему казалось, что она рассматривает картины бесконечно долго. Наконец, Аманда повернулась к Дриффилду и проговорила кокетливо-детским голоском: — Можете прикрепить красную звездочку сюда. И вот сюда. Для почина.

Это означало, что она покупает одну из уличных сценок и сценку

---

[1] Дети мои *(франц.)*.

в парке — по тридцать фунтов за каждую. Дриффилд просиял. А Аманда вновь принялась рассматривать картины.

— И еще вот этот натюрморт: цветы. Имей в виду,— обратилась она к Мейзи,— что плачу за него не я. Платит Эдуард. Это будет хорошо смотреться в его квартире — там вообще не те картины, какие нужно. И я заставлю его постепенно их сменить.

— Миссис Феррарс... — начал было Тоби, совершенно оглушенный.

Но Аманда не дала ему договорить.

— Неужели вы думаете, я купила бы работы вашей матери, если бы они того не стоили? — набросилась она на него.— Я благотворительностью не занимаюсь. Да люби я вас больше всего на свете,— добавила она с неожиданной сентиментальностью,— все равно я не купила бы вещи, которая мне не нравится, даже рискуя уязвить вас этим до глубины души. Просто не смогла бы.

Тоби вдруг почувствовал острую ненависть к ней: распоряжается ими обоими — и им, и матерью, а сама ни в чем ни черта не смыслит. Но потом его захлестнуло теплое чувство к Аманде и стало стыдно за эту минутную вспышку.

— Ты терзаешь себя,— сказала Мейзи, когда Аманда уехала.— А зря. Мама никогда не делает ничего такого, о чем могла бы потом пожалеть. И мы обязательно это отпразднуем!

На другой день случилось нечто небывалое: Тоби получил письмо от отца.

«Дорогой Сын,

я маленько беспокоюсь за нашу маму. До того она переживает из-за этой самой выставки, прямо боюсь, как бы не свалилась. Заработалась совсем — и как только глаза выдерживают, не знаю. Хорошо ли у нее выходит — судить не мне, да только я все думаю: понимает ли твоя Мейзи, что затеяла? Ведь маме придется теперь водить знакомство с разными важными и шикарными господами, а она с такими сроду не зналась — вот только когда была в служанках, но это совсем другое дело. Она мне не очень-то много рассказывает, но я так понимаю — тут потребуются кое-какие расходы. Вот мне и желательно бы знать, какие именно. Кому-то надо же и о деле подумать. Мне твоя Мейзи по душе, девушка она, по-моему, хорошая, только сама не понимает, какую заварила кашу. А как твое мнение, получаются у мамы эти ее картины или нет? Ты-то, наверно, в этом разбираешься. Может, мое беспокойство и напрасное, но только оно меня точит.

Остаюсь любящий тебя папа».

Тоби постарался ответить как можно дипломатичней; упомянул, между прочим, что никаких расходов не предвидится; это, пожалуй, было неосторожно с его стороны, но он просто не мог придумать, как вывернуться иначе.

8

По мере того как приближался день открытия выставки, в душе Тоби росли одновременно и благодарность к Мейзи, и озлобление против нее. Он знал, как чутко она улавливает малейшие оттенки его настроений, и потому решил вообще никак их не проявлять. Хотя здравый смысл и подсказывал Тоби, что Мейзи может дать ему невероятно много и что она уже сейчас по уши в него влюблена, самая мысль о том, что его «оседлают», была просто невыносима. Столь же невыносимо было думать, что «оседлают» и мать. Острое чувство классовой принадлежности разрывало ему душу; особенно же он ощетинивался, когда дело касалось матери. Впрочем, договорившись с Мейзи, что заплатит за рамки сам, он уже не позволял себе задумываться

над тем, какие могут потребоваться расходы помимо платы багетчикам, попросту запретил себе об этом думать.

Сознание его словно раздвоилось. С одной стороны, он отдавал себе отчет в том, что будет еще немало принимать от Мейзи (и тем приносить ей радость); с другой стороны, он опасался, что его заманивают в ловушку.

А Мейзи была так счастлива, она радовалась предстоящей выставке всем сердцем — и миссис Робертс тоже. Не мог же он допустить, чтобы их сияющие лица омрачила хоть малейшая тень. И успокаивал себя тем, что когда-нибудь потом, может, и полюбит Мейзи по-настоящему. А, собственно, почему не сейчас? И Тоби пытался подвести под это логическую базу: ведь пока он ничего не может ей предложить. Да и слишком он еще молод, чтобы брать на себя серьезные обязательства.

До открытия выставки оставались считанные дни. Мейзи сказала ему, что на вернисаж придут друзья ее матери, человек пять, и что она написала нескольким художественным критикам, которых знает лично. Предупредила и местную прессу.

Вернисаж предполагалось провести между шестью и восемью вечера. Миссис Робертс должна была приехать в Кембридж двенадцатичасовым поездом, где-нибудь позавтракать вместе с Тоби, посмотреть колледж и прийти в галерею пораньше, чтобы походить по выставке одной. А после открытия она пообедает с Тоби, Мейзи и миссис Феррарс и последним поездом уедет в Лондон. Тоби предпочел бы, чтобы мать переночевала в гостинице, но ему это было не по карману, а позволить, чтобы за номер уплатила Мейзи,— ну нет, черта с два. Хоть бы мать от всего этого не растерялась. Вот отец наверняка бы растерялся, но он заявил, что приехать не сможет — никак нельзя оставить киоск без присмотра.

В солнечный ветреный день Тоби встретил мать на вокзале. И сразу понял — за ее душевное состояние он опасался зря. Едва она вышла из вагона — в новом синем пальто и маленькой шляпке под цвет,— как он уверился, что мужество ей не изменит.

Он поцеловал мать.

— Вид у тебя потрясающий. Это что — обновки?

— Да. Мейзи выбирала их в магазине вместе со мной. Рада, что они тебе нравятся.

До центра они ехали на такси. Глядя на разворачивающийся перед ними город, миссис Робертс вздохнула:

— Какой ты счастливчик, что живешь здесь. Будь у меня возможность поселиться в таком красивом месте...

— Все равно ты не добилась бы большего, чем сейчас.

— Семьдесят фунтов,— произнесла она мечтательно.— Вот сколько я уже выручила.

— И выручишь еще, у тебя купят и другие картины.

На Кингс-пэрейд Тоби отпустил такси. Миссис Робертс задохнулась от восторга. Башенки капеллы казались темными на фоне ярко-голубого неба.

— Кембриджская лазурь,— сказала она.

Через дворы своего колледжа он вывел ее на берег Кема. Множество нарциссов танцевало на ветру, и, хотя воздух пах морозцем, на реке было полно юношей и девушек. На мгновение миссис Робертс потеряла дар речи. Потом сказала с оттенком зависти:

— И подумать только, что все это — твои владения!

— Когда живешь здесь постоянно, многое перестаешь замечать.

Он обошел с матерью свой колледж, и снова она онемела от восторга. Когда-то миссис Робертс была служанкой у богатых людей,

и дом у них был красивый, но не было в нем красоты и величественности официального здания. Медленно брела она по столовой, дивясь портретам на ее стенах, сверкающим окнам, серебряным приборам на зеркально-гладких столах.

— Сколько же тут всего приходится полировать и чистить,— шепотом проговорила она, стараясь ступать как можно тише.

— Пожалуй, жизнь в университете всех нас избалует, и мы это остро почувствуем, когда окончим.

...Мать наконец-то приехала, она с ним, и он понял, до чего сильно любит ее. Ему стало совестно: как же это он не пригласил ее раньше?

Он повел ее к себе, и тут инстинкт хозяйки взял в ней верх над всеми прочими чувствами. С гордостью поглядев на свою картину, висящую на стене, она сразу же перешла к делам практическим:

— Разве у тебя не должны убирать?

— По идее должны.

— Грязища ужасная. Корзину для бумаг не выносили уже сколько дней! А по углам пыли-то, пыли!

— По мне, и так сойдет.

— И за что им только деньги платят!

Тоби ответил, что понятия не имеет, но его лично все тут устраивает.

Пришли Боб и Эйдриан. Мать с величавым видом подала им руку. Тоби это забавляло, и вместе с тем он ею гордился.

— Сегодня у вас большой день, миссис Робертс,— сказал Эйдриан торжественно.— Мы все так ждем этого события.

— Народу соберется довольно много,— объявил Боб.— Мы все, друзья Тоби, явимся как один.

К пяти часам, как было условлено, Тоби привез мать в галерею. Но она и тут не проявила ни малейшей нервозности — просто была очень оживлена. Дриффилд встретил их у порога.

— Миссис Робертс! Очень рад с вами познакомиться. Мне одного хочется — чтобы вы были довольны тем, что нам удалось сделать. Поверьте, мы сделали все, что в наших силах, но если вы захотите что-нибудь изменить — что ж, время еще есть.

Миссис Робертс держалась все так же величаво. Медленно прохаживалась по залу, радуясь звездочкам, прикрепленным к трем картинам. Нет, ничего менять она не собирается.

— Вы оригинальный художник, миссис Робертс,— заявил Дриффилд.— Мы гордимся тем, что нам выпала честь первыми показать публике ваши работы.

Между тем посреди зала установили большой стол, накрыли его белой скатертью, расставили бутылки.

— Может, выпьете стакан вина,— предложил Дриффилд,— подкрепитесь перед предстоящим испытанием: придут несколько критиков.

— Спасибо,— ответила она.— Пока рановато. А критики — что ж. Что написала, то написала, лучше мне все равно не сделать.

Без десяти шесть прибыла Аманда — лицо у нее было грубоватое, но в ярко-красном костюме она казалась ослепительной; ее сопровождали Мейзи и трое мужчин — один очень высокий, широкоплечий, лет пятидесяти, со светлыми глазами и темной вьющейся шевелюрой, чуть тронутой сединой; второй — угрюмый, худенький и малорослый, как мальчик, с изящной головкой, чем-то напоминающей змеиную, и в розовом галстуке бабочкой; третьим был Эдуард Крейн.

— Тоби! — воскликнула Аманда.— Встречайте гостей! Идрис, это Тоби Робертс. Лорд Ллэнгейн. Питер Коксон. С Эдуардом вы знакомы. А теперь ведите нас к своей замечательной маме.

Мейзи уже успела подойти к миссис Робертс и расцеловаться с ней. Тоби был удивлен: обычно мать не была склонна к такого рода публичному проявлению чувств — разве что по отношению к близким.

Видя, что все прибывшие направляются к ней, она торжественно двинулась им навстречу, покинув Мейзи, с которой ей было так спокойно, и протянула Аманде руку.

— Я знаю, как вы добры ко мне.

— Добра? — воскликнула Аманда.— Я попросту выгодно помещаю деньги, вот и все. Ну, большой вам удачи!

И она представила матери Тоби своих спутников.

Миссис Робертс сохраняла полное самообладание. Может быть, ей и раньше доводилось видеть лорда, но, безусловно, не так близко; однако она протянула Ллэнгейну руку как ни в чем не бывало и спокойно выслушала его похвалы. Несколько больше смутил ее молодой человек со змеиной головкой, который тут же стал изливать ей свои восторги. А вот с Крейном она сразу почувствовала себя легко и просто.

— С Тоби я знаком,— сообщил он,— а теперь рад познакомиться с вами.

— Понимаете ли, уважаемый мистер Дриффилд,— сказала Аманда,— мы явились до того, как сюда нахлынут посетители: хочется осмотреть все спокойно, с толком.

И они принялись разглядывать картины — так, как это обычно делается на закрытых осмотрах: молча, с видом знатоков, приобщенных к великой тайне искусства.

В ответ на настойчивое предложение Дриффилда они выпили вина — все, кроме миссис Робертс, которая ограничилась стаканом томатного сока.

В двадцать минут седьмого, когда Тоби уже опасался, что провал неминуем, зал стал понемногу заполняться. Пришли Боб с Ритой, Эйдриан с двумя приятелями из духовных. Несколько подружек Мейзи — казалось, она знакома со всем светом. Потом подоспели лондонский критик, которого она встретила очень радостно, и репортер местной газеты. Еще какие-то друзья Аманды. Несколько студентов — не исключено, что этих привлекла возможность выпить. И наконец — буйно, словно боясь застрять в дверях,— вломилась толпа людей совершенно неизвестных; Тоби, во всяком случае, их не знал. Скоро картины уже почти нельзя было разглядеть за спинами посетителей.

Дриффилд сновал между ними, и миссис Робертс видела, что он доволен. Вот красная звездочка появилась еще на одной картине, потом на другой. В зале уже было накурено, становилось жарко. Тоби заметил, что вино пьют вовсю, но сам только пригубил его: надо сохранять ясную голову.

Трудно было сказать, кто же тут выполняет хозяйские функции — уж во всяком случае не Дриффилд: то ли Аманда, то ли Мейзи.

В четверть восьмого, когда часть посетителей потянулась к выходу, вошел еще один художественный критик — очень высокий, в очках (Тоби узнал его по снимку, который видел в воскресной газете), и сияющая Аманда тут же им завладела. Он подошел к столу, налил себе вина и стал неторопливо переходить от одного полотна к другому. Обойдя зал, он подтащил к миссис Робертс стул, присел рядом и представился. Фамилия его была Поллок.

Впервые за все время она явно разволновалась.

— Я вашу фамилию знаю,— сказала она.

— А вашу, полагаю, узнает гораздо больше народу, чем мою.

— Это мой сын Тоби,— сказала миссис Робертс, просто чтобы что-нибудь сказать.

Поллок начал деликатно и тактично ее расспрашивать. Как она начинала? Давно ли пишет? Считает ли, что на нее оказали влияние другие художники? Какие именно? Чьей живописью она особенно восхищается?

Мейзи подошла поближе и прислушивалась к беседе, вся светясь радостью.

Миссис Робертс ответила, что вообще-то в искусстве разбирается слабо. Читала несколько рецензий художественных критиков, но так и не поняла, что им на самом деле нравится, а что нет.

— Мало ли кому что нравится, вы на это не смотри́те. Вам надо и дальше идти своим путем,— сказал Поллок.

Славный человек!

К Тоби подошел Ллэнгейн:

— Чрезвычайно интересно. Правда, я в этих делах смыслю мало, но миссис Феррарс умело меня направляет. Полагаю, вы уже побывали в Хэддисдоне?

Тоби ответил, что побывал.

— Хорошо у них. А с моей Клэр вы там не встретились?

— По-моему, нет. (При нем только раз упомянули это имя.)

— Мы живем близ Глемсфорда, это рукой подать от Хэддисдона. Право же, я в истинном восхищении от работ вашей матушки.

Но ни единой картины он не купил.

Симпатичный критик встал и откланялся.

Зал уже почти опустел, и тут обнаружилось, что проданы еще две картины, небольшие. Всего, стало быть, семь из четырнадцати.

— Ну что ж,— сказал Дриффилд.— Я считаю, это успех. Примите мои поздравления, миссис Робертс.

Когда отбыла пресса, к миссис Робертс вновь вернулось безмятежное спокойствие.

Тут к ней устремилась Аманда:

— Миссис Робертс, вы, наверно, уже на пределе, да и пообедать хотелось бы без спешки.

Словно в полусне Тоби с матерью и Мейзи попрощались с остальными, после чего Аманда увлекла их за собой. Все четверо сели в ее машину.

Шофер привез их в гостиницу «Университетский герб», где Аманда заранее заказала столик в ресторане.

— Ну, что ж, прямо сейчас и пообедаем, хорошо?

Через большой, мрачный, как пещера, холл они прошли в зал.

Официант принес шампанское; выпили за здоровье миссис Робертс; к удивлению Тоби, мать тоже выпила — половину бокала.

— До чего вкусно! — воскликнула она.

— Еще бы, мама, после твоего неизменного чая и какао.

— Ей-богу, это смешно, но я обожаю какао,— сказала Аманда.— Наверно, потому, что оно всякий раз возвращает меня в детство. А ведь сейчас редко кто его пьет.

— Все дело в том, как его заваривать,— объявила миссис Робертс, возвращаясь на привычную стезю домашней хозяйки.— Никак нельзя, чтобы молоко закипало, а то будет пенка.

Обед был очень обильный. Миссис Робертс — опять-таки к удивлению Тоби, который весь вечер только и делал, что удивлялся,— ела с большим аппетитом. Должно быть, просто оттого, что испытывала неимоверное облегчение. К тому же за ленчем она куска не могла проглотить.

После обеда они отвезли миссис Робертс на вокзал, и Тоби вышел с матерью на перрон, уговорив Мейзи и Аманду не ждать его.

— Ну, ты довольна? — спросил он миссис Робертс.— По-моему,

все было очень здорово. И я горжусь тобой. Да и выглядела ты так мило.

— Мейзи — она все делает, как надо,— убежденно ответила мать.

Проводив ее, Тоби не стал дожидаться автобуса, а торопливо зашагал к себе в колледж. Там он прежде всего пошел в библиотеку и, взяв справочник «Кто есть кто», прочел: «Ллэнгейн, Идрис Дэниел Фоллз, 4-й барон; р. 1898; ж. Мойра Сюзанна Пауэлл; один с., одна д. Образов.: Винчестер и Нью-колледж, Оксфорд». Оказалось, что он директор торгового банка и других занятий не имеет. Хобби перечислены не были. Адрес: поместье Барден близ Глемсфорда, графство Суффолк. Клубы: «Гаррик», «Уайт».

Что ж, Тоби это кое о чем говорило.

9

На другой день в местной газете появился довольно подробный отчет о выставке — то не была рецензия, скорее материал для раздела светской хроники. Впрочем, в нем не было почти никаких данных о самой миссис Робертс — она упорно отклоняла все вопросы личного характера и говорила лишь о своей живописи. Был также помещен ее снимок — несколько смущенная, она указывает на самую большую из своих картин — и снимок Тоби, а под ним подпись: «Сын художницы, студент». Что касается его самого, то могло быть хуже, решил Тоби и с особым уважением к матери отметил про себя, что она решительно отмела попытки репортера выудить хоть какие-то сведения о частной жизни — своей и сына. И все же сообщения о выставке оказалось достаточно, чтобы заинтересовать публику и привлечь посетителей. Тоби сразу же написал матери и вложил в письмо вырезку из газеты.

Теперь надо было дожидаться конца недели. Ему позвонила Мейзи, донельзя обрадованная; правда, два лондонских критика, присутствовавших на вернисаже, не упомянули о нем ни слова, зато Поллок отвел выставке второе место в своем еженедельном обзоре. Он с большой похвалой отозвался о новом «примитиве» и советовал всем, у кого есть такая возможность, съездить в Кембридж.

Вскоре Тоби уехал домой — начались пасхальные каникулы.

Миссис Робертс не терпелось поделиться с сыном новостями.

— Просто замечательно, правда? Это я про мистера Поллока. И потом, от мистера Дриффилда письмо — пишет, что почти все картины распроданы, осталось только три. Мы получим изрядные денежки. А тут ко мне приходили, спрашивали, что у меня есть еще.

Мистер Робертс все никак не мог опомниться от удивления:

— Похоже, мне достался в жены гений. А я-то думал, это у мамы просто увлечение такое.

— Никакой я не гений,— отвечала миссис Робертс,— и никто меня гением не называет. Но отныне я знаю точно: мне надо писать и дальше. И потом, теперь я могу позволить себе покупать холст. А то на сухой штукатурке — грунтуй ее хоть до одури — краски жухнут. Я уже купила четыре холста.

И все-таки им всем казалось, что происходит какое-то чудо и долго оно не продлится.

За время каникул Тоби с Мейзи не виделся и в Хэддисдон его не приглашали. Да он и не слишком об этом печалился, потому что сам не мог разобраться в своем отношении к ней. Он скучал по Мейзи — ему виделся изгиб улыбающихся губ, глаза, так и вспыхивающие от радости, словно в них зажигаются лампочки,— но заставлял себя заниматься и большую часть дня просиживал наверху, в своей комнате.

Миссис Робертс снова ушла в повседневные домашние заботы; готовила — как всегда, сосредоточенно и искусно,— а во второй половине дня увлеченно писала.

Потом Тоби все-таки написал Мейзи. Письмо начиналось обычным его обращением: «Малыш»; он сообщил о предстоящем визите владельца лондонской галереи и о том, что мать опять работает запоем. «По-моему, получается у нее здорово. А я вкалываю, как и подобает пай-мальчику. Соскучился по тебе».

Ее ответ начинался словами: «Родной мой Тоби». Ее так обрадовали новости, которые он сообщил ей, а то, что он пишет о миссис Робертс,— просто потрясающе. Скоро каникулы кончатся и она сможет узнать все подробности от него лично. «Я не докучала тебе, не просила приехать, потому что знаю: тут ты непреклонен и не любишь, когда тебя дергают. Не хочу ни в чем быть тебе в тягость. Но я тоже соскучилась по тебе, и теперь уже ждать осталось недолго, да?»

Его письмо кончалось словами: «Привет, Тоби», а ее: «Твоя навек Мейзи».

Почему Мейзи пишет, что ей не хочется быть ему в тягость? Тоби насторожился. Неужели она поняла, что он держится поодаль намеренно? Да, «антенна» у нее — высокой чувствительности, это он подмечал не раз. Вообще-то лучше ничем ее не тревожить: чем больше она станет тревожиться, тем ускореннее пойдет их сближение, а он к этому просто не готов. Прямого нажима она на него никогда не оказывала — разве только тем, что вмешалась в дела миссис Робертс, а за это, видя изо дня в день, как радуется мать, он мог быть ей только благодарен. Всего лучше было бы, если б Мейзи по-прежнему сохраняла безмятежное спокойствие; ведь именно эта безмятежность больше всего пленяет его в ней...

В Кембридж он вернулся незадолго перед тем, как к ним домой должен был явиться владелец одной из лондонских галерей. Мейзи не встретила его на вокзале, и он в тот же вечер ей позвонил. Говорила она оживленно, но каким-то очень уж легким тоном. Нет, дня два она не сможет с ним встретиться — очень запустила занятия; слишком много осталось недоделок с прошлого триместра, и преподаватель, который руководит занятиями студентов-филологов ее колледжа, как будто не особенно ею доволен...

— Не хотелось бы опозорить маму, когда результаты выпускных будут опубликованы.

— А ты ее и не опозоришь, малышка. Ведь ты такая умница. Как насчет субботы? В четыре часа в «Капризе», идет?

Через два дня произошло нечто небывалое: ему позвонила по телефону мать. Звонила она из отцовского киоска и так нервничала с непривычки, что сначала ему приходилось все переспрашивать. А сообщить она хотела вот что: у нее будет выставка в Лондоне — в такой маленькой сводчатой галерее возле Пикадилли. Владелец галереи приходил к ним, хвалил ее работы. Но сказал, что с проданных картин будет удерживать двадцать процентов.

— Пусть хоть все сто, мне все равно,— сказал Тоби.— Лишь бы картины выставил.

— Все это будет в июле, так что у меня масса времени, чтоб подготовиться. Да, Тоби, и вот еще что, я получила два письма — от каких-то совсем незнакомых людей: хотят купить картины. Мне их мистер Дриффилд переслал.

— Ты у меня замечательная. Замечательная женщина. Поздравляю тебя и желаю тебе здоровья.

— А вчера явился к нам репортер, что-то вынюхивал, высматри-

вал. Особенно я с ним не откровенничала. Но он знает про папин киоск и кое-что про тебя.

— Ну, особой беды я тут не вижу,— сказал Тоби, несколько покривив душой.

Приехав на свидание с ним, Мейзи прихватила с собой картины, и они тут же отвезли их к Тоби в колледж. Она очень обрадовалась новостям, которые он ей выложил. Видно было, что она за него счастлива.

Но тон у нее по-прежнему был неестественно легкий, и, когда Тоби поцеловал ее, она ответила беглым поцелуем, довольно небрежным. Они посидели на окне, глядя во двор — на каштанах только что распустились свечки, алые и кремовые, в бронзовую крапинку. Через лужайку шли Боб с Ритой — беременность ее уже стала заметной. Вскоре их шаги послышались на лестнице, но замерли этажом ниже.

— Пойдем-ка лучше выпьем чаю, пока нас тут кто-нибудь не заблокировал,— предложил Тоби.

Спускаясь по лестнице, они прошли мимо двери Боба, она была приоткрыта, и до них донесся истерический вопль:

— Свинья ты! Торчишь в своей проклятушей лаборатории, а я все одна, одна, одна из вечера в вечер! Мне иногда кажется, я с ума сойду!

— Да будет тебе, Рит! — И дверь с треском захлопнулась.

Мейзи и Тоби не проронили ни слова, пока не вышли во двор. Тут она сказала:

— О, господи. Вот, значит, у них как...

Когда они возвращались по величественной Кингс-пэрейд, Мейзи смущенно сказала ему, что Аманда собирается отпраздновать в Хэддисдоне окончание выпускных — до того, как будут объявлены результаты,— и надеется, что он приедет.

— Господи, да почем мы знаем — может, и праздновать будет нечего?

— Но в том-то все и дело,— стояла на своем Мейзи.— Мама говорит, что когда мы уже будем знать свою участь, может быть, и праздник получится не такой веселый, а пока нам ничего не известно, мы можем оставаться беззаботными. Все это необычно, конечно, но она и вообще человек необычный.

— Вряд ли мы будем чувствовать себя так уж беззаботно,— бросил Тоби.

Но возможность поездки в Хэддисдон обрадовала его чрезвычайно.

— На этот раз ты сможешь у нас переночевать,— сказала Мейзи.— Останешься?

— Конечно. Перспектива приятная.

После чая они пошли бродить по берегу Кема; погода была чудесная, на деревьях раскрывались почки. Тоби обнял Мейзи за талию.

— Не надо,— сказала она.— Кругом полно соглядатаев.

— А это имеет значение?

— Имеет, пожалуй.

Тоби спрашивал себя, что у нее на уме, и сам же отвечал на этот вопрос, сознавая, что мыслит грубовато и упрощенно: она нарочно держит его на расстоянии, хотя ей это вовсе не по душе. А с какой целью? Чтобы его сильнее к ней потянуло? Ну, если так, то отчасти она в этом преуспела — его к ней действительно тянет.

В оставшиеся до выпускных экзаменов недели он Мейзи почти не видел. Наверное, сидит за книгами, решил он, старается наверстать упущенное.

В первый день экзаменов, оправившись от шока, в который его поначалу повергла уверенность, будто экзаменационные работы надо писать каким-то совершенно особым языком, столь же диковинным и незнакомым ему, как, скажем, таи или арамейский, он обнаружил, что, по крайней мере, на три из предложенных на выбор вопросов может ответить вполне сносно. Ну что ж, он не из последних; выпускные даже доставляют ему удовольствие, хотя в прошлом он сдавал экзамены не блестяще. В последующие дни Тоби усердно строчил письменные, много гулял, рано ложился и гонки не устраивал: перед смертью не надышишься. Когда тяжкое это испытание наконец осталось позади, он знал, что у него довольно верный шанс на «второй-один»[1].

Пока результаты не будут объявлены, в Лондон ехать нет смысла. А сейчас впереди у него Хэддисдон.

...В Садбери Мейзи встретила его с машиной, и по дороге он спросил ее, как она сдала.

— Полагаю, не так уж плохо. У меня был вопрос о Лоуренсе; думаю, что написала прилично.

— А если нет, то в этом явно кое-кто виноват,— ухмыльнулся он.

Хотя весна была затяжная, недружная, день выдался чудесный.

— Мама сможет устроить прием в саду,— сказала Мейзи.— И кстати: если ты не любишь хереса, не пей. Я заметила, прошлый раз ты скорчил такую гримасу... У нас есть все что душе угодно.

Но вот и Хэддисдон. С чемоданом в руке он вошел вслед за Мейзи в дом. Там никого не было.

— Все уже в саду,— объяснила Мейзи.— Провожу тебя в твою комнату — как только будешь готов, сразу спускайся.

Спальню ему отвели небольшую, но премилую; никогда он не видел такой прелестной комнаты, никогда не спал на кровати под балдахином. При комнате была отдельная ванная.

— Я тебя покидаю,— сказала Мейзи после того, как он поцеловал ее в знак благодарности.— Но ты не очень задерживайся.

И все-таки Тоби на секундочку растянулся на постели, оглядел цветастый розово-зеленый балдахин. За окном легкий майский ветерок чуть шевелил ветви деревьев, и сквозь узорчатую листву сеялся золотой свет. Где-то выводила малые терции кукушка.

Поет весь день кукушка — просто так,
Одна в долу зеленом...—

вспомнилось ему. И он подумал: разве не странно, что, когда тебе двадцать с небольшим, стихи Хаусмэна, поэта мрачного, чьи традиционные темы — самоубийство и смерть, вызывают такую ликующую радость?

Тоби встал, поправил постель, выложил из чемодана вещи. В дорогу он позволил себе надеть джинсы и бумажную тенниску, но захватил с собою лучший свой костюм, твердо уверенный, что в нем можно выйти к обеду. Он вымыл руки, сбрил с подбородка несколько коротких щетинок. А вообще-то при желании можно запросто отрастить довольно густую рыжеватую бороду...

Внизу у дверей его ждала Мейзи.

— Что ты там делал? Мечтал?

---

[1] Диплом с отличием в английских университетах называется дипломом первой степени (сокращенное обозначение — «первый»). Далее следует диплом второй степени (сокращенное обозначение — «второй»); он имеет две категории: высшую (сокращенное обозначение 2.1, или «второй-один») и низшую (сокращенное обозначение 2.2, или «второй-два»).

Он молча ей улыбнулся.
— Выйди же в сад...— сказала она.
— ...о, Мод[1],— подхватил он.

10

Солнце било Тоби прямо в глаза, слепило его, и сперва ему показалось, что на усеянной маргаритками лужайке, которую Аманда оставила невыкошенной, расположилось человек двадцать, а то и тридцать. Потом он разглядел, что там их с десяток, не больше. И все же он несколько оробел, что, в общем-то, было ему несвойственно.

Аманда, поджав по-турецки ноги, восседала среди своих придворных в свободном одеянии типа джуббы [2], выдержанном в оранжевых и пурпурных тонах. В ярком свете солнца на лице ее отчетливо были видны крупные поры, и в каждой золотилась крошечная капелька.

— Идите сюда, Тоби, садитесь, и я мигом представлю вас тем, с кем вы еще не знакомы.— Некоторых из присутствующих он и впрямь видел впервые, но были здесь также Крейн, Питер Коксон, Эйдриан и критик Поллок — при виде его Тоби охватило чувство невыразимой благодарности.— Прежде всего я хочу знать, как. на ваш взгляд, вы сдали экзамены. Но имейте в виду: сегодня мы поздравляем вас вовсе не с тем, к а к вы их сдали; нет, мы хотим отпраздновать то, что они уже позади, и вы, наверное, безмерно этому рады.

Тоби ответил, что, на его взгляд, сдал сносно.

— Скажем так: полагаю, что без степени не останусь.

Аманда недоверчиво хмыкнула.

— Вы сдали блестяще. Не втирайте мне очки. А как поживает ваша милая мама? Я рассчитывала, что она приедет с вами, но ее не выманишь из норки.

И мать вдруг представилась ему лисицей, затаившейся в своей норе.

Он поздоровался с Крейном, Поллоком, Эйдрианом, после чего был представлен другим. Некоторые имена он попросту не уловил. Но кое-какие лица были ему знакомы: знаменитый поэт преклонного возраста, молоденькая романистка, приобретшая в последнее время известность, третьестепенный киноактер, обычно играющий хамоватых типов.

Высоко над травой во всей своей многоцветной красе распростер ветви величественный кедр. Боярышник уже был в полном цвету, красный и белый.

На лужайку вышел лакей, неся поднос с напитками, и стал обходить гостей.

— Спасибо, мне шотландского виски, разбавленного,— храбро попросил Тоби.

— Вот видишь? — крикнула Мейзи, обращаясь к матери.— Что я тебе говорила!

— Нет, право же... — начал было Тоби, но Аманда пропустила его слова мимо ушей.

— Не торопитесь,— обратилась она к гостям,— сегодня у нас ленч без горячего, но, надеюсь, он удался. А после ленча Питер прочтет нам первую главу своей новой книги. А Эдуард, вероятно, прочтет нам первый акт своей пьесы.

— А Эдуард, вероятно, читать не станет,— ответил Крейн,— при всем к вам уважении, Аманда. Читаю я на редкость невыразительно.

---

[1] Две последние реплики составляют строку из поэмы «Мод» Альфреда Теннисона (1809—1892).

[2] Верхняя одежда магометан.

И вообще, пора бы вам знать, что я не таскаю за собой собрания своих сочинений.

Она пожала плечами и, отвернувшись от него, обратилась к Тоби:

— А вы не будете скучать по Кембриджу? Ведь он уже, наверное, вошел вам в плоть и в кровь.

— Ну, не знаю,— ответил Тоби. (Сегодня он был разговорчивей обычного.) — Широкого круга друзей у меня там не было: только Эйдриан да еще человека два-три. А в студенческой жизни я вообще не участвовал. Порой даже чувствовал себя там парьей.

Аманда тут же поправила его, правда, мягко, без нажима — больше всего на свете она любила поучать:

— Парией, милый. Но не понимаю, почему у вас было такое чувство.

Тоби залился краской — вспыхнуло лицо, шея. Он всегда считал: уж лучше быть застигнутым в постели с парнем (хотя вообще-то у него не было ни малейшей склонности к такого рода развлечениям), чем на людях сделать ошибку в произношении. Вот почему он повсюду носил с собою словарь.

— Случается и глупость сболтнуть, не без того,— ответил он довольно туманно. Ему казалось, что все они в душе смеются над ним: и Крейн, и Коксон, похожий на пошевеливающую кольцами змею, и даже Эйдриан.

Чтобы отвлечься, он стал пристально рассматривать Мейзи, присевшую с ним рядом, и впервые отчетливо понял, какие дорогие на ней вещи. До сих пор у него не было в этом полной уверенности. Мейзи была в черной юбке, широкой в бедрах и сужающейся книзу, изумительной блузке из белого шелка и гипюра, с глухим воротом, заколотым очень большой брошью черного янтаря. Казалось, она не замечает никого и ничего, кроме Тоби, и ему была непереносима самая мысль, что она думает сейчас о допущенной им ошибке.

Но тут внимание их было отвлечено появлением новой гостьи.

Из дома вышла рослая, крепко сбитая девушка в белой блузке и коричневых брюках для верховой езды; волосы ее, очень светлые, были собраны в «конский хвост».

— Привет всем!

— А где же скакун? — воскликнула Аманда.

— Нет скакуна. Так и на велосипеде ездить удобней, не только на лошади.

И она пошла по лужайке, давя башмаками маргаритки.

— По-моему, ты знакома со всеми,— сказала Аманда после того, как девушка, расцеловавшись с нею, Мейзи и Эдуардом, поздоровалась с остальными.— Кроме Тоби Робертса. Тоби, это Клэр Фоллз.

Но Тоби сразу догадался, кто это.

Девушка плюхнулась на траву рядом с ним.

— Я все знаю про вашу потрясающую маму. Жалею, что не побывала на ее выставке. Вот папа был.

Он отметил про себя, что она хороша собой — красота у нее вызывающая, в ней есть что-то от породистой лошадки. Тонко очерченный нос, очень длинный подбородок, большие голубые глаза, посветлей, чем у Мейзи.

— Вы тоже учитесь в университете? — спросил он, чтобы не дать разговору иссякнуть.

— Я? Ну, где мне, слишком тупа. Училась в Швейцарии, в школе для девушек. Там я, как говорится, получила отделку и отделалась вчистую, именно отделалась, это, по-моему, слово точное; а теперь так, ковыряюсь помаленьку с разной стариной, и все.

— Не верю.

Тоби стал напряженно думать: дочь лорда Ллэнгейна, «достопочтенная Клэр Фоллз» — вот как она именуется, и у него хватило честности признаться себе, что это ему импонирует. Пожалуй, она немного постарше его? Так, на годик?

Тут к нему обратилась Мейзи, но смысла ее слов он не уловил: гипнотический взгляд голубых, чуть навыкате глаз все еще не отпускал его.

— Ты что-то сказала, малышка?

— Да так, ничего.

Но от него не укрылось, что на лице ее промелькнуло безмерное удивление.

— Ну, а все-таки?

— Да насчет Эдуарда. Не понимаю, почему он так скромничает.— Она легко поднялась на ноги.— Мне засиживаться нельзя, надо все время циркулировать.— И, подойдя к Крейну, Мейзи опустилась рядом с ним на траву.

Клэр попросила еще один мартини. Видно, она вообще не дура выпить.

Вскоре на лужайку вышла горничная, с помощью Аманды расстелила на траве большую скатерть, потом расставила бокалы и рюмки, разложила серебро. После этого между домом и лужайкой стал сновать лакей, вынося один поднос за другим.

— Еда сегодня самая незамысловатая, деревенская,— объявила Аманда.— А если кто-нибудь из вас отсидел мягкое место, пусть сходит в дом за подушкой.

Но блюда, которые ставили перед ними, никак нельзя было назвать деревенскими: высокая горка суфле из гусиной печенки, салат с омарами — гранат, коралл и перламутр среди крупных и сочных зеленых листьев; разные другие салаты, жареные куры, какой-то очень высокий пирог, три затейливо изукрашенных, истекающих золотистым жиром пудинга. Подали и шампанское — Тоби не особенно любил его, но понимал, что это непременный атрибут праздничной церемонии.

Подошла Мейзи, снова опустилась рядом с Тоби, но теперь в ней чувствовалась некоторая отчужденность: ведь по другую его сторону по-прежнему сидела Клэр.

— Первый бокал мы поднимаем за Тоби и Мейзи,— возгласила Аманда.— Всяческой им удачи! Но сегодня мы их пока с удачей не поздравляем; просто празднуем то, что их испытания остались позади.

После ленча, когда пришло ощущение приятной сытости, гости закурили, и Питера Коксона попросили почитать обещанную главу из книги. Тоби она не понравилась: какая-то немыслимая смесь Вирджинии Вулф с Кафкой; имя героя, кстати весьма непривлекательного, дается просто литерой — «С». У романиста, при всей его субтильности, неожиданно оказался густой бас, и он явно упивался звуками собственного голоса. Все время, пока длилось чтение, Тоби держал ладонь на руке Мейзи, смутно чувствуя, что он перед нею в долгу.

— Вещь замечательная,— объявила Аманда, когда Коксон кончил.— Самобытная, не похожа ни на что. (Еще как похожа!) Что ж, выпьем кофе, а потом все вы, наверное, захотите пройтись. Вытяните-ка ноги. Они у вас, наверное, затекли? Ну вот, говорила же я — возьмите подушки!

Неаппетитные остатки аппетитных блюд вскоре были убраны.

— Я пройдусь с вами, Питер,— оживленно сказала Мейзи.— Хо-

чется поговорить о вашей книге. Она мне нравится, но как-то озадачивает.

— На то и рассчитано,— ответствовал автор туманно.

Неожиданно к Тоби подошла Клэр:

— Пойдемте к ручью.

Тоби не знал, что в Хэддисдоне есть ручей, но оказалось, что есть: вот он, в самом конце сада,— мелкий, прозрачный, бежит, позванивая галькой, меж лютиков и ирисов, и ложе у него бархатисто-золотое.

— Он, конечно, искусственный,— сказала Клэр.— Как делается искусственный ручей, понятия не имею. Но вот Аманда как-то умудрилась. Нет, она просто чудо, а?

Тоби согласился, что да, чудо.

— И Мейзи тоже чудо,— добавила Клэр.— Ведь это она устроила вам выставку, да? Так говорит папа.

Тоби подумал о лорде Ллэнгейне. Директор торгового банка. Звучит шикарно. А для него самого такая карьера была бы подходящей? И обязательно ли для этого легко оперировать цифрами? Если да, то эта мечта — не для него. В школе он шел по математике хуже, чем по всем другим предметам. Найденный в телефонной книге номер и то не мог запомнить сразу: набирая его, снова и снова заглядывал в книгу. С трудом удерживал в памяти день и час назначенной встречи.

— Да, она.

— Смотрите-ка, колюшка! — Клэр присела у ручья на корточки.— Когда-то я ловила колюшек банкой из-под варенья. Но потом приходилось выпускать их обратно. Домой все равно не донесешь — уснут дорогой.

Гости понемногу возвращались на лужайку и снова рассаживались под кедром.

— Давайте сыграем в какую-нибудь самую что ни на есть старомодную игру,— предложила Аманда.— В писателей. Пусть каждый назовет писателя на букву «А». На букву «Б» их больше, так что особенно далеко мы не уедем.

В эту игру они играли до самого чая. А после чая гости один за другим стали разъезжаться, и под конец остались только Тоби, Клэр и Эдуард Крейн.

— Клэр! Ты обедаешь с нами? — спросила Аманда.

— Никак не могу, но все равно спасибо. У мамы гости.

— А я остаюсь ночевать,— сказал Эдуард.— Если хотите, Тоби, подброшу вас завтра в Кембридж. Мне туда надо.

Тоби с благодарностью согласился, хотя и понимал, что Мейзи будет разочарована — ведь ей, наверное, хочется отвезти его на станцию самой. От безмерного изумления, промелькнувшего у нее на лице во время ленча, не осталось и следа — оно словно привиделось ему. Теперь она была совершенно спокойна, держалась непринужденно.

Клэр выпила еще рюмку, потом сказала, что ей уже в самом деле пора. И, обращаясь к Тоби, добавила:

— Буду следить за газетами. Узнаю, как вы окончили. И Мейзи. Я буду не я, если не отыщу ваших результатов.

Она распрощалась со всеми. И пока она шла к дому, Тоби смотрел на ее мощную, словно железную спину.

— Славная девушка,— сказала Аманда.— Ни литературного, ни художественного дарования у нее нет, но вся она — словно глоток свежего воздуха. Она у нас бывает запросто, когда ей заблагорассудится. Видите ли, она связана по рукам и по ногам. Мойра такая лентяйка, что Клэр приходится принимать гостей Идриса. Брат ее за границей, в оккупационных войсках. И хотя между нами говоря, ей это не очень по душе, она взяла на себя заботы об отце.

Вечер прошел тихо, ни в какие игры больше не играли. Эдуард стал рассказывать о своей новой пьесе.

— Когда она пройдет? — с нетерпением спросил Тоби.

Эдуард усмехнулся.

— Никогда не спрашивайте такого у драматурга. Меньше всего ему хочется, чтобы его пьеса «прошла» или «сошла». Надо спрашивать: «Когда пойдет».

— Надо же брякнуть такую глупость. Я ведь имел в виду — пройдет все стадии подготовки, будет поставлена. Нет, я порядочная бестолочь.

— Разве? — Эдуард взглянул ему прямо в лицо.— Знаете, а я бы не подумал.

Обед был довольно легкий, и Тоби это вполне устроило — после ленча у него все еще оставалось чувство переполнения. Потом принесли проигрыватель и стали слушать «Остров радости» Дебюсси. Мейзи сидела по-турецки на полу и, казалось, была всецело поглощена музыкой. Когда пластинка кончилась, Аманда сказала:

— Ну, вот что, меня совсем разморило от свежего воздуха. Прошу извинения, но я, пожалуй, пойду спать. А вы не торопитесь. Выпейте еще. Тоби, завтракать у нас можно в любое время, начиная с девяти. Прежде чем подниметесь в свою комнату, скажите экономке, что вам подать утром в постель.

Она поплыла к себе, и джубба ее развевалась.

Теперь Эдуард целиком переключился на Мейзи — видно было, что он очень ее любит. Как поживают такие-то? (Он упомянул ее друзей, которых Тоби не знал.) Чем она собирается заняться теперь?

Мейзи ответила, что понятия не имеет.

— Зато знаю, что сделаю вот сию минуту — последую маминому примеру и пойду спать. Доброй ночи вам обоим.

— Доброй ночи, малыш,— отважно сказал Тоби, невзирая на то, что они не одни, и глаза у нее засветились.

— Что за очарование эта девочка,— сказал Эдуард, когда она ушла.— Будь я на двадцать пять лет моложе, влюбился бы в нее по уши; пожалуй, я и сейчас не прочь, если б не возраст и боязнь быть смешным. Мужчина может увлечься в любом возрасте, хоть вы, наверное, и считаете, что к сорока годам он эту способность утрачивает. Во всяком случае, я в ваши годы считал именно так.

— Мейзи прелесть.

— Да, прелесть,— подтвердил Крейн очень серьезно и умолк. Выпив еще виски, они разошлись по своим спальням. Тоби прихватил с собой книгу: уснуть, пожалуй, удастся не скоро.

Не прошло и получаса, как в дверь легонько постучали, и сразу же вслед за этим в комнату проскользнула Мейзи. Она была в халатике. На раскрасневшемся лице — волнение и решимость.

— А, малыш, привет! — воскликнул Тоби, делая вид, будто в ее появлении нет ничего особенного.

— Ш-ш. Не шуми. Ничего, что я пришла?

— Ну, что ты.

Она присела на краешек его постели.

— Слушай, я хочу с тобой поговорить. А времени у меня в обрез. Хочешь, чтобы я стала твоей? Потому что, если да... Понимаешь, я так подумала: наверно, из-за этого ты последнее время такой странный-странный. Словно ты где-то за миллион миль от меня. Может быть, ты считаешь, что я с тобой холодна, но это не так, клянусь. Хочешь, я стану твоей?

Она вся дрожала.

Конечно, Тоби хотел этого. Вот уже сколько месяцев у него не бы-

ло даже случайной связи. А все-таки страшно: ведь у Мейзи он будет первым, в этом нет сомнения. Тоби ласково провел рукою по ее спине, и она встрепенулась, как вспугнутая кобылка.

— Конечно. Но ты твердо решила?

— Если ты решил, то и я тоже.

И, перегнувшись через него, она выключила лампочку над постелью. В лунном свете, пробивавшемся между неплотно задернутыми занавесями, он увидел, как она сбросила халатик. Потом ночную рубашку. До чего же она хороша, диво дивное! Сердце у него заколотилось.

— Иди сюда,— сказал он, откидывая одеяло.— А то простудишься.

Он сжимал ее в объятиях, и радость взмывала в нем, а в то же время он трезво прикидывал, чем может обернуться для него то, что сейчас произойдет. Можно ли, чтобы это случилось у Аманды в доме? Существует же старинный закон благодарности за оказанное гостеприимство. А если все-таки пойти на это, не окажется ли он связанным навеки? Мозг его лихорадочно работал.

— Мамина комната на другом конце дома,— прошептала Мейзи. Зубы у нее стучали.

— А твоя?

— Рядом с твоей.

Тоби удивился, но, не вылезая из-под одеяла, стал стаскивать с себя пижаму: устоять было невозможно.

Они лежали обнаженные, и пот его смешивался с ее потом.

— Ты делал вид, будто тебе нравится Клэр, потому что думал, я на это не пойду. Ты ей понравился, я знаю.

Глупо, подумал Тоби. Неверная тактика.

— Глупо,— сказал он вслух. Но теперь он старался одновременно и успокоить ее, и возбудить. Он целовал ее соски и чувствовал, как по ней волнами пробегает дрожь. Нежно поглаживал вдоль тонкого стерженька позвоночника. От ее тела шел чудесный запах цветущего боярышника.

— Я люблю тебя, люблю,— шептала она.

Он взял ее и услышал негромкий вскрик боли и радости.

— Малыш...— он и в такую минуту назвал ее этим обычным, ни к чему не обязывающим словом.

Потом, после всего, он отодвинулся, положил ее голову себе на плечо.

Когда она ушла, низменный страх охватил его и он включил свет. Но на простыне остались лишь две капельки крови — нет, это подозрений не вызовет. Ему хотелось поразмыслить о случившемся, но еще больше хотелось спать. И это последнее желание одержало верх.

На рассвете Тоби проснулся, насмерть перепуганный: что же он натворил? Ведь Мейзи совсем не то, что девицы, с которыми ему время от времени доводилось переспать — просто чтобы удовлетворить собственную потребность. Но почему его поместили по соседству с ней? Возможно ли, чтобы это было сделано с ведома Аманды? Безусловно, нет. Ей это ни к чему. Он же ничего не может предложить Мейзи. Тогда, что же, Аманда просто потворствует всем желаниям дочери? А может быть, она не думает, что дело у них зашло так далеко, и лишь проявила к нему доверие? Как же он сегодня посмотрит Мейзи в глаза? До семи Тоби вертелся с боку на бок, потом заснул как убитый и спал до тех пор, пока в комнату к нему не вошла горничная с подносом: так ему дали понять, что вставать незачем — здесь все завтракают в постели.

11

Когда он спустился в гостиную, Мейзи уже ждала его: глаза ее сияли, лицо пылало, словно закатное небо над заснеженным простором. На ней была та же юбка и та же кофточка, что вчера. (Может быть, она их надела на счастье?) Мейзи взяла его руки в свои.

— Тоби, Тоби, Тоби, Тоби, Тоби.

— Милая...

И больше они ничего друг другу сказать не успели — вошла Аманда, за нею Эдуард.

— Снова прекрасный денек! Вы чудесно проедетесь.

— Выедем в одиннадцать,— сказал Эдуард.— Поедем не торопясь, дорогой сделаем остановку, выпьем по кружке пива. Вас это устраивает, Тоби?

Тоби ответил, что устраивает. А вообще он и сам не знал, чего хочет — уехать или остаться здесь навсегда.

— Смотрите не вздумайте тревожиться,— вдруг сказала Аманда с ударением, словно ясновидящая.— Все будет в полном порядке.

— Безусловно,— подхватила Мейзи.

Прощаясь, Тоби поцеловал ее при всех.

Тоби и Эдуард ехали сквозь мягкое утро, и небо над ними было как на картинах Констебла. Эдуард рассказывал о знакомых актерах и актрисах; судя по всему нравились ему только трое из них. Слишком многие актеры стараются думать, а, по его мнению, это не их дело; особенно не по душе ему были такие, кто требовал от него заменить то или иное слово в их роли, потому что они, видите ли, «не могут его произнести».

Тоби слушал как завороженный.

— Это может показаться странным,— продолжал Эдуард,— но я терпеть не могу всего, что связано с театром. Терпеть не могу репетиции, хотя считаю, что, если не буду на них присутствовать, мне это выйдет боком. Терпеть не могу ходить после спектакля за кулисы и расточать неискренние комплименты. Терпеть не могу запаха грима. Доволен я бываю, только когда сижу в зрительном зале. Да и то не всегда.

Ехал Крейн действительно не торопясь, на одной и той же скорости. Чувствовалось, что он заранее рассчитал, сколько времени займет эта поездка. Когда они подъехали к Линтону, он взглянул на часы.

— Как вы смотрите на то, чтобы выпить?

Они вошли в маленькую пивную, явно не страдающую от переизбытка посетителей. В баре не было ни души. Заказали по кружке горького.

— А теперь,— Эдуард вдруг заговорил совсем другим голосом,— я собираюсь побеседовать с вами с высоты моей старости. Позвольте сообщить вам, что я наблюдателен. А объект моих наблюдений — вы.

Тоби встревожился, но промолчал.

— Вы любите Мейзи? — спросил Эдуард.

— Ее все любят.

— В таком случае не обманывайте ее. Порвите с ней, если у вас нет другого выхода, но не обманывайте ее — этого она не вынесет. Я не говорю, что вы ее обманываете. Но и не исключаю такой возможности.

— Все это не настолько серьезно...— начал было Тоби.

— Для нее — очень серьезно. Послушайте, я прожил долгую жизнь. В мудрецах себя не числю, но кое-чему успел научиться.

Кроме того, я считаю возможным вмешиваться в чужие дела, когда от этого может быть прок. Ну как, говорить мне дальше или нет?

— Конечно,— сказал Тоби.— Хотя я и не очень понимаю, о чем, собственно, речь.

Солнце зажгло оранжевые искры в кружках с пивом. В баре крепко пахло элем, мылом, яблоками.

— Мужчина может так ужасно травмировать девушку. Грешил этим и я в былые годы, хоть вы, пожалуй, и не подумали бы обо мне такого. Если женщина не льет слез, мужчина уверен, что ему все сошло с рук, а если льет, он считает, что это возмутительно и освобождает его от каких бы то ни было обязательств.

Что ж, все это страшно интересно, но какое это имеет отношение к нему, Тоби Робертсу? С чего Эдуард вдруг завел этот разговор?

— Мейзи очень ранима, и она влюблена в вас. Я ведь вам говорил: будь я в вашем возрасте, я бы в нее влюбился. Она не из тех, кто льет слезы. Она будет улыбаться, что бы ни случилось. Но ей это окажется не по плечу. Аманда — та не такая; она вообще совсем другой человек. Ее муж, болезненный и хрупкий с виду (на самом деле это было вовсе не так), постоянно ей изменял; когда до нее это дошло — кстати, на удивление поздно,— она попросту нашла себе другой интерес в жизни. Именно так возник ее кружок. Полагаю, что, когда муж умер, она почувствовала облегчение — от него уже больше не приходилось ждать неприятностей. Он оставил ей солидное состояние, у нее есть «двор», есть дети — кстати говоря, все они, за исключением Мейзи, сущие обыватели и не выносят разговоров об искусстве.

— Эдуард,— Тоби и не заметил, как назвал Крейна по имени,— я очень признателен вам за все, что вы мне сказали. Но уверяю вас, я не собираюсь причинять Мейзи зло.

— Если так, постарайтесь ее полюбить.

— А я разве не стараюсь?

— Думаю, что нет. Во всяком случае — пока. Я же вам говорю: вид у нее безмятежный, но вся она — сплошной обнаженный нерв. Будь она уверена в вашем чувстве, такого не было бы. Неврастеничкой она не станет — если вы этого опасаетесь.

— А я и не опасаюсь. Во всяком случае, не этого. Мейзи прелесть.

— Знаете, она не просто прелесть. Ну что ж, пожалуй, допьем пиво и двинемся дальше. В двенадцать сорок пять я должен быть в Кингс-колледже.

Остаток пути они проделали в молчании.

Эдуард высадил его на Рыночной площади, и Тоби зашел в кафе выпить чашку кофе с сандвичем. Ему было о чем подумать. Воспоминания о минувшей ночи вызывали у него огромную радость. Победное чувство. Да, Мейзи прелесть! Так о ней говорят все. А почему Эдуард затеял этот разговор, что он углядел? Мимолетное выражение ужаса у Мейзи на лице? Но оно в общем-то было беспричинным. Хорошо, что Эдуард рассказал об Аманде; интересно все-таки, что за человек был ее муж. Мысли о Хэддисдоне шли быстро и кучно, одна за другой, как маргаритки на тамошней лужайке. Тоби был очарован Хэддисдоном. Но, может быть, есть и другие места, не менее чарующие? Он знал: мир — это устрица, и, чтобы вскрыть ее раковину, нож, вероятно, потребуется прочный.

...День, когда должны были быть объявлены результаты экзаменов, выдался прохладный, накрапывал дождик. Тоби с трудом сдерживал нетерпение; потом, решив, что уже пора, отправился

к зданию Университетского сената. Там собралась кучка ожидающих — все были взвинчены и просто сгорали от нетерпения.

Наконец списки были вывешены, и Тоби стал проталкиваться вперед. Сперва он просмотрел список тех, кто получил «второй-один», и сердце у него упало: его среди них не было. Потом — список тех, кто получил «второй-два». Тут его тоже не было. Он с лихорадочной поспешностью перечитал оба списка — может быть, от волнения он просто себя пропустил? Под конец, просто смеха ради, пробежал список тех, кто получил диплом первой степени. И вот он — Робертс, Т. Г. Он своим глазам не поверил. Недоверие пересилило все остальные чувства, даже радость. Но тут знакомый студент поздравил его. Стало быть, это не обман зрения, так оно и есть.

Тоби вышел из столбняка. Помчался на почту и отправил матери телеграмму: «Получил отличием приеду завтра».

...Как он и полагал, мать была потрясена не столько тем, что он получил диплом с отличием, сколько тем, что у него теперь ученая степень. В ее семье такого еще не бывало.

— Так-так,— сказала она.— Отец — на седьмом небе.

И в самом деле, мистер Робертс, вернувшийся в эту минуту из киоска, сиял.

— Это необходимо отпраздновать. В газетах будет сообщение?

— Думаю, в завтрашней «Таймс»,— ответил Тоби. Успех уже опьянил его.

— Чего-чего, а газет в этом доме всегда хватает,— сказал отец.

В тот вечер за бутылкой виски мистер Робертс с радостным удивлением проговорил:

— Какой год у нас нынче выдался, а? Что у тебя, что у мамы.

— Мог ты такое ожидать? — спросила миссис Робертс сына.

— Нет. Я на верхний список и взглянуть не подумал, посмотрел уже под конец.

— А это поможет тебе устроиться получше?

— Не знаю. Через несколько дней съезжу в Кембридж, потолкую с доктором Хартфордом.

И в самом деле, назавтра результаты экзаменов были опубликованы в «Таймс». Отклики последовали незамедлительно: в середине дня пришли телеграммы от Аманды и Мейзи. а кроме того — что было совсем неожиданно,— от Клэр: «Говорила же зпт глаза прогляжу зпт но отыщу. Пламенные поздравления зпт скоро увижу вас обоих». Видимо, она имела в виду его и Мейзи. Постепенно они узнали из газет, как окончили остальные. Боб, разумеется, получил диплом с отличием. Ну что ж, теперь Рита, наверное, успокоится. А вот у Мейзи дела были неважные. Всего-навсего «второй-два». То есть, по ее понятиям, она совершенно оскандалилась. И Тоби чувствовал себя виноватым: ведь не последнюю роль тут сыграло то, что она так много времени посвятила делам его матери.

12

Тоби встретился с Мейзи в ресторане отеля «Синий вепрь», куда пригласил ее пообедать. На сей раз он мог себе это позволить: мать настояла на том, чтобы по случаю окончания он принял от нее в подарок двадцать пять фунтов из вырученных за картины денег.

У него были для Мейзи добрые вести. Он уже успел зайти к Хартфорду; тот сказал, что колледж, по-видимому, даст ему аспирантскую стипендию, и рекомендовал поработать в Лондонском университете под руководством профессора Тиллера.

— Ты хочешь получить докторскую степень? — воскликнула она.

— Сам не знаю. На это ушло бы года три, а мне, насколько я понимаю, нужно начать зарабатывать раньше. Какое-то время продержусь на стипендии, но не очень долго. И потом, я хочу жить отдельно от родителей, где-нибудь близ Гауэр-стрит.

Мысль эта пришла ему в голову только что.

— Твоя мама расстроится,— возразила Мейзи.

— Вряд ли. Я же стану бывать дома не реже, чем прежде. Вот что, малыш, давай-ка заказывай. И побалуй себя — сегодня я при деньгах.

Она не заставила себя упрашивать. Они заказали полбутылки «Шатонеф дю пап».

— Целую не надо,— сказала Мейзи.— Не забудь, я за рулем.

Все было как-то необычно, по-семейному. Хотя Тоби снова желал ее, он решил, что можно и подождать; и потом, в следующий раз он рисковать не станет. Ему вспомнились Боб и Рита, и мысль эта его растревожила.

С вином они покончили быстро, и он заказал еще полбутылки.

— Выпей рюмочку,— предложил он Мейзи,— а я допью остальное. Мне от радости хочется плясать.

Подали кофе, и только тогда она заговорила о том, что занимало ее больше всего.

— Я все думала-думала...— начала она. Но и так было ясно, что передумала она за это время немало.— По карману ли нам провести неделю в Париже? Я знаю очень дешевый, но очень симпатичный отель на Левом берегу — на рю дез-Эколь. Там, конечно, не шикарно, милый, но обойдется это нам в сущие пустяки.

Он ответил, что, как ни соблазнительно ее предложение, ему это не по средствам.

— Прошу тебя, ну прошу, позволь мне заплатить за эту поездку,— сказала она взволнованно, умоляюще и накрыла его руки своими.— Мы просто отпразднуем наше окончание еще раз. Ну, прошу тебя, давай съездим во Францию.

Но Тоби сказал, что платить за себя не позволит. Она и так уже столько сделала для его матери.

Во всем, что касалось денег, он был крайне щепетилен. В автобусе всегда платил за проезд или же оставлял монетку сидящему рядом пассажиру. И был твердо убежден, что принять деньги от другого — значит обречь себя на духовную зависимость.

— Неужели ты сделаешь такую глупость, заупрямишься из-за каких-то нескольких фунтов...

— Можно мне подумать?

— Только не очень долго! Мне так хочется поехать! Для тебя что-то значат мои желания?

— Сама знаешь, что да. И все-таки...

Даже теперь он не хотел связывать себя окончательно, противился этому изо всех сил. А поехать ему хотелось, и еще как! Посидеть с нею на террасах кафе. Посмотреть собор Парижской богоматери, Сент-Шапель, Лувр, побродить по Елисейским полям. Побывать в музее «Карнавалэ» — ведь это может ему пригодиться для работы — и на площади Бастилии.

Она без устали говорила о Париже, ткала золотистую, сверкающую паутину, заманивая его ожидающими их там удовольствиями, но вскоре он остановил ее:

— Давай пока отложим эту затею, а? Обещаю тебе: я постараюсь сделать все, чтобы ее осуществить.

Мейзи внезапно погрустнела:

— Ох, жизнь, жизнь, жизнь... Пусть мы погубим себя, какое это

имеет значение,— лишь бы на нашу долю выпало хоть немножко счастья!

— Что-то это не похоже на тебя, малыш, такие вот рассуждения.

— А во мне много такого, что вовсе на меня не похоже. Ты еще в этом убедишься.

Впрочем, печаль ее оказалась мимолетной: вскоре глаза ее снова засияли. Она живет радостью, подумал Тоби, и чувство вины, словно холодная струйка, внезапно пробившаяся из таинственного подземного источника, на мгновение заставило его съежиться.

Они вышли из отеля, Мейзи ступила на мостовую первая, и ее чуть не сшибла мчавшаяся на большой скорости машина. Она отпрянула, Тоби подхватил ее и прижал к себе; ее била дрожь.

— Еще бы немного — и конец,— выдохнула она.— Дай я прислонюсь к стене. Это скоро пройдет.

— Пойдем обратно в ресторан.— Он тоже был потрясен.— Выпьем коньяку.

— Не надо. Как бы тебе не упустить последний поезд.

— Не беда. Я должен знать точно, что ты в состоянии сесть за руль.

Он чувствовал, как неистово колотится у нее сердце. Она стучала зубами.

— Машину я могу вести в любом состоянии. Что-что, а это смогу всегда.

Соскользнув на тротуар, она села, поджала под себя ноги и опустила голову. Прохожие поглядывали на них с любопытством — очевидно, принимали за пьяную. Тоби растерянно стоял рядом.

— Я мог бы взять тебе на ночь номер в этом отеле. А маме позвонишь.

— У меня сейчас все пройдет, извини, что устроила тебе это жуткое зрелище.

Он понял, до чего это было бы страшно — потерять ее, да еще таким ужасным образом.

— Пойдем в отель,— снова сказал он. Но она уже пришла в себя и рывком поднялась на ноги.

— Я в полном порядке. И ты еще успеешь на поезд.

Он крепко обнял ее и поцеловал. Дрожь разом унялась. Когда он подвел Мейзи к машине, то убедился, что самый вид автомобиля действует на нее успокоительно. Да, что-что, а вести машину она сумеет. Он еле-еле поспел на последний поезд.

...На заре Тоби приснился страшный сон: Мейзи, изуродованная, искромсанная на куски, лежит в придорожной канаве, большая шляпа упала с ее головы и укатилась, волосы пропитаны кровью. Лица нет. Кругом — ни души, отель погружен во мрак.

Очнувшись от кошмара, он вылез было из постели, решив тут же ей позвонить; потом вспомнил, что у них в доме телефона нет. А если одеться и пойти в киоск? Но там же заперто. Постепенно все встало на свои места, но он взмок от ужаса и так и сидел на постели, очень прямой, напряженный, пока не потускнели живые впечатления сна. Больше ему вздремнуть не удалось.

Утром он отправился в киоск и оттуда позвонил в Хэддисдон. Трубку сняла Мейзи.

— Что случилось? — встревоженно спросила она.

— Ничего, просто хотел удостовериться, что ты доехала благополучно.

— Ну, разумеется, благополучно. А что со мной могло случиться?

— Ты ведь была совершенно разбита.

— А потом собрала себя и склеила. Я же тебе сказала, в машине я всегда обретаю форму. Милый, мы так славно провели время. Ну как, ты подумал насчет Парижа?

Тут он сказал ей о своем решении: может быть, в конце июля, если у нее нет никаких других планов.

Мейзи ответила, что других планов у нее нет и не будет. Аманда собирается в круиз вокруг греческих островов и хочет, чтобы она поехала с нею; но если она не согласится, мать проявит уступчивость.

— Она мне всегда уступает. Вот почему я чувствую себя перед ней в неоплатном долгу.

... В июне Рита родила девочку — в больнице на Милл-роуд. Сидя в уставленной цветами палате, она всем своим видом выражала неудовольствие.

— Мальчик — действительно нечто,— объявила она Тоби и Эйдриану, которые пришли ее навестить.— А это — так, ноль без палочки.

Оба друга постарались ничем не показать, какое удручающее впечатление произвели на них ее слова. А вот Боб был в совершенном восторге от дочери. Он взял у Риты малышку, держал ее так бережно и разглядывал так внимательно, словно ставил научный эксперимент.

— Если вдуматься — чудо, да и только. Вы посмотрите на ее ноготки и пальчики. Глаза у нее Ритины, а нос мой, храни ее господь. Нет, потрясающая девчушка, а?

Она и в самом деле была прелестна: и черный пушок на головке, и смотрящие в пространство темные глаза. Вошла сестра и забрала девочку — пора было кормить ее из бутылочки, у Риты молока не хватало.

— Мы хотим назвать ее Эстеллой,— объявил Боб. Эйдриан улыбнулся: недавно он уговорил Боба прочитать что-нибудь из художественной литературы и особенно рекомендовал ему «Большие ожидания».— Рита предлагала назвать ее Сэмантой, но тогда все станут звать ее просто «Сэмми», так и пойдет.

Когда Боб ушел, она заявила:

— Он испортит девчушку до мозга костей, а все на мою голову.— Спохватившись, она стала благодарить молодых людей за цветы: Тоби принес фиалки, а Эйдриан — белые розы. Рита взглянула на розы.— Откуда вы узнали, что я люблю именно белые?

— Просто угадал. Рита, а кто преподнес вам цикламен? Красота какая.

— Да это Боб. И знает ведь, что цветы в горшках у меня не живут. Нет, мне больше нравятся эти розы, но надо было вам подарить их какой-нибудь милой девушке.

— Что я и сделал.

— Ну, какое там. Я уже мамаша. Да, что ни говори, большая для них потеря!

— Для кого?

— Для девушек.

Всякий раз, как Рита начинала его поддразнивать, намекая на то, что он собирается дать обет безбрачия, Эйдриан мрачнел; вот и сейчас он нахмурился, но возразил ей очень мягко:

— Ни для кого это не потеря; просто я намерен прожить свою жизнь так, как считаю нужным.

— Ну, разве это жизнь? — И, отвернувшись от него, она словно в изнеможении откинулась на подушку.

— Прекрати, Рита,— сказал Тоби довольно резко, что, в общем-

то, было не очень ему свойственно.— Иначе Эйдриан больше сюда не придет.

— Ну что ж,— сказала Рита,— не стану вас задерживать. Я понимаю, не такое уж это большое удовольствие.

— И в самом деле, удовольствия мало,— сказал Тоби Эйдриану, когда они вышли из больницы.— Да и Бобу, видно, не уготованы особые радости.

— А знаешь, мне кажется, он справится со всем этим лучше, чем ты думаешь. Ведь он поглощен работой, а теперь еще и ребенком. Я уверен, он считает себя счастливым.

— Мало ли что человек считает...

Эйдриан улыбнулся и переменил тему.

— Ты с Мейзи давно виделся?

— Совсем недавно. Мы, возможно, скоро совершим с ней небольшое путешествие — впрочем, лишь после того, как будут улажены мамины дела. Я имею в виду ее новую выставку.

Когда же выставка наконец открылась, миссис Робертс объявила, что пробудет на ней не более получаса. Тоби страшно удивился, услышав от матери, что вернисаж в Кембридже был для нее непосильным напряжением.

— Но по тебе это совсем не было видно!

Мать улыбнулась едва заметно и погладила его руку.

Публики на открытие выставки явилось немало, а вот отзывы в печати были довольно сдержанные. Но ведь нельзя и ожидать, что в Лондоне все пройдет так же успешно, как в Кембридже, внушал Тоби матери; впрочем, миссис Робертс, казалось, не слишком расстроена.

Мейзи и Аманда тоже приехали, и миссис Робертс отважно пригласила их домой поужинать, но по ее виду ясно было, что она рассчитывает на отказ, и потому они тотчас же нашли какие-то отговорки.

Продать удалось всего четыре картины.

— Стало быть, конец моей славе, она промелькнула как метеор,— сказала миссис Робертс сыну, гордясь тем, что употребила столь мудреное выражение.

— А ты не спеши с выводами; поживем — увидим. Это же первые дни, судить пока рановато.

И в самом деле, через неделю было продано еще несколько картин, и в одной из воскресных газет появилась статья о выставке. На этот раз миссис Робертс согласилась сфотографироваться на фоне киоска, вместе с мужем:

— Пусть и тебе перепадет малая толика славы, уж какая бы она там ни была.

Из галереи пересылали письма со всякого рода вопросами о ней. Словом, то был не провал, как она предполагала, а успех, хоть и скромный. И он вполне ее удовлетворил.

13

В то утро, когда они должны были выехать в Париж, Тоби получил от Клэр письмо — тон его был оживленный, товарищеский. Не хочет ли он в июле, в любое удобное для него время, приехать на денек в Глемсфорд? Пусть только даст ей знать. Письмо было подписано: «Ваша Клэр». О Мейзи — ни слова; впрочем, может быть, она написала ей отдельно? Он внимательно перечел письмо и спрятал в ящик. Подождет до его возвращения.

С Мейзи они встретились на вокзале Виктории. Неожиданно для себя самого Тоби почувствовал волнение, а ведь он предпочитал

сохранять душевное равновесие и волноваться не любил. Мейзи взяла на себя все хлопоты с билетами, заказала два номера в отеле. И хотя они договорились, что дорожные расходы и отель каждый оплачивает сам, он настоял на том, что в ресторанах и кафе будет платить за них обоих. Для этой цели Тоби занял у матери немного денег, в полной уверенности, что сможет их отдать. (Между Кембриджским и Лондонским университетами была достигнута договоренность, что он будет заниматься под руководством профессора Тиллера, и до отъезда он успел несколько раз с ним побеседовать.)

Когда пересекали Ла-Манш, качка была изрядная, и Мейзи пошла в каюту прилечь. А Тоби заранее знал, что морской болезни у него не будет, и не ошибся. Он выпил в баре коньяку (не забыв положить в чемодан непочатую бутылку и десять пачек сигарет — все это можно было провезти беспошлинно), а затем поднялся на палубу и с наслаждением подставил лицо ветру и соленым брызгам.

Когда они уже подходили к Кале, появилась Мейзи, лицо у нее было зеленоватое.

— Что, малыш, очень худо было?

— Нет, спасибо, ничего страшного. Как только мы ступим на землю, я сразу приду в себя.

В поезде на Париж они заказали очень дорогой, но поистине восхитительный обед, а потом Мейзи уснула. Тоби прихватил с собой несколько книг, но ему не читалось: он не мог глаз оторвать от окна. Мимо мелькали дома пастельных тонов, работающие на полях люди в выцинявшей синей одежде разнообразных оттенков. Нет, надо непременно почитать Пруста — вот тому, как он слышал от людей знающих, было что порассказать о путешествиях.

...Они ехали на такси по Парижу, и волнение Тоби росло: обшарпанные окраины с серыми громадами домов остались позади, и чем дальше, тем прекраснее и величественней становился город. Наконец они очутились на бульваре Монпарнас.

Отель был убогий, узкий по фасаду. Patronne[1] встретила Мейзи радостным возгласом:

— Вы у нас такая редкая гостья, мадемуазель!

— Как поживаете, мадам? Как Жорж и Жан-Клод? — У Мейзи была хорошая помять на имена.

Молодых людей проводили в отведенные им номера на пятом этаже; лифт ходил только до четвертого. Когда они остались одни, Мейзи бросилась ему на шею. Она снова порозовела и вся светилась радостью. Он мог бы взять ее прямо сейчас, но решил не торопиться. Предложил распаковать вещи и пойти в кафе.

— В «Дом»,— сказала Мейзи,— я всегда туда хожу.

И вот они вышли в чарующую парижскую ночь, двинулись к carrefour[2], где сверкали ослепительные огни кафе. Особого голода они не испытывали и потому заказали только croque-monsieur[3] и бутылку вина.

— Ну и как? — спросила Мейзи с вызовом в голосе.— Стоило сюда ехать? Хорошо тебе?

— Нет слов, малыш. А будет еще лучше.

Ни о каком приглашении от Клэр Мейзи не упоминала — стало быть, ее в Глемсфорд не звали.

В ту ночь, возвратившись к себе в номер от Мейзи, он с благодарностью думал о том, как радостно, даже весело отвечала она на его ласки. От этого на душе у него стало легко: если б она лежала

---

[1] Хозяйка *(фрáнц.)*.

[2] Перекресток *(франц.)*.

[3] Поджаренный хлеб с натертым сыром и ветчиной *(франц.)*.

в его объятиях мрачная, серьезная, это было бы просто невыносимо. Ведь именно так — радостно, весело — склонен принимать жизнь он сам. Чувство глубокой нежности к Мейзи захлестнуло его. Лежа в тишине, он думал о том, как хороша она была после близости; влажные вьющиеся волосы, полная раскованность во всем ее существе. Нет, он не жалел, что приехал в Париж.

Всю неделю лил дождь, но программу свою они выполнили. Ходили по музеям, по историческим местам.

Как-то вечером они решили прокатиться по Сене на bateau mouche [1]. Дождь барабанил по палубе, сек реку, и в свете огней она переливалась множеством бриллиантов. Мимо великолепным остроносым кораблем проплыл остров Сен-Луи. Потом собор Парижской богоматери в виде гигантской буквы «Н». Они получили большое удовольствие от этой поездки.

Когда пришло время возвращаться в Англию, обоим стало грустно; впрочем, печалиться, хотя бы и недолго, было не в характере Мейзи. Она этого просто не умела.

На вокзале Виктории они расстались.

— Все было чудесно,— сказала она.— Ты тоже так считаешь?

— Конечно. Naturellement [2]. Видишь, какие успехи в языке я сделал под твоим руководством!

— Но ты говоришь по-французски куда лучше меня,— возразила она.

— Я тебе позвоню.

— Непременно. И спасибо за то, что так чудесно меня кормил.

— Ах ты поросенок,— сказал Тоби. К этому времени в кармане у него оставалось всего два шиллинга.

Вернувшись домой, он обстоятельно рассказал миссис Робертс (поглядывавшей на него с подозрением) об их жизни в Париже, предусмотрительно опустив кое-какие подробности, а затем извлек из ящика письмо Клэр и ответил на него. Да, он с удовольствием приедет в Глемсфорд, но пока не может сообщить точно, какого числа. В общем, будет поддерживать с ней контакт. В конце письма он поставил: «Неизменно ваш, Тоби». Выводя на конверте «достопочтенной Клэр Фоллз», он почувствовал, что это доставляет ему удовольствие, и слегка устыдился.

— Ну, как наш путешественник? — воскликнул мистер Робертс. (В вечер приезда сына он с ним не виделся.)— И как распутный *Пари?*

— Не намного распутнее Лондона.

— Бьюсь об заклад, ты там завертелся в вихре удовольствий. Так это говорится, да?

— Именно, именно. Впрочем, мы вертелись в этом вихре довольно мало. Посидели кое-где — не в ночных клубах, конечно. Просто в кафе.

— Эх, мне бы когда-нибудь поездить,— мечтательно проговорил мистер Робертс.— А вот мама может теперь путешествовать, если захочет. У нее набралась кругленькая сумма. Владелец галереи охотится за каждой ее картиной.

— Чепуха, Стэн,— возразила миссис Робертс.— Сам знаешь, никуда я ехать не хочу. Ни к чему мне это. Мне одно надо — сидеть спокойно и писать.

— А когда к нам опять приедет Мейзи? — спросил мистер Робертс.— Нравится она мне, славная девушка.

— Скоро я ее приглашу.

---

[1] Речной трамвай *(франц.)*.

[2] Конечно *(франц.)*.

И Тоби в самом деле пригласил Мейзи; она приехала на весь день. Хотя ей, вероятно, казалось, что теперь их отношения упрочились, она никак этого не подчеркивала: садилась на некотором расстоянии от него, следила за своим лицом, чтобы ничем не выдать их близости. Да, отец прав: очень славная девушка. Jeune fille bien élevée [1].

— Мне так хочется, чтобы вы приехали в Хэддисдон,— сказала Мейзи, обращаясь к миссис Робертс.— Мама очень обрадуется. Вы будете одной из львиц ее салона.

— Ну, я из тех львиц, что безвылазно сидят в своем логове. Но все-таки на днях, может быть, и выберусь.

— Я буду к вам приставать, пока вы не приедете.

— Но там же будут все незнакомые мне люди.

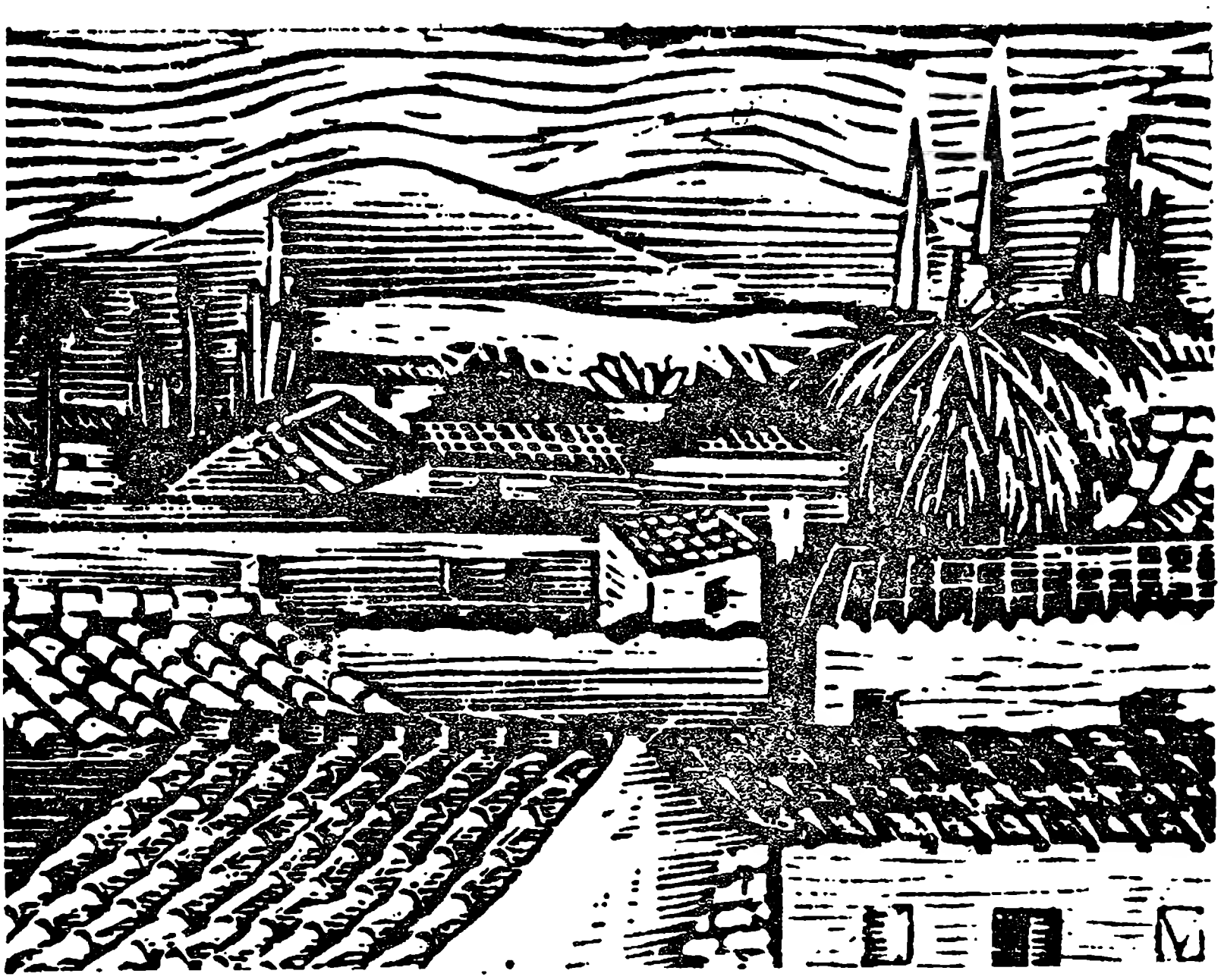
— Будь у меня ваш талант, миссис Робертс, я бы не пугалась ничего и никого.

— Ну, все люди устроены по-разному.

В то лето он не искал встреч с Клэр. Вообще-то можно бы и встретиться, ничего здесь такого нет; но что-то в нем (как он сам полагал — нравственные устои) восставало против этого: ему не хотелось огорчать Мейзи.

[1] Очень воспитанная девушка *(франц.)*.

(Окончание следует)



ЛЕСБИА ВЕНТ ДЮМУА. Гравюра на дереве

КЭТРИН ЭНН ПОРТЕР

Бледный конь, бледный всадник

НОВЕЛЛА

Перевод с английского Н. ВОЛЖИНОЙ

Во сне она знала, что лежит на своей кровати, но не на той, куда легла несколько часов назад, и комната была другая, хотя эта ей почему-то помнилась. Сердце у нее камнем навалилось снаружи на грудь, пульс то редел, то исчезал вовсе, и она знала, что должно случиться что-то необычное, вот даже сейчас, когда легкий ветер раннего утра прохладой веял сквозь оконную решетку, полосы света казались темно-голубыми и весь дом похрапывал во сне.

Надо вставать и уходить, пока в доме стоит тишина. А куда девались мои вещи? Вещи здесь самовольничают и прячутся, где им угодно. Дневной свет с размаху ударит по крыше и поднимет всех на ноги; улыбчивые лица вокруг, все будут допытываться у нее: «Ты куда собралась? Что ты делаешь? О чем думаешь? Как ты себя чувствуешь? Почему ты так говоришь? Что это значит? Довольно спать». Где мои сапоги и какую мне взять лошадь? Фидлера, или Грейли, или Мисс Люси — длинномордую, с дико косящим глазом? Как я любила этот дом по утрам, пока у нас не все еще встали и не перепутались, точно беспорядочно заброшенные лески. Слишком много людей родилось здесь, слишком много здесь плакали, слишком много смеялись, слишком много злились и терзали друг друга. «Слишком многие уже умерли на этой кровати, и куда такая уйма костей, оставшихся от предков на каждой каминной доске, и чертова пропасть всяких салфеточек на здешней мебели,— во весь голос сказала она,— а сколько тут накопилось всяких россказней о былом и не дают этой пылище осесть и полежать спокойно».

А тот незнакомец? Где он — поджарый, с прозеленью незнакомец, который, я помню, постоянно околачивался у нас, тот, кого привечали и мой дед, и двоюродная бабушка, и моя троюродная или пятиюродная сестра, и мой дряхлый пес, и серебристый котенок? Почему они так привязались к нему? И где они сейчас? А ведь вчера вечером я видела, как он прошел мимо окна. Кроме них что у меня было в жизни? Ничего. Своего у меня ничего нет, ничего, но этого достаточно, и это все прекрасно, и это все мое. А шкурка, в которой я разгуливаю, моя собственная или занятая у кого-то, чтобы пощадить мою

скромность? Какую же лошадь мне взять в это путешествие, куда я не собираюсь отправляться,— Грейли, или Мисс Люси, или Фидлера, который перепрыгивает канавы в темноте и хорошо держит трензель между зубами? Раннее утро для меня лучше всего, потому что деревья — это деревья, каждое само по себе, камни — это камни, каждый лежит в тени, а тень — от травы, и никаких обманных очертаний, никаких домыслов, дорога все еще спит под непотревоженным покровом росы. Возьму Грейли, потому что он не боится мостов.

«Пошли, Грейли,— сказала она, беря его под уздцы,— мы с тобой обгоним и Смерть и Дьявола. А вы на это не годитесь»,— обратилась она к другим лошадям, которые стояли под седлом у ворот конюшни, и среди них конь незнакомца, тоже серый, с облезлым носом и ушами. Незнакомец вскочил в седло, наклонился к ней всем корпусом и устремил на нее холодный взгляд, полный пустой, бездумной злобы, которая никому не угрожает и может терпеливо ждать своего часа. Она круто повернула Грейли и пустила его рысью. Он перескочил через низкую ограду из розовых кустов, через узкую канавку за ней, и пыль проулка лениво поднялась следом за дробью его копыт. Незнакомец легко, свободно скакал рядом с ней, держа ненатянутые поводья в сгибе пальцев — прямой, элегантный, в темном, поношенном одеянии, которое трепыхалось у него на костяке; на бледном лице застыла недобрая, судорожная улыбка; он не смотрел на ту, что ехала рядом с ним. «Да ведь я его когда-то видела, знаю я этого всадника, надо только вспомнить, где мы с ним встречались. Какой же он незнакомец!»

Она остановила Грейли, привстала на стременах и крикнула: «Не поеду я с тобой. Проезжай мимо!» Не задержавшись ни на минуту, не повернув к ней головы, незнакомец проехал дальше. Она чувствовала шенкелями, как Грейли носит ребрами, у нее у самой ребра тоже ходили сильно. «Откуда у меня такая усталость? Когда я наконец проснусь? Но сначала нужно отзеваться как следует,— сказала она, открывая глаза и потягиваясь всем телом.— И плеснуть холодной воды в лицо, потому что я опять разговаривала во сне, сама себя слышала. Разговаривать разговаривала, но о чем?»

Медленно, нехотя Миранда дюйм за дюймом извлекала себя из провала сна, ждала в оцепенении, когда жизнь начнется снова. В мозгу у нее возникло одно-единственное слово, бьющий тревогу набат, который напомнит ей на весь божий день то, что она блаженно забывала во сне, но только во сне. Война, сказал гонг, и она тряхнула головой. Лениво болтая ногами со спадающими шлепанцами, она вспомнила, что на стол к ней в редакции садятся все, кому не лень. Каждый раз, как ни придешь, кто-нибудь да сидит на столе, а не на специально поставленном рядом стуле. Сидит кто-нибудь, болтает ногами, глаза бегают по сторонам. Сидит, погруженный в мысли о своих таких важных делах, а сам каждую минуту готов ввязаться в любой разговор. «Почему они не садятся на стул? Вывесить мне, что ли, объявление на нем: «Ради создателя, садитесь вот сюда!»

Но не то что вывешивать такое объявление, она даже не хмурилась при виде своих гостей и обычно не замечала их до тех пор, пока они сами не старались попасться ей на глаза, преодолевая ее старания никого не замечать. «В субботу,— думала она, уютно лежа в ванне с горячей водой,— получу жалованье. Это как всегда. Во всяком случае, надеюсь, что как всегда». Ее мысли бродили в тумане непрестанных попыток справиться с осложнениями каждодневной жизни, как-то увязать их, свести концы с концами, потому что возможность выжить, уцелеть, как теперь стало ясно, зависит от цепочки всяческих уловок. «С меня причитается... сейчас посмотрим... жаль, нет бу-

маги и карандаша... Так вот, допустим, если я даже внесу сейчас пять долларов на заем свободы, то дальше не вытяну. А может, ничего, вытяну? Жалованье восемнадцать долларов в неделю. Столько-то за жилье, столько-то на еду, и надо бы еще купить кое-что, долларов так на пять. Останется двадцать семь центов. Ну что ж, пожалуй, вытяну. Нет, успокаиваться рано. Вот я и не успокаиваюсь и ломаю себе голову. А как дальше? Двадцать семь центов. Не так уж и плохо. Чистый доход. И вдруг мне прибавят жалованье, повысят до двадцати, тогда у меня будет оставаться два доллара двадцать семь центов. Но до двадцати прибавлять никто не собирается. Скорее всего выгонят, если я не куплю займа свободы. Да нет, вряд ли. Надо спросить Билла. (Билл заведовал отделом «Городские новости».) Может быть, эта угроза просто шантаж? По-моему, даже члену комиссии Лоска [1] такое даром не пройдет».

Вчера с двух сторон от ее машинки болтались две пары ног, туго втиснутых в тесные брючины из темного, видимо, дорогого материала. Она еще издали заметила, что один из этих типов староватый, другой помоложе и у обоих какая-то несвежая значительность в облике, как бы взятая напрокат в одном и том же заведении. Оба они были на вид такие сытые, и тот, что помоложе, щеголял маленькими квадратными усиками. Как бы там ни было, но дело, с которым они пришли, явно не предвещало ничего хорошего. Миранда кивнула им, подвинула себе стул и, не снимая ни шапочки, ни перчаток, точно в спешке, протянула руку к пачке писем и к стопке бумаг, отпечатанных на машинке. Те двое не двинулись с места, шляп тоже не сняли. Наконец она сказала им:

— С добрым утром,— и спросила, не ее ли они ждут.

Мужчины сползли со стола, оставив на месте несколько смятых страниц, старший осведомился, почему она не покупает облигаций займа свободы. Миранда пригляделась к нему, и впечатление от этого человека осталось у нее неважное. Одутловатое лицо, толстые губы, глазки маленькие, тусклые, и Миранда удивилась, отчего это все, кого отобрали для работы на войну дома, почти все такого пошиба. Он может быть кем угодно, подумала она: антрепренером гастролирующих эстрадников, учредителем дутой нефтяной компании, бывшим содержателем пивной, рекламирующим новое кабаре, продавцом автомобилей — любым деятелем любого сомнительного предприятия. Но теперь он стал патриотом из патриотов, теперь он работает на благо страны.

— Послушайте,— спросил он ее,— а вам известно, что сейчас идет война?

Неужели ему нужен ответ на такой вопрос? «Спокойно! — скомандовала себе Миранда.— Этого следовало ожидать. Рано или поздно это случается. Не теряйся». Человек погрозил ей пальцем.

— Ну, так как, известно или неизвестно? — повторил он, точно добиваясь ответа у заупрямившегося ребенка.

— Да, война! — подхватила Миранда тоном выше и чуть ли не улыбнулась ему. Это уже у всех вошло в привычку, это получалось как-то само собой, и когда приходилось слышать или произносить такие слова, губы раздвигались в мистической, возвышенной улыбке. C'est la guerre [2]. Так даже лучше, независимо от произношения, и каждый, каждый раз надо было пожимать плечами.

---

[1] Комиссия по борьбе с коммунистами и левыми социалистами. *(Здесь и далее — прим. перев.)*

[2] Это война *(франц.)*.

— Да-с,— ядовито проговорил тот, что помоложе,— война.— Испуганная его тоном, Миранда встретилась с ним глазами; взгляд у него был поистине безжалостный, поистине пронизывал холодом, такой можно встретить только в безлюдном переулке позади наведенного на тебя пистолета. Выражение этих глаз на минуту придало осмысленность его лицу, в общем-то совершенно неприметному. Такие лица бывают у людей, занятых делами, для них посторонними.— Идет война, и некоторые люди покупают облигации займа свободы, а других это будто и не касается,— сказал он.— Вот о чем речь.

Миранда нервно сдвинула брови — верный признак пробуждающегося страха.

— Вы их продаете? — спросила она, снимая чехол с машинки и тут же опять надевая его.

— Нет, не продаем,— сказал старший.— А просто интересуемся, почему вы до сих пор не купили.— Тон у него был настойчивый, зловещий.

Миранда начала было объяснять, что денег у нее нет и где их взять, она не знает, но старший перебил ее:

— Можете не оправдываться. Немцы вторглись в несчастную Бельгию, и никакие оправдания вам не помогут, как вы, наверно, сами понимаете.

— Когда наши солдаты сражаются и умирают в лесах Белло,— сказал тот, что помоложе,— каждый может внести пятьдесят долларов и помочь победе над бошами.

Миранда быстро заговорила:

— Я получаю восемнадцать долларов в неделю, и больше у меня нет ни цента. Я просто ничего не могу купить.

— Можете выплачивать по пять долларов в неделю,— сказал старший. Они будто каркали, перебрасываясь словами у нее над головой.— Как выплачивают некоторые и у вас в редакции, и в других местах.

Миранда замолчала, отчаявшись, и подумала: «А если бы я не струсила и сказала бы все, что думаю на самом деле! Если бы сказала им: пропадите вы пропадом с вашей грязной войной! Спросила бы вот этого молодчика: а собственно, вы-то что? Почему вы сами не гниете в лесах Белло? Вас бы туда...»

Она стала прибирать письма и бумаги на столе, но пальцы у нее плохо слушались. Тот, старший, продолжал бубнить свою заученную речь. Сейчас, конечно, всем приходится нелегко. Все, естественно, терпят лишения. Каждый должен внести свою лепту. Но если уж на то пошло, так заем свободы — это самое надежное помещение капитала. Все равно что держать деньги в банке. Да, да! Правительство гарантирует их сохранность, а куда же лучше помещать свои сбережения?

— Я с вами совершенно согласна,— сказала Миранда.— Но у меня нет сбережений, и помещать мне нечего.

Конечно, гнул он свое, пятьдесят долларов ничего не решат. Но с ее стороны это просто будет доказательством веры в общее дело. Это докажет, что она лояльная американка, исполнившая свой долг. Надежнее ничего быть не может. Да будь у него миллион долларов, он бы с радостью поместил все до последнего цента в этот заем...

— Вы ничего не потеряете,— проговорил он чуть ли не отеческим тоном.— А не вложите, тогда потери будут велики. Подумайте как следует. В вашей редакции вы единственная не подписались. Во всех других учреждениях у вас в городе подписка стопроцентная. В «Дейли кларион» никого не пришлось уговаривать.

— Там платят лучше,— сказала Миранда.— На следующей неделе, если я смогу. Не сейчас, на следующей неделе.

— Ну, смотрите,— сказал тот, что помоложе.— Это дело нешуточное.

Они проследовали дальше, пройдя мимо редактора отдела «Светская жизнь», мимо Билла, заведующего отделом «Городские новости», мимо главного редактора, старика Гиббонса, который просиживал у себя за длинным столом ночи напролет, то и дело покрикивая: «Джорш! Джорш!» — и тогда в редакцию влетал посыльный из типографии.

«Что это вы как пишете: «он одел пальто», когда надо «надел»,— поучал Миранду старик Гиббонс.— И не «благодаря его», а «благодаря ему». И пока я сижу за этим столом, упаси вас боже ляпать «пара дней». «Пара» относится только к парным предметам. Ну вот, получили уроки и можете идти». На верхней площадке лестницы ее мучители, исполненные чувства собственного достоинства и утоленного тщеславия, остановились, закурили сигары и плотнее надвинули шляпы на лоб.

Миранда повернулась на бок в ласкающем тепле воды, и ей захотелось заснуть в ванне и проснуться, только когда опять настанет пора спать. В голове у нее тупо тлела боль, почувствовав ее сейчас, она вспомнила, что с головной болью и проснулась, а началось это, собственно, еще со вчерашнего вечера. Одеваясь, она старалась проследить коварный путь своей головной боли и решила, что начало ей, скорее всего, положила война. Да! Уж от войны-то заболит, и всегда болела, только не так сильно. Вчера, когда комитетские деятели ушли, она спустилась в раздевалку и обнаружила там на грани истерики Мэри Гордон из отдела «Светская жизнь». Примостившись на самом краешке дряхлого плетеного диванчика с выступами ребер посередине, Мэри вязала что-то розовое и, то и дело опуская вязанье на колени, хваталась обеими руками за голову и, раскачиваясь всем телом, недоуменно, вопрошающе восклицала: «Боже ты мой!» Ее газетная колонка называлась «О чем толкуют в нашем Горди», и, конечно, в редакции ей дали прозвище Горди. У нее было много общего с Мирандой, и отношения у них наладились дружеские. Обе они когда-то работали репортерами, и им вдвоем поручили собрать материал о скандальном побеге одной парочки, так и не увенчавшемся женитьбой. Настигнутая девица с опухшим лицом сидела у постели матери, которая испускала непрерывные стоны из-под горы наваленных на нее одеял. И мать и дочь страдальчески обливались слезами и умоляли молоденьких репортерш умолчать о всем самом худшем в этой истории. О всем самом худшем Миранда и Горди умолчали, а на другой день соперничающая газета опубликовала все как есть. Миранда и Горди вместе понесли наказание и были низведены на сугубо женскую работу: одну сделали театральным рецензентом, другой дали колонку в «Светской жизни». Вот это и объединило их; они не представляли себе, можно ли тут было поступить иначе, и знали, что в редакции их считали дурочками — девушки, мол, симпатичные, но с придурью. При виде Миранды Горди дала волю своему гневу:

— Я не могу! Откуда мне взять такие деньги? Я так им и заявила: не могу, не могу и не могу! Но они и слушать не захотели!

Миранда сказала:

— А у меня были подозрения, что не одна я такая в нашей редакции. Другие тоже не могут выплачивать по пять долларов в неделю. И я им тоже так и заявила: не могу, и все тут.

— Боже ты мой! — опять возопила Горди.— Он говорил, что меня могут уволить с работы...

— Надо спросить Билла,— сказала Миранда.— Мне не верится, что Билл пойдет на это.

— А что Билл может? — сказала Горди.— На него нажмут, и ему придется на все пойти. Как по-твоему, нас могут посадить в тюрьму?

— Кто их знает,— сказала Миранда.— А если и посадят, то мы с тобой не соскучимся.— Она села рядом с Горди и тоже подперла голову руками.— Для какого солдатика ты это вяжешь? Цвет веселенький, ты его подбодришь.

— Черта с два,— сказала Горди, снова заработав спицами.— Я себе вяжу. И все. И точка.

— Да,— сказала Миранда.— Мы с тобой не соскучимся и отоспимся вволю.— Она ополоснула лицо, заново напудрилась, подкрасила губы и, вынув из кармана пару свежих серых перчаток, отправилась на встречу с группой молоденьких женщин, которые после танцевальных вечеров в клубах, утренних партий в бридж, благотворительных базаров и дежурств в рабочих пунктах Красного Креста упивались добрыми делами. Они устраивали танцы с чаепитиями, собирали пожертвования, а на полученные деньги накупали горы конфет, фруктов, сигарет и журналов для солдат в лазаретах. Нагрузившись этой добычей, молоденькие деятельницы с подмазанными физиономиями сейчас весело катили в мощных машинах, задавшись целью развлечь тех отважных солдатиков, которые, можно сказать, уже пали, защищая свою родину. Как им, наверно, тяжело, нашим дорогим мальчикам, что их так подкосило, когда все они рвутся по ту сторону океана, торопясь поскорее попасть в окопы! И знаете, среди них есть такие душки, просто диву даешься! Я и не подозревала, что у нас в стране столько красивых мужчин. Говорю: Боже мой! Откуда такие берутся? Да, действительно, милочка, вопрос вполне уместный. Кто их знает, откуда они берутся? Да, вы совершенно правы, и я так считаю: мы должны делать все, чтобы ублажать их, но пускаться с ними в разговоры — упаси боже! Тут я провожу четкую линию. Я говорила устроительницам этих балов для военнослужащих: танцевать я буду с любым болваном, который меня пригласит, но разговаривать с ним, какой бы он ни был герой, не намерена. И вот сотни миль с ними проплясала, не раскрывая рта, только говорила: «Пожалуйста, держите свои колени при себе». Танцульки, слава богу, больше не устраивают. Да солдаты и сами перестали к нам ходить. Но знаете, говорят, многие добровольцы из очень хороших семей. Фамилии я запоминаю плохо, а те, которые запомнила, мне что-то не приходилось раньше слышать, так что не знаю... Но если они действительно из хороших семей, это было бы заметно, ведь правда? Понимаете, воспитанный человек не станет оттаптывать вам ноги. Хотя бы на это надеешься. А мне на каждом таком балу портили по паре новых сандалет. Вообще, по-моему, в такое время все эти развлечения отдают дурным вкусом. Надо нам надеть наши сестринские шапочки и носить их, пока война не кончится.

Прихватив корзинку и цветы, Миранда смешалась с толпой девиц, которые выскочили из машин и рассыпались по больничной палате, оглашая ее девичьим смехом. Этому смеху надлежало выражать непринужденное веселье, но в нем слышался намеренно мрачный призвук, рассчитанный на то, чтобы леденить кровь в жилах. Чувствуя мучительную неловкость от того, что приходится заниматься таким нелепым делом, Миранда быстро зашагала по узкому проходу между длинными рядами коек, поставленных чуть ли не впритык изножьями. Солдаты, специально отобранные для обозрения, лежали, натянув простыни под самый подбородок. Тяжелобольных тут не было. Но такие набеги всех тяготили и раздражали, хотя большин-

ству хотелось хоть чем-нибудь развлечься. Многих здесь украшали живописные повязки на руках или голове, а те, ранения у которых были не на виду, неизменно говорили: «ревматизм», отвечая какой-нибудь бестактной девице, забывшей, как ее всячески заклинали: не спрашивайте, куда их ранило. Те, что были попростодушнее, пообщительнее, посмеиваясь, подзывали к себе девушек, и их жесткие узкие койки скоро окружили. Держа в руках увядший букетик и корзинку с шоколадом и сигаретами, Миранда огляделась по сторонам и поймала на себе неприветливый, хмурый взгляд молодого человека, который лежал на спине с загипсованной правой ногой на вытяжке. Она остановилась у койки этого солдата, не сводя с него глаз, и он тоже смотрел на нее все с тем же враждебным выражением лица. Нет, не курю, благодарю вас, и к чертям собачьим всю эту канитель, ясно сказали его глаза, и будьте любезны убрать свой товар с моей койки. Потому что Миранда успела нагнуться и опустить корзинку и букет поближе к нему, чтобы он мог дотянуться до них, если захочет. А раз корзинка поставлена, не брать же ее обратно. И она быстро, с горящими щеками зашагала длинным проходом под нежаркое октябрьское солнце во дворе, где в грубо сколоченных, мрачных бараках кипела и плескалась бесцельная жизнь суетливо снующих взад и вперед серо-бурых букашек. Она обошла лазарет сбоку, остановилась у окна, ближайшего к тому месту, где стояла койка того солдата, и заглянула в палату, подсматривая за ним. Он лежал с закрытыми глазами печально, с горечью сведя брови. Она не могла определить, откуда он, из каких мест, кем он был «в жизни», как это у нее называлось. Лицо у него было молодое, черты резкие, простоватые, руки не как у рабочего, но и не холеные. Руки, лежавшие поверх одеяла, были хорошие, дельные, ладной формы. Она подумала, что ей всегда везет — попала именно на такого, нет чтобы на веселого голодного юнца, который был бы рад-радешенек ухватить что-нибудь повкуснее и немножко поболтать. Будто заворачиваешь за угол, погруженная в свои тяжелые мысли, и вдруг сталкиваешься лицом к лицу с таким же состоянием ума. «Вот тебе воочию твои мысли о вчерашних событиях,— проговорила она про себя.— Никогда в жизни сюда больше не приду, хватит с меня. Мерзкое занятие. Ну конечно! Кого же мне было выбрать, как не этого! — подумала она, забираясь на заднее сиденье машины, той же, что привезла ее сюда.— И поделом тебе. Пора себя знать».

Из лазарета вышла еще одна девушка, усталая, и села рядом с ней. Потом недоуменно проговорила после короткого молчания:

— Право, не знаю, кому все это нужно. Некоторые ничего не хотят от нас принимать. Не нравится мне это. А вам?

— Отвратительно,— сказала Миранда.

— Хотя ничего плохого тут нет,— спохватилась девушка.

— Да, верно,— тоже спохватившись, сказала Миранда.

Все это было вчера. И Миранда решила: хватит думать о вчерашнем, разве только о том часе после двенадцати, когда они с Адамом танцевали. Он непрестанно был с ней, и она вряд ли отдавала себе отчет, что думает именно о нем. Образ его более или менее отчетливо жил в ее мыслях, а иногда проступал на поверхности ее сознания как нечто самое приятное, единственно приятное, о чем она думала. Она стала разглядывать себя в зеркале, висевшем в простенке между окнами, и убедилась, что недомогание не только плод ее фантазии. Уже три дня ей все не по себе, и выражение лица у нее какое-то непривычное. Хочешь не хочешь, а эти пятьдесят долларов, наверно, придется раздобыть, не то как знать, что может случиться. Она вдоволь наслушалась рассказов о трагедиях, о возмутительных обвине-

ниях и невероятно суровой каре, которой подвергались те, кто совершал проступки, ненамного более серьезные, чем ее оплошность... чем ее отказ купить заем. «Да, вид у меня малопривлекательный: лицо воспаленное, блестит, и даже волосы будто решили расти в другую сторону. Надо с собой что-то сделать, нельзя же показываться Адаму в таком виде»,— подумала она, зная, что уже сейчас, в эту самую минуту он прислушивается, не повернется ли ее дверная ручка, а когда она выйдет, окажется якобы по чистой случайности в передней или на крыльце. Полуденное солнце бросало холодные, пологие тени в комнату, в которой, подумала она, я, кажется, живу, а день начинается плохо, хотя теперь они по той ли, по другой ли причине все такие. Как в полусне она спрыснула духами волосы, надела кротовую шапочку и кротовый жакет, которые служат ей уже вторую зиму, но все еще хорошие, их все еще приятно носить, и снова похвалила себя, что не пожалела заплатить за это страшно дорого. Носит их уже два года, и все еще с удовольствием, а вот теперь денег на такие покупки не нашлось бы. Может, все-таки удастся заплатить за этот заем? Ей пришлось нагнуться, чтобы нащупать дверной замок, и, отыскав его, она постояла минуту в нерешительности, с таким чувством, что забыла взять в комнате какую-то вещь, которая потом ей крайне понадобится.

Адам стоял в коридоре всего на шаг от своей двери; он круто повернулся, точно никак не ожидал увидеть ее.

— Добрый день! — сказал он.— А мне не надо возвращаться сегодня в лагерь. Вот везет, правда?

Миранда улыбнулась ему, улыбнулась весело, потому что ей всегда было радостно смотреть на него. Сегодня обмундирование на нем было новенькое, и весь он, начиная с волос и кончая башмаками, был оливкового цвета, золотисто-желтый, как песок, как только что убранное сено. Она снова заметила мельком, что при виде ее Адам сначала улыбается, а потом улыбка постепенно исчезает, взгляд становится задумчивый, напряженный, будто он читает при плохом освещении.

Они вышли из дому чудесным осенним днем и пошли по шуршащей под ногами яркой, узорчатой листве, поднимая лицо к щедрому, чистейшей синевы небу без единого облачка. На первом же углу остановились пропустить похороны; провожающие сидели в машине прямые, неподвижные, будто гордясь своим горем.

— Я, кажется, опаздываю,— сказала Миранда,— как всегда. Который час?

— Почти половина второго,— сказал он, преувеличенно резким взмахом руки отводя вверх рукав. Молодые солдаты все еще стеснялись носить ручные часы. Те, кого знала Миранда, были из южных и юго-восточных городов, далеких от Атлантического побережья, и все они считали, что с наручными часами ходят только маменькины сынки «Вот шлепну тебя по твоим часикам»,— жеманясь говорил какой-нибудь эстрадник своему партнеру, и эта реплика всегда вызывала смех и никогда не приедалась.

— По-моему, часы так и надо носить. Самое удобное,— сказала Миранда.— И нечего этого стесняться.

— Да я уже почти привык,— сказал Адам, он был родом из Техаса.— Нам сколько раз говорили, что военные косточки все их так носят. Вот они, ужасы войны,— сказал он.— Что же это мы, неужели пали духом? Кажется, так оно и есть.

Такие вот нехитрые разговоры были в то время в ходу.

— Да-да! На вас только посмотреть, и сразу это видно,— сказала Миранда.

Он был высокий, крепкий в плечах, узкий в талии и бедрах, застегнутый, затянутый, впряженный, влитый в пригнанную по фигуре тугую, как смирительная рубашка, форму, хотя сам материал был тонкий и мягкий. Обмундирование ему шил лучший портной, какого только удалось найти, признался он Миранде, когда она однажды сказала, что в новой форме вид у него прямо-таки сногсшибательный.

— Ее трудно на себя пригнать. Самое малое, что я могу сделать для моей возлюбленной родины, это не ходить бездомным оборванцем,— сказал он Миранде.

Ему было двадцать четыре года, он служил младшим лейтенантом инженерных войск, сейчас гулял в отпуске, потому что его часть ожидала скорой отправки за океан.

— Приехал составить завещание,— пояснил он,— и запастись зубными щетками и бритвенными лезвиями. И ведь привалило же мне такое счастье набрести на эту меблирашку,— сказал он ей.— Я будто знал, что вы здесь живете!

Прогуливаясь, шагая нога в ногу — его тяжелые, начищенные добротные башмаки твердо ступали рядом с ее черными замшевыми туфлями на тонкой подошве,— они старались как можно дольше оттягивать конец их совместной прогулки и не прерывать своего непритязательного разговора; слова скользили взад и вперед по узеньким канавкам, проложенным в тонком, поверхностном слое мозга, произносишь их и слышишь, как они сейчас же начинают спокойно позванивать, не мешая игре и зыби лучистого сияния того простого и милого чуда, что вот двое по имени Адам и Миранда, оба двадцатичетырехлетние, они живы и ходят по земле в одно и то же время. «Вы как, Миранда, есть настроение потанцевать?» И: «Потанцевать я всегда в настроении, Адам». Но впереди было еще много всяких дел, и вечер того дня, который закончится танцами, придет еще не скоро.

Сегодня утром, подумала Миранда, Адам и вправду похож на крепкое, спелое яблочко. Как-то в разговоре с ней он похвастался, что, если ему не изменяет память, у него никогда ничего не болело. Вместо того чтобы прийти в ужас от такого чудовища, она восхитилась его чудовищной исключительностью, что же касается ее, то ей пришлось испытать столько боли, что и говорить об этом не стоило, и она не заговорила. Проработав три года в утренней газете, она вообразила себя человеком зрелым и многоопытным, а сейчас скисла, но это, должно быть, только от переутомления, только потому, что она вела, как ей внушали дома, противоестественный образ жизни: ложилась под утро, питалась беспорядочно в захудалых ресторанчиках, пила всю ночь дрянной кофе и слишком много курила. Когда она рассказала об этом Адаму, он с минуту присматривался к ней, будто впервые ее увидел, потом сказал решительно и твердо: «А вам это нисколько не повредило. По-моему, вы очень красивая». И Миранда осталась в недоумении: «Может быть, он подумал, что я напрашивалась на комплименты?» Вообще-то выслушать комплимент было бы приятно, но только не сейчас. Адам тоже вел нездоровый образ жизни, во всяком случае, те десять дней, что прошли со дня их знакомства: не ложился спать до часу ночи, потому что водил ее ужинать, и курил тоже без конца, хотя если она не останавливала его, то пускался в объяснения, как сказывается куренье на легких.

— Впрочем,— говорил он,— не так уж это важно, когда уходишь на войну.

— Да,— говорила Миранда,— и совсем уж не важно, когда торчишь дома и вяжешь носки. Дайте мне сигарету, пожалуйста.— Они остановились на следующем углу под кленом с редкой листвой и только мельком взглянули на приближающуюся похоронную процес-

сию. Глаза у него были светло-карие с темно-золотыми точечками, волосы цвета соломенной копны, если сбросить с нее пожухлый верхний слой и добраться до свежей соломы. Он вынул портсигар из кармана и чиркнул серебряной зажигалкой, потом несколько раз чиркнул себе, и, закурив, они пошли дальше.

— Так и вижу вас за вязаньем носков,— сказал он.— Занятие как раз по вашим темпам. Ведь не умеете вы вязать.

— Я хуже делаю,— спокойно сказала она.— Пишу статейки и обучаю других молодых женщин вязать, скатывать бинты, обходиться без сахара и помогать стране выиграть войну.

— Ну-у! — сказал Адам, легко, по-мужски, отмахиваясь от такой проблемы.— Это не в счет. Работа есть работа.

— Не знаю,— сказала Миранда.— А как вы ухитрились продлить отпуск?

— Сами мне продлили,— сказал Адам.— Без всяких объяснений. Люди там мрут, как мухи. Странная какая-то болезнь. Просто косит людей.

— Настоящая моровая язва,— сказала Миранда.— Как в средневековье. Вы видели когда-нибудь, чтобы стольких хоронили?

— Никогда не видел. Ну, будем держаться мужественно и не дрейфить. Мне подарены еще четыре дня ни за что ни про что, и тут пусть хоть трава не расти. Как у нас вечер?

— Так же, как всегда,— сказала она.— Только не раньше половины второго. У меня сегодня особое задание, помимо обычных моих обязанностей.

— Ну и работа у вас! — сказал Адам.— Только и дела что бегать с одного дурацкого развлечения на другое, а потом писать об этом статейки.

— Да, развлечения такие, что хуже не бывает,— сказала Миранда. Они стояли, пропуская похоронную процессию, и на этот раз молча проводили ее глазами. Миранда сдвинула свою шапочку набок и сощурилась на солнце, чувствуя, как в голове у нее все плывет.— Будто там золотые рыбки...— сказала она Адаму,— и медленно так проплывают. Я еще не совсем проснулась, надо кофе выпить.

Они стояли в закусочной, облокотившись о стойку.

— Тыловым крысам не подают больше кофе со сливками,— сказала она.— И сахару только один кусок. А мне или два, или вовсе не надо. Вот какая я страдалица. Буду теперь жить на отварной капусте, носить всякую дерюгу и как следует подготовлюсь к очередному раунду. Следующая война меня врасплох не застанет.

— Да не будет больше войн! Вы что, газет не читаете? — спросил Адам.— На этот раз мы в пух и прах их разнесем, и они так во прахе и останутся. И точка, и конец всему делу.

— Да, так меня уверяют,— сказала Миранда, пробуя горьковатую теплую бурду, и скорчила унылую гримасу. Они обменялись одобрительными улыбками, почувствовали, что тон у них правильный, что разговоры о войне ведутся так, как надо. Самое главное, подумала Миранда, что обошлось без зубовного скрежета и волос на себе не рвали, а это беспокойно, к тому же не совсем прилично и вообще ни к чему не ведет.

— Помои,— резко сказал Адам, отодвигая от себя чашку.— И вот весь ваш завтрак?

— И этого через край,— сказала Миранда.

— А я в восемь утра съел гречишные оладьи с кленовым сиропом, порцию сосисок, два банана и выпил две чашки кофе, и все равно голодный, как сиротка, которого подкинули в мусорный ящик. Не

откажусь,— сказал Адам,— от бифштекса с жареной картошкой и еще...

— Хватит, хватит,— сказала Миранда.— Это какой-то бред. Заказывайте, но только когда меня здесь не будет.— Она соскользнула с высокой табуретки, чуть прислонилась к ней, взглянула на себя в круглое зеркальце, подкрасила губы и решила, что и силы небесные ей уже не помогут.— Плохо мое дело,— сказала она Адаму.— Самочувствие просто ужасное. Это не только от погоды, и война тут ни при чем.

— Погода прекрасная,— сказал Адам,— а война такая, что лучше и не бывает. Но когда это с вами случилось? Ведь вчера все было хорошо.

— Я не знаю,— медленно, слабым, тоненьким голоском проговорила Миранда. Как всегда, они остановились у открытой двери на захламленную лестницу, которая вела на мансарду, в помещение редакции. Миранда прислушалась к треску машинок наверху, к ровному грохоту печатных станков в нижнем этаже.— Как бы я хотела провести весь день на садовой скамейке в парке,— сказала она.— Или уехать в горы!

— Я тоже не прочь,— сказал он.— Так вот, завтра мы так и сделаем.

— Да. Завтра, если ничего не случится. Сбежать бы куда-нибудь,— сказала она ему.— Давайте сбежим?

— Это мне-то бежать? — сказал Адам.— Там, где я буду, бегать особенно не придется. Там больше на животе ползают среди развалин. Представляете себе? Колючая проволока и прочее тому подобное. Такое только раз в жизни человеку выпадает.— Он на минуту задумался, потом снова заговорил: — Сам я этого еще не нюхал, но, судя по рассказам, там черт-те что творится. Столько всего слышишь, точно побывал там и вернулся восвояси. Вот так изучишь по фотографиям какое-нибудь место, а потом приедешь туда и будто ничего не видишь. Мне кажется, я всю жизнь служу в армии.

А на самом деле всего шесть месяцев. Вечность. Он был такой ясный, свежий, и у него никогда ничего не болело. Она видела их: побывав там, они возвращались назад совсем не такими, какими были раньше.

— Герой, вернувшийся с войны,— сказала она.— Хорошо, если бы так и было!

— Когда нас обучали в лагере штыковому бою,— сказал Адам,— я у стольких мешков с песком и мешков с сеном выпустил кишки наружу, что просто не сосчитать. Нам орали: «Бей этого боша, бей его, коли, пока он тебя не заколол!» — и мы как оголтелые набрасывались на мешки с песком, и я приходил буквально в раж, а потом, когда из этого мешка сыпался песок, то — вот честное слово! — чувствовал себя круглым идиотом. Бывало, проснешься ночью и думаешь: «Ну и болван же ты!»

— Да, могу себе это представить! — сказала Миранда.— Такая чушь!

Они медлили, не желая прощаться. Потом, после небольшой паузы, Адам спросил, будто продолжая разговор:

— А вы знаете среднюю продолжительность жизни сапера после того, как он обнаружил мину?

— Должно быть, очень короткая.

— Ровно девять минут,— сказал Адам.— Это я в вашей же газете вычитал неделю назад.

— Накиньте до десяти, тогда я тоже с вами поеду,— сказала Миранда.

— Ни секунды больше,— сказал Адам.— Ровно девять минут. Хотите верьте, хотите нет.

— Будет вам хвалиться,— сказала Миранда.— И кто это мог высчитать?

— Нестроевой солдат,— сказал Адам.— Какой-нибудь рахитик.

Это показалось им обоим очень смешным, они рассмеялись и потянулись друг к другу, и Миранда услышала свой немного визгливый смех. Она вытерла слезы, выступившие на глазах.

— Ну и война! Чудна́я какая-то! — сказала она.— Правда? Как подумаю о ней, так меня смех разбирает.

Адам взял ее руку в свои и потянул кончики перчаток на пальцах и вдохнул их запах.

— Какие у вас хорошие духи,— сказал он.— И сколько вы их на себя вылили. Мне нравится, когда волосы и перчатки сильно надушены,— сказал он, снова вдохнув носом.

— Наверно, перестаралась,— сказала она.— У меня сегодня ни обоняния, ни слуха, ни зрения. Должно быть, сильная простуда

— Не хворайте,— сказал Адам.— Мой отпуск подходит к концу, а он будет последним, самым последним.

Она шевельнула пальцами, когда он потянул за кончики перчаток, и повернула руки ладонями вверх, точно они стали теперь какими-то необычными, новыми, драгоценными, и сразу смутилась и замолчала. Он нравился ей, и даже больше чем просто нравился, но об этом и думать было нельзя, потому что он не для нее и не для какой-нибудь другой женщины, он уже за пределами всего личного, он без своего ведома отдан в распоряжение смерти. Она отняла у него свои руки.

— До свидания,— наконец сказала она.— До вечера.

Она взбежала вверх по лестнице и на последней ступеньке оглянулась. Он все еще смотрел ей вслед и, не улыбнувшись, поднял руку. Миранде редко приходилось видеть, чтобы человек оглядывался после прощания. Самой ей иногда случалось проводить взглядом того, с кем она только что разговаривала, точно это могло смягчить слишком резкий и слишком внезапный обрыв даже самого мимолетного общения. Но люди уже спешили прочь, выражение у них сразу менялось, становилось сосредоточенным, переключаясь на следующую остановку, и мысли уже были заняты каким-нибудь следующим делом, следующей встречей. Адам стоял, точно ожидая, что она оглянется, и под его хмуро насупленными бровями темнели казавшиеся очень черными глаза.

Она сидела за своим столом, не сняв ни жакета, ни шапочки, вскрывала конверты и делала вид, будто читает письма. На столе у нее сегодня сидели только спортивный репортер Чак Раунсиваль и «О чем толкуют в нашем Горди», но их присутствие было ей приятно. При желании она тоже могла сидеть у них на столе. Горди и Чак вели между собой разговор.

— Ходят слухи,— сказала Горди,— будто эти микробы завезло к нам в Бостон немецкое судно, конечно закамуфлированное. Пришло оно не под своим флагом. Правда, нелепость?

— Может, это была подводная лодка,— сказал Чак.— Поднялась ночью со дна морского и пробралась к нам. Так и звучит-то лучше.

— Безусловно,— сказала Горди.— В деталях всегда какая-нибудь неувязка... Микробы будто бы распылили по городу — началось, как вам известно, в Бостоне,— и будто бы кто-то видел, как над бостонской гаванью поднялось странное густое, маслянистое облако, и оно

медленно разошлось над тем районом. Видела все это, кажется, какая-то старушка.

— А кто же еще может такое увидеть! — сказал Чак.

— Я вычитала это в нью-йоркской газете,— сказала Горди.— Значит, все правда.

Чак и Миранда так громко захохотали, что Билл вскочил с места и негодующе посмотрел на них.

— Горди все еще читает газеты,— пояснил Чак.

— А что тут смешного? — сказал Билл, снова сел на место и, насупив брови, уткнулся в бумаги, кучей лежавшие у него на столе.

— Это облако, наверно, видел кто-нибудь из нестроевых,— сказала Миранда.

— Разумеется,— сказала Горди.

— Может быть, член комиссии Лоска,— сказала Миранда.

— Или спаситель Монса,— сказал Чак.— А то кто-нибудь из государственных служащих.

Миранде не хотелось ни говорить, ни слушать их, ей хотелось хотя бы пять минут посидеть и подумать об Адаме, подумать о нем по-настоящему, но времени на это не было. Она увидела его впервые десять дней назад, и с тех пор они только и делали, что вместе перебегали улицы, снуя между грузовиками, автомобилями, ручными тележками и подводами, и он ждал ее в подъездах и в маленьких ресторанчиках, где пахло прогорклым маслом, и ужинали и танцевали под назойливое завыванье и грохот джаза, высиживали в театриках скучнейшие спектакли, потому что Миранде надо было писать рецензии на них. Однажды они поехали в горы и, оставив машину, поднялись вверх по каменистой тропинке, вышли на плоский выступ и сели там, глядя, как меняется освещение в долине, ландшафт которой, сказала Миранда, будто вымышлен.

— Веровать в вымыслы совершенно не обязательно, но поэтичность во всем этом несомненная,— сказала она Адаму.

Они сидели очень тихо, прислонившись друг к другу, и смотрели на долину. Два воскресенья подряд ходили в геологический музей, и оба как зачарованные разглядывали обломки метеоритов, образцы горных пород, окаменелые бивни и окаменелую древесину, индийские стрелы, жильные месторождения золота и серебра.

— Подумать только! Ведь в старину золотоискатели намывали свои богатства, сидя у ручейков и орудуя маленькими лотками! — сказал Адам.— И в недрах земли было вот все это...

И он стал рассказывать ей, что больше всего любит то, что требует кропотливого труда: любит аэропланы, и разные машины, и резьбу по дереву и камню. Специальных знаний в этих областях у него не было, но такие вещи он понимает и ценит. Признался, что ни одной книжки не может дочитать до конца, кроме учебных пособий по механике; чтение для него просто мука мученическая; жалел, что не привел сюда свою машину, ему и в голову не пришло, что автомобиль здесь может понадобиться; он любит водить машину, Миранда ему, наверно, не поверит, сколько миль он может проделать за день... Показывал ей свои фотографии: вот он за рулем «родстера», вот в яхте — такой вольный, весь на ветру, весь из одних углов, выбирает канаты; он пошел бы в авиацию, но стоило ему только заикнуться об этом, как мать закатывала истерику. Не понимает, что воздушный бой не так опасен, как саперные работы на земле в ночное время. Но объяснять ей это он, конечно, не стал, потому что она не представляла себе, что такое служба сапера. И вот он посиживает на плато высотой в милю, и тут негде спустить яхту на воду, и авто-

мобиль его стоит дома, а то они получили бы массу удовольствия. Миранда понимала, что Адам рассказывает ей, какой он, когда вся его техника при нем. Но у нее было такое чувство, что она и так прекрасно его знает, и ей хотелось сказать ему, что если он думает, будто остался дома вместе со своей яхтой и своим автомобилем, то это неверно. Телефоны звонили не переставая, Билл кричал на кого-то, кто твердил: «Да вы послушайте... послушайте!» Но слушать его, конечно, Билл не собирался. Старик Гиббонс взывал в отчаянии: «Джорш! Джорш!»

— Тем не менее,— говорила Горди своим самым добродетельным, самым патриотическим голоском,— работа в бараках во Франции — это здорово придумано, и мы все должны принять в этом участие, даже если нас там и видеть не желают.

У Горди это хорошо получается. «Полюбуйтесь на нее!» — подумала Миранда, вспомнив розовый свитер и напряженное, бунтарское выражение лица Горди в раздевалке. Сейчас она была сама непосредственность, само благородство, она готова принести себя в жертву на алтарь отечества.

— В конце концов,— сказала Горди,— я пою, и танцевать умею вполне сносно для эстрады, и письма могла бы писать под их диктовку, а прижмет, так и санитарную машину буду водить. На «форде» сколько лет ездила.

В разговор вступила Миранда:

— Я тоже могу петь и танцевать, но кто будет стелить им койки и мыть полы? Содержать эти бараки в порядке нелегко, работа грязная, и мы там совсем зачахнем, а поскольку у меня работа и здесь тяжелая, грязная и на ней тоже чахнешь, то я останусь здесь.

— А по-моему, женщинам надо держаться от всего этого подальше,— сказал Чак Раунсиваль.— Хватит с нас ужасов войны, обойдемся и без бабья.— У Чака были слабые легкие, и его грызло, что он не участвует во всех этих грандиозных делах.— Я мог бы уже побывать там и вернуться без ноги. Не обрадовался бы мой старик. Ему пришлось бы покупать спиртное на собственные денежки или записываться в трезвенники.

Миранда не раз видела, как в платежные дни Раунсиваль выдает старику деньги на выпивку. Но хуже всего в этом благодушном старом прохвосте было то, что он располагал к себе. Отбирая у Чака последние гроши, старик хлопал сына по спине и устремлял на него взор, слегка затуманенный слезой и исполненный отеческой любви.

— Кто испоганил нам войны? Флоренс Найтингейл[1],— продолжал Чак.— Зачем это ухаживать за солдатами, перевязывать им раны и остужать их пылающие лбы? Война есть война. Где солдата сразило, пусть там и гибнет. Такое его дело.

— Хорошо вам говорить,— сказала Горди, бросив на него косой взгляд.

— Что это значит? — спросил Чак, вспыхнув и ссутулив плечи.— Вам же известно, что у меня больное легкое, а теперь, может, от него уже половинка осталась.

— Какой вы обидчивый! — сказала Горди.— Я совсем не в том смысле.

Билл бушевал вовсю, жуя недокуренную сигару,— волосы дыбом, глаза добрые, блестящие, но горят, как у оленя. Он всегда так и останется четырнадцатилетним парнишкой, подумала Миранда, даже если до ста лет проживет, чему не бывать при таком его нраве. Билл

---

[1] Флоренс Найтингейл (1820—1910) — английская сестра милосердия и общественный деятель.

вел себя точь-в-точь как главные редакторы из кинофильмов, вплоть до изжеванной сигары. Он ли усвоил такой стиль, подражая киногероям, или же киносценаристы раз и навсегда запечатлели тип Билла в его беспримесной первозданности? Билл командовал Чаку:

— А *если* он вернется сюда, отведите его в сторонку и отпилите ему голову *ручной пилой!*

Чак сказал:

— Не волнуйтесь. Он вернется.

Билл, занявшись уже чем-то другим, спокойно проговорил:

— Ладно, отпилите ему голову.

Горди отошла к своему столу, но Чак продолжал сидеть, милостиво дожидаясь, когда его поведут в театр на новую программу варьете. По понедельникам Миранда, располагавшая двумя билетами, всегда брала с собой кого-нибудь из репортеров. Чак был профессионально резок и прямолинеен в своих спортивных отчетах, но Миранде он признавался, что если уж говорить начистоту, так за спорт он гроша ломаного не даст; просто эта работа держит его на свежем воздухе, оплачивается неплохо, и ему хватает на покупку спиртного старику. А предпочитает он театральные представления и не понимает, почему театром занимаются только женщины.

— Кого это Билл велел распилить? — спросила Миранда.

— Того чечеточника, которого вы разгромили в утреннем номере,— сказал Чак.— Он прибежал в редакцию с утра пораньше и поинтересовался, какой это тип пишет у нас о театре. Сказал, что намерен отвести этого тупицу в сторонку и расквасить ему нос. Говорит, я...

— Надеюсь, он уже ушел,— сказала Миранда.— Очень надеюсь, что ему надо было поспеть на поезд.

Чак встал, оправил на себе темно-бордовый свитер с высоким воротом, осмотрел свои твидовые брюки-гольф цвета горохового супа и подбитые гвоздями рыжие башмаки, которые, как он надеялся, помогают скрыть тот факт, что у него больное легкое и что спорт он терпеть не может, и сказал:

— Не беспокойтесь, его уже давно здесь нет. Поехали. Вы как всегда опаздываете.

Повернув к двери, Миранда чуть не наступила на ноги маленькому, невзрачному человечку в котелке. Когда-то он был, вероятно, смазлив, но теперь из-за нехватки коренных зубов уголки рта у него опустились, грустные, с красными веками глаза уже забыли про игривость. Жидкий начес темных напомаженных волос завивался из-под низу котелка. Он не убрал ног и стоял как вкопанный, точно давая отпор Миранде. Он спросил:

— Вы и есть так называемый театральный критик в местной газетенке?

— Увы, да,— сказала Миранда.

— Так вот,— сказал этот человек,— прошу уделить мне минутку вашего драгоценного времени.— Нижняя губа у него выпятилась, дрожащие пальцы стали шарить в жилетном кармашке.— Я не допущу, чтобы это так легко сошло вам с рук.— Он перебрал пачку захватанных газетных вырезок.— Вот почитайте, неужели вы думаете, я позволю, чтобы меня колошматил какой-то захолустный рецензент? — проговорил он без всякого выражения.— Вот глядите, Буффало, Чикаго, Сент-Луис, Филадельфия, Фриско, и это не говоря уж о Нью-Йорке. Вот самые лучшие журналы — «Варьете», «Анонс». Все пришли в восторг и признали, что Дэнни Диккерсон — мастер

своего дела. А вы, кажется, другого мнения — а? Вот о чем я и хочу вас спросить.

— Да, я другого мнения,— напрямик заявила Миранда.— И мне некогда больше говорить на эту тему.

Чечеточник нагнулся к ней поближе, голос у него дрожал, он, видимо, уже совсем изнервничался.— Слушайте! Чем я вам не угодил? Ну признайтесь!

Миранда сказала:

— А вы не обращайте на меня внимания. Не все ли вам равно, какого я о вас мнения?

— На ваше мнение мне наплевать. Ваши мнения меня мало беспокоят,— сказал он.— Но ведь это идет дальше и дальше, а в театральных агентствах на Востоке понятия не имеют, как здесь обстоят дела. В вашей дыре нас разгромили, так там считают, будто и в Чикаго нам оказали такой же прием. В агентствах в этом не разбираются. Не знают, что чем лучше номер, тем больше захолустные критики нас гробят. Меня считали лучшим в нашем деле, а хвалил кто? Те, кто в своем деле считались лучшими. Так вот, я хочу знать, что, по-вашему, у меня не так.

Чак сказал:

— Скорей, Миранда, там сейчас занавес пойдет.

Миранда вернула чечеточнику газетные вырезки — большинство их было десятилетней давности — и хотела пройти мимо него, но он снова загородил ей дорогу и сказал голосом, в котором не хватало твердости:

— Будь вы мужчиной, я бы вам голову проломил.— В ответ на это Чак поднялся, не спеша подошел к ним, вынул руки из карманов и сказал:

— Ну хватит, исполнили свой номер с песнями и пляской и проваливайте. Вон отсюда, пока я вас с лестницы не спустил.

Маленький чечеточник дернул себя за галстук — синий галстучек в красную крапинку, немного потертый в узле. Потом подтянул его и повторил свою будто отрепетированную реплику:

— Отошли в сторонку.

На глазах с припухшими, красными веками у него выступили слезы. Чак сказал:

— А-а перестаньте! — и вышел следом за Мирандой, которая побежала к лестнице. Он догнал ее внизу на тротуаре.

— Распустил нюни и тасует свою колоду вырезок в поисках козыря. На том я и ушел,— сказал Чак.— Горемыка несчастный!

Миранда сказала:

— Столько сейчас всего в нашей жизни! Мне хочется сесть вот здесь на краю тротуара, Чак, и умереть, и никогда больше не видеть... Пусть я памяти лишусь и пусть собственное имя забуду... Пусть я...

Чак сказал:

— Крепитесь, Миранда. Сейчас не время киснуть. Выкиньте этого типа из головы. Среди эстрадной братии таких на каждую сотню по девяносто девять человек. И все-таки вы поступаете неправильно. Зачем навлекать все на свою голову? От вас требуется только одно: польстить звездам, а о тех, которые «и др.», даже не упоминать. Не забывайте, что Рипински здесь всем вертит. Угодите Рипински — и угодите отделу рекламы, угодите отделу рекламы — и получите прибавку. Всех надо умаслить. И когда только вы этому научитесь, глупенькая моя девочка!

— Учиться-то я учусь, только, должно быть, не тому, чему следует,— удрученно проговорила Миранда.

— Что верно, то верно,— весело сказал ей Чак.— В чем другом, а в этом вы преуспеваете. Ну, как вам теперь, полегчало?

— Ну и на дрянную же программу я попал! — сказал Чак.— Что же вы теперь намерены о ней писать? Я бы написал...

— Вот и напишите, Чак,— сказала Миранда.— Сегодня пишите вы. Я все равно хочу уходить из газеты, только никому об этом ни слова.

— Вы что, серьезно? — сказал Чак.— Я всю свою жизнь мечтал стать так называемым театральным критиком в провинциальной газетке и вот, пожалуйста, первый раз получаю такую возможность.

— Пишите, Чак, пишите,— сказала ему Миранда.— А то как бы это не стало вашей последней возможностью.

Она подумала: «Вот оно, начало конца. Со мной случится что-то страшное. Там, куда я уйду, зарабатывать на кусок хлеба не будет нужды. Завещаю свою работу Чаку. У него почтенный родитель, которого надо снабжать спиртным. Надеюсь, Чака возьмут на мое место. Ах, Адам, хоть бы еще раз вас повидать, пока я не пала под тем, что на меня надвигается!»

— Скорее бы война кончилась,— сказала она Чаку, будто они только об этом и говорили.— Скорее бы она кончилась и вовсе бы не начиналась.

Чак уже вынул блокнот и карандаш и стал записывать свою рецензию. В том, что сказала Миранда, ничего сомнительного не было, но как он должен отнестись к этому?

— Мне совершенно безразлично, почему она началась и когда она кончится,— сказал Чак, он быстро строчил в блокноте.— Там и без меня обойдутся.

«Так говорят все не годные к военной службе,— подумала Миранда.— На войну их не берут, а они только о ней и думают». Некоторые, может, и в самом деле стремятся на фронт, и каждый такой, разговаривая с женщинами, искоса, настороженно поглядывает на них, будто говоря: «Ты, кровожадная сучка, наверно, воображаешь, что у меня душа в пятки ушла? Я же сам напрашивался отдать свой труп воронью, да вот не взяли». И что еще трагичнее, ведь этим людям, оставшимся дома, теперь и словом о войне не с кем перемолвиться. И оглянуться не успеешь, как доберется до тебя комиссия Лоска! «Экономьте хлеб — и мы выиграем войну, работайте за троих — и мы выиграем войну. Экономьте сахар, собирайте персиковые косточки — и мы выиграем войну».— «Ерунда?» — «Нет, не ерунда, уверяю вас, из персиковых косточек извлекают какое-то ценное взрывчатое вещество». И вот в ту пору, когда идет консервирование фруктов, легковерные хозяюшки наваливают полные корзинки персиковых косточек и бегут возлагать их на алтарь отечества. Выходит, они и при деле, и уверены, что пользу приносят, а ведь все эти женщины начинают беситься, когда мужчины на фронте, и становятся опасными, если не дать им занятия, отвлекающего их мыслишки от беспутства. И вот молоденькие девушки — непорочные колыбели нашего будущего, с чистыми, серьезными личиками, изящно обрамленными косынками Красного Креста,— криво скатывают бинты, которые никогда не попадут в полевые госпитали, и вяжут свитеры, которым не суждено согревать мужественную грудь воина, а сами лелеют неотступные мысли о всей крови, и всей грязи, и о предстоящих танцах с офицерами воздушного флота в клубе «Акант». «Ведите себя тихо и смирно — и мы выиграем войну».

— Там и без меня обходятся,— сказал Чак увлеченно строча свою рецензию. «А вот без Адама не обойтись»,— подумала Миранда. Она сдвинулась чуть ниже в кресле, откинула голову на пыльный

плюш спинки, посмотрела в лицо неизбежной, чудовищной, страшной уверенности, что у них с Адамом нет ничего впереди. Ничего. Она открыла глаза, положила руки ладонями вверх и, глядя на них, попыталась понять, что такое забвение.

— Вот посмотрите,— сказал Чак, потому что свет в зал уже дали, и зрители снова задвигались, заговорили.— Я почти все изложил еще до выхода звезды программы. Старушка Стелла Мэйхью всегда хороша, уже сорок лет хороша, и споет она нам «Тоски не бойся, это сердца легкая болезнь». Больше о ней и знать ничего не надо. Так вот посмотрите. Ну как, согласны поставить свою подпись?

Миранда взяла у него написанное и стала просматривать страничку за страничкой, изображая сосредоточенность и переворачивая их когда надо, потом вернула все Чаку.

— Да, Чак, да. Свою подпись я бы поставила, но не поставлю. Надо сказать Биллу, кто писал, потому что с этого, может, у вас все и начнется.

— Нет, вы меня не оценили,— сказал Чак.— Слишком уж быстро прочитано. Вот, послушайте... — Он начал взволнованно бормотать, а она смотрела ему в лицо, пока он читал. Лицо приятное, с искоркой, с отчетливой лепкой лба над носом. Впервые с тех пор, как они узнали друг друга, она задумалась, какие мысли бродят у Чака в голове? Вид у него всегда озабоченный, хмурый, на деле он вовсе не такой уж весельчак, каким хочет казаться. Зрители заполняли проход между рядами стульев, вынимали портсигары, держа спичку наготове, чтобы чиркнуть ею в фойе; женщины с завитыми волосами брались за свои накидки, мужчины двигали подбородками, освобождая их из тугих воротничков, и Чак сказал:

— Теперь можно уходить.

Застегнув жакет, Миранда смешалась с толпой, думая: «Что я знаю обо всех этих людях? Может, здесь много таких, у кого одинаковые мысли со мной, а мы не смеем поделиться друг с другом своим отчаянием, мы точно бессловесные звери позволяем уничтожать себя, а зачем? Есть ли здесь хоть один человек, который верит тому, что мы говорим друг другу?»

Неудобно пристроившись на краю плетеной кушетки в раздевалке, Миранда выжидала, когда время пройдет и она будет опять с Адамом. Время двигалось с большей, чем обычно, причудливостью, оставляя сумеречные провалы у нее в сознании, которые длились минут по тридцать, а ей казалось, что прошла всего лишь секунда; потом, вслед за слепящей вспышкой, освещавшей ее часы, стрелки показывали, что три минуты — это непереносимо долгий срок, будто тебя подвесили за большие пальцы рук. Наконец она решила, что лучше всего представить себе, как в ранней утренней темноте Адам выходит из дому в голубоватый туман, который того и гляди обернется дождем, и вот он уже в пути, и теперь думать о нем больше незачем. У нее было только одно желание — увидеть его — и был страх, постоянная угроза, что они больше не увидятся, потому что каждый их шаг друг к другу казался гибельным, он разъединял их, вместо того чтобы сближать, как пловца, которого, несмотря на его самые сильные гребки, медленно уносит отливом назад в море. «Не хочу любить,— думала Миранда вопреки самой себе.— Не хочу любить Адама, уже времени не осталось, мы еще не готовы, хотя это единственное, что у нас есть...»

Но вот он стоял на тротуаре, одной ногой на нижней ступеньке, и Миранда почти бегом спустилась к нему по лестнице. Взяв ее за руки, Адам спросил:

— Вам легче? Хотите есть? Устали? Пойдем танцевать после театра?

— На все отвечаю «да»,— сказала Миранда.— Да, да, да... — Голова у нее была легкая, как перышко, и, покачнувшись, она ухватилась за его руку. Туман все еще был туманом, который может обернуться дождем, и хотя воздух свежо и остро холодил ей рот, все-таки, почувствовала она, дышать от этого не легче.— Надеюсь, спектакль будет хороший или по крайней мере смешной,— сказала она ему.— Хотя обещать ничего не могу.

Пьеса была длинная, невыносимо скучная, и Адам с Мирандой тихо сидели рядом, терпеливо дожидаясь, когда спектакль кончится. Адам осторожно, сосредоточенно стянул с нее перчатки и взял за руку — будто ему было привычно держать ее за руку в театре. Они повернулись друг к другу, и взгляды их встретились, но это случилось один-единственный раз, и глаза у обоих были спокойные и не выдали их. Где-то в самой глубине у Миранды началась дрожь, она стала сдерживать себя, точно закрывала окна, двери, задергивала занавески перед надвигающейся грозой. Адам смотрел нудную пьесу с каким-то странным, искрящимся волнением, а лицо у него было спокойное, застывшее.

Когда занавес поднялся перед третьим действием, третье действие началось не сразу. Вместо этого они увидели на сцене задник, почти весь закрытый американским флагом, повешенным кое-как, неуважительно. Он был прибит гвоздями по верхним углам, в середине собран и тоже прибит и пыльными складками свисал под гвоздем вниз. Перед ним в величественной позе стоял местный общественный деятель, из тех, кто получает символическую оплату «доллар в год» и выполняет сейчас свой долг в качестве распространителя займа свободы. Это был самый рядовой человек немолодых лет с аккуратной дынькой под брючным поясом и под жилеткой, с самодовольно поджатыми губами, с лицом и фигурой, в которых ничего нельзя было прочесть, кроме пошленького рассказа о чувственных удовольствиях, полученных за все его пятьдесят лет. Но вот один-единственный раз в жизни ему пришлось выступить по столь важному делу в роли значительной персоны, и, наслаждаясь этим, он декламировал во весь голос, с актерской интонацией произнося каждое слово.

— Настоящий пингвин,— сказал Адам. Они двинулись на стульях, улыбнулись, взглянув друг на друга, Миранда приняла свою руку, Адам сомкнул пальцы, и оба приготовились высидеть все ту же знакомую им, заплесневелую речь на фоне столь же знакомого пыльного задника. Миранда пыталась не слушать, но все слышала:

— Эти подлые гунны... покрытые славой леса Белло... наш пароль — жертвенность... Истерзанная Бельгия... Отдайте войне все до последнего... Наша славная молодежь там, на полях Фландрии... Большая Берта... Гибель цивилизации... Боши...

— У меня голова разламывается,— прошептала Миранда.— Хоть поскорее бы он кончил!

— Не скоро он кончит,— прошептал Адам.— Я принесу вам аспирин.

— Маки Фландрии цветут у могильных крестов...

— Только к самой сути подбирается,— прошептал Адам.

— Зверства... невинные младенцы на штыках бошей... Ваш ребенок и мой ребенок... если это не коснется наших детей, тогда скажем с благоговением: люди умерли не напрасно... война, *война... Эта война* положит конец всем *войнам,* война в защиту демократии, в защиту человечества, мир на земле на веки вечные, а чтобы доказать друг другу и всему миру, что мы верим в демократию, давайте все как один

подпишемся на заем свободы и откажемся от сахара и от шерстяных носков...

«Так, что ли? — спросила самое себя Миранда.— Повторите, я не расслышала последнюю фразу. А про Адама вы что-нибудь сказали? Если нет, тогда ваши словеса меня не интересуют. Как будет с Адамом, свинья ты эдакая? И что мы на сей раз споем — «Типперери» или «Долгий путь, вперед веди нас»? Ох, скорее бы это представление кончилось, мне еще надо написать о нем, прежде чем мы с Адамом пойдем танцевать, а времени у нас так мало. Уголь, нефть, золото, железо, международные финансы, что же ты об этом-то ничего не скажешь, враль ты эдакий!»

Все встали и запели «Долгий путь, вперед веди нас». В открытых ртах чернота, лица — мертвенно-бледные в отсветах огней рампы, у некоторых подергиваются гримасами от плача, по щекам бегут блестящие струйки, точно следы улиток. Адам и Миранда громко запели вместе со всеми, раз или два смущенно улыбнувшись друг другу.

Выйдя из театра, они закурили и, как всегда, медленно пошли по улице.

— Еще один мерзкий, старый хрыч. Радуется, когда молодежь убивают,— тихо проговорила Миранда.— Точно коты, которые норовят сожрать своих котят. Вас-то, Адам, надеюсь, еще не успели одурачить?

К этому времени между ними уже шли такие вот разговоры. Они чувствовали, что видят все насквозь. Миранда продолжала:

— Ненавижу этих пузатых, плешивых болтунов! Толстые, старые — и трусы. Небось сами не идут на войну, знают, что им ничто не грозит, и вместо себя вас гонят...

Адам с неподдельным удивлением посмотрел на нее.

— Кто — этот? — спросил он.— Да какая от него польза, от старого дурака, если даже его призовут? Нет за ним никакой вины,— пояснил он.— Такие только и могут, что заниматься болтовней.— Снисходительность, терпимость и презрение к злосчастному старику исходили у него изо всех пор, когда, гордый своей молодостью, спокойно уверенный в своей силе, прямой, стройный, он шагал рядом с ней.— Чего вы от *такого* ждете, Миранда?

Она часто называла его по имени, а он ее только изредка. Легкий толчок радости от того, что ей было дано услышать свое имя из его уст, задержал ее ответ. Она помолчала, потом повела атаку с другой позиции:

— Адам, самое худшее в этой войне — страх и подозрительность и то ужасное, что читаешь в глазах, которые на тебя смотрят... Точно люди закрыли ставнями свои мысли, свое сердце и в щелку выглядывают на вас оттуда, готовые отскочить назад при любом вашем движении, при любом вашем слове, если не поймут его сразу. Меня это пугает; я, как и все мы, живу в страхе, а нельзя, чтобы люди так жили. Ведь все кругом таятся, все врут. Вот что делает война с человеческой мыслью и с человеческим сердцем — а одно от другого отделить невозможно, Адам, война коверкает их еще хуже, чем человеческое тело.

После короткого молчания Адам серьезно проговорил:

— Да, конечно... Но ведь с фронта можно вернуться целым и невредимым. Для мысли и сердца иногда все складывается хорошо, а если что-нибудь случится со злосчастной человеческой плотью, тогда, значит, просто не повезло человеку. Вот и все.

— Да, конечно! — передразнила его Миранда.— Значит, человеку просто не повезло. Вот и все!

— Если бы я не пошел в армию,— сухо проговорил Адам,— мне было бы стыдно перед самим собой.

Ну вот, теперь все ясно. Взяв Адама за руку, она шла молча, думая о нем. Да, ни ожесточения, ни бунтарства в Адаме нет и следа. Он чист, думала она, чист как стеклышко, без малейшего изъяна, совершенен, как полагается быть жертвенному агнцу. Жертвенный агнец преспокойно шествовал рядом с ней, приспосабливая свои широкие шаги к ее мелким, ведя ее в добропорядочном американском стиле с внутренней стороны тротуара, поддерживая при переходе улиц, будто она была полным инвалидом («надеюсь, нам не попадется лужа, не то он перенесет меня через нее на руках»), дымя сигаретой, дыша носом, легко неся свой стан, и от него шел мужественный запах недушистого мыла, только что начищенных ботинок, только что вымытой кожи. Он откинул назад голову и улыбнулся небу, которое все еще было в тумане, обещающем дождь.

— Ой-ой-ой! — сказал он.— Какой вечер! Кончайте поскорее свою рецензию и займемся делом.

Он ждал ее, сидя за чашкой кофе в ресторанчике рядом с редакцией, прозванном «Грязная ложка». Сбежав наконец вниз, умытая, причесанная и напудренная, она увидела Адама первая. Он сидел у большого грязного окна лицом к улице, но смотрел куда-то вниз. Лицо его было необыкновенное — тонкие черты, гладкая кожа золотилась в тусклом освещении, и сейчас на нем лежала печать безысходной тоски, мучительной тревоги и разочарования. На какую-то долю секунды перед ней мелькнуло лицо Адама повзрослевшего, лицо той поры, до какой он не доживет. Тогда и он увидел ее, встал и снова озарился улыбкой.

Адам сдвинул оба их стула; они сидели за столиком, пили горячий чай и слушали джаз-оркестр, игравший «Упакуй свои беды».

— «...в мешок вещевой, улыбнись, засмеись, засмеись!» — орала компания молодежи непризывного возраста, сидевшая за столиком рядом с оркестром. Они кричали кто во что горазд, оглушительно, истерически хохотали, якобы вне себя от веселья, и под скатертью передавали друг другу плоские бутылки с чистым спиртом (в этом западном городе, основанном и построенном разгульными, пьяными горняками, не разрешалось открыто потреблять алкоголь), подливали спирту в стаканы с имбирным пивом и распевали «Путь далекий до Типперери». Когда «Типперери» сменила «Мадлон», Адам сказал: «Пошли танцевать». Заведение это было дешевое, тесное, душное, насквозь прокуренное, но ничего лучшего в городе не было. Музыку здесь играли веселую, и вообще, подумала Миранда, жизнь у нас такая сумасшедшая, что это не имеет никакого значения. Это все, что есть у нас с Адамом, и больше нам не дано, так уж сложилась наша жизнь. Ей хотелось сказать: «Адам, очнитесь от своих снов, послушайте, что я вам говорю. У меня ломит грудь, голову, сердце, и эта боль, она настоящая. У меня все болит, а вас подстерегает такая опасность, что я думать об этом не могу, так почему же мы не можем спасти друг друга?» Когда ее рука крепче сжала его плечо, он тут же крепче обнял ее за талию и так и оставил руку. Они танцевали молча, но то и дело улыбались друг другу странными, каждый раз меняющимися улыбками, будто обретя какой-то новый язык. Наклонив лицо к плечу Адама, Миранда увидела темнолицую молодую пару, которая сидела за угловым столиком, обнявшись за талию, сблизив головы, устремив глаза на что-то, маячившее перед ними в пространстве и видное только им двоим. Правая рука девушки лежала на столе, он

накрыл ее руку своей; лицо девушки застилали слезы. Время от времени он брал ее руку и целовал и, снова опустив, не снимал своей, и глаза у нее снова затуманивались. Это не было нескромностью с их стороны, они просто забыли, где находятся, а может, им некуда было больше пойти. Они не говорили ни слова, и эта маленькая пантомима повторялась раз за разом, точно короткий печальный фильм. Миранда позавидовала им. Позавидовала девушке. Та по крайней мере может плакать, если от этого ей чуть легче, и ему даже не надо спрашивать: «Что с тобой? Скажи мне». Перед ними стояли чашки с кофе, и спустя долгое время — Миранда и Адам успели два раза потанцевать и снова сели за столик,— когда кофе совсем остыл, они вдруг выпили его, потом опять обнялись, не проговорив ни слова, не обменявшись почти ни единым взглядом. Что-то у них было решено, решено твердо. Как завидно, как завидно, что эти двое могут вот так молча сидеть рядом, и выражение лица у них одинаковое, когда они смотрят в ад, уготованный им обоим, и неважно, какой это ад, он принадлежит им двоим, и сейчас они вместе.

По соседству с Адамом и Мирандой сидела, облокотившись о стол, молодая женщина и что-то рассказывала своему соседу:

— Этот нахал мне совсем не нравится. Он все уговаривал меня выпить, а я ему говорю: да не пью я, а он: слушай, мне смерть хочется выпить, а ты отказываешься, это нечестно с твоей стороны. Не могу же я сидеть тут и пить один. А я ему: хорошенькое дело! Во-первых, ты тут не один сидишь, а хочешь выпить, так пей, говорю, я-то тут при чем? Тогда он подозвал официанта и заказал бутылку имбирного пива, и чтобы два стакана, и я выпила чистого пива, как всегда пью, а он подбавил себе в стакан самогона. Уж так хвалился своим самогоном! Говорит, сам его гнал из картошки. Отличный, говорит, самогон, свеженький, только что из аппарата. Добавишь три капли в имбирное, и вот тебе шампанское «Мумм»-экстра. Да не хочу я его! Поймешь ты наконец, глупая твоя башка, нет и нет! Он еще отхлебнул и говорит: слушай, милочка, не упрямься, выпей, вот и запляшешь. Мне надоело с ним препираться, и я ему говорю: я и без спиртного могу взыграть, и от чая могу пойти в пляс. Почему же ты, говорит, не пляшешь? А я ему...

Она знала, что спала очень долго, когда неожиданно, даже без предупреждающего звука шагов, без скрипа дверных петель, Адам оказался в комнате, включил электричество, и она поняла, что это он, хотя сначала яркий свет ослепил ее и она отвернулась к стене. Он сразу же подошел к ней, сел на край кровати и принялся говорить, точно продолжая разговор, начатый ими раньше. Потом скомкал четвертушку листа и бросил ее в камин.

— Вы не прочли мою записку? — сказал он.— Я оставил ее под дверью. Меня срочно вызвали в лагерь, сделали массу всяких прививок. Продержали там дольше, чем я рассчитывал. Вот я и опоздал. Позвонил в редакцию, а мне говорят, что вы сегодня не будете. Потом позвонил сюда, мисс Хобб, а она сказала, что вы лежите и к телефону не подходите. Она вам ничего не передавала?

— Нет,— вяло проговорила Миранда.— По-моему, я весь день спала. Нет, помню, приходил врач. Его прислал Билл. К телефону я раз подошла, Билл тогда сказал, что пришлет за мной санитарную машину и меня отвезут в больницу. Врач меня выслушал, оставил рецепт и сказал, что заедет еще, но так и не появился.

— Где он — рецепт? — спросил Адам.

— Я не знаю. Но он его выписывал. Я видела.

Адам заходил по комнате, отыскивая рецепт на столе, на каминной доске.

— Вот, нашел,— сказал он.— Через несколько минут я вернусь. Пойду поищу дежурную аптеку. Сейчас уже второй час ночи. Ну пока.

Пока, пока, пока. Миранда долго смотрела на дверь, за которой он исчез, потом закрыла глаза и стала думать: «Когда я не дома, то никак не могу представить себе, какая она, эта комната, в которой я живу вот уже около года, помню только, что занавески тут слишком прозрачные, не спасают утром от яркого света. Мисс Хобб давно обещала повесить более плотные, но что-то их не видать». Когда Миранда вышла утром к телефону, мисс Хобб как раз проходила мимо с подносом. Эта маленькая рыжеволосая добродушная женщина всем своим озабоченным видом показывала, что ее заведение не оправдывает себя и что она просто на краю гибели.

— Милая моя,— резко проговорила она, взглянув на халат Миранды.— Что с вами такое?

Не отнимая телефонной трубки от уха, Миранда сказала:

— Инфлюэнца, наверно.

— *Кошмар!* — прошептала мисс Хобб, и поднос дрогнул у нее в руках.— Ложитесь в постель немедленно!.. Немедленно ложитесь!

— Сначала нужно с Биллом поговорить,— сказала ей Миранда. И мисс Хобб поспешила уйти и больше не возвращалась. Билл кричал по телефону, отдавая распоряжения, обещая ей врача, сиделку, санитарную машину, больницу, ее еженедельный чек — как всегда, обещая все на свете, только чтобы она легла в постель и не вставала. Она повалилась на кровать, подумав, что Билл единственный из всех, кого она знает, кто буквально рвет на себе волосы, придя в волнение... «Наверно, надо попросить, чтобы меня отправили домой,— подумала она.— Таков почтенный старый обычай — навязывать свою смерть родственникам, если удастся, конечно. Нет, дело касается меня одной, и я останусь здесь, только, надеюсь, не в этой комнате... Хорошо бы очутиться сейчас в холодных горах, среди снегов, вот чего мне больше всего хочется» — и вокруг нее поднялась размеренная цепь Скалистых гор, покрытых вечными снегами, до мозга костей пронизывающих своим колючим дыханием, увенчанных величественными голубыми лаврами облаков. «Нет, нет! мне нужно тепло»,— и память ее обратилась вспять и ушла в другой край, первый, который она узнала в жизни и больше всего любила, а теперь видела только в проплывающих мимо обрывках: пальмы и кедры, темные тени и небо... Оно грело, не ослепляя, тогда как здешнее, чужое небо ослепляло, но не грело ее. Долгое, медленное колыхание серого мха в дремотной тени дуба, парящий полет стервятников над головой, запах помятых водорослей вдоль берега и вдруг широкий разлив спокойной реки, куда стекаются все известные ей доселе реки. Стены комнаты с двух сторон бесшумным, неспешным движением сошли на нет, рядом пришвартовался высокий парусник, и выветрившиеся до черноты сходни коснулись изножья ее кровати. Позади парусника начинались джунгли, и как только они возникли там, ей стало ясно: вот оно, все то, что она читала или слышала о джунглях или чувствовала, думая о них. Перекрученное узлами и грозно кипящее потаенное обиталище смерти. Оно кишит путаницей пятнистых змей, радужно оперенных птиц с пронзительно злобными глазами... леопарды с лицами по-человечьи мудрыми, львы с причудливым хохолком на шлеме, визжащие длиннорукие обезьяны, кувыркание их среди разлапистых, мясистых листьев, горящих сернистым огнем и выделяющих сукровицу смерти, и трухлявые стволы неведомых деревьев, полегшие в тину, где копошатся гады. Нимало не

удивившись, она увидела с подушки, как сама быстро сбежала вниз по этим сходням к наклонной палубе и, став там, облокотилась о поручни и весело помахала самой себе в постели, а стройный парусник расправил свои крылья и ушел в джунгли. Воздух дрожал от оглушительного визга и хриплого рева голосов, звучащих одновременно, взрывающихся и, как рваные тучи, сталкивающихся над ней, а все слова сливались только в два слова, которые взлетали, и падали, и гремели у нее над головой. Опасно, опасно, опасно, кричали голоса, и война, война, война. Дверь к ней в комнату была приоткрыта, Адам стоял на пороге, держась за дверную ручку, а мисс Хобб с искаженным от ужаса лицом кричала пронзительно:

— Слышите? Пусть *сейчас же* увозят, или я выброшу ее на улицу!.. Слышите? Господи! Это же как чума, чума! А у меня полон дом народу, о них тоже надо подумать!

Адам сказал:

— Да, знаю. За ней приедут завтра утром.

— Завтра утром? Господи! Сейчас нужно, немедленно!

— Санитарных машин не хватает,— сказал Адам.— Свободных коек тоже нет. И ни врача, ни сестры мы тоже не нашли. Все заняты. Вот так обстоят дела. В комнату вы не заходите, ухаживать за ней буду я.

— Да оно и видно, кто за ней будет ухаживать,— сказала мисс Хобб каким-то особо неприятным тоном.

— Вот именно,— сухо ответил ей Адам.— И попрошу вас не входить сюда.

Он осторожно прикрыл за собой дверь. В руках у него была целая охапка растрепанных свертков, лицо выглядело на редкость бесстрастно.

— Слышали? — спокойно спросил он, наклоняясь к ней.

— Почти все слышала,— сказала Миранда.— Ничего себе перспектива.

— Вот лекарство,— сказал Адам,— примите сейчас же. Она не посмеет вас выбросить.

— Значит, плохи наши дела,— сказала Миранда.

— Хуже некуда,— сказал Адам.— Все театры, почти все магазины и рестораны закрыты, днем на улицах похороны за похоронами, ночью санитарные машины...

— Только не за мной,— сказала Миранда, чувствуя душевный подъем и легкость в голове. Она села в постели, взбила подушку и потянулась за халатом.— Как я рада, что вы здесь. Меня измучил кошмар. Дайте сигарету, закуривайте сами, откройте все окна и садитесь ближе к ним. Вы ведь рискуете,— сказала она.— Вам это, должно быть, известно? А чего ради?

— Ладно,— сказал Адам.— Примите лекарство,— и дал ей две большие таблетки вишневого цвета. Она сразу же проглотила их и тут же отдала обратно.— Извините,— сказала она и засмеялась.— Простите ради бога.— Не говоря ни слова, сосредоточенно Адам протер ей лицо мокрым полотенцем, дал колотого льда из одного пакета и решительно протянул еще две таблетки.

— Так у нас всегда дома делали,— пояснила ему Миранда.— И ничего, получалось.— Страдая от унижения, она закрыла лицо руками и через силу снова засмеялась.

— Еще два лекарства надо принять,— сказал он, отводя ей руки от лица и поднимая подбородок.— А вы только начали. У меня тут есть еще кое-что — апельсиновый сок и мороженое. Мне велели давать вам мороженое. Кофе в термосе и градусник. Придется все это осилить, так что крепитесь.

— Вчера вечером мы с вами танцевали в это время,— сказала Миранда и приняла что-то с ложечки. Ее глаза следовали за ним, когда он с отсутствующим видом, точно был тут один, ходил по комнате, делал все, что было нужно сделать, и время от времени возвращался к ее кровати, подсовывал ей руку под голову, подносил ко рту чашку или стакан, и она все выпивала и снова провожала его глазами, не совсем понимая, что тут происходит.

— Адам,— сказала она.— Знаете, что мне пришло в голову? Может быть, они забыли про больницу Святого Луки? Позвоните туда и скажите там монахиням, что нечего им жадничать и цепляться за свои кельи. Скажите, что мне нужна самая крохотная убогая каморка и всего на три дня, а то и меньше. Попробуйте, Адам.

Он, видимо, считал, что пока это еще не похоже на бред, потому что она услышала его обстоятельные объяснения по телефону. Он вернулся почти сразу со словами:

— Должно быть, мне сегодня суждено нарываться на злющих старых дев. Монахиня сказала, что если б даже у них было место, все равно вам бы его не дали без врачебного направления. Но мест у них нет. Тон у нее был весьма кислый.

— Ну, знаете! — хриплым голосом проговорила Миранда.— По-моему, это просто безобразие и подлость с их стороны.

Она села, широко развела руки, и у нее снова началась сильная рвота.

— Спокойно! — крикнул Адам, поднося к кровати таз. Он поддержал ее голову, ледяной водой вымыл лицо и руки, опустил ее голову на подушку, отошел и остановился у окна.— Вот так-то,— сказал он наконец, снова садясь рядом с ней.— Мест у них нет. Койки у них нет. Люльки и то не найдется, судя по ее тону. Картина, кажется, ясная, так что надо окопаться здесь.

— А машину за мной не пришлют?

— Может быть, завтра.

Он снял китель и повесил его на спинку стула. Потом опустился на колени перед камином и стал аккуратно укладывать растопку наподобие индейского вигвама, сунув в середину комок бумаги, чтобы лучине было на чем держаться. Потом поджег это сооружение и подложил сверху побольше лучин и щепок. Когда все это занялось, стал добавлять дров и подбрасывать угля по нескольку кусков зараз, до тех пор пока огонь не разгорелся вовсю и следить за ним больше не требовалось. Он встал, отряхнул руки; огонь, горевший в камине, светил ему в спину, и волосы у него зазолотились.

— Адам,— сказала Миранда.— Какая вы прелесть! — Он рассмеялся и покачал головой.

— Ну и словечко вы придумали! — сказал он.— Самое для меня подходящее.

— Первое, что пришло мне в голову,— сказала она, оперевшись на локоть, чтобы быть поближе к огню.— И камин как быстро разожгли!

Он снова сел к ней на кровать, подвинул стул и положил ноги на рамку под сиденьем. Они улыбнулись друг другу впервые за эту ночь.

— Не лучше вам? — спросил он.

— Лучше, гораздо лучше,— сказала она ему.— Давайте поговорим. Давайте расскажем друг другу, как мы собирались жить.

— Вы начинайте первая,— сказал Адам.— Я хочу знать про вас все.

— Вам, пожалуй, покажется, что жизнь у меня была тяжелая,— заговорила она.— Может, так оно и есть, но сейчас я не отказалась

бы от такой жизни. Вернись прежнее, я почти всем осталась бы довольна. Это, конечно, неправда, но такое у меня сейчас чувство.— И, помолчав, добавила: — Да и рассказывать-то, собственно, не стоит, если скоро всему конец, а я ведь всю жизнь готовилась к чему-то, что произойдет со мной, когда для этого настанет время. А до сих пор ничего особенного не было.

— Но то, что было до сих пор, разве мало чего стоило? — спросил он совершенно серьезно, точно ему было важно знать это.

— Если сейчас подошло к концу, тогда мало,— упрямо стояла она на своем.

— А вы никогда не были... счастливы? — спросил Адам, явно боясь этого слова; он стеснялся его, так же как слова «любовь», и произносил-то, наверно, впервые и был неуверен в его звучании, в его смысле.

— Не знаю,— сказала она.— Я просто жила и жила и никогда ни о чем таком не задумывалась. Хотя то, что мне было по душе, я помню и свои надежды тоже помню.

— Я собирался стать инженером-электриком,— сказал Адам. И замолчал.— Вот вернусь, тогда закончу образование,— добавил он спустя минуту.

— А жизнь вы любите? — спросила Миранда.— Любите хорошую погоду, и разные пестрые краски в разное время дня, и разные звуки, когда дети кричат на соседнем дворе, и автомобильные гудки, и маленькие уличные оркестрики, и запахи еды, которую готовят на кухне?

— Плавать я тоже люблю,— сказал Адам.

— И я,— сказала Миранда.— А мы с вами ни разу не ездили купаться. Вы помните какие-нибудь молитвы? — вдруг спросила она его.— В воскресной школе много всяких выучили?

— Да нет, не очень,— признался Адам, не испытывая ни малейшего смущения по этому поводу.— Ну, «Отче наш», конечно.

— А еще есть «Богородица»,— сказала она.— И потом одна очень полезная. Она начинается так: «Исповедуюсь всемогущему господу богу и приснодеве Марии и святым апостолам Петру и Павлу...»

— Это католическая,— вставил он.

— Молитва есть молитва. Ишь какой заядлый методист! Спорю, что вы методистской веры.

— Нет, пресвитерианской.

— Ну, а еще какие помните?

— «Отходя ко сну, молюсь я...» — сказал Адам.

— Да, эта и еще «Иисус святой и кроткий...» Как видите, религиозное воспитание у меня тоже на высоте. Я даже такую молитву знаю, которая начинается «О Аполлон!» Хотите послушать?

— Нет,— сказал Адам.— Это вы шутите.

— Ничего подобного,— сказала Миранда.— Я стараюсь не заснуть. А засыпать боюсь, потому что могу не проснуться. Не давайте мне спать, Адам! Знаете? «Иоанн, Лука, Марк и Матфей! Ваш дозор мой сон согрей?» «Если я умру во сне, бог возьмет меня к себе». Это оттуда же? Нет, что-то не то. Дайте мне, пожалуйста, сигарету и отойдите и сядьте к окну. Мы все забываем про свежий воздух. Вам надо дышать свежим воздухом.

Он закурил и поднес сигарету к ее губам. Она подержала ее двумя пальцами и уронила на край подушки. Он схватил ее и притушил в блюдце под стаканом с водой. В голове Миранды все потемнело и поплыло, потом прояснилось, она, перепуганная, села на кровати, сбросила с себя одеяло, и ее прошибло потом. Адам испуганно вскочил с места и мигом поднес к ее губам чашку с горячим кофе.

— Вы сами выпейте,— сказала она ему, уже успокоившись, и, прислонившись друг к другу, они сидели на краю кровати и молча пили кофе.

Адам сказал:

— Ложитесь. Теперь вы не заснете.

— Давайте споем что-нибудь,— сказала Миранда.— Я знаю один старый-престарый спиричуэл, даже некоторые слова помню.— Теперь она говорила своим нормальным голосом.— Мне теперь хорошо.— И начала хриплым шепотом: — «Бледный конь, бледный всадник моего любимого унес!». Знаете эту песню?

— Знаю,— сказал Адам.— Я слышал, как негры пели ее в Техасе на нефтепромыслах.

— А я — на хлопковом поле,— сказала она.— Очень хорошая песня.

Они пропели эту строку на два голоса.

— А как дальше, я не помню,— сказал Адам.

— «Бледный конь, бледный всадник,— сказала Миранда.— (Нам бы еще хорошее банджо!) — моего любимого унес...» — Голос у нее прочистился, и она сказала: — Давайте дальше споем. Как там следующая строка?

— Там их много,— сказал Адам.— Не меньше сорока. Всадник уносит маму, потом папу, братца, сестренку и вообще всю семью, уносит и любимого.

— Но не певца. Пока нет,— сказала Миранда.— Одного певца. Смерть всегда оставит, чтоб было кому оплакивать. «Смерть,— запела она,— оставь певца, пусть плачет».

— «Бледный конь, бледный всадник,— затянул Адам ей в тон,— моего любимого унес!» (По-моему, у нас неплохо получается. Можем выступать с этим номером...)

— Идите в «Барачную службу»,— сказала Миранда.— Развлекайте несчастненьких беззащитных героев — *там,* за океаном.

— Будем себе на банджо подыгрывать,— сказал Адам.— На банджо мне всегда хотелось играть.

Миранда вздохнула, откинулась на подушку и подумала: «Надо сдаваться, больше я не выдержу». Была только эта боль, только эта комната и только Адам. Не оставалось больше ни разностей жизни, ни неразрывных нитей памяти и надежд, которые были туго натянуты между прошлым и будущим и держали ее между собой. Осталась только эта минута, и она была смутным ощущением времени, осталось лишь лицо Адама близко-близко к ее лицу, его глаза, застывшие, напряженные, и лицо его как тень, и больше ничего не будет...

— Адам,— сказала она из давящего мягкого мрака, который увлекал ее вниз, вниз.— Я люблю тебя, я все ждала, что ты тоже мне это скажешь.

Он лег рядом с ней, обнял ее за плечо, коснулся своей гладкой щекой ее лица, потянулся губами к ее губам и...

— Ты меня слышишь? Что же, по-твоему, я все пытаюсь сказать тебе?

Она повернулась к нему и сквозь растаявший туман увидела его лицо. Он натянул на нее одеяло, прижал к себе и сказал:

— Спи, милая, милая, засни хотя бы на час, а тогда я разбужу тебя и дам горячего кофе, а завтра мы найдем кого-нибудь, кто нам поможет. Спи, спи, я люблю тебя...

И, не отпуская его руки, она почти мгновенно канула в темноту, в сон, но это был не сон, а ясный вечерний свет в маленькой зеленой роще, в яростной, зловещей роще, полной затаившихся нечелове-

ских голосов, издающих пронзительные, как свист стрел, звуки, и увидела, как полет этих поющих стрел пронзил Адама, они ударили его в сердце и с резким свистом улетели дальше, пробивая себе путь сквозь листву. Адам упал навзничь у нее на глазах и тут же встал, живой, не раненный; очередной полет стрел, пущенных из невидимого лука, снова ударил в него, и он упал и снова поднялся невредимый в этом нескончаемом чередовании смерти и воскресения. Она кинулась загородить его, разгневанно и эгоистично встала между ним и дождем стрел, крикнув: «Нет, нет! — точно ребенок, обманутый в игре.— Сейчас моя очередь! Почему каждый раз умираешь ты?» И стрелы пролетели сквозь ее сердце и сквозь его тело, и он лежал мертвый, а она была все еще жива, а роща исходила свистом, пением и криком, и у каждой ветки, у каждого листа, у каждой травинки был свой собственный страшный, обвиняющий голос. Тогда она побежала, и Адам перехватил ее на бегу посреди комнаты и сказал:

— Я, должно быть, тоже заснул. Что случилось, родная? Почему ты так страшно кричала?

Он подвел ее к кровати, она села, подняв колени к подбородку, опустив голову на сложенные руки, и заговорила, старательно подбирая слова, потому что ей хотелось точно описать все как было.

— Вот странный сон! Сама не понимаю, почему он так меня напугал. Мне приснилось старинное любовное послание на Валентинов день. На картинке два сердца, вырезанные на стволе дерева и пронзенные одной стрелой... Знаешь, Адам, какие...

— Знаю, родная,— сказал Адам мягче мягкого и, сев рядом с ней, поцеловал ее в щеку и в лоб поцелуем привычным, будто целовал он ее так уже много лет.— Открытки с узорами из папиросной бумаги.

— Да, но эти сердца были живые, они были мы с тобой. Понимаешь?.. Я не так рассказываю, но что-то в этом роде было... Было в лесу...

— Да,— сказал Адам. Он встал, надел свой китель и прихватил термос.— Зайду еще раз в этот маленький буфет, возьму там мороженого и горячего кофе,— сказал он ей.— И через пять минут вернусь, а ты лежи тут смирно. До свидания. Я на пять минут,— сказал он, поддев ее подбородок ладонью и ловя ее взгляд.— Лежи тихо и смирно.

— До свидания,— сказала она.— Я теперь уже проснулась.

Но она не проснулась, и два бойких молодых врача из Окружной больницы, приехавшие за ней в санитарной машине после неистовых требований неугомонного редактора «Новостей Голубых гор», решили, что надо спуститься вниз за носилками. Их голоса разбудили ее, она села на кровати, тут же сошла на пол и ясными глазами посмотрела по сторонам.

— О-о, да вы молодцом! — сказал врач, тот, что был посмуглее и подороднее, оба такие деловитые молодые люди, оба в белых халатах, у обоих по цветку в петлице.— Да я сам вас донесу.

Он развернул белое одеяло и закутал в него Миранду. Она подобрала полы и спросила:

— А где же Адам? — уцепив врача за локоть. Он приложил ей руку ко взмокшему лбу, покачал головой и настороженно посмотрел на нее.

— Адам?

— Да,— сказала Миранда, доверительно понизив голос.— Он только что был здесь, а потом ушел.

— Он скоро вернется,— преспокойно ответил ей врач.— Пошел тут на угол за сигаретами. Об Адаме не беспокойтесь. Пусть это меньше всего вас тревожит.

— А он будет знать, где меня найти? — спросила она, все еще не двигаясь с места.

— Мы оставим ему записку,— сказал врач.— Пошли, нечего нам тут задерживаться.

Он подхватил ее и поднял к плечу.

— Мне очень плохо,— сказала она.— Сама не понимаю, отчего это?

— А что тут удивительного? — сказал он, ступая очень осторожно (другой врач шел впереди) и нащупывая ногой первую ступеньку лестницы.— Обнимите меня за шею,— велел он ей.— Вам это нетрудно, а мне будет гораздо легче.

— Как ваша фамилия? — спросила Миранда, когда другой врач распахнул дверь и они вышли на свежий морозный воздух.

— Хилдесхайм,— сказал он, будто ублажая малого ребенка.

— Так вот, доктор Хилдесхайм, правда, плохи наши дела?

— Да, безусловно! — сказал доктор Хилдесхайм.

Второй молодой врач, все еще свеженький и франтоватый в своем белом халате, хотя гвоздика у него начала вянуть по кончикам лепестков, сидел, наклонившись над ней, и выслушивал стетоскопом ее дыхание, негромко насвистывая «Долгий путь, вперед веди нас». Время от времени он дробно двумя пальцами постукивал ее по ребрам, а сам все насвистывал. Несколько минут Миранда наблюдала за ним и наконец поймала озабоченный взгляд его светло-карих глаз всего дюймах в четырех от своих собственных.

— Я пришла в себя,— пояснила она.— Я знаю, что мне надо вам сказать.

И тут же, к своему ужасу, услышала, что несет чепуху, понимает, что это чепуха, но не различает ни одного слова. Искра внимания в глазах, которые были совсем близко от ее глаз, погасла, врач продолжал свое выстукиванье и выслушивание и тоненько свистел сквозь зубы.

— Не надо свистеть,— четко выговорила она. Свиристенье прекратилось. И добавила: — Мотив уж очень противный.

Все что угодно, все что угодно, лишь бы удержать тоненькую связь с жизнью человеческих существ, во что бы то ни стало сохранить четкую линию общения между ней и отступающим от нее миром.

— Пожалуйста, я хочу повидать доктора Хилдесхайма,— сказала она.— Мне надо поговорить с ним об одном важном деле. И как можно скорее.

Второй врач исчез. Он не отошел, он совершенно беззвучно взлетел на воздух, а вместо него рядом с ней появилось лицо доктора Хилдесхайма.

— Доктор Хилдесхайм, я хочу спросить вас, где Адам?

— Вы про того молодого человека? Он был здесь, оставил вам записку и ушел,— сказал доктор Хилдесхайм.— А придет завтра и послезавтра.— Тон у него был слишком уж веселый и легкомысленный.

— Я вам не верю,— с обидой сказала Миранда, сжимая губы и зажмуриваясь, чтобы не расплакаться.

— Мисс Теннер,— позвал доктор.— Записка у вас?

Рядом появилась мисс Теннер, она протянула Миранде незаклеенный конверт, взяла его обратно, развернула записку и дала ей.

— Я ничего не вижу,— сказала Миранда после мучительных попыток разобрать строчки, наспех набросанные черными чернилами.

— Дайте, я прочту,— сказала мисс Теннер.— Тут вот что написано: «Пока меня не было, за тобой приехали и тебя увезли, а теперь к тебе не пускают. Завтра, может, пустят. Целую. Адам».— Ровным, сухим голосом, четко выговаривая каждое слово, прочитала мисс Теннер.— Ну вот, поняли? — спросила она уже мягче.

Вслушиваясь в эти слова одно за другим, Миранда их одно за другим и забывала.

— Прочитайте еще раз! О чем там? — крикнула она, стараясь одолеть лежавшую на ней тишину и дотянуться до приплясывающих слов, которые увертывались от ее прикосновения.

— Хватит,— спокойно и властно распорядился доктор Хилдесхайм.— Где ее койка?

— Койки пока нет,— сказала мисс Теннер, и это прозвучало как: «Апельсины кончились». Доктор Хилдесхайм сказал:

— Ну ладно, что-нибудь придумаем,— и мисс Теннер двинула узкую каталку со светлой металлической рамой и на резиновом ходу в глубокий закоулок коридора, подальше от мелькания белых фигур, которые скользили взад и вперед и бесшумно кружились, порхали, точно мошки над водой. Белые стены поднимались отвесно, как горные утесы, матовые лунные диски в полном спокойствии плыли по белой дорожке и один за другим беззвучно падали в заваленную снегом пропасть.

А что такое эта белизна и это молчание, как не отсутствие боли? Миранда лежала, тихонько перебирая расслабленными пальцами ворс одеяла, следя за танцем высоких медлительных теней, двигающихся за широкой ширмой из простынь, натянутых на раму. Это было здесь, совсем рядом с ней, на ее откосе стены, там, где она могла ясно все видеть и наслаждаться таким зрелищем, и это было так красиво, что она и не думала доискиваться до смысла происходящего. Две темные фигуры кивнули одна другой, нагнулись, присели в реверансе, отступили назад и снова нагнулись, потом подняли свои длинные руки и повели своими большими кистями по белой тени ширмы; потом единым круговым движением простыни были откинуты назад, и там показались два безмолвных человека в белом, которые стояли, и еще один безмолвный в белом, который лежал на голых пружинах белой металлической кровати. Тот, что лежал на пружинах, был с головы до ног ровно закутан во все белое, с перекрестом на лице и с большим узлом, который топырился у него на макушке, точно уши у веселого зайчика.

Двое живых подняли матрац, горбылем стоявший у стены, бережно, аккуратно положили его поверх мертвого. Безмолвные, белые, они исчезли в конце коридора, толкая перед собой кровать на колесиках. Зрелище это было увлекательное, и тянулось оно долго, но теперь кончилось. Следом за ним мертвенно-белый туман, крадучись, возник в коридоре и поплыл у Миранды перед глазами — туман, в котором спрятались и весь ужас, и все изнеможение, и все изуродованные лица, перебитые спины и переломанные ноги замученных, поруганных живых существ, и все разновидности их страданий, и отрешенность их сердец; в любую минуту туман мог растаять и спустить на волю орду человеческих мук. Она вскинула руки и сказала:

— Нет, только не сейчас, не сейчас!

Но было поздно. Туман рассеялся, и два палача, оба в белом,

двинулись к ней, умело, с поразительной ловкостью волоча уродливую фигуру старика в грязных отрепьях, жалкая бороденка которого трепыхалась у него под разинутым ртом, а сам он крючил спину и упирался ногами, сопротивляясь им и силясь отдалить уготованную ему судьбу. Пронзительным, рыдающим голосом он тщился втолковать палачам, что преступление, в котором его обвиняют, не заслуживает такой кары, но палачи шли, не останавливаясь, и только этот плачущий голос нарушал бесшумность их шагов. Грязные, потрескавшиеся ямки ладоней старика были умоляюще протянуты вперед, как у нищего, и он твердил:

— Богом клянусь, я не виноват!

Но палачи держали его под руки и тащили за собой и, миновав Миранду, исчезли.

Путь к смерти — длинная дорога, со всех сторон обложенная горестями, и после каждой беды сердце мало-помалу сдает, кости на каждом шагу бунтуют, дух начинает оказывать упорное сопротивление, но с какой целью? Преграды рушатся одна за другой, и как ни закрывать глаза, все равно не уйти от зрелища открывающейся перед тобой катастрофы, ни от следов преступлений, совершенных там же. По полю шагал доктор Хилдесхайм, вместо лица — череп под немецкой каской. Он нес голого младенца, корчившегося у него на штыке, и огромный каменный кувшин с надписью готическим шрифтом «ЯД». Он остановился у колодца, который, по воспоминаниям Миранды, был посреди пастбища на отцовской ферме,— у колодца, который считался пересохшим, а теперь пузырился живой водой, и бросил в его чистейшую глубину ребенка и яд, и взбаламученная вода бесшумно ушла в землю. Миранда закричала и, подняв руки над головой, с криком бросилась бежать; эхо подхватило ее голос и вернуло его волчьим воем: Хилдесхайм — немец, шпион, варвар, убей его, убей, пока он сам тебя не убил... Она очнулась, истошно воя; она слышала, как эти отвратительные, позорящие доктора Хилдесхайма слова срывались у нее с языка; открыла глаза и увидела, что лежит на койке в маленькой белой комнате, а доктор Хилдесхайм сидит рядом с ней, плотно держа два крепких пальца у нее на пульсе. Волосы у него лежали гладко, цветок в петлице был свежий. В окне сверкали звезды, и доктор Хилдесхайм смотрел на них, казалось, без всякого выражения, стетоскоп висел у него на шее. Мисс Теннер стояла в ногах кровати и что-то записывала на листке.

— Ну вот,— сказал доктор Хилдесхайм,— теперь по крайней мере вы разрешаетесь криком, а не вскакиваете с койки и не бегаете по палате.— С мучительным усилием стараясь держать глаза открытыми, Миранда увидела его грубоватое, терпеливое лицо, хотя в сознании у нее все снова пошатнулось, начало скользить, оторвалось от своей основы и стало крутиться, точно колесо, буксующее в канаве.— Нет, нет! Я не хотела. Я так не думаю, никогда не думала, доктор Хилдесхайм, вы забудьте...

И, не в силах дождаться его ответа, снова впала в забытье.

Зло, которое она причинила, не оставляло ее, преследовало во сне; оно принимало расплывчатые формы ужаса, которые она не могла ни определить, ни назвать, хотя сердце у нее сжималось при виде их. Сознание, расколотое на две части, в одно и то же мгновение признавало и отвергало увиденное, ибо ее трезвый, логический ум холодно наблюдал за тем, что делалось по ту сторону темной, недужной пропасти, за непостижимым исступлением другой половины, и отказывался признать достоверность этих видений, неотступность угрызений совести и безмерного отчаяния.

— Я знаю, что это ваши руки,— сказала она мисс Теннер.— Я знаю, знаю! Но они как белые тарантулы, пожалуйста, не дотрагивайтесь до меня.

— Закройте глаза,— сказала ей мисс Теннер.

— Нет, нет! — крикнула Миранда.— Тогда я вижу такое, что еще хуже!

Но глаза у Миранды сами собой закрывались, и полночь мук надвигалась на нее со всех сторон.

Забвение, думала Миранда, шаря среди своих воспоминаний и отыскивая слова, которыми ее учили описывать невидимое, непознаваемое. Забвение — это круговорот серой воды, крутящейся волчком целую вечность... Вечность, может быть, огромнее, чем расстояние до самой далекой звезды. Она лежала на узком уступе над пропастью, над бездонной пропастью, но не могла мысленно измерить ее глубину. Этот уступ возникал еще в ее детских снах предупреждением об опасности, и она изо всех сил прижималась к надежной гранитной скале у себя за спиной, не сводя глаз с пропасти и говоря себе: вот оно, вот оно наконец-то, и как все просто! А мягкие, округлые слова — вечность, забвение — это завеса, повешенная перед пустотой, и за ней ничего нет. «Я не узнаю, когда это будет, не почувствую, не запомню, так почему не примириться с этим сразу! Я погибла, надеяться мне не на что. Посмотри,— сказала она себе,— вот оно, вот она смерть, и страшиться ее нечего». Но примириться с ней она не могла, и по-прежнему всем своим скованным телом жалась к гранитной стене, к тому, что еще с детских лет казалось ей спасением, и, еле дыша, боясь, что дыхания не хватит, повторяла в отчаянии: «Посмотри, не бойся, это же ничто, это же только вечность!»

Гранитные стены, круговороты, звезды — это все вещное. В них нет ни смерти, ни облика ее. Смерть есть смерть, сказала Миранда, и в смерти мертвые обходятся без присущих всему живому свойств. Обреченная на молчание, она стала легко опускаться вниз, вниз, в глубины мрака, и легла камнем на самое дно жизни, зная, что не осталось у нее ни зрения, ни слуха, ни речи, не чувствуя собственного тела, отрешенная от всех людских попечений, и все-таки живая, все еще как-то связанная с жизнью. Все помыслы, все сомнения разума, все кровные узы и зовы сердца растаяли и оторвались от нее, осталась только крохотная, горящая жгучим огнем частичка бытия, которая лишь одну себя и знала, которая в одной себе и черпала силу и не поддавалась ни на какие уговоры, ни на какие мольбы, ибо вся состояла из одного-единственного побуждения, из упорного желания жить. Эта огненная, непоколебимая частица, ни от кого не ожидая помощи, сама боролась с гибелью, боролась за то, чтобы выжить, чтобы остаться в безумии своего существования, бессмысленного, ничем не объяснимого, помимо одной этой неизбывной цели. Верь мне, сказал этот немигающий, яростный огонек. Верь. Я не уйду.

И эта светящаяся точка пошла вширь, распласталась, делаясь все тоньше и тоньше, стала прозрачным сиянием и, точно огромный веер, изогнулась радугой, сквозь которую завороженная, безоглядно поверившая ей Миранда увидела глубину светлых просторов моря и песка, шелковистость лугов и неба, только что омытых и блистающих просветами голубизны. «Ну конечно, конечно!» — сказала Миранда, нисколько не удивляясь этому, а с тихой радостью, точно сбылось обещанное ей когда-то, на что она давно перестала надеяться. Она оторвалась от узкого уступа и легкими шажками побежала сквозь высокий портал величественной арки, которая вздымалась в

своем великолепии над пылающей синевой моря и зеленой прохладой лугов.

Маленькие волны шли неторопливо, накатывались на берег, без единого звука лизали песок и отходили вспять, травы клонились перед бесшумно налетающим ветром. Степенно, точно облака сквозь мерцание воздуха, к ней двигалась людская толпа, и Миранда с радостным изумлением увидела, что это все те, живые, кого она когда-то знала. Их лица, сияющие каждое своей особой красотой, преобразились по сравнению с тем, какими она их помнила, глаза были ясные, спокойные, как хорошая погода, и они не отбрасывали тени. Это были человеческие существа, каждое само по себе, и она знала каждого, не называя его по имени, не вспоминая, в каком родстве с ним состоит. Ступая бесшумными шагами, они окружили ее ровным кругом, потом обратили свои завороженные лица к морю, и она легко, как волна среди волн, двинулась вместе с ними. Влекомый течением круг расширился, разомкнулся, и каждый из них был теперь один, но не в одиночестве. Миранда, тоже теперь одна, ни о чем не спрашивая, ничего не желая в покое своего самозабвения, осталась там, где была, и не сводила глаз с необъятной глубины неба, где всегда стояло утро.

Подложив руки под голову, спокойно лежа в щедром тепле, которое ровным потоком шло с моря, с неба и с лугов, не досягая, хоть они и были в пределах досягаемости, безмятежно улыбающихся, таких знакомых ей существ, Миранда вдруг, совершенно неожиданно почувствовала в своей радости смутную дрожь опасения, чуть заметный укол страха; легкий морозец тронул края этого незыблемого покоя; чего-то, кого-то ей недоставало, что-то она утратила, что-то ценное оставила в другой стране. Но что же, что это может быть? «Здесь нет деревьев, нет ни одного дерева,— испуганно сказала она,— что-то у меня осталось недоделанным». Какая-то мысль забилась у нее в глубине мозга, ясно, точно чей-то голос зазвучал в ушах. «Где же те, мертвые? Мы забыли мертвых... Мертвые, где они?» И сразу, точно завеса упала над светлым простором, все там поблекло, она была одна в незнакомом царстве камней и лютой стужи, пробиралась по крутой тропе, по скользким снежным завалам и кричала: «Я хочу назад! Но в какую сторону идти?» Боль вернулась, страшная, всепоглощающая боль бушующим огнем растеклась у нее по жилам, в ноздри ей пахнуло смрадом тления, тошнотворным, сладковатым запахом разлагающегося мяса и гноя. Она открыла глаза и увидела сквозь плотную белую салфетку, прикрывающую ей лицо, белесый свет, поняла, что запах смерти исходит от ее собственного тела, и попыталась поднять руку. Салфетку убрали, она увидела мисс Теннер, которая привычной рукой умело наполнила шприц, услышала, как доктор Хилдесхайм сказал:

— Кажется, пойдет дело. Давайте повторим.

Мисс Теннер резко оттянула кожу у нее пониже плеча, и снова немыслимый поток боли огнем пронесся у Миранды по жилам. Она силилась крикнуть: «Пустите меня, пустите!» Но услышала только бессвязное бормотание звериной муки. Она увидела, как врач и сестра обменялись взглядами, точно сообщники, посвященные в некую тайну, и молча, понимающе кивнули друг другу, гордые своими достижениями. Потом бросили взгляд на дело рук своих и быстро вышли из палаты.

Перебивая один другой, сталкиваясь в перезвоне между небом и землей, все вразброд гудели колокола; звуки рожков и свистулек пронзительно вплетались в возгласы человеческого горя, зеленовато-желтая вспышка сверкнула в черном окне и затухла во мраке. Ми-

ранда очнулась от сна без сновидений и спросила, не ожидая ответа на свой вопрос: «Что случилось?» — потому что в коридоре слышались голоса, оттуда потянуло холодом; на улице не смолкали яростные крики, отдаленный гул, там словно буйствовали толпы народа.

В палате зажегся свет, и мисс Теннер проговорила осевшим голосом:

— Слышите? Люди празднуют. Перемирие. Война кончилась, милая.

Руки у нее дрожали. Она звякнула ложечкой в чашке, прислушалась, подала чашку Миранде. Из женской палаты для лежачих дальше по коридору донесся нестройный хор дребезжащих старческих голосов, затянувших: «Пою тебя, страна моя...»

Святилище свободы... ужасная страна в этом страшном мире, где ликующие голоса все равно что крики боли, где нищие безголосые старухи, сидя у себя на койках, дожидаются, когда им принесут вечернюю порцию какао, и поют: «Страна моя, святилище Свободы...»

— «И в рассветных лучах видишь звездный ты флаг?» — вопрошали их жалкие голоса, еле слышные сквозь заглушающий их бой металлических языков.

— Война кончилась,— сказала мисс Теннер, и нижняя губа у нее дрогнула, а глаза застило слезами.

Миранда сказала:

— Откройте окно, откройте, пожалуйста, здесь пахнет смертью.

«Если бы только снова засиял настоящий дневной свет — такой, каким я, помнится, видела его в этом мире, а то ведь теперь всегда только сумерки или предрассветная мгла, только обещание дня, которое никогда не исполняется. Что стало с солнцем? Эта ночь была самая долгая, самая тоскливая, и все же она не хочет кончаться, не дает, чтобы наступил день. Увижу ли я еще свет когда-нибудь?»

То, что она сидела у окна в шезлонге и видела, как блеклое солнце косо ложится на снег под небом, из которого вытекла вся голубизна, было уже само по себе печальное чудо. «Неужели это мое лицо?» — спрашивала Миранда у своего зеркала.

— А это мои руки? — подняв их, спросила она мисс Теннер и показала ей желтизну, как расплавленный воск проступившую между пальцами. Странное чудище человеческое тело! Где в нем поместиться? Можно ли в нем чувствовать себя как дома? «Неужели я когда-нибудь притерплюсь к такому обиталищу?» — спросила она самое себя. Лица вокруг казались ей тусклыми и усталыми, не было в них той лучистости кожи и глаз, какая жила у Миранды в памяти; когда-то белые стены палаты были теперь грязно-серые. Медленно переводя дыхание, засыпая и снова просыпаясь, чувствуя плеск воды на теле, принимая пищу, переговариваясь короткими фразами с доктором Хилдесхаймом и мисс Теннер, Миранда бросала украдкой враждебные взгляды по сторонам, точно чужак, которому немила страна, где он очутился, который не понимает ее языка, не желает ему научиться, не собирается тут жить и чувствует всю безвыходность своего положения, потому что покинуть эту страну не волен.

— Вот и утро,— со вздохом говорила мисс Теннер, уставшая и окончательно постаревшая за последний месяц.— Снова утро, милая.

И показывала Миранде все тот же однообразный пейзаж за окном, все те же хмурые вечнозеленые деревья и сизый снег. Отважно напудрившись, исполненная несокрушимого, как добрая сталь, мужества, она шуршала своими накрахмаленными юбками и говорила:

— Посмотрите, милая, какое божественное утро! Настоящий кристалл! — потому что привязалась к этому спасенному ею созда-

нию, к молчаливому неблагодарному человеческому существу, которое она, Корнелия Теннер, знающая свое дело медицинская сестра, собственными руками вырвала у смерти. «И все-таки уход за больным — девять десятых врачевания,— поучала мисс Теннер других сестер.— Не забывайте этого». Даже солнечный свет назначался Миранде для окончательного выздоровления по рецепту мисс Теннер, и вот она, больная, от которой врачи отказались, считая ее безнадежной, все же сидела тут и была явным доказательством правильности теории мисс Теннер. Мисс Теннер сказала:

— Посмотрите, милая, какое солнце! — словно говоря: «Оно вам специально прописано, милая, так что садитесь и принимайте его».

— Да, прелесть! — отвечала Миранда, даже поворачиваясь к окну и благодаря мисс Теннер за ее хорошее отношение, а больше всего за хорошую погоду.— Прелесть! Я всегда радовалась солнцу.

И могла бы и теперь порадоваться, подумала Миранда, если бы видела его, но вся беда была в том, что солнечного света она не видела. Его не было, его, может, никогда больше не будет — не будет такого, какой сиял над голубым морем, покоившимся у берегов ее рая. «То был ребяческий сон о прекрасных лугах, видение тишины, которое посещает усталое тело, забывшееся в дремоте,— думала она,— но я все это видела, не зная, что вижу во сне». Закрывая глаза, она давала себе минутный отдых, вспоминая блаженство, искупившее всю боль, выстраданную на пути к нему; открывая глаза, с новой мукой видела тусклый мир, в котором обречена теперь жить,— тот мир, где свет, кажется, опутан паутиной, все яркие поверхности изъязвлены ржавчиной, четкие плоскости размыты, обесформлены, все предметы, все существа лишены смысла. Все мертвое, увядшее, а мнит себя живым!

Ночью, устав от утомительного долгого сидения в шезлонге и скорбя о своей недавней победе, она лежала, сжавшись всем своим измученным телом, и плакала тихо, не стыдясь этих слез, печалясь о себе и о своей загубленной радости. А спасения нет. Доктор Хилдесхайм, мисс Теннер, диетические сестры на кухне, аптекарь, хирург — вся четко работающая больничная машина, все понятия и обычаи человеческого общества, будто сговорившись, взялись оживить этот мешок с костями и неотделимую от него изможденную плоть, поставить ее на ноги, привести в порядок помраченный ум и направить ее опять на верную дорогу, которая снова приведет к смерти.

Навестить больную пришли Чак Раунсиваль и Мэри Гордон; принесли сохраненную пачку писем на ее имя и корзину нежных оранжерейных ландышей, душистого горошка и перистого папоротника, и их осунувшиеся лица весело смотрели поверх цветов.

Мэри сказала:

— Здорово тебя прихватило, правда?

А Чак сказал:

— Но вы все-таки выкарабкались, а?

Потом, после неловкой паузы, они сказали, что все ждут, когда она снова появится за своим столом.

— Меня, Миранда, вернули обратно на спорт,— сказал Чак.

Ровно десять минут Миранда улыбалась и говорила, как радостно и как приятно вдруг обнаружить, что ты снова жива. Ведь не годится же нарушать конспирацию, колебать мужество живущих; нет ничего лучше жизни, с этим все согласны, тут и спорить не о чем, а тем, кто пытается опровергнуть эту истину, тем просто нет места среди нас.

— Вернусь к вам, и очень скоро,— сказала она.— Я уже почти выздоровела.

Письма кучкой лежали у нее на коленях и рядом на стуле. Время от времени она брала какое-нибудь, читала адрес, узнавала то один, то другой почерк, рассматривала погашенные марки и штемпеля и бросала конверты в общую кучку. Дня два-три они лежали на столике рядом с койкой, и ей не хотелось браться за них. «В каждом опять будут твердить, как приятно чувствовать себя живой и здоровой, в каждом будут писать, что любят меня и радуются, что я тоже живая, а что мне отвечать на это?» И ее закостеневшее, холодное сердце содрогалось, сокрушаясь над самим собой, потому что раньше ему была ведома и нежность и способность любить.

Доктор Хилдесхайм сказал:

— Это что же такое? До сих пор ни одно письмо не прочитано?

А мисс Теннер сказала:

— Прочитайте, милая, сейчас я их вам распечатаю.— Стоя рядом с ее койкой, она аккуратно вскрыла конверты разрезальным ножом. Прижатая к стенке, Миранда долго выбирала, брала то одно письмо, то другое и наконец остановилась на плоском конверте, надписанном незнакомым почерком.

— Нет, что вы! — сказала мисс Теннер.— Читайте по порядку.— Сейчас я буду их вам подавать.— Мисс Теннер села, готовая быть полезной до конца.

Какая это победа, какое торжество, какое счастье быть живой, хором пели все письма. Подписи были затейливые, точно завитушки рулад охотничьих рогов в воздухе, и все подписи тех, кого она больше всех любила или хорошо знала, кто был приятен ей или безразличен и раньше и теперь. Плоское письмо, надписанное чужим почерком, пришло от незнакомого человека из того лагеря, где был Адам, и в нем сообщалось, что Адам умер от инфлюэнцы в лагерном лазарете. Адам просил его, если что случится, обязательно известить ее.

Если что случится. Обязательно известить ее. Если что случится. «Ваш друг, Адам Баркли»,— писал незнакомый человек. И вот, случилось — она посмотрела на дату,— случилось больше месяца тому назад.

— А я ведь долго здесь пробыла? — спросила она мисс Теннер, которая складывала письма и рассовывала их по конвертам.

— Да-а, порядочно,— сказала мисс Теннер.— Но вас скоро выпишут. Только следите за собой, не переутомляйтесь, и будете приходить к нам на проверку, потому что осложнения бывают иногда позднее...

Сидя перед зеркалом, Миранда подробно выписывала:

«Один тюбик губной помады, не яркой, один флакон духов «Bois d'hiver» весом в унцию, пару серых замшевых перчаток с крагами, без ремешков, две пары серых чулок «паутинка» без стрелок...»

Горди, читавшая следом за ней, сказала:

— Что-то без чего-то. Такое, пожалуй, не найдешь.

— А ты все-таки поищи,— сказала Миранда.— *Без* гораздо лучше. «Трость серебристого цвета с серебряным набалдашником».

— Это обойдется не дешево,— предостерегла ее Горди.— Пожалуй, и ходить с такой не захочешь.

— Да, правильно,— сказала Миранда и приписала сбоку: «Хорошую трость в тон к другим моим вещам».— Попроси Чака, пусть он поищет. Красивую и чтобы не очень тяжелая. Лазарь, иди вон! Не выйду, пока не принесете мне мой цилиндр и тросточку. Ах ты, сноб! Тогда оставайся там, где ты есть. Э-э, нет! Сейчас изыду. «Баночку

кольдкрема,— писала Миранда.— Коробку пудры абрикосового оттенка...»

— И, Мэри, карандаш для глаз, по-моему, мне не нужен, как ты считаешь? — Она посмотрела на себя в зеркало и снова отвела взгляд.— Тем не менее, если мы проделаем все артистически, никому и в голову не придет оплакивать этот труп.

Мэри Гордон сказала:

— Пройдет неделя, и ты себя не узнаешь.

— Мэри, а как ты думаешь,— спросила Миранда,— можно мне будет поселиться в моей прежней комнате?

— Ничего проще быть не может,— сказала Мэри.— Все твои вещи мы собрали, и они хранятся у мисс Хобб.— Миранда в который раз удивилась, сколько времени, сколько хлопот уходит у них на то, чтобы помочь мертвецам. «Но теперь я не совсем уж мертвая,— заверила она себя,— теперь одна нога в здешнем мире, другая там. Скоро я одолею это расстояние и окажусь снова дома. Свет покажется мне настоящим, ярким, и я буду радоваться, когда услышу, что кто-то, кого я знаю, спасся от смерти. Я навещу уцелевших, и помогу им одеться, и буду говорить, какие они счастливые и какое счастье, что у меня их не отняли. Скоро придет Мэри с моими перчатками и с тростью, и мне пора уходить, надо пойти проститься с доктором Хилдесхаймом и с мисс Теннер. Адам,— сказала она,— теперь тебе уже не придется снова умирать, но все же как бы мне хотелось, чтобы ты был здесь; мне бы хотелось, чтобы ты вернулся, потому что зачем же, по-твоему, вернулась я, Адам, неужели затем, чтобы так обмануться?»

И вот он был рядом с ней, невидимый, но так настойчиво сущий, призрачный, но живой, не то что она,— последний нестерпимый обман ее сердца, ибо зная, что это ложное, она все же цеплялась за эту ложь, за непростительную ложь ее горькой мечты. Она сказала:

— Я люблю тебя,— и встала, дрожа всем телом, пытаясь одним усилием воли увидеть его.— Если б я могла вызвать тебя из могилы, я бы вызвала,— сказала она,— если бы я могла увидеть твой призрак, я бы сказала: верую... Верую,— проговорила она вслух.— О, дай мне увидеть тебя еще хоть раз!

В палате было тихо, пусто, тень ушла, вспугнутая ее резким движением, произнесенными вслух словами. Она пришла в себя, будто очнувшись от сна. Нет, нет! Так нельзя, так никогда не надо делать, мелькнула у нее предостерегающая мысль. Мисс Теннер сказала:

— Такси вас ждет, милая. А вот и Мэри. Можно идти.

Нет больше войны, нет больше эпидемии, только оцепенелое безмолвие, наступающее после того, как замолчали пушки; притихшие дома со спущенными шторами, пустынные улицы, холодный, мертвенный свет завтрашнего дня. Теперь времени хватит на все.

■

Молодые поэты Кубы

■

С испанского

РАУЛЬ РИВЕРО

Живая история

Мой друг Оскар Гарсиа смотрит с экрана в зал
«Мы победим» говорит плакат
который он держит в руке.

Рядом со мной посапывает мальчишка
для которого эта целлулоидная хроника
так же далека как для нас
старая лента времен свержения Мачадо [1]
где таращат глаза в объектив
изумленные головы в канотье
горят автомобили а в лицах бегущих людей
робкий восторг и удивление.

Мой друг Оскар Гарсиа выходит из поезда
и шагает по булыжной мостовой
гордый словно конкистадор.
Но с ним не войдет в чужой дом насилие
ему не нужны сокровища.
Свое нехитрое богатство
он делил с крестьянской семьей
что живет у Пещеры Индейца
на севере Камагуэя почти у границы с Лас-Вильяс.

Он оставил тем людям свет
озаривший таинство книг
а еще частицу своей любви к Революции
и в придачу год своей жизни.

[1] В августе 1933 г. в результате мощного народного движения на Кубе был свергнут диктатор Мачадо.

Мой друг Оскар Гарсиа движется прямо на нас
смотрящих из зала как Гавана встречает героев.
Поворот объектива — и уже на экране
новые лица близких кому-то людей.

Больше не видно Оскара
люди сидящие рядом не знают
что с ним было потом и где он теперь
а я знаю: он мне сказал
что вечером был у Сораиды
что любит ее и что снова
готовится в путь.

Кончилась лента-праздник
и будут долгие будни.

Но однажды Оскар Гарсиа
приедет в Гавану в отпуск
после долгих дежурств и собраний
учтенных в морщинках у глаз.
Пусть не будет юпитеров
и не будет тех ярких плакатов
я приду к остановке автобуса
чтобы крепко обнять друга.

Перевод О. ОСТРОВСКОГО

КАРЛОС МАРТИ БРЕНЕС

Лагерь в горах

Дремлют возле гамаков и рюкзаков
облака, плывут туманом белым,
обдают холодным, влажным светом,
вызывая изморосью астму,
пеленой окутывая Сьерру.
Я читал письмо и слышал
голос мамы.
Видится мне в зарослях отец,
пробирающийся дикою тропою,—
на лице суровом тень печали.
Я ищу глазами братьев в полумраке леса
на турбазе.
Жадно я глотаю воздух
колкий,
влажный
и мятежный,—
он всегда у нас за рюкзаками!
А мой голос из окоченевших легких —
это голос
в хоре молодежи, что поет в горах,
пением обогревая лагерь.

Перевод Гр. КИКОДЗЕ

ЭЛИСЕО АЛЬБЕРТО ДИЕГО

Мой сосед приглашен на трибуны в день
Комитетов защиты революции

■

Нене Перес посвящается

Игнасио, мой сосед, участник подпольной борьбы.
Аптекарь по профессии, он бомбы начинял карающим
огнем, который настигал повсюду
палачей моего народа. Молчаливый
и нерешительный с виду, Игнасио покупал
газеты и с гордостью читал последние известия:
заголовки трусливо обходили молчанием
громогласные факты возмездия. А в это время
Нена, жена Игнасио, в тихом подвале аптеки
кормила скрывавшихся от охранки студентов.
Сегодня Игнасио претворяет в жизнь такой
замечательный лозунг: «В каждом квартале — сад!»
Молчаливый, нерешительный с виду аптекарь, изготовитель
тех праведных бомб, превращает цветы в букеты знамен,
а садоводство — в радостное знамение
будущего.

Перевод О. ОСТРОВСКОГО

ФЕЛИКС ЛУИС ВИЕРА

Начало

1

Мы прибыли из разных дальних мест.
Мы незнакомы,
ничего не знаем друг о друге.
Нас много, мы — пчелиный рой.
Рассвет.
Блестит роса
на лицах,
она еще жива на листьях тростника.
Там, в поле, сходятся
все главные пути —
в зеленом и прекрасном, как верная надежда,
тростнике.

2

Мы незнакомы, но собрались все вместе
и кру́гом обступаем человека,
в котором мы признали
бригадира.

3

Нас бригадир знакомит с коренастым стариком,
в чьем ведении сетки от москитов,
уборка, номерные койки,
кувшины с тростниковым соком
и разное другое.

По бригадиру видно, что он всех ловчее,
что рубит больше всех и дальше всех проходит,
что после всех уходит с поля,
что требователен и делит труд точнехонько,
как апельсин на дольки,
что неспроста назначили его.
Поэтому достаточно простых и кратких слов,
чтоб все охотно подчинились
его суровой доброте
и с ним срослись, как с собственною кожей.

4

Теперь все по местам!
Всем взять мачете
и рубить тростник!

5

Жаль тех, кто в будущем не сможет рассказать
об этой битве.
Жаль тех, кто вынужден был пропустить
такой этап
на жизненном пути.
Кто усомнится в том, что эти люди
в поту, как росные цветы,
войдут в чудесную историю моей Отчизны?

Перевод Гр. КИКОДЗЕ

СОЛЕЙДА РИОС

Ночь в горах Сьерра-Маэстра

Ветви итамо полнятся родниковым соком
лунный свет очертил силуэты влюбленных
горцы шагают по склонам Сьерры
отвоеванной тропой.

Не шелестят кроной привидения-хигвы
притаились дикие кошки
то вспыхивают в ночи то гаснут
колокольцы дальнего стада.

Стрекочут цикады. А бабушка Видалина
век свой прожившая здесь на ранчо
впервые своей рукой написала
«солнце» и стало светло.

Сон спустился ночным туманом
но не спят часовые Революции
люди в сине-зеленой форме.

Отныне не будет ни одной птицы в неволе
и летит токороро к высокой сосне.

А в древнем Ущелье Ведьмы
гигантской веной
набухает южная река.

Перевод О. ОСТРОВСКОГО

ОСВАЛЬДО НАВАРРО

От берега до берега

Мы пели по́д вечер
не песни грусти,
а радостную румбу,
что вроде гимна,
когда в тугие барабаны
бьют торопливо руки.

От берега до берега
метался легендарный перестук —
сигнал к восстанию.
Нам сейбы раскрывали своды,
и грохотал призыв под их ветвями.
От барабана к барабану
он возвещал о близкой битве.

Так конники, вернувшись с поля боя
и вынув ложки и мачете,
бряцают, будто это — чистый звон
клинков, что высекают искры
и зажигают вечер.

Мы отбивали музыку
на ящиках из-под гранат.
Мы были в этот вечер
снова на переднем крае.

Перевод Гр. КИКОДЗЕ

РЕЙНА МАРИЯ РОДРИГЕС

Когда я на посту

Я охраняю мир безмолвия
сплетенный кружевом сна
по теплой ладони тротуара
ко мне приходят деревья
и одиночество отступает
приняв их за привидения.

Ветер прощупал стены
все двери надежно закрыты
и только в моем сердце
допоздна задержался
непрошеный гость.

Ночь с петушиного эха
переходит на шепот клумбы:
Надежнее стен и ставней
два зрачка недреманные стражи
охраняют уснувший мир.

Перевод О. ОСТРОВСКОГО

■

НАШ СОВРЕМЕННИК

Обсуждаем произведения, опубликованные в «Иностранной литературе»

Недавно в редакции журнала состоялся «круглый стол» на тему «Образ современника в литературе социалистических стран». В его работе приняли участие писатели, литературоведы, критики. В центре внимания выступавших были в основном произведения, опубликованные на наших страницах в последнее время, в том числе «Полная чаша» Андрея Плавки, «В ладье Харона» Дюлы Ийеша, «Переплывешь реку...» Юлиана Кавалеца, «Гнездо аиста» Яна Козака, «Барьер» Павла Вежинова.

«Тема, которая вынесена сегодня на обсуждение,— сказал, открывая встречу, главный редактор журнала Н. Т. Федоренко,— для нас чрезвычайно ответственна: что бы мы ни печатали, ни читали, главным остается наше время, герой этого времени, наш современник».

Публикуем выступления участников «круглого стола».

ЮРИЙ БОГДАНОВ

Кандидат филологических наук. Основной автор книги «История словацкой литературы XIX—XX вв.», автор многих статей по литературе Чехословакии, теории социалистического реализма.

Наверное, будет уместно сказать вначале несколько слов в одобрение инициативы журнала «Иностранная литература». В самом деле, у всех нас, многолетних подписчиков, накопилось порядочно и чисто читательских впечатлений, и всякого рода частных и более общих наблюдений, неизбежно возникающих «на полях» профессионального сознания при знакомстве с теми или иными новыми публикациями. Чаще всего эти импульсы сиюминутного сопереживания затухают втуне, в лучшем случае оставаясь индивидуальным достоянием каждого: одному понравилось, другому не очень, третий вообще не дочитал до конца... Так всегда было, да и вряд ли когда-нибудь будет иначе. Многообразие литературы, естественно, ориентировано и на многообразие читательских вкусов. И все-таки...

Все-таки время от времени каждому, вероятно, хочется поделиться впечатлениями от прочитанного, проверить, «объективизировать» свое восприятие книги, поставить

ее в некий уже существующий ценностный ряд. Беседа за «круглым столом» и есть, пожалуй, одна из наиболее оперативных, а значит, и подходящих форм коллективного обсуждения предварительных соображений; это своего рода информация к дальнейшим размышлениям без попыток сформулировать «окончательные» приговоры и без чересчур обязывающих выводов.

Тема сегодняшнего обсуждения запрограммирована редакцией с преимущественным вниманием к пяти недавно появившимся на страницах «Иностранной литературы» произведениям. Поле для обмена мнениями выбрано, следовательно, достаточно широкое, поэтому позвольте и начать с некоторых самых общих и как бы очевидных соображений.

При всем жанровом несходстве этих книг, естественных различиях в материале и характере творческих решений им присуща исходная, хочется сказать, методологическая близость в трактовке человека и его миссии на земле. Собственно, лишь на этом уровне абстракции и можно говорить об единстве образа современника в социалистической литературе. Индивидуальное бытие предельно, общечеловеческое, то есть общественное, имеет, по выражению социологов, продолженный характер. В чем же смысл индивидуальной жизни? Существует ли органическая связь между общим и частным, особенным? Каковы характер и качество этой связи?

Большая литература всех времен и народов неизменно задавалась этим главным вопросом и в духе гуманистической традиции отвечала на него все более полно и развернуто. Но нам не надоедает перебирать конкретные варианты ответов, потому что каждое новое поколение по-своему ищет и реализует себя в истории. К тому же в бесчисленных зигзагах житейского существования пробиться к истинному смыслу жизни удается далеко не каждому человеку. Литература же, постоянно напоминая об этом, зовет к самосознанию каждого; она борется за раскрытие потенциальных ресурсов личности, за максимальное наполнение бытия человека позитивным, созидательным содержанием.

Одновременно речь идет и о создании надлежащих благоприятных условий для реализации личности, то есть об устройстве человеческого общежития, общественного бытия. И здесь, при всех индивидуально окрашенных вариантах ответов, писатели социалистической ориентации сходятся: именно социализм, пробуждая широкие массы к духовной, гражданской жизни, открывает реальную перспективу достижения принципиальной гармонии интересов отдельного человека и общества. Индивидуальная активность — в идеале — должна естественно аккумулироваться в энергию «продолженного» человеческого бытия, способствовать общественному прогрессу.

С этой точки зрения по крайней мере книги обсуждаемые сегодня, дают четыре своеобразных художественных решения главной проблемы, волнующей современников: перед нами философское (Ийеш), историческое (Плавка), социальное (Козак, Кавалец), нравственное (Вежинов) осмысление бытия. Конечно, эти доминанты не существуют ни в одном из упомянутых произведений в чистом виде; понятна и условность подобной классификации, но такое заострение помогает осознать множественность возможных подходов социалистической литературы к исследованию человека нашего времени.

Последнее положение представляется особенно важным. Ведь до сих пор противники социализма любят порассуждать о неизбежной унификации социалистической культуры, о нивелировании личности. Между тем литературы стран победившего социализма с каждым десятилетием, не теряя своего особого, национального облика, становятся все более богатыми своим внутренним, общезначимым человеческим содержанием. В этом смысле художественное творчество 70-х годов сделало несомненный шаг вперед, точнее, вглубь в освещении социалистической действительности. Идея исторического самоопределения человека, служившая, пожалуй, главным двигателем художественного прогресса на первом этапе послевоенного развития культуры социалистических стран, в условиях сформировавшегося социалистического общества все отчетливее выступает как идея нравственного самоопределения личности. Общество, вступившее на порог зрелого социализма, стало несомненно сложнее, дифференцированнее общества предшествующего периода. В освоении этого закономерного прогрессивного усложнения жизни, связанного с возрастающей значимостью человеческой личности, с выявлением ее индивидуальной неповторимости, заложены безграничные возможности идейно-художественного многообразия литературы социалистического реализма.

Подходя ближе к предмету нашего дальнейшего обсуждения, следует, вероятно, подчеркнуть еще одну важную особенность, характерную для нынешнего этапа развития литературы. Кстати говоря, она в высшей степени свойственна всем пяти произведениям. Речь идет о новом качестве исторического видения, находящем яркое выражение в литературе последнего десятилетия. Общее оптимистическое мироощущение социалистических писателей, чувствующих себя законными представителями прогрессивной общественной формации, уже не порождает картин автоматического (или романтически волевого) разрешения реальных противоречий жизни. Литература не столько стремится к «обязательным» ответам, сколько к обязательной постановке назревших вопросов

«— Отчего это, хочу я спросить, даже хорошее и то норовит испортиться, тогда как всяк человек хотел бы только перемену худого на лучшее? Когда каждый горой стоит за хорошее, так что даже и среднее-то готов пристегнуть к хорошему!

— А хорошего все-таки больше становится».

Этот диалог двух старцев в одной из ключевых глав книги Ийеша чрезвычайно симптоматичен именно для сегодняшнего дня социалистической литературы. Современный писатель, говоря словами Кавалеца, «знает, что истина частенько одета в дерюгу, что с виду она сплошь и рядом угловата, неказиста. Он знает также, что путь, ведущий вверх, нелегок, что в прогресс надо вкладывать силы, что переход от низшей формы к высшей не всегда совершается с веселой песней — часто ему сопутствует трагедия; и порой человек разрывается на кусочки, какую-то часть своей души оставляя возле старого, истертого ногами многих поколений порога. и к лучшей жизни идет, остро ощущая свою потерю». Мне думается, что в этих словах польского писателя удивительно верно схвачено одно из главных измерений социалистической литературы наших дней: ее строгий, серьезный, осознанный историзм, в котором и заключается подлинный оптимизм нашей эпохи.

ЮРИЙ СУРОВЦЕВ

Критик и литературовед, автор ряда книг, в том числе «О поэтах и поэзии», «Юхан Смуул. Очерк творчества», «Поэзия Миколы Бажана. Критический очерк», «В лабиринте ревизионизма», многих статей по советской многонациональной литературе, теории литературы и эстетике.

Разрешите мне говорить не столько о произведениях, где живет и действует наш современник, сколько о проблемах, для изучения которых произведения и характеры персонажей — как бы «строительный материал».

Проблема общности литератур стран социалистического содружества — о ней, очевидно, первое слово, первая наша мысль, это ведь она дает основу, объективную почву и объективное мерило для различных конкретных анализов и сопоставлений. Надо с сожалением сказать, что довольно широкое распространение сейчас в критике и даже в научных работах получил способ рассуждать об этой общности, который я бы определил как способ сопоставления о т д е л ь н ы х п р и м е р о в. Вовсе не безосновательны чаще всего такие сопоставления, вовсе нет! Но они не укоренены в почве, не вырастают из нее. Научный подход никоим образом не сводится к подобной легко отыскиваемой «индукции», он— в диалектике движений мысли от общего к частному и от частного к общему, в их синтезе. Но чтобы добиться синтеза, надо как минимум изучить, исследовать, знать общее. Изучаем ли мы его должным образом? Не уверен, что изучаем именно так.

Основания для сопоставлений конкретных произведений отыскать бывает всегда нетрудно. Ну, скажем, возьмем и построим такой ряд произведений: «В ладье Харона» Дюлы Ийеша, воспоминания Андрея Плавки, «Человек и время» Мариетты Шагинян (кстати, об этом выдающемся произведении мемуарно-философской прозы наша критика пока ничего серьезного и веского не сказала], «странные книги» последних лет Валентина Катаева (вначале они, может быть, и производили на иных критиков ошеломляющее впечатление, теперь, поумнев и попривыкнув, мы, наверное, должны к слову «странные» поставить кавычки, не так ли?). Объединить эти книги можно и по принципу жанровому — мемуары, воспоминания; и по стилевому — свободная эссеистская интонация с философскими сквозными мотивами; и, прошу прощения. по соображениям авторского возраста — авторам, прожившим долгую жизнь, есть что вспомнить людям в поучение. И вот, объединив по законным соображениям книги этих авторов, мы таким образом не только мало что объясним в индивидуальной целостности каждой (а книги значительны, и утерять их индивидуальную целостность—значит «утерять» целые человековедческие миры!), но и типологичность, открываемую. иным ракурсом, иным подходом — назову его социально-историческим, — не почувствуем. А она есть, и она существенна. Читая Ийеша и Плавку, мы обязательно ощутим некую «переходность», «рубежность» их восприятия мира, эта «рубежность» (стык буржуазных времен и времен новых, времен социалистического созидания, сравнение «вчера» и «сегодня»)—не просто одна из тем, один из предметов их интереса, это еще и угол видения, внутренняя музыка обновленной авторской души. У Катаева и у Шагинян, хотя они много пишут, часто возвращаются в годы нашего, советского перехода к социализму, созидания его основ, угол видения, музыка души иные; их произведения внутренним пафосом своим характерны именно для этапа зрелого социализма, уже много лет развивающегося «на собственной основе». Эта формулировка (из партийных наших документов, из новой советской Конституции) относится не только к социально-экономическим и политическим сферам жизни. но и к непосред-

ственному бытию личности, к закономерностям и типологическим особенностям жизни души, а человеческая душа и отражается икусством, и создает искусство.

Социализм, его художественная культура в частности, знает определенную динамику этапов развития (это касается и развитого, зрелого социализма). Раз так, нужна прежде всего социально-историческая основа в наших литературных сопоставлениях разнонациональных произведений. Страны социалистического содружества сейчас все ближе подходят к этапу развитого социализма, теми или иными сторонами жизни, «участками» жизни вступают в него. Социалистическая литература этих стран не плетется в арьергарде жизни, но, судя по всему, она не хочет давать и такое опережение, которое наносило бы ущерб реалистичности, правде изображения конфликтов, проблем и современных характеров. Повторение «наших» 30-х годов? Нет. К тому же учтем огромное, поистине огромное значение общего литературного фонда, создаваемого взаимными переводами в рамках содружества, осознанное и неосознанное воздействие его на нынешние литературные поиски едва ли не в каждой социалистической стране. Тема эта особая, здесь же хочу подчеркнуть снова — если уж и заниматься сопоставлениями отдельных произведений, то характерными они, эти сопоставления, будут в двояком отношении: есть смысл сравнивать сегодняшние книги авторов из социалистических стран с нашими сегодняшними книгами. есть еще социально-исторический смысл сравнивать их и с нашими книгами тридцатых годов. Общее и особенное станет яснее из-за такого двойного освещения.

Мы, советские читатели, обнаружим тогда — при достаточно широком выборе сравниваемого, а не вырванности отдельных примеров из контекста,— что все больше книг, создаваемых в социалистических странах, не воспринимается как некие «чужие» произведения, они — и для нас и словно о нас по своей нравственной содержательности, социально-психологическому типажу, не говоря уже о стилевых параллелях (движение элементов художественной формы и их стилевых совокупностей — тоже вопрос особый, и поскольку «материал» этого вопроса относительно самостоятельный, постольку и разбирать вопрос этот следует специально). Ощущение «своего» (родного) и «чужого» (хотя вполне возможно — нужного тебе, важного для тебя) — существенный психологический момент в изучении литературных взаимосвязей (различных степеней единства). Я не углубляюсь, конечно, в эту проблему, чувствую, что и так довольно далеко ухожу от непосредственной цели нашего разговора. Но так ли уж далеко я уйду, если скажу, что произведения Канта, Кавалеца, Вежинова, Плавки, Мештерхази, напечатанные у вас, в «Иностранной литературе», или «Доктора Мелузина» Ржиги, «Франциску Линкерханд» Райман, «Половодье» Ивасюка я прочитал как книги свои, родные. А вот, допустим, отлично написанные, тоже отлично написанные произведения Шарль-Ру «Адриена», «Такой была наша любовь» Сюзини воспринял как нужные для себя, но чужие, все-таки чужие мне, и не одной лишь изображаемой жизнью (вот ведь, читая «западноевропейские» части романа-исповеди Брошкевича, такого не чувствуешь), а самой психологической атмосферой, музыкой души в этих книгах.

С другой же стороны, повторяю, было бы важно и поучительно провести сравнение с советской литературой периода строительства социализма в нашей стране. Тут есть и прямо напрашивающиеся конкретные параллели (тематически проблемные прежде всего) — хотя бы «Гнездо аиста» Яна Козака и «Поднятая целина» Шолохова, «Переплывешь реку...» Юлиана Кавалеца и «Люди из захолустья» Малышкина. Но надо взять сравнение шире и исторически, в большей степени социально укоренив их. Тогда и закономерность сходств будет яснее, и закономерность отличий: в каком-то социологически структурном смысле (в том числе в структуре культуры) напоминая наши «тридцатые», литературы социалистические отнюдь не повторяют их: мир другой, условия завершения строительства социализма другие, содружество социалистических культур действенно проявляет себя по отношению к каждой, «век НТР» тоже дает знать о себе, ну и так далее.

И последнее, о чем я хочу сказать здесь. Меня не убеждает и даже несколько раздражает, когда формулируют тему обсуждения так: «Образ современника в литературах социалистических стран». Странное это единственное число, образ (один?!) современника. А литературы как раз сейчас особенно стремятся раскрыть, понять, объяснить и пропагандировать, утверждать в сознании читателей многокрасочность спектра образов современников. Не одна только концентрация, но и дифференциация типических характеров волнует писателей. Конечно, и тяга к созданию широкообобщающих «типов эпохи» существует. Но опять-таки — «типов эпохи»! Думаю, что тут вольно или невольно действует и пример вершинных образов советской литературы — сколько этих «типов эпохи» есть и у Горького, и у Шолохова, и у Леонова. Современные наши писатели, как их коллеги из социалистических стран, учатся у классиков социалистической и досоциалистической литературы многому, но сегодня, пожалуй, особенно напряженно и явно — антисхематизму, умению дать типичное, дать смысл отражаемой жизни в антисхематических, разнообразных формах.

Отсюда, может быть, и общий интерес к условным, фантастичным элементам, вводимым во вполне реалистические повествования (я говорю о прозе, в поэзии же это уж совсем естественно, правда?),— вспомним Айтматова, вспомним «хозяина острова» у Распутина в «Прощании с Матёрой», комикующую фантасмагорию у украинца Дрозда в повести «Ирий», такие же моти-

вы в прозе Радичкова, Зегерс, Вольф; вспомним возрождение и сегодняшнее преломление мифических, легендарных сюжетов, да, сюжетов целых книг—«прямая» параллель: роман Лайоша Мештерхази о Прометее и Геракле и роман Отара Чиладзе об аргонавтах и древней Колхиде.

Конечно, надо упомянуть и нашумевшую у нас повесть Вежинова. О ней много разговоров у читателей. Скажу коротко: повесть мне кажется очень интересной, и отнюдь не смущают меня необычные способности героини, как не смущают они и моего постоянного корреспондента работника шахты из Дзержинска Донецкой области Лементаря. Мы с ним уже несколько лет переписываемся, и вот в недавнем письме своем, где он делится впечатлениями о прочитанном (а читает он невероятно много), он резонно заметил: «Знаем, знаем, зачем нужно, чтоб она летала... Чтоб он свою приземленность увидел. Да к тому же все ли способности человеческие мы знаем уже сейчас до конца?» Присоединяясь к сказанному, добавлю одно: единственное, что меня смутило у Вежинова, это нотка, видимо оправдываемого автором, антирационализма, оправдываемого тем, что якобы рациональность современного человека сродни эгоизму. Но зачем же сухость души, бедность души, а тем более своекорыстие духовное, неспособность понять боль, талант, необычность другого связывать с рационалистичностью?

А ведь есть такое поветрие в сознании иных писателей...

Ушел ли я этим своим последним замечанием в сторону от темы, от «образа современника»? А может быть, напротив, приблизился к ней?

СВЕТЛАНА ШЕРЛАИМОВА

Доктор филологических наук, автор монографий «Витезслав Незвал», «Чешская поэзия XX века (двадцатые и тридцатые годы)» и ряда других статей по современной литературе и критике европейских социалистических стран.

«Иностранная литература» широко печатает произведения писателей европейских социалистических стран, что отвечает интересам наших читателей и объективно отражает рост удельного веса литератур этих стран в современной мировой литературе.

Произведения, которые мы сегодня обсуждаем, в художественном плане действительно очень разные. Как несхожи между собой, например, написанные в мемуарном жанре «Полная чаша» Плавки и «В ладье Харона» Ийеша! Для Ийеша мемуарный материал всего лишь один из элементов, один из приемов в сложном художественном исследовании вечных вопросов о жизни и смерти. В этом произведении соседствуют заметки дневникового характера, эссеистские экскурсы в историю философии и литературы, странички воспоминаний и живые зарисовки народных типажей. Ийеш — большой поэт, чью юность озарила навсегда оставившая в нем след Венгерская социалистическая революция 1919 года; интересный мыслитель, он также и участник движения «народных писателей» 30-х годов, автор «социографической» книги «Люди пусты» (1936), описывавшей жизнь венгерских крестьян-бедняков. «В ладье Харона» отражает разные грани писательского таланта Ийеша: здесь и поэтические этюды, и социографический анализ, например, размышление о сегодняшних индивидуальных виноградниках. На философские вопросы бытия Ийеш смотрит сквозь призму своего богатейшего опыта, сопоставляет настоящее с прошлым, стремясь вывести какие-то общие закономерности жизни

Плавка — тоже крупный поэт, в его творчестве особенно ярко запечатлелись беспредельная любовь к родному краю и память о Словацком национальном восстании 1944 года — он был его участником. На протяжении многих лет Плавка входит в руководство Союза словацких писателей, председателем которого он сейчас является. По поводу «Полной чаши» Плавка писал: «Я не собираюсь в своих воспоминаниях ни анализировать деятельность Союза словацких писателей, ни перечислять мероприятия и давать им оценку, ни писать лирическую — или нелирическую — хронику, отмечая события в их последовательности. Те события, которые запечатлелись у меня в памяти и имели хоть какое-то отношение к моей жизни, просятся на перо и, может быть, оттесняют другие, объективно более значительные — но я не виноват если эти последние не оставили в моей душе сколько-нибудь глубоких следов» С точки зрения жанра «Полная чаша» — мемуары в собственном смысле этого слова. Автор вводит в текст документы: отрывки из выступлений, статей, свои стихотворения запечат-

левшие пережитое и перечувствованное. Это обстоятельный и искренний рассказ о времени, о себе, о товарищах — книга по своему характеру, форме, стилю совсем иная, чем «В ладье Харона» Ийеша.

Также и каждая из книг, обсуждаемых сегодня, «в своем роде» не похожа на остальные. Но тем не менее в литературе социалистических стран явственно проступают общие моменты, относящиеся в первую очередь к сфере содержания и обнаруживающие себя в произведениях различных жанров и форм. Наверное, Суровцев прав, что точнее было бы говорить не об «образе», а об «образах» наших современников, ибо они весьма существенно различаются не только в разных национальных литературах — в зависимости от культурных традиций и прочего, но и в пределах литературы одной страны — в зависимости от позиции, мироощущения писателя, от его принадлежности к тому или иному поколению, а также и от жанра конкретного произведения. Скажем, Владимир Зарев и Павел Вежинов — болгарские писатели, но, конечно же, автор «Дня нетерпения», родившийся после окончания второй мировой войны, во многом видит мир иначе, чем автор «Барьера», вступивший в литературу еще в 30-е годы. И все же мне представляется, что в определенном смысле об образе нашего современника можно говорить и обобщенно.

Отличительная черта многих крупных произведений последнего времени в литературах социалистических стран — плодотворное, творческое беспокойство о том, каков есть и каким должен был бы быть человек нового, социалистического общества. Это поистине живой нерв литературы, связывающий ее с новыми процессами в реальной действительности и помогающий ей установить контакт и взаимопонимание с читателем. Литература отнюдь не пытается выработать «эталон» современного человека, но в ней идет напряженный поиск актуальных гуманистических ценностей, тех качеств, которые на современном этапе особенно необходимы.

К примеру, целый ряд книг очень остро ставят сейчас проблему «человек и его работа». Разумеется, проблема эта не новая, но мне кажется, что в ее постановке появились новые акценты, характерные именно для сегодняшнего дня. Романы, повести, стихи пронизывают пафос «хорошей работы», значение которой подчеркивается не только и даже, может быть, не столько с точки зрения «пользы для общества», сколько в первую очередь с точки зрения «пользы для самого человека», самоотверженный творческий труд — фактор, формирующий личность, первейшая духовная потребность человека развитого социализма. Писатели прослеживают корни, традиции такого труда, поэтизируют его или же утверждают «способом от противного».

В романе Кавалеца «Переплывешь реку...» есть эпизод, относящийся к первым послевоенным годам: шесть малограмотных парней, лишь недавно приобщившихся к рабочему классу, хотят установить рекорд. Герой, от лица которого ведется повествование, смотрит на эту сцену из сегодняшнего дня, вспоминает суровые, а подчас и комические детали, но главное для него — искреннее восхищение высокой романтикой вдохновенного труда, который облагораживает, преображает людей, заставляя рассказчика восклицать: «Где теперь такие парни?»

Умение показать поэзию труда в соединении с поэзией природы отличает творчество Яна Козака, в частности его последний роман «Гнездо аиста». Большой знаток деревни, участвовавший в 50-е годы в борьбе за ее коллективизацию, Козак стремится раскрыть противоречивость сельской действительности в исторический момент ломки старого уклада. Он обстоятельно выписывает образы не только новых людей нового времени (главный герой романа Павел, секретарь райкома партии старый коммунист Гойдич, возлюбленная Павла Илона), но и такие сложные фигуры, как Резеш. Это крепкий деревенский хозяин, середняк, фантастически работящий, но буквально «зубами и ногтями» цепляющийся за свой клочок земли. Побороть крестьянскую заскорузлость и упрямство, убедить Резеша вступить в кооператив — это и значит выиграть битву за деревню. Но сделать это было очень непросто, вековая нужда воспитала в крестьянах недоверие к любым переменам. С высоты сегодняшнего дня, когда кооперированное сельское хозяйство Чехословакии успешно прошло проверку и наглядно демонстрирует свою жизнестойкость и высокую рентабельность, Козак вновь задумывается над вопросом: что скорее заставляло людей отказаться от ошибочных представлений — «доброе слово или сильная рука»?

В романе убедительно показано, что лучшей агитацией за социализм является конкретное дело. Когда кооперативный трактор часа за два вспахивает поле Резеша, на котором он и его жена, упуская сроки сева, должны были потеть несколько дней, они начинают совсем иначе относиться к кооперативу и к подрывным речам богатеев, от которых они никогда не видели настоящей помощи. Картина ночной пахоты на поле Резеша — одна из самых поэтичных в романе, и читатель почимает, что на Резеша действует не только расчет, реальная выгода машинной обработки земли, но и такие вроде бы не поддающиеся точному учету моменты, как необыкновенно сильный аромат поднятой трактором на большом пространстве земли, аромат, которого Резеш не мог почувствовать, в одиночку таща свой плуг.

Плавка рассказывает в своих мемуарах о людях, с которыми ему приходилось встречаться за долгую жизнь, и, хотя это нигде прямо не заявлено, очевидно, что умение трудиться, вообще «отношение к делу» является для автора важнейшим критерием оценки человека. Вот как он пишет, например, об одной простой словацкой женщине: «Не только я, но и все, кто знал Марь-

ену, считал ее просто святой. Ребенком я представлял себе святых так: верх доброты, ласковости и справедливости. Такой и была Марьена, но к этому у нее присовокуплялось еще одно редкостное свойство, чисто человеческое, и только человеческое — неистощимое трудолюбие...» Как самое дорогое чувство ценит Плавка «глубокую душевную радость от хорошо сделанной работы в сотрудничестве с другими самоотверженными людьми». В итоге прожитой жизни именно так видится ему формула непреходящего счастья.

В книге Ийеша вопросы о призвании человека, его красоте и величии обострены конфронтацией со старостью — не смертью, которая может быть и подвигом, а именно старостью — этим явно непривлекательным периодом индивидуального человеческого существования, признаки которого каждый хотел бы отдалить. «Нет, не искусственными методами, а естественным путем — щедростью сердца — должен человек оберегать свое лицо»,— замечает автор. Слова эти звучат не как простое назидание, а как своего рода открытие. Чем можно победить старость? Только «щедростью сердца» и — трудом! Человек жив, пока он работает: будь то старый виноградарь, обрабатывающий клочок земли, будь то знаменитый писатель, снова и снова бьющийся над строкой, образом, словом...

Понимание высокогуманистической миссии труда отстаивают писатели разных поколений. Я хотела бы привести еще два свежих примера: роман «Мастера» известного словацкого прозаика среднего поколения Шикулы и «Авария» молодого чешского писателя Швейды.

Действие романа Шикулы, вызвавшего в Словакии очень живой отклик, горячее признание и острые споры, происходит во время второй мировой войны. Есть разные мнения о том, насколько точно воспроизведена писателем конкретно-историческая обстановка тех лет, но несомненное и очень важное достоинство этого романа, написанного во славу умелых рабочих рук мастера-плотника и его сыновей, в поэтизации созидательного труда — как творчества, как той ценности, которая делает человека человеком, противостоящим разрушительной стихии войны.

С иной стороны подходит к проблеме «человек и его работа» Швейда в «Аварии» — своем первом романе. Его герой, молодой способный инженер, равно хорошо умеет находить остроумные технические решения, делать переводы с иностранных языков и квалифицированно выполнять тяжелую физическую работу. Но он рассматривает свой труд лишь как способ заработать деньги, а поэтому легко может и откровенно «схалтурить», что приводит к серьезной аварии на вверенном ему участке химического завода. Его понимание счастья сводится к деньгам и жизненным благам. В результате этот человек, который объективно мог бы быть совершенно счастлив, терпит «аварии» на всех фронтах, переживает глубокий внутренний надлом. Роман Швейды убедительно показывает, что, употребляя выражение Плавки, «душевную радость от хорошо сделанной работы в сотрудничестве с другими самоотверженными людьми» решительно ничем нельзя заменить в формуле счастья человека современного социалистического общества.

На душевные качества несколько иного рода, также важные для полнокровной жизни современного человека, обращает внимание «Барьер» Вежинова. Я должна признаться, что принимаю в этом произведении далеко не все. Мне представляется, что в нем многое идет не от сегодняшней жизни, а «от литературы», от Достоевского например. Мне кажется, что образ Доротеи, данный в романтическом ключе, не вполне согласуется с попытками писателя объяснить его в плане приземленно-бытовом (тяжелое детство, дом умалишенных и тому подобное). Но несомненный успех этого произведения, в том числе и среди наших читателей, нельзя выводить, как это иногда приходится слышать, только из интереса к телепатии и парапсихологии. Дело здесь, наверное, прежде всего в том, что в «Барьере» воспеваются такие свойства человеческой натуры, как способность к полной самоотдаче в любви, к безграничной преданности, искренности и кристальной чистоте чувства,— свойства, о которых не часто пишут современные писатели, предпочитающие «нетрагедийные» варианты любовных конфликтов. «Барьер» притягивает к себе романтической «укрупненностью» и цельностью чувства — при всей противоречивости образа его героини.

Характерная особенность социалистических литератур наших дней — постоянно расширяющийся процесс их взаимообогащения. Процесс этот не следует понимать только как обмен импульсами между отдельными литературами, хотя, разумеется, такой обмен идет постоянно и он очень плодотворен. Но взаимообогащение социалистических литератур — это прежде всего объединение их усилий в утверждении новых общественных идеалов, нового типа личности. Этому способствует взаимная публикация переводов произведений писателей социалистических стран. У нас большие заслуги принадлежат в этом плане журналу «Иностранная литература». Подобные журналы существуют и в других социалистических странах, например, чешская «Светова литература». Вообще в последние годы не просто увеличивается количество переводов произведений братских литератур, но заметно растет и их оперативность, что также очень важно.

В жизни социалистических стран много общих проблем, много общих забот. Лучшие произведения помогают решать самую первостепенную задачу — бороться за то, чтобы наш современник умел верно понять, в чем его счастье, чтобы он был человеком щедрого сердца, достойным нашей эпохи.

ИРИНА РАКША

Прозаик, публицист, кинодраматург. Автор ряда книг, в том числе повестей «Весь белый свет», «Утрата», «Далеко ли до Чукотки», сценариев фильмов «Бабье лето», «Веришь — не веришь» и др.

Всегда трудно анализировать, размышлять, словом, как-то препарировать произведение, которое тронуло тебя, которое к тому же написано целостно, едино, фактическая протяженность которого после первого прочтения как бы ускользает, и оно воспринимается все сразу, целиком. Такова повесть Вежинова «Барьер». Но постепенно время эмоций сменяется временем раздумья, раздумья над сутью произведения, над сущностью образов наших современников, таких многоплановых, многоликих. И хочется вновь взять книгу в руки.

В «Барьере» почти легковесная завязка. И ты не спешишь верить автору сразу, поскольку очевиден ход, эффектный прием: взять и посадить в машину к герою будущую героиню начать их разговор — и завязка готова. Но, может быть, оглядываясь на всю повесть, эту реакцию, эту осторожность в восприятии, следует отнести за счет шаблона читательского восприятия? И хотя повествование ведется от первого лица и, кажется, все знаешь о герое: кто он, чем заняты его дни и его душа, знаешь его характер, привычки; литературе такой герой не нов, встречается он и в жизни — в авторском решении здесь не будет шаблона. Правда, меланхолия, одиночество человека в большом городе, а общение с другими по случаю либо по расчету — все это достаточно типично.

Он достиг поры зрелости и умеет не только оценивать поступки свои и окружающих, но и взглянуть со стороны на самого себя. Жизнь его течет обычно, он окружен тем урбанистским антуражем: квартира, машина, свободная профессия, свободные средства,— в котором герою не хватает кажется, лишь одного — приключения с незнакомкой, появившейся в его машине И очень скоро, почти сразу, незнакомка объявляет: «Я не такая, как все... Я сумасшедшая...»

Экстравагантно Но не слишком ли? И мы понимаем героя, который рассуждает здраво и логично вполне соответственно нашему рациональному времени — и не спешит начинать играть в новую игру. Что ж, пусть она поедет к нему домой, раз уж она все так устроила, но это еще ничего не значит. Ведь свои привычки, свой образ мыслей и жизни, свои представления о порядочности — не так мало (это пожалуй, все), и ничего менять он не собирается. Да зачем? Что общего может быть у него, интеллектуала и зрелого человека, с этой жалкой, эксцентричной простушкой?

У Антония (так зовут героя) уже давно устоявшиеся представления о чувствах, но вопреки им он привозит незнакомку к себе домой. И он за это наказан — она исчезла. «Вот почему я не люблю относиться к людям по-человечески — чтобы не выглядеть потом наивным»,— рассуждает он, не обнаружив утром в квартире ни своей гостьи, ни даже какого-то знака ее ночного присутствия... Казалось бы — можно забыть. Но с этого момента его одиночество пропало бесследно Наступила иная пора.

Так мы оказываемся втянутыми в необычную и удивительную историю двух наших современников — Антония и его новой странной знакомой Доротеи. Вместе с героем мы не знаем, как поступить, размышляем, что предпринять. И постепенно уже совсем иная логика, далекая от той или даже противоположная той, по которой привык жить герой, начинает руководить им — без какого-либо нажима с ее стороны, только с ее присутствием, с ее явлением в его жизни. Всем поведением она, так называемая сумасшедшая, утверждает победу непосредственности и чистоты бытия, утверждает победу Природы и Естества, а главное, ставит под сомнение разумность нашего привычного сегодняшнего рацио, нашей «порядочности», нашей сиюминутной обыденной логики.

Антоний всегда был логичен и положителен. Даже педантичен Он и музыку, которую сам сочинял, как бы вычислял и любил сравнивать с математикой. Не принимал алогизмов, наитий вдохновения. Он любил отыскивать логику в музыке, гармонию и размеренность — в науке. Все, даже творчество, должно быть разложено, препарировано, объяснимо, ибо это — продукт нашего цивилизованного бытия. «И если в чем-то я не могу отыскать гармонии, значит это нечто ненормальное, или несовершенное, или непостижимое для меня»,— рассуждает герой.

Так часто отгораживаемся и мы этой весьма утешительной и весомой логикой от того, что нам непостижимо и непонятно, что нам неподвластно и незнакомо, что нами не может быть понято и прочувствовано в силу нашего собственного несовершенства. Уравнительная логика очень сильна. Она постепенно нивелирует и саму личность, остроту сознания, непосредственность восприятия.

В повести существует еще один значительный персонаж, созданный, я бы сказала, для связей «условностей и безусловно-

стей». Это современный врач-психиатр Юрукова. По характеру ее диалогов с героем (а они очень скоро поднимаются до обобщений и категорий) скоро обнаруживаешь, что Юрукова имеет в повествовании не меньшее значение, чем герой. Эта женщина — резкая, острая, современная — сразу становится мягкой и нежной, как только речь заходит об ее подопечной. Профессия Юруковой — душа человеческая, причем в самых экстремальных и порой необъяснимых проявлениях. Юрукова как бы дает шифр к коду, заложенному в героине. Мы многое узнаем о душе этой трепетной девушки — почему она стала (а может, была?) «не такою, как все», почему обнажилась ее душа и отлетели условности.

И, конечно же, все это оказывается очень далеким от привычной мелодрамы или просто любовной истории. Все на много порядков выше.

Доротея исподволь, но всепоглощающе вошла в жизнь героя: «Доротея прогнала одиночество. Все было бы в порядке, если бы она сама не заняла его место...», «...Она осталась у меня, хотя мы не сговаривались об этом».

И Антоний не перестает удивляться ею. Как она восприимчива! Однако то, что для героини безусловно и естественно, для героя необычно — как наваждение, как какое-то опьяняющее, обволакивающее колдовство, несоизмеримое с его прошлым бытием. И он не раз пытается выбраться в прежнее удобное душевное состояние, не показать его, не потерять. «Черт возьми,— думает он,— неужели ты не можешь быть такой, как все девушки?» А она? Она просто остается самой собой. Она не умеет ничего делать наполовину или чувствовать наполовину. Она верит ему до конца, без остатка, и все отражается на ее лице — весь мир как в зеркале.

Но почему-то нас постоянно не оставляет чувство тревоги опасности, чувство трагической развязки. Главную тревогу составляет то, как фанатично преданна и верна Доротея, как она безоговорочно доверчива и открыта Как на исповеди, рассказывает она Антонию о своей жизни — о матери и отце, о дяде. Эти волнующие места выделены в повести. И жизненная правда предстает в них такой, какая есть — буквально и обнаженно. Здесь — и человеческая высота, и падение человеческое. Антоний потрясен. «Я думал, что знаю о людях все или почти все», «...Как я мог жить, до сих пор таким беззаботным, ничем не отягощенным».

Но Доротея остается Доротеей. Она протягивает Антонию руки, чтобы... СНЯТЬ с него эту нагрузку, эту тяжесть, и увлекает Антония... в небо.

И тут мы подчиняемся совершенно новому символическому настрою. Так органично и почти реально видим мы слияние и полет двух Душ Человеческих... Из городской, вполне реальной истории, философско-психологических сцен мы попадаем в атмосферу притчеобразного и в то же время ирреального, возвышенного рассказа. Наконец, близость героев — как экстатическое слияние, и возвышение, и прозрение. И это все тот же приземленно-логичный Антоний, еще недавно говорящий о себе: «Окружающее не интересует меня, не находит отзвука в моей душе».

Но «Барьер»? Между чем барьер? Характерами, философиями, сознанием и подсознанием?... Собственно, барьер между героями ощутим постоянно. Однако значение этого понятия в повести оказывается гораздо глубже.

Антоний сам не верит в то, что произошло с ними этой последней ночью. Он, носитель обычной логики обычного мирского бытия, малодушно трусит, сдается, убегает. Он по-человечески слаб, он не в силах переступить барьер. Он сдается, он предает ее.

Для Доротеи, для которой барьера не существует, убийственно неожиданное предательство. И Доротея гибнет. Она погибает, так и не расставшись со своим миром. Погибает в нем, в своем мире. Но гибель ее — это победа, доказательство ее правоты, ее правды. Своей гибелью она утверждает беспредельность духа человеческого, утверждает возможность существования за барьером, она зовет к нему и, конечно же, убеждает в необходимости хотя бы приблизиться к нему — как к величайшей духовности и высшей гармонии.

Описанная почти в духе криминалистического протокола, смерть ее воспринимается как возвышенный финал притчи. Из «диалога-допроса» у генерала возникает несомненное утверждение — да, она летала. Да, она могла летать! (Причем столкновение литературных жанров высекает здесь нужный эффект.) И во всей повести мы без труда переходим от одной формы повествования к другой, от чувственного переживания к смысловым авторским сентенциям. «А что, если она нарочно сложила крылья?» — запоздало прозревает он. «Нет силы в мире, способной вернуть к жизни единственное существо, которому было дано летать»,— вот последние горькие мысли героя.

Такова, на мой взгляд, эта современная притча о современных людях, о полете духа человеческого, о полете, возвышающем душу. Так звучит голос болгарского автора в защиту духовной свободы человека, его внутренней щедрости, его таланта и против всего, что сегодня еще принижает, закрепощает его.

Павлу Вежинову удалось заглянуть за барьер. Но он — современный, тонкий мыслитель — оставляет покуда и героя, и себя вместе с нами по эту сторону барьера, хотя и в разном к нему приближении.

ВЛАДИМИР ГУСЕВ

Критик, прозаик, автор ряда критических книг: «В середине века. О лирической поэзии 50-х годов», «В предчувствии нового. О некоторых чертах литературы шестидесятых годов», книг прозы, а также статей, рассказов, очерков.

Герой и стиль. Этот вопрос давно обострился в дискуссиях о нашей литературе.

Представленные в журнале произведения писателей социалистических стран дают основания для разговора о художественном многообразии, о стилевой диалектике. С этим фактором связано само воплощение социальных, нравственных качеств героев. Предположим, Плавка. Мало того, что это «художественные мемуары». Это реализм в традиционном и спокойном смысле слова. Я бы добавил: социальный реализм, хотя, по мысли Сучкова и других советских ученых, качество социальности входит в само понятие реализма. Но реализм ведь явление широкое, социальный анализ может быть нечетко выявлен; так что порою полезно добавить это слово... Социальный и одновременно социалистический реализм Плавки — последовательный рассказ о людях, событиях, не оторванных от житейской правды будней. Конечно, и у Плавки есть различные композиционные «усилители» и тому подобное, но в общем тут — жизнь и жизнеподобие, «крупная правда» и правдоподобие окружающего бытия. Это известный и всеми у нас признанный стиль.

Мне еще хотелось бы несколько подробней остановиться на проблеме романтизма, романтического начала применительно к литературам социалистических стран. Павел Вежинов своим произведением «Барьер» дает веские основания для подобного размышления. Недавно в «Литературной газете» закончилась дискуссия о романтическом начале в советской прозе. В ней ощущалось некоторое зияние материала. Проблема носится в воздухе, а убедительных имен и примеров нет, особенно из русской литературы. За кавалерией не видно танков. Примеры из литератур Закавказья, Средней Азии были интересны, но тоже как-то неполны.

По-моему, «Барьер» весьма активно включается в жизнь нашей литературы. Это — некое овеществление того самого электричества, которое носится в воздухе. Его можно назвать танком, если продолжать неловкую военную метафору. Произведение цельное и заметное.

В нем явственно выражен принцип романтизма. Причем романтизма «нынешнего», современного. В нем — пульс «научно-технической революции», рвущейся через физику к психике; в нем — актуальнейшие «проблемы духа».

Здесь есть исключительность героя и ситуации, порыв к тайнам мира и духовное напряжение; и при этом та верность природе, которой извечно следовал истинный романтизм. Вообще мы должны бы помнить, что сам-то принцип «верности природе» выдвинут романтизмом; а реализм подхватил и «распространил» его. Ложный же, фальшивый романтизм, романтизм Грушницких, дискредитировал и этот принцип, и сам себя.

«Больная» девушка, наделенная «сверхъестественной» силой к усвоению всего высшедуховного и столь мощной волей к полету, что эта воля материализуется в реальный полет в реальном небе, не выглядит как простая «гофманская» выдумка, ни к чему не обязывающая создателя и посылающая к авторитету свободного и безответственного воображения; она и по замыслу, и по воплощению автора выглядит именно как некая реальность — реальность, основанная на энергиях, досконально неизвестных доселе, но вполне материальных, «всамделишных».

Реальность — и духовная символика; физика — и подспудные сферы духа; соприкосновение того и другого. Напряжение морального поиска (традиционная бескрылость, вернее, «недокрылость» героя и сила женского порыва).

Миф ли это? Да, миф, если уж вспоминать это модное слово; но миф современный.

Миф — это то чудесное, во что человек верит безусловно, что он принимает за объективную реальность; вот почему боги греков — миф, а те же боги у Парни или у Батюшкова — стилизация...

Современная гносеологическая вера — это вера во всесилие точной науки, особенно физики; но соприкосновение чисто материальных и духовных энергий тоже очень волнует нынешнего человека... Много лишнего и надуманного в этой вере; иногда она не учитывает социального и чисто духовного контекстов; но факт есть факт. Всякий талантливый фантастический роман об иных галактиках психологически строится на мифе: читатель верит, что так и может быть, как описывает автор...

Вежинов обыгрывает эту веру.

По сути его произведение — морально-философская притча; символика соответственна. Но все тут живо: тут нет дедукции, дидактизма и сухости, обычно свойственных притче. Девушка живая и герой живой; а тайные энергии мира — разве физика, разве вся нынешняя наука не признает их?.. Читатель опирается на всю эту «апперцепцию»; и все в целом выглядит как «верность природе», как нечто живое и целое.

Вновь и вновь Вежинов ставит вопрос о моральном максимализме, о силе челове-

ской цельности в сегодняшнем мире; и острота формы тут лишь подчеркивает остроту проблематики. Вряд ли чисто очерковая, эмпирическая проза ныне справится с такой проблематикой.

Хотелось бы отметить естественность самого письма; Сцилла романтизма — ходульность, риторика, натужность — здесь отсутствует; стилистика жива, как и фабула, и характеры.

Впрочем, не следует увлекаться; во-первых, и возможности очерковой прозы далеко не исчерпаны, во-вторых, в произведении Вежинова порою видны белые нитки — видно, как сделано, и т. п.; вообще, я не говорю, что это произведение — этап в мировой литературе; но оно характерно...

В отличие от Вежинова, Джорджеску в повести «Перед молчанием» обстоятелен и аналитичен; тут нет стремительности головокружительного сюжета, а есть подробности проникновения в индивидуальную психику.

Для европейской литературы XX века это не новость, а новость вот что.

Герой Джорджеску — герой социально активный, это динамический, «интенсивный» тип характера; между тем он подан методами интроспекции — внутреннего суждения, потока сознания и тому подобными,—методами, издавна адекватными «лишь» для героев созерцательного и условного типа.

Как это получается?

Мне кажется, в принципе получается, хотя порою «натужность» и ощутима... Так своеобразным способом находит выражение если и не вся полнота личности, то разнообразие, разные ее стороны. Действенность в жизни и активность сознания и «подкорки» заявлены одновременно; ранее чаще всего все это было в литературе порознь.

Тут тоже есть параллели с нашей литературой; особенно, например, с литовским романом. Эту тенденцию мы видим у Слуцкиса, у Беляускаса. Более молодой Шавялис прямо и резко соединяет методы несобственно прямой речи и иные мыслительно-интенсивные приемы с изображением человека, живущего чисто действенной, объективной, пластической жизнью...

Может быть, имеет место влияние?

Прямое стилевое взаимодействие?

Вряд ли...

Просто общность духовных проблем порождает и общность стилевых поисков; просто тут есть типология, независимая от эмпирических стилевых влияний; просто тут есть тайное человеческое единство, которое и получает свое «материальное пресуществление»...

ВИКТОР ХОРЕВ

Кандидат филологических наук, автор статей и исследований по польской литературе XX века; среди них — «Польская марксистская поэзия 30-х годов», «Польская марксистская литературная критика (20—30-е годы)», «Поиски и перспективы (Заметки о польском романе последних лет)».

Одна из главных задач, стоящих перед современными польскими писателями,— запечатлеть образ современника во всем многообразии его связей с действительностью. В течение двух последних десятилетий эта задача наиболее успешно решается в произведениях, посвященных судьбам крестьянства Народной Польши. Так называемая деревенская проза отражает процесс огромных изменений в жизни польской деревни, связанных с социалистическими преобразованиями, с индустриализацией страны, с миграцией деревенского населения в индустриальные центры. Эти явления определяют новые условия труда и быта, установление новых типов связей между людьми, новые культурные потребности. В произведениях Новака, Мысливского, Кавалеца, Гизгеса и других писателей «деревенской темы» появился новый герой, полноправный участник исторического процесса.

Большинство писателей интересуют психологические результаты изменений, которые произошли в жизни деревни. Их проза раскрывает взаимосвязи социальной и духовной сфер жизни общества. Причем писатели, как правило, не отгораживаются от общенародной жизни. «Герой деревенской литературы,— писал Новак,— является для меня представителем всего народа».

Это лишний раз свидетельствует об условности термина «деревенская проза». В самом деле, роман «Переплывешь реку...» Кавалеца можно отнести к произведениям и «деревенской», и «рабочей», производственной, темы Главное — в обращении к актуальным социальным и этическим конфликтам, в исследовании нравственных принципов современного человека, процесса формирования социалистической морали. В этом как раз и состоит, на мой взгляд, основное достоинство романа Кавалеца «Переплывешь реку...», повествующего о трудном, не лишенном драматизма процессе приобщения деревенского парня к новому, городскому, образу жизни, о преодолении собственнических навыков и мещанского идеала счастья, о растущем чувстве

ответственности за себя и других. Писателя интересует не сам трудовой процесс, а его человеческий, нравственный смысл. Героев Кавалеца, пришельцев из деревень, привели на стройку в город желание заработать, наивная мечта возвыситься над своим прежним окружением, пройтись по своей деревне «по-городскому», «в шляпе и с тростью». Но напряженный коллективный труд, сплачивающий людей, прививающий им принципы взаимовыручки, солидарности, человечности, трудовой энтузиазм лучших представителей городской молодежи постепенно перестраивают их сознание, пробуждают в них новые, более высокие желания и стремления, превращают их в подлинных строителей социализма. С детства привитое уважение к труду — вот та плодотворная нравственная почва, на которой взрастает новое, социалистическое отношение героев к миру. «Они построили стотысячный город,— писал Кавалец о своих героях, строителях Новой Гуты — и, строя его, они строили самих себя, свои знания и свою культуру».

Среди произведений, посвященных сдвигам в укладе жизни и сознании современного крестьянства, следует отметить роман «Пронзи тень» Гизгеса. В центре внимания автора — раздумья героев о сущности перемен в жизни деревни и всей страны, о перспективах дальнейшего развития и о том, что мешает движению вперед. Каждый из них ощущает себя хозяином жизни — ведь, по словам секретаря сельского комитета ПОРП Франека Сынуса, одного из главных героев романа, «все мы, вместе взятые, и есть Народная Польша».

Один из важных мотивов романа — выявление различий в психологии и восприятии жизни у представителей разных поколений крестьян, изменения психологии под влиянием бурно меняющейся действительности. Даже у стариков начинает меняться отношение к некогда обязательным в деревне нормам поведения обычаям, обрядам и верованиям, не говоря о молодом поколении, которое прочно вросло в новую городскую или деревенскую жизнь, приобрело широкий взгляд на жизнь.

Согласно древнему поверью жителей деревни, в которой происходит действие романа, для того, чтобы покойник не встал из гроба, надо ножом «пронзить его тень». Эти слова имеют в романе символическое значение. «Пронзить тень» — значит навсегда покончить с отсталостью, косным, суеверным бытом деревни.

Литература «деревенской прозы» стремится и к глубоким философским обобщениям исторического процесса. Такие обобщения содержатся, например, в повести Мысливского «Голый сад», которая получила высокую оценку у польского читателя и критика.

В центре — отношения сына и отца, основанные на любви, уважении, доверии, как первая и важная ступень познания героем-повествователем гуманистических начал жизни, осознание им своей неразрывной общности с окружающим миром и другими людьми. Соотношение сын — отец призвано у Мысливского символизировать соотношение человек — мир вообще, что позволяет прочитать повесть как морально-философскую притчу о зависимости человеческой судьбы от окружающего мира, о необходимости нравственной связи человека с миром. Философская направленность повести не заглушает, однако, ее общественного звучания. Соотношение сын — отец, помимо философского подтекста, имеет и обнаженный социальный смысл: сын родился в семье неграмотного крестьянина, а стал сельским учителем, интеллигентом.

Повесть представляет собой внутренний монолог сына, вспоминающего своего отца и всю свою жизнь, осмысляющего ее с высоты достигнутых знаний и опыта. Мысливский не ставит своей задачей дать широкую панораму действительности. Логика повествования подчинена логике процесса ассоциативного мышления героя. Но мир, отраженный в зеркале личных переживаний героя, не теряет эпической широты. В личном опыте, в частных, казалось бы, событиях биографии героя отразились закономерности исторического развития, «распрямление» крестьянского сознания, растущее понимание у представителя народа своей роли в истории и значения нетленных этических основ народного восприятия мира. И суть не в приобщении крестьянского сына к культуре, считавшейся ранее господской привилегией, не в том, что он может читать книги, получать образование, заниматься умственным трудом. Книги, образование как символ возвышения личности над средой — лишь одно из средств совершенствования внутреннего мира человека. Одного образования недостаточно, чтобы достичь подлинной культуры, стать нравственно целостной личностью, образцом которой является для сына его неграмотный отец. Правда помимо книг, даже самых умных и человечных, заключена в жизни. Книжная мудрость не отменяет и не заменяет мудрости народной жизни. Полная сопричастность жизни народа формирует истинный гуманизм, подлинно нравственные позиции крестьянина новой, социалистической эпохи, свободного от прежнего, рабского комплекса социальной неполноценности.

И наоборот, разрыв с нравственными традициями трудовой народной жизни приводит к трагическим последствиям, к моральному падению личности. Об этом свидетельствует, например, судьба Михала Топорного, героя одного из лучших романов Кавалеца «Танцующий ястреб».

Сходная ситуация исследуется в последнем романе — «Пророк» (1977) известного прозаика и поэта Новака (его роман «Черти» печатался в «Иностранной литературе»).

Роман «Пророк» открывает новые грани незаурядного таланта писателя. Характерные для его творчества фольклорные мотивы использованы здесь для сатирического изображения героя. Действие романа происходит уже не в деревне, а в городе (точ-

нее, на его окраине), куда попадает герой, бежавший из деревни, мечтая о легкой жизни. Герой порывает всякие связи с родной деревней, «выламывается» из прежних общественных отношений, а городское мещанство, его паразитический образ жизни принимает за подлинные ценности и деградирует нравственно. Новак тонко показывает изменения в психологии и сознании героя — тот постепенно вытравляет в себе черты крестьянина-труженика и превращается в закоренелого мещанина-нувориша, стремящегося к обогащению. Ендрусь (так зовут героя) стыдится своего крестьянского происхождения, но, когда ему это выгодно, он охотно рисуется им перед падкими на «крепкий народный дух» интеллигентскими снобами. Новак зло высмеивает современное «людоманство», псевдодемократический подход к проблемам деревни, основанный на внешнем, снобистском восприятии «оригинальности» крестьянской культуры. В романе слышатся отзвуки знаменитой «Свадьбы» Выспянского (1901), в которой также высмеивались «людоманские» стереотипы представлений о крестьянстве.

Примечательно, что герой нового романа Новака иначе, чем герои предшествующих произведений писателя, относится к труду — основе народной крестьянской морали. Порвав с нормами крестьянской жизни, Ендрусь презирает всякий труд, особенно физический. На многих страницах романа дается гротескное описание усилий героя, стремящегося уничтожить всякие следы физического труда на своих руках. В презрительном отношении к труду и кроется главная причина морального падения героя — эта мысль, несомненно, лежит в основе авторской концепции романа.

Мещанское болото засасывает Ендруся. но Новак вовсе не демонизирует город, не изображает его неким Молохом, пожирающим крестьянских сынов, как это бывает у некоторых писателей «деревенской темы». Не случайно герой романа живет на окраине, вращается в мелкобуржуазной мещанской среде, не встречаясь с подлинными производителями материальных и духовных ценностей. Автор лишь вскользь замечает, что наряду с такими, как Ендрусь, любителями легкой жизни из деревни в город приезжают и парни, «уставившиеся в разложенные на коленях книги, в тетради, испещренные буквами и цифрами». Такое противопоставление, хотя и не развернутое в романе, важно, оно говорит о возможности приобщения крестьянских парней к подлинной городской культуре, которую им же и предстоит развивать.

Роман Новака, интеллектуально глубокий, дающий иронический анализ ложных культурных ценностей как «деревенских», так и «городских»,— значительное произведение современной польской прозы.

Отношение к труду определяет подлинную ценность человеческой личности во многих произведениях современной польской литературы, рассказывающих о жизни Народной Польши. Я остановился на некоторых из них, связанных с жизнью деревни, а можно было бы сказать и о многих других, посвященных таким новым для польской литературы аспектам темы труда, как проблемы научно-технической революции, современное управление производством (например, романы И. Роговского «Авария», 1975, В. Билиньского «Случай», 1976, Э. Низюрского «Эминенции и баллабанции», 1977, Кубиковского «Игра в прятки», 1978). Важно отметить, что мир труда в лучших произведениях польской прозы последних лет рассматривается в широкой общественной, исторической и психологической перспективе, с вниманием к идейному и нравственному миру человека — строителя нового общества. И очевидно, что новый этап общественного развития в Польше, приступившей в середине 70-х годов к строительству развитого социалистического общества, делает тему труда еще более актуальной. «Изображение человека, которому довелось стать строителем развитого социалистического общества,— именно так формулируется теперь основная задача литературы на ближайшие годы»,— писал недавно Новак. Нет сомнения в том, что на этом пути польскую литературу ожидают новые яркие достижения.

ЛЕВ ОЗЕРОВ

Поэт, переводчик, историк литературы. Автор десяти книг стихов, нескольких книг статей — «Работа поэта», «Мастерство и волшебство», «Поэзия Тютчева» и других.

«Доротея — это я»,— пишет в редакцию одна из читательниц журнала «Иностранная литература», где был напечатан «Барьер» Павла Вежинова. Далее читательница весьма выразительно говорит о своей жизни и об этом произведении, о живой перекличке действительности и искусства. Лучшего отзыва ждать не следует. В чем здесь дело?

Примеривание героя к себе, в качестве образца для подражания или отталкивания,— одна из отраднейших сторон взаимоотношений писателя и читателя. Приравнивая к себе Доротею, а Антония к своему

мужу, читательница говорит, что непонимание одним из них смысла духовного полета другого, можно сказать порыва, стремления, идеи, приводит к серьезному конфликту даже внутри хорошей семьи.

Другая читательница, старший инженер одного из научно-исследовательских учреждений, пишет: «В повести отражены острые жизненные проблемы... Однако, несмотря на это, у читателя возникает много различных толкований». Да, повествование Вежинова вызвало различные толкования. И это хорошо. Значит, оно задело за живое. И каждый предлагает свое решение проблемы. Вторая важная особенность отношений писателя и читателя — в различном психологическом наполнении образа.

Читатели единодушно клеймят жестокость, индивидуализм, эгоистический подход одного человека к другому. «Барьер», этот данный эмблематически образ в заголовке, обретает особое значение. Барьер непонимания друг друга, стоящий на пути любящих существ, барьер, мешающий человеку жить. Да, именно жить, вкушая радость бытия. Чувствуя же барьер, человек воспринимает жизнь как «недуг бытия», по слову нашего Баратынского. С этим борется литература мира в лице ее лучших творцов. Это тема и пафос нашей советской литературы. И, разумеется, тех произведений, которые сегодня обсуждают участники «круглого стола»: «Переплывешь реку...» Кавалеца, «Гнездо аиста» Козака, «В ладье Харона» Ийеша, «Полная чаша» Плавки и уже упомянутый мною «Барьер» Вежинова.

Разумеется, список можно расширить. Но редакция поступила верно, ограничив круг произведений, но не ограничив круга проблем, поднятых ими, выделив объединяющее все эти произведения стремление воссоздать духовный мир современника. Воссоздать — это хорошо. Но писатель не только воссоздает. Он хочет пересоздать. И это одна из важнейших черт разбираемых нами произведений. Одни называют ее «активной позицией» писателя, другие — пафосом творчества, третьи — сверхзадачей, целью писательства.

Именно эту черту разглядел в «Барьере» читатель журнала Николай Степанович Анциферов из города Правдинска, ветеран труда Балахнинского комбината имени Дзержинского. Он полемизирует с моим предисловием к «Барьеру» и требует пристального рассмотрения не психологической, а социальной драмы, таящейся за отношениями Антония и Доротеи. Он говорит о бедствиях, еще пока незримых, но сокрытых в непонимании друг друга, в эгоизме, в «зеленом змие», владеющем всем существом Антония.

Читатель откликнулся, обращая внимание на психологические и социальные аспекты образов. А как же откликнулись критики? Гусев, располагающий солидным текстовым материалом и владеющий большими знаниями предмета, попадает в терминологические силки. Он хочет объявить «Барьер» романтическим произведением, как будто это что-либо объясняет в существе образов. Я берусь доказать, если потребуется, что произведение Вежинова в такой же степени, если не в большей, реалистично. Есть ли в нем моменты импрессионистического письма? Безусловно. К чему я все это говорю? К тому, чтобы показать: владеющий пером современный писатель, для того чтобы не просто быть модным, а чтобы реально почувствовать силу своего воздействия на читателя, должен владеть всеми красками литературы. Это относится к Ийешу и Кавалецу, Плавке и ко многим не упоминавшимся здесь писателям. Более точно определяет позицию — идейную и художественную — писателей социалистических стран верность и точность, добавлю: определенность духовных ориентиров их героев. Поле наблюдения за поступками и делами человека расширяется за счет расширения поля наблюдения за душой. Идет выработка трудовой и творческой концепции жизни. Показ человека не только в кругу своей профессии, своих занятий, в деле, а во всех сферах, в которых он может и должен себя проявлять.

Итак, определение духовных ориентиров. Установление нравственного кодекса человека нового общества, его перспективной и — что очень важно для рассматриваемых литератур — осознанной жизни на земле. Мы сопоставляем произведения разных, еще точнее сказать, несхожих художников. Сопоставляем почерки и системы лепки образов. Тут возможны произвольные толкования и субъективизм. Отрадно отметить, что для всех рассматриваемых произведений характерно стремление преодолеть однолинейность, добиться трехмерности, расширить поле, на котором будущее определяется по тому, как оно присутствует в настоящем. Здесь опять-таки проступает тенденция не только воссоздать, но и пересоздать. Прошлый, девятнадцатый век несмотря на наличие блистательных мемуаров, написанных людьми этого века, осознавал себя с опозданием — в двадцатом веке. Наш же двадцатый век спешит — хочет себя познать вот сейчас. Вынь да положь! Обилие прямых и косвенных мемуаров, мемуаров, стыдящихся того, что они мемуары, маскирующихся под эпопеи и драмы,— разве это не показательно для нынешнего литературного процесса? Это остро чувствуется нами в пору, когда остается немногим более двух десятилетий до конца двадцатого века. Пишут мемуары не только писатели, но и ученые, военные, режиссеры, художники, просто бывалые люди. Этот мемуарный, исповедальный оттенок разбираемых произведений верно подметил Суровцев. Он говорил о Плавке, Катаеве, Шагинян, о необходимости расширения репертуара разбираемых произведений. В его орбиту, так же как и в орбиту Гусева, справедливо попали и литовские писатели.

Для того чтобы приблизиться к предмету нашего разговора, я хотел бы отвлечься и сказать несколько слов о мемуарах Катаева «Алмазный мой венец». Они напечатаны в шестом номере «Нового мира» за прошлый год. Их проглатывают взахлеб,

вместе с тем, все друг у друга спрашивают: «угадал?». Читатели мемуарной книги разгадывают тех, кого Катаев описывает, называя не по имени, а по кличке: королевич, мулат, колченогий, ключик и т. д. По-моему, это произведение — роман-кроссворд. Последние свои книги Катаев пишет в манере, новой для него, но не новой для европейской литературы,— цепь фрагментов с прерываемой и восстанавливаемой связью.

Вопрос о мемуарах сложен. Накоплен огромный материал. И разобраться в нем сможет художник, умеющий не только классифицировать, но и обобщать...

Круг разбираемых нами произведений достаточно убедительно говорит о состоянии литературы социалистических стран. Идет деятельный поиск Поиск по магистралям писательской судьбы: человек в современном мире, его духовные ориентиры, его будущее. Некоторые черты роднят этих писателей с нами. Но мы должны отдавать себе отчет в том, что они возникли на основе традиции своих литератур. Это важно. Важно так же и то, о чем говорит Шерлаимова: специфика развития каждой литературы в отдельности. Но какова бы ни была эта специфика, писатель хочет выйти за рамки служения только своему, отечественному читателю. Он ищет контакта с читателями других стран. И в этом смысле названные и в меру сил рассмотренные нами произведения с честью выполняют эту функцию.

Образ современника возникает обобщенно, что ли, эмблематически — не в бытовом плане, хотя он, этот план, тоже важен, а в плане психологическом и социальном. Образ человека, стремящегося разобраться в сложностях века расщепленного атома, века, который пережил две страшные войны, фашизм. Образ современника, живущего в эпоху борьбы с колониальным гнетом и неофашизмом.

Творя образ современника, писатель сам не знает покоя и не дает покоя своему герою.

Так создается литература завтрашнего дня. Ее прогнозировать нет смысла. Но по тому, как в настоящем присутствует будущее, мы можем догадываться о тенденциях развития. Этому, как я понимаю, и была посвящена наша беседа за «круглым столом».

От редакции

Наши современники. Люди, вступающие в жизнь, и люди, за плечами которых годы упорного труда, ровесники своего социалистического отечества. День прожитый и день идущий, степень причастности к общему делу и дар оставаться самим собой определяют судьбу человека, его личность. Найти точку пересечения главного и преходящего, найти то важное, что позволяет назвать его героем нашего времени, и есть задача художника.

Из выступлений, услышанных нами за «круглым столом» — ярких и разных,— явствует: нет и не может быть универсальной таблицы, показатели которой помогли бы критику «вычислить» параметры образа современника, и тем не менее аспекты исторические и социальные, нравственные и этические, критерии новой, коммунистической морали помогают определить, каков он, строитель социализма.

Участники обсуждения, на наш взгляд, стремились пусть не к исчерпывающему, но многогранному анализу предложенной темы. Одни были аналитичны и обстоятельны, в высказываниях других чувствовалась пристрастность — в хорошем смысле слова. И не так уж, нам думается, диссонируют, к примеру, эмоциональность Ирины Ракши, которая выступает в защиту героини Павла Вежинова, и строгий рассказ Виктора Хорева об одном из главных направлений в польской литературе последних двух десятилетий. Ведь основное, что объединяет участников «круглого стола»,— попытка приблизиться к своему герою, которому, как однажды заметил Леонид Мартынов, так много сделавший для того, чтобы поэзия социалистических стран стала нашим достоянием, «хочется сосредоточиться и припомнить, как, за шагом шаг, этот мир рождался, чтоб упрочиться в первобытном хаосе; и как приходилось в этом мире, созданном собственной кровью и трудом, подыматься к звездам, скупо розданным прямо с неба в сумраке седом, совладать со всякой нечистью, делать все, чтоб вновь не грянул бой; столковаться с целым человечеством и остаться все ж самим собой!».

Когда номер журнала сдавался в печать, в редакцию пришло письмо от ташкентского инженера Закирова, в котором он высказывает свое мнение о наших публикациях. Вот что он пишет о романе Яна Козака «Гнездо аиста»: «Его опубликование своевременно. Не секрет, что западная пропаганда пытается извратить события 1968 года. Тогда как «Гнездо аиста» говорит нам о том, что чехословацкий народ всегда жил мечтой о мире и светлом будущем, как и все народы...»

Еще один аспект темы: человек 70-х годов стал проницательным в осмыслении прошлого, и, наоборот, уроки прошлого помогают глубже понять человека 70-х годов.

Как верно сказал Юрий Суровцев, «все большее число книг, создаваемых в социалистических странах, не воспринимаются как некие чужие произведения, они — и для нас и словно о нас... они с в о и, родные». Очевидно, эта духовная близость и делает произведения писателей социалистических стран столь нужными нашему читателю.

◆

ЛУИС СУАРДИАС

РАЗМЫШЛЕНИЯ О НОВОЙ КУБИНСКОЙ ПОЭЗИИ

Новая кубинская поэзия — что означает это понятие?— спросит меня советский читатель и будет, конечно, прав, потому что сплошь и рядом, в разные моменты нашей истории, перед исследователями, критиками и просто рецензентами неизменно вставала эта проблема — новое в литературе и искусстве.

Многочисленны брошюры и монографии, об особенностях творчества новых поэтов-романтиков XIX века; количество исследований еще больше возрастает, когда речь заходит о предшественниках, защитниках, эпигонах того движения, которое у нас в Латинской Америке называют «модернизмом» [1],— ведь оно знаменовало собой освобождение латиноамериканских литератур от влияния испанской, их выход на самостоятельную дорогу. Наконец, пыл литературоведов достигает апогея, стоит им заговорить об этапе авангардизма. Дерзания, безрассудства, выдумки, порой подлинные художественные достижения — вот что отличало 20-е годы, жившие под знаменем «нового искусства».

В 1926 году в Мадриде вышла в свет антология «Современная поэзия Кубы», составленная Феликсом Лисасо и Хосе Антонио Фернандесом де Кастро. На первых ее страницах мы встречаемся с произведениями наших прославленных поэтов конца XIX века — Хосе Марти, Хулиана дель Касаля, Карлоса Пио Урбача. Завершалась антология разделом, озаглавленным «Новые», где были помещены стихи Хосе Сакариаса Тальета, Рамона Рубьеры, Марии Вильяр Бусеты, Рубена Мартинеса Вильены, Хуана Маринельо и Рехино Педросо. Большинству поэтов, представленных в этом разделе (кстати, самом интересном в книге), в то время едва исполнилось двадцать пять лет и лишь некоторым было под тридцать. Не только возраст объединял этих мятежников: презрев «башню из слоновой кости», они пылали страстью все увидеть, все прочувствовать, все постичь. Выступая за всестороннее обновление поэтической формы, они стремились средствами лирики выразить чаяния и надежды широких масс. Поэзии их была свойственна антиимпериалистическая направленность.

Ныне, полвека спустя, можно беспристрастно оценить творческий вклад «новых», включенных в антологию Лисасо и Фернандесом де Кастро. Из них лишь Рехино Педросо и Дульсе Мариа Лойнас издали более одной книги. Мартинес Вильена стал видным политическим деятелем и умер молодым; Хуан Маринельо посвятил себя жанру художественного очерка и критики, продолжая вести активную революционную

[1] Модернизм — *здесь:* литературное направление, зародившееся в латиноамериканских литературах в 80-е годы XIX века и просуществовавшее примерно до конца первой мировой войны. У его истоков стоял крупнейший никарагуанский поэт Рубен Дарио; выразителем модернизма был и Хосе Марти. Лучшие представители латиноамериканского модернизма посвятили свое творчество служению национально-освободительным идеям. В области поэтической формы модернизм означал освобождение от обветшалых штампов романтизма, поиск новых образных и языковых средств. *(Здесь и далее — прим. перев.).*

деятельность; Энрике Серпа перешел к прозе и журналистике; Нуньес Олано ярким талантом оживил посвященные культуре газетные хроники, радио- и телепрограммы, но так и не собрал свои стихи в книгу. Самый дерзновенный член группы Хосе Сакариас Тальет издал единственный сборник «Бесплодное семя» только через двадцать пять лет, то есть когда в литературе уже возникли новые веяния. Лишь после победы революции поэты и литературоведы дали должную оценку его удивительным, пророческим строкам.

Не случайно упомянули мы об антологии «Современная поэзия Кубы» и о некоторых явлениях эпохи 20-х годов — десятилетия, ознаменованного великими социальными потрясениями, десятилетия, предшествовавшего той борьбе, которая завершилась установлением в нашей стране подлинно революционного строя.

Что же касается «новых», то вспоминаю, как еще в моем родном городе Камагуэе (от его имени в упомянутой антологии выступили Франсиско Хавьер Пичардо, Мариано Бруль и Фелипе Пичардо Мойа, позже его достойно представили Николас Гильен и Эмилио Бальягас) в 50-е годы мы основывали группы и журналы, в названия которых обязательно включали слово «новый»: «Новое время», «Литературная новь». В ту пору ушли из жизни Бальягас, Бруль и Пичардо Мойа — три талантливых новатора своего времени; Николас Гильен, единственный оставшийся в живых из наших камагуэйских бардов, уже признанный национальный поэт, находился тогда в изгнании — и у нас не было наставника, который мог бы вдохновлять молодых, которому бы мы поклонялись. Среда была враждебна нам, и чтобы противостоять ей, мы объединялись.

Подобно многим молодым бунтарям, мы объявили себя приверженцами известных слов Бернарда Шоу о том, что каждый, кто старше сорока,— плут. И вот сейчас нам — бывшим самыми «новыми» в 50-е годы — около сорока, некоторые даже приближаются к полувеку. По-прежнему ли мы рукоплещем суровому суждению автора «Пигмалиона»? Нет, и не только потому, что оно несправедливо, но и потому, что не соответствует нашей эпохе, идеям, которым мы преданы: мы боремся не за некий намек на социализм (подобно критически настроенному и остроумному ирландцу), но за социализм настоящий, основанный на знании законов диалектики.

После победы революции появился коллективный сборник стихов «Молодая поэзия Кубы» (1960), где были объединены произведения значительной группы поэтов. Составители его и авторы предисловия Роберто Фернандес Ретамар и Файад Хамис предупреждали, что книга эта — не антология, а просто сборник, что было справедливо: в то время над строками новой поэзии работало немало других авторов, чье творчество в полную меру развернулось в последующие годы.

Поэты, входящие в книгу «Молодая поэзия Кубы», в двух отношениях отличались от «новых» 1926-го: большинство из них скорее приближались к тридцати, чем к двадцати годам, главное же состояло в том, что в 1926 году мы боролись за свержение тирании Мачадо [1] — дело, которому то поколение, весь наш народ отдали всю свою энергию,— стихи же поколения 1960 года составляют уже неотъемлемую часть культуры *победившей* революции. Это последнее наложило отпечаток на творчество и всю деятельность — и молодых и старых — поэтов послереволюционных десятилетий. Так, Роландо Эскардо и Хосе Альварес Бараньо, прежде одинокие, мятежные поэты, познавшие и моменты отчаяния, и бедность, и унижения, приняли самое горячее участие в преобразующих деяниях революции. Эскардо был офицером Повстанческой армии, ответственным за зону аграрного развития в Сьенага де Сапата, организатором Первой национальной встречи писателей и деятелей культуры в поддержку революции (выполняя это последнее свое задание, он погиб); Бараньо сражался на Плайя-Хирон, участвовал в операциях по очистке от контрреволюционных банд гор Эскамбрая. Файад Хамис, Роберто Фернандес Ретамар и Луис Марре, уже известные литераторы, с жаром включились в самые различные общественные и культурные мероприятия революции. Пабло Армандо Фернандес и Педро де Ора̀а опубликовали основные свои произведения именно в послереволюционные годы.

Как литературный манифест звучат строки предисловия к упомянутому сборнику: «Каждое поколение обязано не просто продолжать традиции в поэзии, но и творить ее заново».

С особым чувством мысленно вновь и вновь обращаешься к этому первому изданному после победы революции сборнику молодых поэтов, и хотя большинство вошедших в него стихотворений написано до исторического январского триумфа, эта коллективная поэтическая книга и сегодня остается для нас, деятелей культуры Кубы, путеводной нитью, связующим звеном между нашим совсем недавним прошлым и нашим будущим, вернее, теперешним настоящим.

■

Два послереволюционных десятилетия сформировали не только новых литераторов, но и миллионы их кубинских (и зарубежных) читателей — великолепная реальность, не выпадавшая на долю писателям прежних времен! Революция породила действительно новую поэзию, которая разнится от старой и по форме и по содержанию,

[1] Мачадо Херардо — президент Кубы в 1925—1933 годах, диктатор, время его правления отмечено кровавыми репрессиями против прогрессивных сил страны.

ЛУИС СУАРДИАС
РАЗМЫШЛЕНИЯ О НОВОЙ КУБИНСКОЙ ПОЭЗИИ

неся в себе особенные, глубоко оригинальные черты. Говорить о новой поэзии можно и должно, но это понятие отнюдь не включает в себя лишь стихи молодых, начинающих поэтов.

До победы революции литературные и художественные группы, движения, журналы обычно зарождались и создавались у нас на основе общности эстетических концепций и (главным образом) возраста их участников; «старым» (за редкими исключениями) предназначалась роль защитников уже устоявшегося, а «новые» ставили своей задачей ниспровергать его, развивая собственные художественные идеи. Таковы были литераторы, входившие в круг авторов журнала «Ревиста де авансе» (1927—1930), питавшегося соками авангардизма и всеми теми «измами», которые, порой с большим запозданием, доходили до нас из Европы. Разногласия внутри этой группы носили не столько эстетический, сколько идейный характер. Более сплоченной была группа, сложившаяся вокруг журнала «Орихенес» (1944—1954). То были единоверцы, исповедовавшие приоритет поэзии в литературе и посвятившие себя распространению произведений кубинских или зарубежных поэтов. Что же касается творчества самих авторов журнала, то его отличала герметичность, затемненность, метафизичность — результат упорного бегства от проблем суровой действительности, окружавшей их. Приведенные примеры свидетельствуют об известном «разрыве» между поколениями (при всей сложности и неоднородности состава каждого из них), существовавшем в кубинской литературе предреволюционной поры.

Ныне в едином строю встают писатели, родившиеся в последние годы XIX века (Рехино Педросо, Хуан Маринельо, Хосе Сакариас Тальет), и в первые годы XX столетия (Николас Гильен, Рауль Роа, Рене Мендес Капоте), и самые молодые — те, кто лишь вступает на литературное поприще. Словом, среди наших сегодняшних поэтов можно найти представителей, так сказать, первой, и второй, и третьей, и четвертой молодости. Это означает, что вклад в развитие художественной формы, обращение к новым изобразительным средствам, вызванным к жизни нашей эпохой, не являются привилегией исключительно «самых новых». Красноречивым тому доказательством служит сборник «Большой зоологический» (1971) Николаса Гильена (а ведь ему уже 75 лет), удивительные места в его других циклах — «Зубчатое колесо» и «Дневник на каждый день» (1972), недавно вышедший в свет «Бумажный кораблик».

Итак, перед нами столько споров вызвавшая проблема поколений. Разумеется, каждая приходящая в искусство группа людей, осваивая действительность, овладевая новыми художественными средствами, хочет, индивидуально и коллективно, служить изменению жизни. Однако справедливо и то, что за «столкновениями поколений» стоят, как правило, противоречия социально-идейного характера, которые становятся остро антагонистическими в капиталистическом обществе. А на Кубе подают друг другу руки люди и семидесяти и двадцати лет. Они счастливы, открывая друг друга, взаимно друг друга узнавая, влияя друг на друга. Об этом взаимном влиянии стоит поговорить особо.

Не следует представлять себе дело так, будто именно молодые решительно влияют на старших, как раз для начинающих характерно искать образцы, припадать к изобильному источнику опыта старших, да и сами «новые» подтверждают видимое воздействие на себя признанных мастеров. И все же без непрестанного обмена с молодыми, без этого «вызова» со стороны тех, кто ищет в литературе, в поэзии собственных путей, без этого контакта с широким миром (что очень важно), без идейного единства творчество поэтов первого, второго или третьего поколения нашего века не было бы столь разнообразным и столь боевым, как сегодня.

■

К новаторству стремились поэты всех времен, народов и языков. Нет ничего выше в искусстве, чем блистательное новаторство, пробуждающее в нас естественное желание открывать неизведанное, неустанно идти вперед, на всю жизнь сохранить в себе жажду новых открытий. Каждым деянием человек старается что-то прибавить к уже достигнутому, что-то создать, усовершенствовать или преобразовать. И тем не менее ничто не стареет так быстро, как то, что лишь кажется или стремится казаться новаторским, но по сути лишено смысла. И нет ничего столь похожего на устаревшее, отжившее, как «дерзновенные» (на первый взгляд) стихотворные строки, скомпонованные, может быть, и необычно, но не продиктованные подлинной эстетической необходимостью — они рассыпаются, словно карточный домик.

Сегодняшний и вчерашний (да и всегдашний) авангардизм пестрит примерами подобных несостоявшихся попыток. Еще в 1926 году большой перуанский поэт, истинный новатор Сесар Вальехо писал: «Современной поэзии кажется, что она должна насквозь пропитаться лексикой кино, употреблять «новые» слова, такие, как мотор, лошадиная сила самолет, радио, беспроволочный телеграф,— короче, термины, свойственные современной науке или промышленности... Слова — вот что представляется главным. Но давайте не забывать, что сами по себе слова — все же не поэзия, ни древняя, ни современная, никакая.

Свежие художественные средства, которые подсказывает нам современная жизнь, следует усвоить душой, сделать их частью наших чувств... Новая поэзия, созданная лишь из «новых» слов или метафор, педантично стремящаяся к нововведениям любой ценой, неизбежно станет чрезмерно усложненной, впадет в барокко. Новая поэзия, творимая на основе нового мироощущения, напротив, проста и человечна — на первый взгляд ее можно даже принять за старую,

в глаза не бросается, современна она или нет».

Обращаясь сегодня к этим мыслям Вальехо, одного из поэтов, оказавших на испаноязычную поэзию, в особенности кубинскую, пожалуй, наибольшее влияние, мы должны признать, что и ныне довольно трудно избежать опасности, о которой он предупреждал. Немало тех, кто опубликовал свои первые стихи в 50-е годы, впало в соблазн «новаторства» именно на основе словесных экспериментов.

А между тем перед глазами у начинающих той поры были примеры, по которым можно было учиться,— поэты, умевшие поднимать волнующие человечество проблемы, поэты, обладавшие многогранным талантом, новаторы стиха. Таковы чилийцы Висенте Уидобро и Пабло Неруда, аргентинец Оливерио Хиро́ндо, француз Гийом Аполлинер, советский поэт Владимир Маяковский, североамериканец Эдвард Эстлин Каммингс[1], немец Бертольт Брехт. В 60-е годы большой резонанс получило творчество двух известных латиноамериканских поэтов наших дней: никарагуанца Эрнесто Карденаля с его острым, открытым, настроенным на разговорный лад стихом — написанное Карденалем легко узнать по свойственной лишь ему манере, которую он сам определяет как «экстериористскую»[2],— и чилийца Никанора Парры[3] с его тщательно отделанными «Стихами и антистихами».

В 40-е и начале 50-х годов среди «новых», увлеченных поисками остросовременного в поэзии, возникло страстное отрицание творчества тех, кого они относили к классике — кубинской. латиноамериканской или испанской — далеких или не столь далеких эпох: романтиков Беккера, Эредиа, Авельянеды, модернистов Дарио, Касаля, Сильвы, Леопольдо Лугонеса, даже великих представителей испанского «золотого века» Кеведо, Гонгоры. Это отрицание они сочетали с подражанием, как им казалось, Уитмену, Аполлинеру, Маяковскому или Брехту, на самом же деле то, что служило им образцом, зачастую были страдавшие большими недостатками переводы. Из подобной ошибки рождались и стихи в стиле трагических элегий — их авторы брали за основу переводы из Сергея Есенина и Дилана Томаса, Назыма Хикмета и Чезаре Павезе. Было бы несправедливо, однако, утверждать, что имитация мало изученных или плохо прочтенных произведений — грех лишь самых молодых представителей нашей поэзии. Он присущ, пожалуй, и литераторам и читателям любого периода, на любой широте. Тем не менее хочется остеречь от этой опасности прежде всего наших нынешних молодых, напомнив им, что у поэтов предыдущих поколений восхищение поэзией Сесара Вальехо или Антонио Мачадо сочеталось с глубоким изучением классиков — Хорхе Манрике, Франсиско де Кеведо, Луиса де Гонгоры или Рубена Дарио — и должной их оценкой.

Для иллюстрации сказанного приведу лишь один случай. Лет пять назад в Сантьяго-де-Куба Элисео Диего и автор этих строк на встрече с молодыми писателями провинции Ориенте читали и разбирали творение Франсиско де Кеведо, Хосе Марти и Сесара Вальехо. Реакция аудитории была поразительной. Наши слушатели убедились в жизненности, *новаторстве* стихов и бессмертного «старого» испанца, и великого кубинца, и почти нашего современника, любимого нами перуанца. Молодежь словно бы открыла для себя, что, как давно и справедливо замечено, нет поэзии новой или старой, а есть поэзия просто хорошая или плохая.

Означает ли это, что мы должны писать только так, как мастера прошлого — Архиепископ Итский или Нуньес де Арсе? Разумеется, нет. Речь идет лишь о том, чтобы рассматривать поиск в поэзии не как вид спорта или легкую прогулку в неведомое, а как постоянный и серьезный труд, тончайшее искусство, опирающееся на преемственность опыта и устремленное в грядущее. Подобный поиск можно, на мой взгляд, определить так же, как глубокочтимый у нас перуанец Хосе Карлос Мариатеги[1] назвал марксизм на нашем континенте,— «героическим творчеством». Такой должна быть подлинная поэзия — героическим творчеством, штурмом неба.

Сказанное, пожалуй, может создать у читателя впечатление, что молодые не внесли значительного вклада в нашу литературу. Напротив. Говоря о недостатках или высказывая опасения, я делаю это исключительно с целью пояснить некоторые аспекты стоящих перед нами проблем. Общий же итог, безусловно, положителен. Никогда еще не было у нас в стране столько поэтов, никогда перед ними не открывались бо́льшие возможности (в том числе и для учебы), никогда не было у наших литераторов столь многочисленной и благодарной читательской аудитории.

Трудно переоценить перспективы, которые открыла социалистическая революция на Кубе. Я имею в виду отнюдь не только материально-экономическую базу, необходимую для расцвета всех областей культуры. Достаточно упомянуть знаменательные события нашей истории последних лет, создавшие на Кубе обстановку высочайшего

---

[1] См. статью А. Зверева «Каммингс и «чистая» поэтика» и переводы его стихов («ИЛ» № 7, 1978).

[2] От испанского слова exterior — внешний; возникшее в последнее десятилетие течение в латиноамериканской поэзии, зачинателем которого является Э. Карденаль, характеризующееся повышенным вниманием автора к документальности, конкретным жизненным деталям и фактам.

[3] О противоречивом творческом и жизненном пути этого поэта см. статью Хосе Мигеля Вараса («ИЛ» № 7, 1977).

[1] Мариатеги Хосе Карлос (1897—1930) — видный перуанский общественный деятель и писатель. Основатель Коммунистической партии Перу.

ЛУИС СУАРДИАС
РАЗМЫШЛЕНИЯ О НОВОЙ КУБИНСКОЙ ПОЭЗИИ

духовного подъема всего народа,— в этой обстановке рождались произведения литераторов разных поколений, прежде всего молодых: кампания 1961 года по ликвидации неграмотности, победа на Плайя-Хирон, провозглашение социалистического характера нашей революции, разгром в Эскамбрае контрреволюционных банд.

Поистине наша страна включилась в процесс беспримерного исторического творчества, переустройства всей жизни. Нужно ли говорить, как благоприятна такая атмосфера для развития культуры, утверждения новых, социалистических духовных ценностей, для воспитания молодежи, для созревания будущих писателей и художников.

Широкая общеобразовательная кампания совпала с национализацией буржуазных газет и журналов, поставленных отныне на службу народу; было полностью реорганизовано издательское дело, ранее преследовавшее лишь одну цель — извлечение коммерческой прибыли. В новую издательскую практику прочно вошел выпуск литературных серий, таких, например, как «Проба пера», давшая возможность начинающим издать свои первые произведения, «Первый фестиваль кубинской поэзии» и «Второй фестиваль кубинской поэзии», «Народная библиотека кубинских классиков» и другие.

Создание в 1961 году Союза писателей и деятелей искусств Кубы (УНЕАК) привело к появлению специализированных газет и журналов, посвященных проблемам искусства и литературы. Позже при УНЕАК возникла молодежная секция, объединяющая наиболее способных молодых литераторов, художников, композиторов, кинематографистов,— она была названа Бригадой братьев Сайс, в память молодых кубинцев Серхио и Луиса Сайсов, поэтов, погибших в борьбе против тирании Батисты. Учреждены литературные конкурсы, скажем, конкурс на премию «Давид» [1], студенческий конкурс имени 13 марта, проводимый Гаванским университетом, Национальный конкурс на соискание премии УНЕАК и другие, всемерно способствующие пропаганде произведений новых авторов. С начала 70-х годов широко распространяются «литературные мастерские» — кружки и студии, которыми руководят Министерство культуры, УНЕАК и Союз молодых коммунистов Кубы; в университетах, школах, на производстве, в деревне тысячи юношей и девушек впервые испытывают в «литературных мастерских» свое художественное оружие, свои силы. Здесь, в мастерских, завязывается их дружба с кубинскими, латиноамериканскими, советскими писателями и литераторами других социалистических стран, с прогрессивными деятелями искусства самых отдаленных уголков земли. Наиболее удачные произведения членов «литературных мастерских» публикуются в местных изданиях, некоторые же входят в издающиеся в стране или за рубежом антологии, передаются по радио и телевидению.

Неудивительно, что приток свежих сил в литературу необычайно возрос. К примеру, на конкурс «Давид» 1977 года поступило 375 произведений трех жанров (драматургия, рассказ, поэзия), причем большинство рукописей, как обычно, составили поэтические тетради. Если принять во внимание, что ежегодно у нас проводится около десятка общенациональных конкурсов, не говоря уже об общеконтинентальном, учрежденном латиноамериканским культурным центром, находящимся в Гаване, «Каса де лас Америкас» («Дом Америк») — кубинские писатели, кстати, тоже могут принимать в нем участие,— то получается, что каждый год около пятисот новых поэтических книг в среднем борются за право быть опубликованными. Вот почему с полным основанием можно утверждать, что благодаря революции на Кубе теперь больше литераторов, работающих в различных жанрах, чем было читателей поэзии в мрачный период капитализма.

Хотелось бы особо отметить роль ежемесячника, который, пожалуй, в наибольшей степени поощряет «новые ростки» в нашем искусстве. Это «Кайман барбудо» — издание, посвященное проблемам культуры.

Активное личное участие в социалистическом строительстве формирует молодые дарования на основе принципиально нового жизненного опыта: это и работа во время сафры — рубки сахарного тростника, и служба в рядах наших войск, и постоянное — в том числе и за рубежами родной страны — выполнение долга интернационалистов, и воспитание в себе общей культуры, как это завещал нам предтеча революции Хосе Марти, который учил: «Быть культурным, чтобы быть свободным». И еще: «Нет социального равенства без равенства в области культуры».

Десятки тысяч молодых кубинцев едут за опытом в социалистические страны, в Советский Союз. Родина великого Ленина становится для них не отдаленной мечтой, не землей обетованной, знакомой почти исключительно по книгам, кинофильмам или журналам, а конкретной, ощутимой реальностью: наши контакты с народом, творцом Октябрьской революции, установившиеся с первых лет советской власти, за последние годы сделались небывало плодотворными и многообразными.

Во многих странах Европы, Африки, Азии и Латинской Америки (столь близкой нам и столь далекой из-за тиранических режимов и в силу преступной блокады, организованной североамериканским империализмом) со всей решимостью и доброй волей работала наша молодежь — те, кто ликвидировал неграмотность, защищал революцию или рубил тростник. Крепнут наши связи с англоязычными странами Карибского бассейна; у нас с ними общая история, их берега омывают те же воды, но их еще не так давно отчуждало от нас коварство колониалистов.

---

[1] «Давид» — подпольная кличка соратника Фиделя Кастро, известного кубинского революционера Франка Паиса, замученного в застенках Батисты.

Революция, как справедливо говорят на Кубе, является самым значительным культурным событием. Вот почему в ее рядах всегда стояли и стоят поэты, а новые кубинские поэты — не только авторы стихов. Они — врачи, трактористы, учителя, строители, политические или государственные руководители, солдаты социализма. А иногда и все вместе одновременно. По богатейшему опыту (сколь хорошо знакомому советским людям с первых лет Октябрьской революции) Кубе нет равных в западном полушарии.

■

Каковы же направления развития молодой кубинской поэзии? Перечитывая опубликованные за последние годы произведения, приходишь к выводу, что многие наши поэты предпочитают крупные поэтические формы и что их куда больше занимают проблемы коллектива, чем собственные горести и радости. И вовсе не столь уж часто кубинский поэт предлагает вниманию читателя личную версию некой «песни самому себе» или погружается в безбрежные романтические ламентации. Значительное число стихов поэтов Кубы весьма удачно переведено в СССР (общепризнанно, что Страна Советов идет впереди в этом трудном деле) — и те, кто читает их по-русски, могут сами вынести беспристрастное о них суждение.

Но ограничивается ли только упомянутой тематикой сегодняшняя поэзия Кубы? Конечно же нет. Отмечу некоторые из основных ее мотивов. Среди них, разумеется, любовь, хотя разработка этой темы почти никогда не ограничивается описанием кризисов или взлетов чисто интимных отношений: любовь с ее перипетиями всегда тесно переплетена с событиями повседневной жизни. Вписанная в жизненно достоверную, красочную картину, тема любви приобретает порой такое измерение, о котором и не подозревал сам «влюбленный» автор.

Рассказывая о великих и скромных героях отечественной или всемирной истории, поэзия молодых тяготеет к воссозданию ключевых событий революционной борьбы человечества, таких, скажем, как эпопея освобождения народов Латинской Америки, Парижская коммуна, Октябрьская революция, борьба народов Вьетнама, Чили, Анголы; нередко обращается она и к образам выдающихся деятелей литературы всех широт и времен, прежде всего тех, кто отдал жизнь, отстаивая прогрессивные идеи.

Ощущая себя неотъемлемой частью народа, молодые литераторы, каждый по-своему, на основе лично пережитого, стремятся передать напряженный ритм строительства социализма на Кубе, со всеми его трудностями и радостями. Эта их тема тесно переплетается с темой боевой солидарности с далекими и близкими, знакомыми и незнакомыми братьями — с теми, кто сражается за торжество справедливости в наше время. Наконец, в стихах молодых мы явственно слышим песнь великим завоеваниям современной науки и техники, поставленным на службу социальному прогрессу. И конечно же, в произведениях наших младших коллег непременно найдешь лирические воспоминания детства и отрочества, но звучат они вовсе не сентиментальной элегией прошлому, ранняя юность скорее предстает здесь как преддверие прекрасного будущего. Есть в их лирике и размышления о трагическом таинстве смерти (какого же поэта не влечет к себе эта тема?!), вдруг настигающей нас и разящей своей молнией.

Итак, это интимная лирика, ибо в каждом стихотворении — часть пылкой, страстной, молодой души автора. Но это и монументальный гимн, взывающий к читателю-современнику. Это стихи, сокрушающие «башню из слоновой кости», отвергающие аристократически бесплодное одиночество. Поэзия эта, сочетающая предельно разговорный лад с нежнейшей лирической тональностью, все чаще звучит в кинофильмах и с экранов телевизоров, она говорит с людьми на улицах и в поле, звучит под перебор гитарных струн.

■

Десятки прекрасных переводчиков познакомили советских людей с произведениями кубинских писателей, в том числе поэтов, заговоривших на языках всех пятнадцати республик СССР.

Адресуя советскому читателю эти размышления о новой кубинской поэзии, я опираюсь на его солидное знакомство не только с лучшими нашими современными авторами, но и творениями выдающихся деятелей XIX века — таких, как несравненный Хосе Марти или известный романист Сирило Вильяверде. Мне хотелось бы также проиллюстрировать свои заметки и стихотворениями самых молодых поэтов Кубы, родившихся в 1945 году и позже. Я намеренно не пишу о них подробно, не называю одних имен (опуская при этом другие), не разбираю их творчество и не раздаю им оценок. Все это, несомненно, еще ждет их в будущем. Пока же их поэзия — обещание, заявка, надежда. Предлагая читателям «Иностранной литературы» скромную подборку стихов молодых кубинцев [1], я верю в их строгий, но справедливый суд и надеюсь, что наши сердца бьются в едином ритме в год двадцатилетия победы кубинской революции.

[1] Подборку стихов молодых поэтов см. в данном номере «ИЛ», стр. 196.

Перевод с испанского Н. БУЛГАКОВОЙ

◆

Заметки на полях

НЕГРИТЮД, АФРИКАНИТЕ... И ЖИЗНЬ

В современной Африке, почти полностью очистившейся от колониальных пут, развернулась острая идейно-политическая борьба по проблемам формирования художественной культуры. Старые концепции культурного национализма сталкиваются с новыми, с отрицательным отношением к любым проявлениям культурного национализма в духовной жизни Африки. Об обострении идейно-политической борьбы мы можем судить по журналу «Презанс африкэн», который издается в Париже и хорошо известен как в англо- и франкоязычных африканских странах, так и в Америке, по многим другим журналам, выходящим в независимых странах Африки.

«Культурный облик народа, любого народа, состоит из трех факторов: психологического, лингвистического и исторического. Я не изобретал этого понятия. Оно было выработано раньше. Я только обратился к нему как к уже известному факту».

Так определил свой подход к проблемам культуры сенегальский общественный деятель, писатель, историк, лингвист, философ, социолог и физик доктор Шейх Анта Диоп. Среди африканистов его труды пользуются большим авторитетом. Об этом, в частности, свидетельствует последний номер «Презанс африкэн», поместивший высказывания 40 известных деятелей культуры и науки Африки, Европы и Америки о той роли, которую сыграл Шейх Анта Диоп в развитии африканской общественной мысли XX века. Шейх Анта Диоп в последние годы очень редко выступал в периодической печати. Тем более интересно читать его интервью корреспонденту нигерийского журнала «Афрископ».

«Как ученый, я предпринял анализ объективной реальности. Я понимал, что из трех компонентов культурного облика народа только два могут быть изучены с научной точки зрения — то есть лингвистический и исторический факторы. Поэтому я обратился к восстановлению и реконструкции исторической и лингвистической личности черных народов».

Анализируя эти два фактора, ученый обращается вначале к фактору историческому:

«Пока исторический путь наших предков не будет понят и критически оценен, мы не сможем создать нашу новую культуру».

Не менее важным Шейх Анта Диоп считает и лингвистический фактор, который, по его мнению, в современной Африке очень часто игнорируют:

«Мы порой удовлетворяемся компромиссами, которые уводят нас от принятия радикальных мер в области культуры. Очень немногие осмеливаются обращаться к этой проблеме с научной точки зрения. В результате многие из тех, кто любит поговорить о развитии нашего национального языка, ограничиваются областью фольклора. Когда же они хотят всерьез заняться этой проблемой, то обращаются к языкам... Европы!»

Свой подход к африканской культуре (он называет его научным) Шейх Анта Диоп противопоставляет «поэтическому» подходу последователей негритюда. Негритюд — «негритянство» — одна из разновидностей культурного национализма, зарождение которого связывают с именем либерийца Эдварда Блайдена, выдвинувшего в конце XIX века, в самый расцвет колониализма, тезис о самобытности негроидной расы. Сразу же после первой мировой войны США пережили так называемый первый «черный

бум», который получил название «Негритянский, или Гарлемский, ренессанс» и открыл дорогу современному африканскому культурному национализму. Манифестом этого движения стала статья известного афроамериканского поэта Лэнгстона Хьюза «Негритянский художник и вершина расы», опубликованная в 1926 году. Затем по мере приближения кризиса колониальной системы и усиления антиколониальной борьбы концепции культурного национализма стали появляться на европейском континенте. Среди африканских студентов, обучавшихся в Париже в 30-х и особенно в 40—50-х годах, культурный национализм принял форму негритюда, который наиболее ярко проявился в поэзии мартиниканца Эме Сезэра, гвианца Леона Дамаса, сенегальца Леопольда Седара Сенгора.

Шейх Анта Диоп рассматривает негритюд в историческом аспекте. Он не отрицает, что в нем был заложен положительный заряд. При этом он подчеркивает роль Эме Сезэра:

«Если мы обращаемся к негритюду, то необходимо выделить такую фигуру, как Эме Сезэр. Сезэр — это литературный гений. Без всяких сомнений, он является одним из замечательнейших творческих умов черного мира. Это человек, который истинно был предан делу черного мира и прогрессу всего угнетенного человечества. Он был стойким антиколониалистом. Именно поэтому Сезэр стал тем человеком, который сыграл решающую роль в мобилизации черных студентов, оказавшихся во Франции в колониальный период. Именно он поднял всех нас на борьбу против колониальных угнетателей.

...Имя Сезэра ассоциировалось прежде всего с борьбой против колониализма и с освобождением черных. Когда я говорю о Сезэре, я не говорю о негритюде. Я говорю о человеке, которого я знал и уважал, о гении и борце. Он поставил перед собой цель обнаружить потерянную африканскую личность колонизованных черных народов. Он делал это посредством поэзии. Поэтому он превозносил психологический фактор как необходимый компонент новой африканской культурной личности и национального самосознания. Можно сказать, что он внес психологический и культурный факторы в борьбу черных народов за завоевание национального суверенитета, узурпированного колониализмом... Его любили, уважали и чтили все, кто мечтал о свободе и независимости и стремился к достижению этой цели».

В те же примерно годы среди африканских студентов в Лондоне возникла «теория африканской личности», которую проповедовал ганец Кваме Нкрума, ставший впоследствии крупнейшим политическим деятелем. Эта теория является модификацией негритюда в условиях англоязычной Африки. Свой подход к африканской культуре Ш. А. Диоп противопоставляет одинаково как негритюду, так и теории африканской личности. «Их объединяет неопределенность! — говорит он.— А мы должны обращаться к фактам, к объективным реалиям».

«Мы не можем противопоставлять теорию африканской личности и негритюд, поскольку обе эти теории относятся только к одному из трех компонентов, определяющих культурную общность народа. Народ живет своей культурой. Корни этой культуры нерасторжимы с их лингвистической структурой и историческим прошлым. Это — мой подход к культуре».

В 60—70-е годы, когда африканские страны одна за другой добились независимости и перед ними встали задачи конкретного культурного строительства, критика концепций культурного национализма, особенно негритюда, усилилась. Но он оказался достаточно живуч. Его сторонники ссылаются на те годы, когда негритюд был эмоциональным знаменем борьбы. Ш. А. Диоп говорит об этом:

«Трудность сегодня заключается в том, что, стремясь отразить атаки на негритюд, его защитники прикрываются именем Сезэра от тех, кто рассматривает его послеколониальное использование как обычное мошенничество».

В последние годы получила широкое распространение (в частности, обсуждалась на философском коллоквиуме афро-негритянского фестиваля искусств и культуры в Лагосе в 1977 году) теория африканской общности — «африканите». По своей сущности она мало чем отличается от предыдущих, ибо утверждает, что африканцам присуща совокупность специфических духовных и психических особенностей, выделяющая их из остального мира. Некоторые африканисты считают, что культурный национализм сходит на нет. Появление «африканите» доказывает обратное. Было бы ошибкой предполагать, что попытки создать особую «негро-африканскую эстетику», возникшие как реакция на расистские идеи о низшем положении африканцев в человеческой семье, но теперь уже объективно мешающие социальному и культурному прогрессу народов Африки, отомрут сами, без борьбы.

Характерно, что сейчас африканская общественность все чаще обращается к идеям Амилкара Кабрала, выдающегося деятеля национально-освободительного движения Африки, погибшего от рук пособников колонизаторов. В уже упоминавшемся номере

журнала «Презанс африкэн» нигериец К. Опоку в статье «Кабрал и африканская революция» называет Амилкара Кабрала среди тех африканских мыслителей, идеи которых окажут влияние и на будущие поколения.

«Культура по Кабралу — это продукт экономической и политической деятельности народа и, таким образом, не может развиваться независимо, вне других сфер жизни. Иными словами, культура не может быть оторвана от ежедневной борьбы за жизнь, на нее не могут не влиять интересы класса и отдельных личностей. Кроме того, культура не есть продукт какого-то духа или мыслей каких-нибудь очень умных людей».

Опоку подчеркивает, что Амилкар Кабрал является одним из немногих современных африканских мыслителей, которые смогли дать социальный анализ африканской культуры, определить ее классовый характер.

«Колониальный режим создал класс так называемых «ассимиладос», или «эволюэ», чья культура отличается от культуры народа. образ жизни отличается от образа жизни масс, культуру которых они или не знают. или предпочитают игнорировать. Зачастую они презирают культурные ценности своего народа так же, как и колонизаторы. Другими словами, они восприняли весь набор ценностей, который внедрили в них колонизаторы посредством образования, религиозных наставлений или каким-нибудь другим методом воздействия.

Как указывает Кабрал, некоторые представители элиты могут положительно отнестись к борьбе за национальное освобождение, не избавившись при этом от своих культурных комплексов; они рассматривают призыв к освобождению как средство изгнания колониальных угнетателей и утверждения своего доминирующего положения над массами. События, происшедшие в большинстве независимых африканских стран, подтвердили анализ, произведенный Кабралом. За очень небольшим исключением (например, Танзания), «превосходство» привнесенной европейской культуры во многих африканских странах было принято как должное руководящими кругами. До сих пор европейские языки используются в качестве официальных и никаких серьезных мер не было предпринято для их замены. Также никто не говорит о культурном возрождении, или о ренессансе. Шум, который был поднят вокруг негритюда и различных других культурных явлений (большинство из них имеет эксгибиционистский характер, направленный на то, чтобы убедить европейцев признать африканскую культуру), в действительности служит прославлению утвердившейся у власти НОВОЙ БУРЖУАЗИИ».

Анализируя взгляды Амилкара Кабрала на африканскую культуру, Опоку противопоставляет их точке зрения последователей негритюда:

«Борцам за национальное освобождение нельзя тратить время на дискуссии о том, выше африканская культура европейской или ниже и что является специфично африканским. Наиболее важная задача — это определить, какие элементы нашей культуры имеют отношение к нашим сегодняшним проблемам. Как бы ни признавал Кабрал необходимость обращения к корням культуры, он также выступает против любой попытки мистификации масс гуманными теориями об африканской душе или африканской личности. Его твердая вера в диалектический материализм не позволяет ему принять такую антидиалектическую теорию, как негритюд, с ее тезисом о неизменных или прирожденных достоинствах африканцев».

Опоку приводит конкретный пример, который использует Амилкар Кабрал в своих рассуждениях об устойчивом характере африканской культуры и провале политики ассимиляции, проводившейся португальским колониализмом:

«Нам отчетливо видны культурные достижения португальского империализма. После пятисот лет колониального правления в Гвинее только три десятых процента ее населения достигло положения «ассимиладос», оставшиеся девяносто девять и семь десятых не могли ни читать, ни писать по-португальски. Совершенно ясно, чем объясняется это несоответствие между поставленной целью и ее достижением. Колонизаторы не стремились дать образование африканским массам, поставлявшим дешевую рабочую силу. Пылкими последователями различных теорий типа «африканите» или «африканизма» являются те немногочисленные африканцы, которые получили европейское образование».

Статьи, о которых шла речь, убедительно показывают, что в острой идейно-политической борьбе взгляды многих африканских деятелей культуры, ранее разделявших концепции культурного национализма, все больше сближаются со взглядами революционной демократии. В частности, Опоку пишет:

«Похоже на то, что в ближайшие годы начнется период острых дискуссий о революции в Африке, особенно в тех независимых государствах, в которых формальный переход власти из рук колонизаторов в руки африканского правящего класса не сопровождался значительными изменениями в социальной и экономической структуре».

Л. ГОЛДЕН

◆

Публицистика

ШЕЙЛА КЭССИДИ

ЧИЛИ: ДОЛГ ПАМЯТИ

Монтаж по книге «ДЕРЗАНИЕ ВЕРИТЬ. АВТОБИОГРАФИЯ»

Перевод с английского И. ГУРОВОЙ

Врач Шейла Кэссиди, англичанка, выросшая в Австралии, определила свое призвание еще в ранней юности. В 1956 году она поступает в медицинское училище в Сиднее, а затем, переселившись с родителями в Англию, 12 лет — вплоть до своего отъезда в Чили — продолжает занятия в Оксфорде. В 1963 году Кэссиди получила диплом хирурга и работала в различных медицинских учреждениях. Столь же рано, как и любовь к медицине, пробудилось в Шейле Кэссиди сильное религиозное чувство. Не раз приходила она к решению стать монахиней и все же не могла заставить себя расстаться с «миром». Об этой напряженной внутренней борьбе, продолжавшейся много лет, Кэссиди рассказывает в своей автобиографической книге с присущей ей искренностью. Однако главным предметом книги стали не духовные поиски этой своеобразной и привлекательной натуры, а жестокие, трагические испытания, через которые Шейле Кэссиди суждено было пройти в Чили после фашистского переворота. Далеко не сразу решилась она сделать достоянием гласности все перенесенное и увиденное, но чувство долга оказалось сильнее сомнений и естественного желания забыть о том, что ей довелось испытать в застенках Сантьяго в октябре — ноябре 1975 года.

Автор предисловия к английскому изданию книги, хорошо знающий Шейлу Кэссиди, называет ее «ребенком в политике». Действительно, в этой сфере она не слишком искушена, в чем признается с самого начала, и наивное сближение в ее книге марксистов с христианами, деятельности католической церкви — и революционеров в странах Латинской Америки говорит об этом достаточно красноречиво. Вместе с тем социальные наблюдения Кэссиди отличаются здравым смыслом и зоркостью: глубоко и действенно сочувствуя обездоленным, она с несомненной симпатией отнеслась к реформам и целям правительства Альенде. Книга ее — не просто личное свидетельство одной из жертв хунты, но и строго правдивый рассказ о злодеяниях режима Пиночета, цинично попирающего самые элементарные права человека.

И. Л.

В тот день, когда мне предстояло покинуть Чили, одна из моих подруг по заключению сказала мне, что после знакомства со мной ее мнение о католиках еще ухудшилось. Это задело меня особенно больно не только потому, что она внушала мне глубокое уважение, но еще и потому, что втайне я воображала, будто, оказавшись среди марксистов, достойно представляла христианство После того как я, опасаясь риска, решила умолчать о том, что видела и перенесла в тюрьме, объяснила она, ей было трудно со мной разговаривать. Она осуждала меня за то, что я объявляю себя христианкой, но не имею мужества доказывать это делом.

И тогда я поняла, что мой долг перед заключенными в лагере — говорить о них, сказать за них то, что сами они сказать лишены возможности. Мне стало ясно, что какими бы ни оказались дипломатические, а также

сугубо личные последствия, я обязана рассказать правду всем тем, кто готов слушать.

Так что эта книга написана во исполнение обязательства, данного всем тем, с кем меня свела судьба в тюрьме Трес Аламос в Сантьяго. Возможно, теперь они живут в Чили на свободе, а может, бежали за границу, но их место заняли другие, потому что Чили все еще остается страной, где душат свободу.

О том, что произошло со мной, я написала не из жажды мести, не с озлоблением, но с любовью и надеждой, потому что пережитое мной в Чили открыло мне неизмеримость и несокрушимость силы добра, заложенной в народе. То, что я узнала о католической церкви в Чили, о мужчинах и женщинах, которые хранят лик Христа среди обездоленных, изменило мою жизнь, и у меня нет слов, чтобы выразить всю глубину моей благодарности. Моему приобщению к деятельности христиан я обязана выпавшей мне чести разделить страдания другой группы чилийцев — людей, с такой же беззаветностью, хотя и по-иному, посвятивших себя делу освобождения угнетенных. Их мужество, стойкость, готовность к самопожертвованию остаются для меня недосягаемым и вдохновляющим примером.

В дни тяжелых испытаний в Чили часто можно было услышать слова entrega total — полная самоотдача. Эта Фраза равно применима и к христианам и к марксистам, ибо и те и другие откликнулись на призыв Любви величайшей, которая дает человеку силу отдать жизнь свою за други своя.

Июль 1977 г.

В декабре 1971 года, устав от бешеного верчения в беличьем колесе, а иными словами — от существования, на которое обречены английские хирурги, я отправилась на грузовом пароходе в Чили. В каюте со мной помещалась моя собака и еще тридцать три предмета ручного багажа, включая проигрыватель и швейную машину, а в трюме ехало остальное мое земное имущество, которое я упаковала сама — надежно, хотя, может быть, и не совсем по правилам. Одеяла и простыни лежали в ящике, в котором прежде обитал попугай, холодильник был укутан в пуховую перинку, а одежда и белье путешествовали прямо в платяном шкафу. Более хрупкие предметы, вроде зеркала и двух ламп, покоились между двумя матрасами, обернутыми ковром и стянутыми веревкой. Если не считать пропавшего набора серебряных фруктовых ножичков и разбившегося зеркала, вся моя обстановка прибыла благополучно и прямотаки спасла меня в первые трудные месяцы приспособления к жизни в незнакомой стране.

Двадцать девятого декабря 1975 года меня официально выслали из Чили за оказание медицинской помощи раненому революционеру, и я вернулась в Англию на самолете с чемоданчиком, упакованным английским консулом, и без моей собаки.

С тех пор меня постоянно спрашивали, зачем я, собственно, поехала в Чили, и у меня выработался стереотипный ответ: в поисках более легкой жизни. По-своему это правда, так что я не кривлю душой, а люди, меня не знающие, находят такое объяснение вполне разумным: разве мало молодых врачей отправляется искать счастья за границей! И еще этот ответ недвусмысленно показывает, что мной не руководили соображения ни политики, ни человеколюбия, а это очень важно, особенно когда одна половина мира видит во мне палящую из автомата революционерку-марксистку, а вторая — нечто среднее между Флоренс Найтингейл и Жанной д'Арк.

В действительности же, как это нередко бывает с поступками, полностью меняющими жизнь человека, мое решение уехать в Чили сложилось в силу причин разного характера, и отнюдь не драматических. Людям, далеким от английской медицины, трудно понять, какое это беличье колесо. Энергичные, полные энтузиазма молодые врачи попадают во власть машины, и она преобразует их жизнь и их любовь к своей профессии так, как они и помыслить не могли. К 1971 году, хотя моя любовь к медицине нисколько не остыла, я успела распроститься со всеми своими иллюзиями и пришла к выводу, что у меня вряд ли хватит сил вести полноценную человеческую жизнь, работая в больнице с полной нагрузкой.

В течение шести месяцев я изучала пластическую хирургию в Оксфорде и там познакомилась с Консуэлой, молодой чилийской медичкой. Она проходила стажировку в Англии, и мы очень подружились.

От Консуэлы и ее друзей я много узнала о Чили, и их рассказы произвели на меня такое впечатление, что, собравшись работать за границей, я решила поехать именно туда.

Первые полгода моей жизни в Чили, хотя все вокруг меня без конца говорили и спорили о политике, я была поглощена устройством собственной судьбы и не интересовалась тем, что происходило в стране. Консуэла объяснила мне, что правительство

Альенде поставило перед собой задачу за пять лет осуществить прогрессивные социальные преобразования, каких мы в Англии добились за столетие, и поскольку я всегда была сторонницей передовых форм здравоохранения народного просвещения и социального обеспечения, то от души сочувствовала этому намерению. Однако мне и в голову не приходило читать газеты или каким-нибудь иным способом пробовать разбираться в политической обстановке. А поскольку соприкасалась я главным образом с бедняками и левой интеллигенцией, у меня создалось впечатление, что все жители страны без исключения объединяют свои усилия для строительства нового Чили.

Затем, в середине 1972 года, произошла первая крупная антиправительственная забастовка, и, к моему изумлению, больше половины врачей в больнице попросту бросили своих пациентов и отправились домой. Я прямо не верила своим глазам. Не разбираясь в причинах забастовки, я присоединилась к тем врачам и студентам-медикам, которые работали с утра до ночи, чтобы население не осталось без медицинской помощи. Забастовка продолжалась почти три недели, а потом врачи, хорошо отдохнувшие за это время, как ни в чем не бывало вернулись к своим обязанностям, и жизнь более или менее возвратилась в свое русло.

На протяжении 1972 года трудности продолжали возрастать. Когда я приехала, уже чувствовалась нехватка некоторых товаров, но мы не особенно страдали от нее и спокойно с ней смирялись, потому что понимали ее причины. Например, стало трудно купить сосновые доски. Чили богато сосной, и это очень дешевый материал. В те годы его постоянно недоставало, потому что гораздо больше людей получили возможность строить себе дома. Пусть я не могла заказать книжный шкаф — стоило ли огорчаться из-за такой мелочи, если кто-то обретал кров над головой? Точно так же возникали перебои с говядиной. Говорили, что скотоводы на юге Чили, зная, что с приходом к власти Альенде цены будут контролироваться, а земля конфисковываться, угнали свои стада в Аргентину и продали там. Не берусь судить, правда ли это, но я знаю, что на говядину были установлены твердые цены, она стала доступна беднякам, и запасы расходились быстро.

Состоятельные чилийцы привыкли есть говядину каждый день и не желали ни с чем считаться. Тогда и начались пресловутые «демонстрации с кастрюлями» — домашние хозяйки, принадлежавшие к среднему классу, собирались группой, шли по улицам и били в кастрюли в знак протеста против того, что им якобы нечего в них положить. Их не останавливал тот факт, что они спокойно могли бы положить туда курицу, кусок баранины или отличную рыбу. Они требовали только говядины и не желали считаться с тем, что говядины им не хватает лишь потому, что ее теперь покупают другие чилийцы, которым прежде она была не по карману,— те чилийцы, которые из поколения в поколение питались так плохо, что в своем физическом развитии, а как следствие этого и в умственном, отставали от более обеспеченных земляков. Статистика и сравнительные таблицы показывают, что рост и вес детей в фешенебельных кварталах Сантьяго совпадают с ростом и весом их сверстников в Северной Америке. Но рост и вес детей того же возраста в нищих кварталах чилийской столицы заметно меньше.

Тем, кто никогда не бывал в странах третьего мира, трудно себе представить, в какой беспросветной нищете люди способны не только жить, но и смеяться, и любить. Мы читаем об этом, глядим на фотографии, но по-настоящему верим, только когда воочию убеждаемся, что все это — правда. Такое осознание мучительно и, мне кажется, нередко ввергает людей в подлинное безумие, заставляющее их либо утверждать, будто ничего этого нет, либо искать искупления, отказываясь от спокойного существования, а иногда и жертвуя жизнью.

Ошеломляет даже не зрелище лачуги с земляным полом, в которой ютится семья из восьми человек, а внезапное осознание, что живущие тут вовсе не принадлежат к какому-то особому племени, но что они — такие же люди, как и ты, точно так же страдающие от голода, холода и усталости.

Может быть, это звучит напыщенно или даже мелодраматично, но как иначе можно объяснить столь близкое и невозмутимое соседство сытой обеспеченности с вопиющей нищетой? Мне вспоминается, как один мой знакомый — молодой юрист, прекрасный человек и верующий христианин — сказал мне, когда мы обсуждали, какой маршрут мне выбрать для поездки в Англию к отцу: «Поезжайте через Майами и Бермудские острова, но только не через Перу — тамошняя нищета производит такое удручающее впечатление!»

Да, Чили — страна, разделенная на две части, страна тех, кого удовлетворяет положение вещей, существующее уже триста лет, и тех, для кого голод, постоянное недоедание, неграмотность и страшные жилищные условия — это язвы на теле родной страны, язвы, которые необходимо исцелить или иссечь.

Чили богато полезными ископаемыми и особенно медью. Чилийские медные рудники, один из крупнейших поставщиков этого металла в мире, принадлежали американским компаниям, пока наконец не были национализированы правительством Сальвадора Альенде. Эта акция была важнейшим шагом народа на пути обретения свободы — свободы по собственному усмотрению и для собственной выгоды распоряжаться природными богатствами своей страны.

Америку, однако, это не радовало. Я недостаточно осведомлена, чтобы в подробностях обсуждать степень участия ЦРУ в свержении правительства Альенде, однако было бы неверно не упомянуть здесь

документы ИТТ, переданные в 1972 году прессе. Они включали фотокопии писем и меморандумов, свидетельствующих о том, что в США на очень высоком уровне обсуждалось, как помешать победе Альенде на выборах и как в случае его победы добиться его свержения. Но тогда, в Чили, я понятия не имела о международных корпорациях и проблемах развитых наций, которые, владея естественными ресурсами развивающихся стран, покупают сырье дешево, а после обработки продают его с огромной прибылью. Я видела только Чили — кипящую жизнью страну, вопреки всем трудностям с надеждой строящую новое, лучшее будущее, заравнивающую вековую пропасть между богатыми и бедными. Кирпичные стены старых домов Сантьяго расцвели яркими плакатами, провозглашавшими единство между всеми, кто трудится,— между врачами и крестьянами, шахтерами, учителями, женщинами и мужчинами, каменщиками, художниками и солдатами. И песни! В этом новом искусстве молодых народных певцов ведущее место занимали Анхело Парра и Виктор Хара. Песни эти создавались народом для народа, их слова были исполнены глубокого смысла и высоких чаяний.

Это было время созидания — строительства жилых домов, школ, больниц, дорог и всеобщего мира. Все должны были объединить усилия: школьники и учителя после занятий отправлялись в лачуги бедняков и учили неграмотных читать и писать, а во время каникул помогали на стройках.

В сентябре 1972 года я начала работать в больнице Сан-Борха. После шести лет занятий хирургией я с радостью вновь стала терапевтом. Это был еще один шаг на пути получения чилийского медицинского диплома, а с ним и права работать наравне с чилийскими врачами. Я работала с восьми утра до десяти вечера, но мне и этого казалось мало. Оставить хорошо мне знакомую узкую отрасль медицины, взяв на себя ответственность за палату, полную тяжело больных людей, которых я тогда понимала с большим трудом, было отнюдь не просто. Ознакомление с историей болезни, опрос больного — самые простые вещи, на которые при обычных обстоятельствах у меня ушло бы десять — пятнадцать минут, теперь отнимали три-четыре часа, пока я и мои пациенты кое-как объяснялись друг с другом. Я сидела у их кроватей и с трудом составляла вопросы на ломаном испанском языке, но мои больные были удивительны! Бесконечно терпеливы, снисходительны и деликатны. Ни разу никто из них не хихикнул Нет мы много смеялись над самыми разными вещами, но вместе, и отношение их ко мне всегда было уважительным и теплым Благодаря им мое приобщение к чилийской медицине превращалось в удовольствие, и только через несколько месяцев, когда, как мне казалось, я научилась языку чилийских врачей, я наконец поняла, что объясняюсь на ужасающей смеси медицинских терминов и разговорного диалекта, почерпнутого мной у моих пациентов — рабочих.

Недели складывались в месяцы, и я все больше свыкалась с чилийским образом жизни, а вернее, с моим образом жизни в Чили. Обстановка же в стране ухудшалась. Жители многих городских районов объединялись, чтобы бороться с продажей товаров на черном рынке и обеспечивать их справедливое распределение в соответствии с численностью и составом семьи. Эта работа требовала долгих часов. Надо было развесить и упаковать продукты, а затем раздать их, но рабочие — и мужчины и женщины — не жалели сил и труда, чтобы обеспечить справедливое распределение продуктов питания и предметов первой необходимости.

В марте 1973 года были проведены всеобщие выборы, и правительство Альенде осталось у власти, однако трудности продолжали возрастать вместе с ростом недовольства среди значительных секторов среднего класса.

Каждый вечер в десять часов хорошо одетые женщины собирались кучками и принимались бить крышками по кастрюлям. Слыша этот грохот, мы только дивились их слепому эгоизму, не понимая, что они убеждены в своем праве занимать привилегированное положение и готовы защищать его любой ценой.

В августе 1973 года разразилась вторая большая забастовка, расколовшая Чили. Снова я увидела, как врачи бросают больных на произвол судьбы, лишь бы добиться свержения правительства. Я не могу забыть тот день, когда в больницу привезли умирающего младенца. Мы звонили, куда могли, чтобы вызвать врача, и он, правда, появился, но слишком поздно.

Жили мы в миле от центра города и почти не замечали нарастающих тревожных признаков. Нам рассказывали о мелких беспорядках в центральных районах, но сама я ни разу не слышала выстрелов и не видела никаких стычек. Однако забастовка все больше и больше подрывала нормальную жизнь страны. Прекратился подвоз фруктов и овощей с юга и рыбы из морских портов. К концу августа исчезли сахар, рис, растительное масло, мясо, рыба, зубная паста, мыло Это был тонко рассчитанный план деморализации страны, и он сработал. У меня есть основания говорить так: после переворота стало ясно, что недостаток продуктов объяснялся не только отсутствием подвоза но и их сокрытием. Уже через два дня после переворота лавки ломились от товаров, которые больше года оставались дефицитными. А через три дня эти продукты начали портиться, потому что цены сразу поднялись и многие люди уже ничего не могли купить.

Странной была и ночь перед переворотом. Как правило, по вечерам на улицах Сантьяго кипела жизнь, но в этот день, 10 сентября, мы с удивлением заметили, что все рестораны и магазины закрыты. Их

владельцы знали о том, что́ должно было произойти завтра. И утром во многих семьях детей не пустили в школу, а мужья остались дома слушать радио и ждать, когда разразится буря, непосвященные же пошли, как обычно, на работу, не подозревая, что 11 сентября 1973 года положит, по выражению журнала «Тайм», «кровавый конец марксистской мечте».

Утром одиннадцатого сентября я открыла ставни и вышла на балкон. На улице стояла тишина, но меня удивила не она, а то, как весело помахала мне женщина с балкона напротив. Мы почти не были с ней знакомы, я знала только, что она довольно состоятельна и живет в своей квартире одна. Но я сразу же забыла о ее радостном приветствии и отправилась купить молока. Домой я вернулась в начале двенадцатого. Консуэла бросилась мне навстречу. Ее лицо было пепельным.

— Армия захватила власть,— сказала она.

Музыка, передававшаяся по радио, вдруг оборвалась, и жесткий голос произнес:

— От имени военной хунты...

Мы с Консуэлой слушали голос новых правителей Чили, уже отдававших приказы народу. На всех волнах раздавался тот же голос — свобода слова кончилась.

— Они грозят разбомбить Ла Монеду!

Ла Монеду, традиционную резиденцию чилийского правительства, одно из самых замечательных исторических зданий Сантьяго в самом центре густо населенных жилых и торговых кварталов! По радио объявили, что Альенде было предложено покинуть Ла Монеду, но он отказался. В одиннадцать часов он обратился к стране с последней речью. Об Альенде говорилось много самых противоположных вещей: что он герой... что он предатель, что он сильный, убежденный человек... что он слабый, колеблющийся, что он отдал жизнь за свою страну... что он ее губил. Я же вижу в его последних словах неопровержимое доказательство того, что он был человеком высочайших убеждений и мужества, человеком, который жил и умер ради своего народа, ради угнетенных и обездоленных граждан Чили.

Новые правители Чили исполнили свою угрозу и сбросили бомбы на центр города. Еще до вечера все было кончено: Альенде погиб, министры его правительства арестованы, Чили захватила военная хунта. Радио без конца передавало распоряжения и приказы: рабочие должны немедленно разойтись по домам, всякий, кто выйдет на улицу после шести часов, будет расстрелян, всякий, кто затеет разговор на улице, будет арестован. Страна демократических свобод внезапно оказалась пленницей внутри собственных границ.

Ночью над городом кружил вертолет, точно огромная летучая мышь, выискивающая жертву. Позднее мы узнали, что в эти первые дни громили окраины: мужчин, женщин, детей убивали без разбора, сотни людей арестовывали. Аресты шли по всему городу — хватали не только взрослых, но и школьников. Число арестованных было так велико, что их заперли в помещениях двух самых больших стадионов Сантьяго. Солдаты врывались на заводы и в университеты, забирая всех, в ком подозревали сторонников Альенде. Арестованных допрашивали, подвергали пыткам, убивали.

Наш квартал четыре дня был оцеплен полицией, и я смогла пойти в больницу только 15 сентября. Мои друзья-врачи стояли во дворе, обсуждая события последних дней. Поздоровавшись с ними, я заглянула к своим больным, а когда через полчаса снова вернулась во двор, там никого не было. Я отправилась искать их в палатах, но тут же узнала, что двадцать врачей арестовали и увезли куда-то, а больница объявлена закрытой, но все должны оставаться в ней впредь до дальнейших распоряжений. Мои друзья тревожились за меня гораздо больше, чем я сама, и сказали, что я должна немедленно уйти — перед дверью родильного отделения еще не поставлена охрана. К счастью, я хорошо знала дорогу в лабиринте больничных коридоров и успела незаметно выскользнуть на улицу.

Мало-помалу жизнь вошла в новую колею. Консуэла вернулась на работу, где вынуждена была мучительно сдерживаться в присутствии сослуживцев, которые радостно приветствовали переворот. Она была больна физически, но душевные страдания были даже еще сильнее. Рухнула надежда на рождение нового Чили, демократия была уничтожена, горячо любимая родина попала в руки жестоких и беспощадных людей, стремившихся стереть самую память о переменах, которыми она так гордилась. Две ее сестры и их семьи были вынуждены бежать за границу, а мачеха восхваляла хунту.

Чили было расколото. всем правил страх и ненависть. Облик столицы сразу стал иным. Чуть ли не в первый же день правительство издало приказ, словно бы символизировавший всю его дальнейшую политику,— стереть лозунги и выбелить стены.

Особенно зловещими были ночи. Комендантский час начинался в восемь, и в распоряжении рабочих оставались буквально минуты, чтобы добраться до дома. Ровно в восемь начиналась стрельба. Запертые в четырех стенах, мы не знали, то ли солдаты палят в воздух для устрашения, то ли они врываются в дома и расстреливают их обитателей. Вскоре после восьми по улицам начинали разъезжать грузовики с солдатами, проносились низкие стремительные машины с высокопоставленными военными чинами, громыхали танки. Каждую ночь над городом патрулировали вертолеты и солдаты в стальных шлемах отправлялись на автобусах искать «террористов».

ШЕЙЛА КЭССИДИ
ЧИЛИ: ДОЛГ ПАМЯТИ

Шли повальные обыски, друзья рассказывали нам о грубости военных, о наглой бесцеремонности, с какой они забирали у обыскиваемых деньги и ценные вещи.

Но никакое запугивание, никакой гнет не могли лишить чилийцев чувства юмора, и друзья обменивались мрачными шутками:

«— Слышали, введен новый автобусный маршрут?

— Нет. А куда и откуда?

— От стадиона на кладбище».

Анекдоты, высмеивающие хунту, стали частью чилийского образа жизни. Особенно мне понравился вот этот: генерал Пиночет, переодевшись старухой, пошел в кино проверить, аплодируют ли зрители, когда он появляется на экране. Он сидел, упиваясь овацией, которую устроил зал его изображению на экране, но тут сосед ткнул его локтем и шепнул: «Хлопай, старая дура, а то расстреляют!»

Вскоре на спинках сидений в автобусах начали появляться антихунтовские лозунги и во всех автобусах Сантьяго были вывешены объявления: «За надписи против правительства — немедленный арест».

После первых недель «очищения» города, когда главные противники были либо перебиты, либо арестованы, хунта открыто провозгласила свой курс на уничтожение всех следов марксизма в Чили. Не сомневаясь, что их компетенции достаточно для выполнения любых обязанностей, военные возглавили все правительственные учреждения, больницы и университеты.

В середине февраля Консуэле, которая давно чувствовала себя нездоровой, вдруг стало так плохо, что ее увезли в больницу. Утром 5 марта 1974 года она умерла. Почти до самого конца она оставалась в сознании и сохраняла благородное достоинство и редкую деликатность, которые всегда так ее отличали.

В августе 1974 года я уехала в Англию к отцу. Он был уже стар, здоровье его ухудшалось, и я знала, что мне надо торопиться, если я хочу с ним свидеться.

Мои опасения были не напрасны — на другой день после моего приезда он тяжело заболел и через четыре месяца скончался.

Как ни парадоксально, но в Англии, вдали от моих чилийских друзей, я обнаружила, что знаю о происходящем в Чили больше, чем знала там. Впервые после переворота я читала газеты, не прошедшие цензуру хунты, и мне становилось ясно, что трагедия Чили не была случайностью — хаос и кровопролитие были хладнокровно спровоцированы богачами, которые стремились любой ценой сохранить свои богатства. Я чувствовала, что должна вернуться в Чили, и в январе вновь отправилась туда, мечтая заняться пластической хирургией с тем, чтобы завести практику среди богатых пациентов и таким образом получить возможность лечить бедных бесплатно.

Англия осталась за кормой, и мне казалось, что начинается новая глава моей жизни. Теперь я умела говорить по-испански и у меня был чилийский медицинский диплом. Но Чили, в которое я возвращалась, было совсем другим.

В июне 1975 года я начала вести прием в Эль-Сальто, в крохотной амбулатории, построенной из досок безработными. Медицинские сестры, многие из которых месяцами тщетно пытались найти работу, оборудовали ее внутри с большой любовью и заботливостью. Эль-Сальто находится в Кончали, одной из беднейших окраин Сантьяго, и 100 тысяч тамошних жителей могли получить бесплатную медицинскую помощь только в этой маленькой деревянной амбулатории. Больные приходили к семи часам утра и выстраивались в длинную очередь за талончиком на прием к врачу.

Вначале я пыталась принимать за три часа по двадцать больных, не сразу осознав, насколько условия здесь отличаются от тех, к которым я привыкла. Мои больные (это были почти одни женщины), входя в приемную, усаживались на стул и ждали, чтобы первой заговорила я. Когда я спрашивала, что с ними, они пускались в подробные описания болей и странных ощущений, которые довольно часто невозможно было связать ни с одной известной болезнью («Колени у меня всегда такие холодные, доктор!»). Убедить их в том, что ничего серьезного у них нет, можно было, только произведя полный общий осмотр. Задача не из легких, потому что дело происходило зимой и на них было накручено много всякого тряпья, заколотого булавками или даже зашитого, так как все застежки давно поотлетали. Терпеливо смотреть, как они раздеваются, а потом одеваются, было нелегко — ведь за дверью ждала длинная очередь. Сначала я объясняла подобной пациентке, что давление у нее нормальное, сердце и легкие в порядке, никаких признаков рака нет, а затем задавала вопрос, который распахивал шлюзы, и на меня обрушивался поток человеческих страданий.

Все они были безработными и в подавляющем большинстве голодали. Я обнаружила, что в среднем они ели раз в два дня и обычно похлебку с хлебом или макароны. Некоторым улыбалась удача — их дети получали бесплатный обед. Но хотя это и спасало малышей от полного истощения, досыта они не наедались никогда и постоянно плакали.

Кроме того, у каждой были тысячи собственных горестей. Вот сын уехал в Аргентину, и она не знает, жив ли он. Что я могла сказать? Попробовать утешить, обнадежить — и, может быть, напрасно? Всегда ли отсутствие вестей означает хорошие вести? Как знать? Другая женщина четверть часа описывала боли в голове, в груди, в ногах, а потом вдруг расплакалась и пожаловалась мне, что пятеро ее детей не ходят в школу, потому что у них нет башмаков. А порой достаточно было самого простого совета: я хорошо помню женщину, у которой постоянно болели плечи оттого,

что она набирала полные ведра воды у колонки в полумиле от своего дома. Я сказала, чтобы она не наливала ведра до краев, а лучше бы сходила за водой еще раз.

Мало-помалу у меня выработался свой метод — расспросить пациентку о ее симптомах, осмотреть, а потом узнать, как обстоят дела у нее дома. Пока они делились со мной своими бедами, я пыталась найти способ помочь или хотя бы слова утешения. Искренне сочувствуя их вполне реальным невзгодам, я старалась указать им и на немногие светлые стороны. Нередко это оказывало действие: все-таки хорошо, что муж не пьет, что он добрый и заботливый, что есть чем накормить детей. Я старалась пробудить в них дух взаимопомощи, советуя по возможности навещать стариков и больных. Иногда в отчаянии, не находя других утешений, я советовала благодарить бога за то, что зима на исходе, советовала молиться. Я понимала, что практикую какую-то смесь медицины, психотерапии, черной магии и религии — но очень часто их недуг исчерпывался неврозом или просто тоскливым унынием, порожденным безработицей, голодом и утратой надежды. А отсылать их, снабдив двумя-тремя таблетками, было бессмысленно: через неделю они возвращались и говорили, что им не полегчало или начались какие-то новые боли.

Такого рода работа требовала огромного напряжения. Час за часом слушать, как люди рассказывают о своих несчастьях — люди, которые не завтракали и не будут обедать, тогда как я ем три раза в день... Это надрывало душу, и обычно я кончала прием почти в слезах. Если бы меня кто-нибудь заменил, я бы ушла оттуда, но заменить меня было некому

Постоянное соприкосновение с обездоленными перевернуло все мои прежние представления. Мне вскоре стало ясно, что основа и источник всех бед моих пациентов — это отсутствие работы, а я лишь нашиваю крохотную заплату на ветхое рубище их существования. Я принялась обдумывать, каким образом могли бы они заработать деньги. Дни идиллических мечтаний остались в прошлом, я сидела в автобусе и перебирала в уме идею за идеей, план за планом, пока голова у меня не начинала идти кругом.

Особенно тяжелое положение сложилось с хроническими больными, которым требовались консультации специалистов и которых теперь, потому что им нечем было платить, прогоняли из государственных клиник, где прежде они проходили курс лечения. В каждом подобном случае я писала какому-нибудь знакомому врачу, а если знакомых специалистов в данной области у меня не было, снабжала больного убедительнейшим письмом к администрации и говорила, чтобы он не слушал никаких отказов. Эта постоянная борьба за то, чтобы больным была оказана необходимая помощь, превращала работу в муку, и как часто, когда я собиралась съездить домой пообедать, они возвращались из клиники и говорили, что их не приняли...

Никогда не забуду девочку лет пятнадцати, которая пришла ко мне, жалуясь, что вдруг теряет сознание. Я решила было, что у нее какая-то форма эпилепсии, но затем спросила ее мать, как они питаются. И все сразу стало ясно: девочка иногда по целым дням ничего не ела и теряла сознание от голода. Только и всего.

Шли недели, и я начинала все больше и больше ненавидеть свою работу, но я знала, что оставлять ее нельзя — пусть мы не могли сделать многого, но и такая помощь была жизненно необходима. Однако сейчас, когда я пишу о своих пациентах в Эль-Сальто, я с особой остротой ощущаю, что пыталась облегчать их страдания паллиативами и банальностями. Вопреки всякой справедливости они жили в нечеловеческих условиях голода и нищеты, а тиранническое правительство делало все, чтобы эти условия сохранить. Казалось бы, следовало добиваться, чтобы эти люди осознали свои права, начали отстаивать их. Но это вовсе не столь очевидно. Простые люди Чили осознали свои права, но их внезапно подчинил себе режим, отказывавший им в каких бы то ни было правах, и протестовать значило рисковать жизнью. Эти люди приходили ко мне в поисках облегчения, и от меня требовалось за одну короткую беседу исцелить того, кто был болен, от голода, душевных мук и отчаяния. Это было невозможно, и мне оставалось только утешать. Не чувствуя в себе ни способностей, ни сил для борьбы за изменение общества, я предоставила другим вести ее, а сама старалась только лечить страждущих и утешать отчаявшихся.

Восемнадцатое сентября — годовщина независимости Чили, и по традиции она празднуется шумно и весело. Врачи, дежурящие по ночам, привыкли бояться этого праздника, потому что, как и при встрече Нового года, сотни и тысячи людей напиваются, из-за чего неизмеримо возрастает число уличных происшествий и драк. Дежурные врачи не только разлучены на праздник со своей семьей, но и работают до изнеможения, латая подгулявших автомобилистов и закадычных друзей, которые, обидевшись на что-то во хмелю, без дальних размышлений пустили в ход первое, что попало под руку — палку, бутылку, столовый нож.

Хотя эта ночь восемнадцатого сентября завершилась в нашей больнице трагедией, поначалу она не отличалась от прочих ночей. К двум часам все, казалось, утихло, и я прилегла вздремнуть до четырех. Меня разбудила сестра. Если больных поступило немного, то в шесть можно будет снова прилечь до восьми, когда нас сменят с дежурства.

Подходя к приемному покою, я услышала истерические рыдания. Несколько че-

ловек в форме военно-воздушных сил толпились у дивана, на котором лежал молоденький солдат и бормотал, давясь всхлипываниями:

— Я убил кого-то! Я убил кого-то!

Прежде чем я успела спросить, что случилось, меня из-за занавески позвал другой дежурный врач. Я прошла за занавеску и увидела, что он осматривает труп мальчика лет семнадцати, которого застрелил солдат.

Я много лет работала в травматологических пунктах и не раз сталкивалась со смертью. Бессмысленная гибель человека во время пожара или катастрофы на шоссе ужасна, и все же я не была готова к тому, что увидела: тело юноши было буквально вспорото автоматной очередью — я могла бы засунуть в рану ладонь. Семь таких ран. Семь... И ведь это был не террорист, не партизан, а семнадцатилетний мальчик, который имел неосторожность в день национального праздника на несколько минут задержаться на улице после наступления комендантского часа. Он имел неосторожность родиться бедняком и жить в бедном квартале, где патрулировали грузовики, полные солдат, высматривающих нарушителей порядка. Одним бедняком больше или меньше — какая разница? Его матери объявят, что он был марксистом и заслуживал смерти, или что она ошибается и он просто сбежал в Аргентину к «крамольникам», или что она неправильно считала своих детей и у нее вообще никогда не было сына Алехандро.

На главных улицах и в богатых пригородах Сантьяго человека, задержанного после комендантского часа, отведут в участок, а утром оштрафуют и отпустят, но в районах бедноты все обстоит иначе. Из-за того, что люди вынуждены ютиться в собачьих конурах, с ними обращаются, как с собаками, они обречены на молчание и им негде искать помощи.

Меня душили жалость и ярость. Выяснилось, что солдаты были пьяны и приказали новобранцу: «Стреляй!» А когда он заколебался, повторили: «Стреляй! А не то мы сами!» И он выстрелил. И тут смутный силуэт в ночной тьме, крадущийся враг обрел лицо семнадцатилетнего мальчишки. Мальчишки, который уже никогда не станет взрослым мужчиной.

Потом солдата увели. Он все еще плакал. Я не знаю, что с ним сталось, но мне кажется, его трагедия по-своему страшнее трагедии погибшего и помогает понять не только трагедию Чили, но и вселенский ужас войны. В тот момент я видела только смерть Алехандро, горе и бессилие его матери и жаждала, чтобы его смерть была отомщена. «Мне отмщение и аз воздам»,— говорит господь. Как можно «отмстить» за смерть ни в чем не повинного человека? Сколько смертей искупят отнятую юную жизнь? И один убитый солдат, и тысяча их не воскресят Алехандро, да и как судить вину восемнадцатилетнего мальчишки, которого пьяным отправили нести службу и дали ему в руки автомат?

Этот случай вместе с другими такими же заставил меня всей душой ощутить несправедливость и беззаконие, воцарившиеся в Чили, и окончательно убедили, что поверить по-настоящему можно, только увидев своими глазами. Смерть 30 тысяч человек в дни переворота не потрясла меня столь сильно, как смерть этого мальчика, пробудившая во мне такой гнев, что я готова была рискнуть многим, лишь бы восторжествовала справедливость.

В ночь на 15 октября 1975 года войска безопасности захватили врасплох руководителей МИР, объявленной вне закона левой революционной партии Чили, в их штаб-квартире в сонном городке Маллоко, до которого от Сантьяго около пятнадцати километров. Налет начался в десять часов вечера, и в перестрелке, длившейся четыре часа, один человек был убит, а другой ранен в ногу двумя пулями. Как ни невероятно, двое мужчин и две женщины с младенцем сумели ускользнуть, хотя в небе кружили вертолеты с прожекторами. Младенца они поручили заботам соседки, а сами всю ночь прятались в канаве и в конце концов благополучно выбрались из оцепленного района и скрылись. Бой в Маллоко и гибель видного революционера наделали много шума. По всему Чили газеты печатали фотографии беглецов, которых упорно разыскивали.

Трудно объяснить, каким образом это драматическое событие ускользнуло от моего внимания. У меня не было никаких точек соприкосновения с революционерами, и имена Андрес Паскаль Альенде и Нельсон Гутьеррес ничего мне не говорили. Газеты я покупала редко, да и тогда обычно проглядывала одни заголовки. И на этот раз я поняла только, что произошло еще одно столкновение войсковых частей с какими-то участниками сопротивления, и, учитывая свирепость цензуры, даже усомнилась в достоверности этих сведений. Проходя мимо газетных киосков, я заметила, что в течение нескольких дней на первых страницах фигурировали фотографии двух мужчин и двух женщин, но специально их не рассматривала.

Рано утром во вторник 21 октября ко мне пришел один из моих чилийских друзей, священник, и спросил, соглашусь ли я лечить человека, раненного пулей в ногу.

Итак, это произошло. Настала минута, которой я особенно не предвкушала, но которой и не боялась, зная, что наступит она неизбежно. Без всяких колебаний я ответила «да». Я прекрасно понимала, что это может означать конец моей работы в Чили, но я не взвешивала «за» и «против» — врач, которого зовут к раненому, не вправе выбирать между ним и возможными будущими больными. Разумеется, во время катастрофы, когда жертв много, приходится решать, кем заняться в первую очередь, но когда больной один, врач не

рассуждает, врач оказывает помощь. Во всяком случае, я знала твердо: мое дело — не судить этого человека, а лечить его.

Обратиться за помощью в больницу он не мог — его неминуемо схватили бы: ведь не только его фотографию печатали все газеты Сантьяго, но, кроме того, в Чили теперь все, кто обращается в медицинское учреждение, обязаны предъявлять удостоверение личности с фотографией. А после ареста он был бы доставлен в какой-нибудь армейский госпиталь, допрошен, подвергнут пыткам и почти наверное убит. Члены МИР своей смелостью и стойкостью вызывали особую ненависть ДИНА.

Мой друг не сказал мне, как зовут раненого, но дал понять, что он — один из спасшихся после перестрелки в Маллоко. Он попросил меня поехать в город в такую-то контору. Там меня встретят и отвезут к моему пациенту. Он ушел, а я собрала инструменты, спрятала их в сумочку и отправилась по данному мне адресу.

Я доехала туда на автобусе. В конторе секретарша попросила меня подождать. Я села рядом с молодой женщиной, чье лицо показалось мне знакомым, хотя я не могла вспомнить, кто она такая. Через некоторое время нас обеих позвали в кабинет, и тут выяснилось, что это сестра Хелен Нельсон, североамериканская монахиня, с которой я как-то познакомилась у общих друзей, и что раненый спрятан у нее.

Мы с Хелен поехали в монастырь, прошли в заднюю комнату ее дома. Там нас встретила молоденькая девушка в джинсах и рубашке. Это была Анна Мария Босир, подруга Андреса Паскаля, который возглавил МИР после смерти Мигеля Энрикеса. Она провела меня в полутемную спальню с задернутыми занавесками, и там я познакомилась с Нельсоном Гутьерресом. Мы почти ничего не сказали друг другу — говорить было не о чем. Он показал мне свою ногу. Она была распухшей и воспаленной, и я сказала ему, что попробую прозондировать рану и нащупать пулю. Анна Мария проводила меня на кухню, чтобы простерилизовать инструменты, и, пока вода закипала, мы разговаривали. Она рассказала мне, что первую ночь они пролежали в канаве, а потом долго ползли через густой кустарник. Я осмотрела ее ноги и ступни — они были все в глубоких царапинах. Как-то не верилось, что эта спокойная, дружелюбная девушка скрывается от ареста и верной смерти.

Я сделала обезболивающий укол, тем не менее зондирование было очень болезненным, но Нельсон ни разу даже не застонал. Ран было три: входное и выходное отверстие одной пули и входное отверстие другой. Я исследовала его, но хотя мои щипцы вошли в рану на два дюйма, пули я не нащупала.

Вопреки широко бытующему мнению удалять пулю, которая не препятствует деятельности жизненно важного органа, вовсе не обязательно. Если нет заражения, нередко лучше оставить рану в покое, так как зондирование может оказаться долгим, трудным и повредить окружающие ткани. Поэтому после неудачной попытки извлечь пулю я решила пока дать Нельсону отдохнуть и лечить его массированными дозами антибиотиков. Я объяснила, какие лекарства следует купить и как перевязывать рану, и ушла, обещав вернуться через сутки.

В четверг я снова поехала в монастырь — на этот раз на такси, но вылезла на другой улице и дальше, нервничая, шла пешком. Я открыла дверь и прошла в спальню, где лежал Нельсон. Меня встретила Мариелла, его жена, и сказала, что у Нельсона жар и что он очень ослабел. Они собирались отвезти его на мотоцикле в более надежное место, но он не может стоять без посторонней помощи.

Нельсон был очень бледен, покрыт испариной и беспокойно ворочался. Нога распухла еще больше и болела сильнее. Я снова безуспешно попробовала нащупать пулю. Поиски «инородного тела» в ране и сами по себе трудны, при нормальных условиях прежде обязательно делается рентгеновский снимок, показывающий, где оно находится. Искать же маленькую пулю в распухшей икре молодого человека плотного сложения без рентгена и при плохом освещении было заведомым безумием. Но после двухдневного курса антибиотиков ему стало хуже и возникла реальная опасность сепсиса. С медицинской точки зрения исходов могло быть два: либо повышенные дозы антибиотиков все-таки совладают с инфекцией, либо ему будет становиться все хуже, начнется бред и в раненой ноге может даже развиться гангрена. Прятать его в монастыре и дальше — слишком рискованно, но в более безопасном месте, куда его собирались перевезти, он будет лишен помощи врача.

Я медленно бинтовала ногу Нельсона, стараясь сообразить, что можно сделать и что сказать ему. Я объяснила, что, на мой взгляд, есть только один путь: просить политического убежища, так как ему абсолютно необходимо настоящее лечение. Если он настоит на том, чтобы прятаться здесь и дальше, то подвергнет опасности жизнь священников и монахинь, которые ему помогают, а в бреду может вообще выдать и себя и тех, кто прячется с ним. Я оставила его обсудить положение с друзьями и пошла мыть свои инструменты. Через некоторое время на кухню пришла Анна Мария и сказала, что Нельсон и Мариелла решили просить убежища. Из ее слов я поняла, что сама она не последует их примеру, и подивилась мужеству этой тоненькой девушки, которая была на столько лет моложе меня.

Я вернулась к Нельсону. Он поблагодарил меня и сказал, что согласен просить убежища, если это удастся устроить. И вот тут я узнала про ребенка — Мариелла вдруг воскликнула:

— Без моего маленького я не хочу!

ШЕЙЛА КЭССИДИ
ЧИЛИ: ДОЛГ ПАМЯТИ

Она рассказала мне, как они убегали из Маллоко и какая-то женщина обещала позаботиться о ребенке. Нельзя было терять ни минуты, ей грозила смерть, и она отдала своего девятимесячного ребенка этой женщине, а потом, бросившись за Нельсоном и Анной Марией, вдруг поняла, что не знает ни имени женщины, ни ее адреса. Прошло уже восемь дней, ничего не известно, а ей предлагают бежать за границу без ребенка! Ее отчаяние было понятно: наводить справки — значило рисковать арестом, тем более что полиция, по всей вероятности, надеялась захватить ребенка как заложника. Я не знала, как ее утешить. Что можно сказать матери, потерявшей свое дитя?

Вернулась Хелен, и мы вместе пошли сказать священникам об ухудшении состояния Нельсона и о необходимости найти для него убежище в каком-нибудь посольстве. Они не сразу поверили, но явно испытали облегчение, что хотя бы двое из их опасных молодых «гостей» согласились на это. Один отправился выяснять, в какое посольство можно обратиться с такой просьбой, а другой пошел предупредить Нельсона, что в этом случае он должен будет отдать свое оружие. Только тогда я узнала, что у моего больного в постели рядом с ним лежал автомат!

Я объяснила, что Нельсона, когда какое-нибудь посольство возьмет его под свою защиту, необходимо будет положить в больницу, и вернулась домой, полагая, что на этом мое участие в деле кончается. Однако на следующий день меня снова вызвали в монастырь, и я снова объяснила, что с медицинской точки зрения Нельсон вернуться к своей жизни в «подполье» не может и без действенного лечения вообще скорее всего умрет. Тогда мне сообщили, что ввиду серьезности его состояния и того, что его жизнь находится под угрозой, ему и его жене будет предоставлено убежище в резиденции папского нунция, дипломатического представителя Ватикана в Чили. Но о том, чтобы положить его в больницу, не может быть и речи: стоит ему оказаться за пределами резиденции, его немедленно арестуют. Лечение — хирургическое или иное — придется проводить в доме нунция, и они просят меня лечить Нельсона и дальше. У меня похолодело внутри, но я обещала прийти на следующее утро.

Всю ночь на дежурстве в больнице я думала о Нельсоне. Даже в отлично оборудованной операционной с хорошим освещением и квалифицированной бригадой извлечение пули оказалось бы нелегкой задачей, но на кровати или на столе, в лучшем случае под горшером, без умелых помощников... как я справлюсь?

К несчастью ночь выдалась тяжелая и вздремнуть мне пришлось не более часа. Я отправилась домой позавтракать, изнемогая от усталости и головной боли. За завтраком я думала о том, как пройти в резиденцию нунция. Накануне мы решили, что для безопасности мне лучше назваться вымышленным именем — пусть я буду мать Исабель из миссионерской общины. Мы были убеждены, что иностранка, входящая в резиденцию нунция, не вызовет подозрения, только если выдаст себя за монахиню, а имя «Исабель» выбрали потому, что это «Елизавета» по-испански, а так зовут английскую королеву. Мне пришлось заняться своей наружностью и облачиться в синий костюм, который я надевала только на свадьбы или когда искала работу. Я настолько привыкла носить джинсы в больнице, в церкви и в гостях, что синий костюм казался мне надежной личиной. Но как быть с инструментами? Не может же мать Исабель явиться на прием к нунцию с чемоданом! А мне нужно было взять с собой не только набор инструментов, но и разные медикаменты — ведь я не могла ни позвонить им, чтобы они сами купили все нужное, ни сбегать в аптеку, если бы оказалось, что я чего-то не взяла. К счастью, у меня была большая черная сумка, надевавшаяся через плечо. Я набила ее всем, что могло понадобиться, и, пошатываясь под ее тяжестью, села в такси и сказала шоферу: «На Провиденсию».

Вышла я напротив дорогой частной школы и деловито направилась к калитке, но едва такси скрылось за углом, повернула и пошла в дальний конец улицы к резиденции нунция, расположенной рядом с французским и английским посольствами на тихой улочке по соседству с Провиденсией — самой фешенебельной магистралью Сантьяго. У глухих железных ворот большого дома, окруженного высокой стеной, дежурили два полицейских с автоматами. Они о чем-то разговаривали с человеком, который копался в моторе мотоцикла почти прямо перед главным входом. Я не сомневалась, что он тут, чтобы следить за всеми входящими и выходящими, но деваться было некуда: я подошла к воротам и нажала на звонок.

Ко мне тут же подскочил полицейский и потребовал, чтобы я сказала, кто я такая и что мне здесь надо. Я ответила, что я — мать Исабель и что нунций назначил мне прием. Голос из репродуктора осведомился, кто звонит, и я вновь повторила вымышленное имя, про себя проклиная их за медлительность: в любую минуту полицейские потребуют у меня удостоверение личности, и что тогда? Мне казалось, что прошла вечность, но наконец боковая дверь открылась, и я вошла.

Однако оказалось, что мне вообще не нужно было приходить: нашли другого врача, а меня вежливо поблагодарили и сказали, что я могу больше не затрудняться из-за Нельсона. Ответственность с меня была снята, и я, испытывая большое облегчение, отправилась домой. Мысленно я поздравляла себя с тем, что все позади и можно вернуться к нормальной жизни.

Всю следующую неделю я была очень занята, к тому же заболела Сьюзи, монахиня-североамериканка, с которой я очень подружилась. Выяснилось, что все последние месяцы она работала по пятнадцать ча-

сов в сутки, и теперь ей надо было отлежаться. Я прописала ей необходимые лекарства и запретила вставать с постели. К концу недели Сьюзи не стало лучше, и я решила, что нужно поместить ее в более спокойную обстановку. А потому в четверг я побывала у отца Уильяма Холлидена, возглавлявшего миссионерскую общину (он жил по соседству со мной), и попросила у него позволения на несколько дней поселить Сьюзи в его доме. В тот же вечер перед ночным дежурством я перевезла ее туда и поместила в комнате, предназначенной для больных.

Энрикетта, экономка, заботливо за ней ухаживала и даже кормила ее в постели. Я часто забегала к ней — приносила книги, шитье, магнитофон, чтобы музыка помогала ей коротать время.

Вечером 31 октября, в канун праздника всех святых, я пришла к Сьюзи вечером после церковной службы, потому что мы хотели помолиться вместе. Она чувствовала себя хорошо и оживленно разговаривала с отцом Холлиденом, доедая ужин. Некоторое время мы сидели вместе, а потом отец Холлиден ушел к себе готовиться к завтрашней проповеди. Я решила сходить в часовню за свечой, и Сьюзи, заметив, что я в сандалиях на босу ногу, порылась в своей сумке, достала пару носков и настояла, чтобы я их надела.

Как почти все женщины, я придаю большое значение одежде, и хотя ношу преимущественно джинсы и свитера, их фасон и цвет мне нравятся и соответствуют моему представлению о том, как мне следует выглядеть (тот факт, что, по мнению большинства, тридцативосьмилетние женщины-врачи должны бы одеваться солиднее, к делу отношения не имеет). И в частности, я предпочту мерзнуть, чем носить носки с сандалиями, но я побоялась огорчить Сьюзи, сказала «спасибо» и надела их, не подозревая, как я потом буду за них благодарить бога и ее.

Внезапно тишину нарушил дикий вопль. Он был громким, пронзительным и таким нечеловеческим, что мне стало страшно. Задув свечу и велев Сьюзи не вставать, я выбежала на лестничную площадку. Голос был женский, и я подумала, что Энрикетта упала с лестницы. Жуткий вопль еще звучал у меня в ушах, и я не сомневалась, что случилось что-то ужасное.

Мы с отцом Холлиденом спустились вниз одновременно и вошли в гостиную из противоположных дверей (в его доме две лестницы). Энрикетта лежала ничком на полу в луже собственной крови, которая продолжала хлестать из зияющей раны в спине. Я добежала до нее первая, упала рядом с ней на колени, и тут раздались выстрелы. С улицы в окна посыпался град пуль. Хотя отец Холлиден закрыл жалюзи, они разлетелись в щепки, и пули впивались в стену почти над самыми нашими головами. (Позже мы узнали, что это были особые пули, запрещенные Женевской конвенцией.)

Я думала только об Энрикетте и, ухватив ее за плечи, потащила в задний коридор, подальше от сумасшедшего, который нас обстреливал. Я опустилась рядом с ней на колени, щупая ее пульс, а он становился все слабее, и по паркету вокруг растекалась ее кровь. Конечно, я врач, но без инструментов и крови для переливания от меня было не больше толку, чем от санитарки, умеющей оказать первую помощь. Нет, даже меньше, потому что я понимала, что она умирает и помочь ей нельзя.

Стрельба продолжалась, пули доставали нас и тут. Казалось, стреляют во все окна и у нас нет никаких шансов спастись.

Ошеломленная, ничего не понимая, я сказала отцу Холлидену, что нам следует где-нибудь укрыться, и, проскользнув в кухню, забралась под стол в углу.

Я просидела там минут десять — пятнадцать, хотя мне они показались вечностью — снаружи по-прежнему доносился треск выстрелов, а кругом свистели пули. Мне казалось, что я не то сплю, не то смотрю скверный гангстерский фильм, и думала я только о том, что все это совершенно непонятно и что, по всей вероятности, моя жизнь вот-вот оборвется.

Потом стрельба стихла и какие-то мужчины закричали, чтобы мы отперли. По-видимому, прибыла помощь, и отец Холлиден отодвинул засов на кухонной двери. Она сразу же с треском распахнулась, и в нее ворвались люди с автоматами. Я ожидала увидеть полицейских, но они были в штатском... почему? Однако времени на размышления у меня не было. Двое остались внизу. Мы спросили, кто они такие, но ответа не получили. Вместо этого они спросили, как меня зовут, и, услышав «Шейла», объявили: «Ее-то нам и нужно», после чего пошли наверх.

Невероятно, но мы остались одни. Я бросилась к телефону, ругая себя, что не выучила наизусть домашний телефон английского консула, который он дал мне на всякий случай. Но я помнила только собственный номер и набрала его. Мне ответил незнакомый голос, и я поняла, что начали они с моего дома, что они действительно искали меня. Затем в трубке раздался голос одного из трех студентов, снимавших у меня комнаты. Он говорил запинаясь, и я ясно представила себе человека с пистолетом у него за спиной. Не зная, как дать ему понять, в каком я положении, я сказала ему, что опоздаю к ужину, потому что здешняя экономка убита. Я повесила трубку и вернулась к умирающей Энрикетте, над которой наклонился отец Холлиден. Потом я пошла поискать одеяло, чтобы накрыть ее. Никто меня не остановил, я заглянула к Сьюзи и сказала, что это пришли за мной. Почему-то я предположила: «По-моему, это МИР, наверное, они хотят, чтобы я оказала помощь еще кому-нибудь из них». Нелепость этой идеи была оче-

видна: с какой стати мириста стали бы силой оружия принуждать меня сделать то, что я один раз уже сделала по доброй воле? Но мне было не до логики: все происходившее казалось бредовым кошмаром. Помню, я поглядела в окно и прикинула, не попытаться ли выпрыгнуть наружу. К счастью, я оставила эту мысль; как выяснилось позже, дом был окружен, и они несомненно застрелили бы меня.

Не зная, чего мне ждать, я пошла в ванную. Заперев дверь, я почувствовала себя в некоторой безопасности и села на полу, прислонившись к стене возле двери — чтобы они не попали в меня, если будут стрелять сквозь дверь. Я услышала, как меня начали звать — сначала негромко, потом со все большей злобой. Я слышала, как они бегают из комнаты в комнату, потом кто-то дернул дверь ванной и обнаружил, что она заперта. Они принялись ломиться в дверь, и, понимая, что вот-вот раздадутся выстрелы, я закричала на них и вышла. Они грубо поволокли меня по коридору. По лестнице я спускалась под дулом пистолета.

Я увидела, что два человека несут тело Энрикетты на одеяле к входной двери. Мы направились за ними. Тут я увидела, что отец Холлиден сидит, ссутулившись на стуле, и поняла, что они забрали только меня. Он ошеломленно поглядел в мою сторону, я крикнула, чтобы он сообщил консулу... но тут меня вытолкнули на улицу. Там стоял автомобиль. Передо мной открыли заднюю дверцу, рядом сел человек, державший пистолет. Он отдал распоряжение шоферу, и машина тронулась. Он завязал мне глаза платком, а потом ударил по лицу. Я возмутилась, как он смеет поднимать на меня руку? Второй раз он не ударил, а сказал только:

— Нам известно, что вы лечили Нельсона Гутьерреса.

Все стало ясно. ДИНА каким-то образом узнала, что я оказала помощь Гутьерресу. Машина мчалась по темным улицам Сантьяго, а я думала о том, что будет со мной. Мне было страшно, и все-таки я не сомневалась, что все уладится, когда они доставят меня к своему начальнику и выяснится, что я иностранка, да к тому же дочь вице-маршала авиации. Ободрившись, я медленно провела левой рукой по щеке, словно изнывая от ужаса, а сама потихоньку одним пальцем сдвинула платок на левом глазу.

И когда машина замедлила ход, свернула на подъездную дорогу и шофер просигналил, я увидела, как прожекторы осветили две массивные створки огромных чугунных ворот в стене, окружающей старинный особняк, выкрашенный в традиционный красно-рыжий цвет. Как я узнала позже, это была Каса Гримальди. Тут размещалась одна из штаб-квартир ДИНА, где велись допросы. Мы въехали во двор, ворота за нами захлопнулись, но я все еще не представляла, что меня ждет, и даже помыслить не могла об уготованных мне испытаниях, которым предстояло до основания изменить мою жизнь, отозваться по всему миру и привести к последствиям, во многом оставшимся мне неизвестными.

Трудно решить, как лучше рассказать о том, что происходило в течение нескольких следующих часов. Это настолько невероятно и ужасно, что люди, не знакомые с методами допроса, применяемыми в некоторых странах, просто отказываются верить. К тому же подобные описания вызывают тягостное чувство, и мне было бы легче рассказывать, а читателям — читать, если бы я избрала нашу национальную манеру сдержанности и преуменьшений, которой мы, англичане, гордимся, и, возможно, не без оснований. Однако если уж писать о том, что произошло, то лишь ради определенной цели — ради того, чтобы обращение с политическими заключенными в некоторых странах стало достоянием гласности. Мой арест и все дальнейшее типичны для стран, где пытки узников узаконены как средство допроса и запугивания.

Сознательное смягчение было бы таким же уклонением от истины, как и преувеличение, а главное — предательством по отношению к тем тысячам чилийцев, аргентинцев, уругвайцев, бразильцев, парагвайцев и всех тех, кто попадал в застенки тайной полиции тиранических режимов, постоянно и рассчитанно попирающих права человека. И если уж благодаря прихотливому стечению событий я на краткое время стала голосом безгласных, мой долг — говорить всю правду без прикрас.

Далее следует фактографический отчет о том, что произошло со мной ночью 31 октября 1975 года. Допрос я воспроизвожу по памяти, и, возможно, что-то было выражено в иных словах, но общий его ход передан абсолютно точно. Кроме того, я попыталась воссоздать все, что я думала и чувствовала, а несмотря на отдельные провалы, многое я помню так, словно это было вчера. Пожалуй, тут следует сказать, что я не испытываю — и не испытывала — ненависти к тем, кто меня допрашивал. Я вижу в них людей, больных психически или искалеченных духовно,— порождение системы, которая в свою очередь порождена злом, пронизывающим тяжело больное общество.

Меня заставили вылезти из машины, и я, спотыкаясь, пошла, по-видимому, через двор. Мы остановились, открылась железная дверь, а потом захлопнулась за нами. Меня втолкнули в какое-то помещение и без предисловий велели мне раздеться.

Я не поверила своим ушам. Нет, произошла какая-то ошибка. Я поспешила сказать, что я — английская гражданка и это вызовет международный инцидент. Ответ, который я услышала, заставил меня осознать весь ужас моего положения. Привожу его дословно:

— Наша репутация за границей уже такова, что нас это не смущает.

Мне снова приказали раздеться, и, отчаянно стараясь убедить их, что со мной так обращаться нельзя, я сказала:

— Мой отец — вице-маршал авиации.— Ответом было молчание, и я добавила, цепляясь за соломинку: — Я собираюсь постричься в монахини.

Быстрый вопрос:

— Но вы еще не монахиня?

— Нет,— ответила я.

Опять мне приказали раздеться. Я медленно сняла свитер и остановилась. Тут же грубая рука дернула мою рубашку. Отлетела пуговица, и, осознав, что все это не пустые угрозы, я, чтобы избежать дальнейшего физического принуждения, подчинилась и сняла остальную одежду сама. Повязка на глазах ослабла, и я увидела, что нахожусь в небольшой комнате с двухэтажными металлическими нарами, столом и стулом. На стене висел план Сантьяго. В комнате было шесть человек — пятеро мужчин в штатском и женщина.

Мне велели лечь на нижние нары и крепко привязали к ним за кисти, лодыжки и плечи. Живот был перехвачен широким ремнем. И тут это началось. Я почувствовала удар электрического тока. И еще один. И еще...

Я хотела закричать, но у меня во рту был кляп.

Потом посыпались вопросы:

— Где вы лечили Гутьерреса?

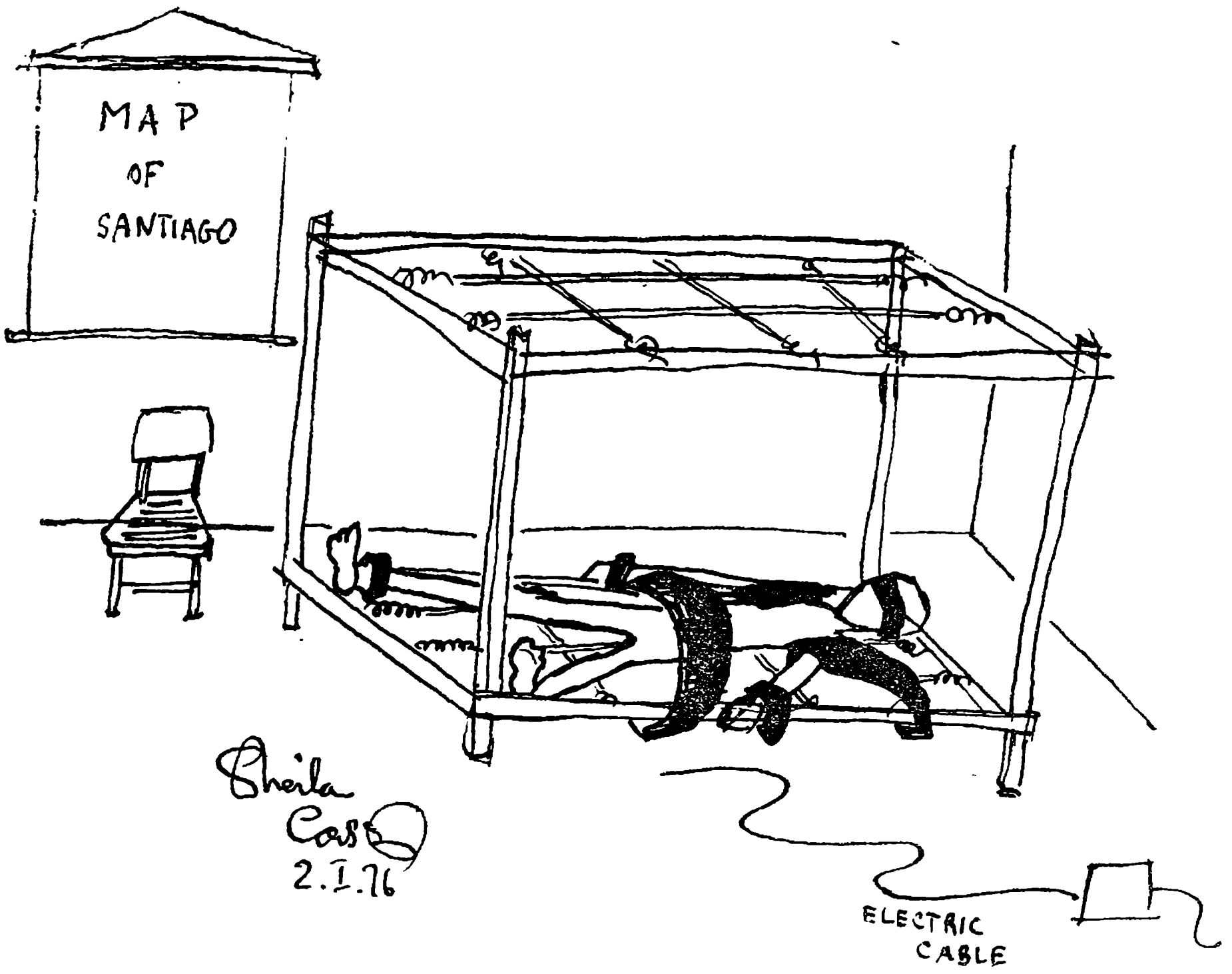
— Кто вас к нему направил?

Мои мысли работали четко, и я сразу сказала себе: если они не знают, где я лечила Нельсона, значит, им неизвестно о причастности священников и монахинь. В таком случае это, возможно, удастся совсем скрыть.

Я останавливаюсь на своих мысленных рассуждениях потому, что именно тогда у меня зародилось решение солгать, чтобы спасти жизнь чилийских священников, помогавших Нельсону и его товарищам. В тот момент я твердо верила, что мне остается терпеть совсем мало — вот-вот явится английский консул, и я буду освобождена.

Эта надежда в те первые минуты сильно способствовала моей решимости переносить боль. Мне и в голову не приходило, что это может продолжаться долго: казалось, надо продержаться еще совсем немножко — и меня выручат. На медицинском факультете меня учили, что боль слагается из трех компонентов: реально испытываемой боли, воспоминания о прошлой боли и страха перед будущей болью. Вот почему в первые минуты, не зная, какой мучительной может стать эта боль, и твердо веря, что терпеть мне недолго, я сумела держаться гораздо мужественнее, чем потом. К тому же тогда я была убеждена, что от моего молчания зависит жизнь двух моих друзей — тоже очень важный фактор, так как стойкость под пыткой тесно связана с причинами, побуждающими молчать.

Поэтому я принялась плести всякие небылицы, которые затем привели к самым неожиданным последствиям. Тех, кому кажется, будто убедительно лгать при подобных обстоятельствах очень трудно, я могу заверить, что они ошибаются: вопро-



сы мне задавали прямолинейные и конкретные, а доверие к моим ответам в сочетании с повторяющимся болевым стимулом придало моему воображению особую живость.

— Где вы лечили Гутьерреса?

— В частном доме.

— Кто вас к нему направил?

— Врач.

— Как его зовут?

Я заколебалась и сразу же получила удар током.

— Доктор Перес.

(Скорее назвать имя, любое имя, лишь бы оно было вымышленным.)

— А его имя?

— Артуро.

— Где он работает?

— Больница Сальвадор.

(Больница неподалеку от моего дома. Я была знакома там только с одним врачом, с женщиной.)

— Почему они обратились к вам?

Снова я заколебалась — и снова удар током. Еще и еще. К счастью, я нашла ответ — и такой логичный, что они поверили.

— Он испугался.

Они переменили тактику.

— Где вы с ним встретились?

(Это было уже труднее. Где я могла его встретить — и так, чтобы не пришлось называть имена?) Электричество подстегнуло меня.

— На вечеринке.

Это подошло. Они уже подобрались к нему, и скоро он и все его друзья будут у них в руках.

— Где он живет?

— Не знаю.

Жгучая боль показала мне, что они рассердились.

— Вы лжете!

(Господи! Как я могу сказать им, где он живет, если его не существует?) Еще ожог. И я кричу:

— Он упомянул, что у него есть коттедж на пляже в Альгарробо. Он пригласил меня туда.

— Где именно?

Они мне поверили. Это так легко представить — приглушенный свет, музыка, приглашение провести субботу и воскресенье за городом.

— Где именно?

(Вот именно — где?) Я ни разу не бывала в Альгарробо, только проезжала мимо на автобусе.

— Не знаю. Я не поехала. Я не принимаю приглашений женатых мужчин.

Зайдя в тупик, они переменили тему:

— Где вы лечили Гутьерреса?

— В частном доме.

(Хоть это-то правда!)

— Кто его хозяин?

— Мигель Рохас.

— Чем он занимается?

— Он архитектор.

— Где он живет?

— Не знаю.

Снова ожог, и снова, и снова, пока я отчаянно старалась придумать ответ.

— Была ночь. Я не видела названия улицы.

— Как вы туда добрались?

— Меня привезли на машине.

— На какой машине?

— «Пежо».

(Монастырский автомобиль был марки «пежо».)

— Какого цвета?

— Белого.

— Какого цвета обивка?

— Голубого.

Я услышала, как кто-то повторил:

— Белый «пежо». Голубая обивка.

Что-то они уже выяснили. И принялись разыскивать Рохаса в телефонной книге: я услышала, как они возбужденно листают страницы.

— Как они связались с вами?

(Господи, неужели этому не будет конца?)

— Позвонили.

— Кто позвонил?

— Доктор.

— Что он сказал?

— Велел мне ждать у гаража на углу Викунья-Маккенна и Ранкагуа.

(Викунья-Маккенна — большая улица неподалеку от моего дома.)

— Кто был в машине?

— Мужчина.

— Как он выглядел?

— Усатый.

— Что еще?

— Больше я ничего не заметила.

— Как его зовут?

— Не знаю. Он не сказал.

— Куда вы поехали?

— Не знаю.

Это их не удовлетворило, и более сильный удар тока показал, что мне следует придумать что-то получше.

— Куда вы поехали?

— Он сказал, чтобы я не глядела.

— Но вы глядели. Женщины всегда подглядывают.

(Что верно, то верно.)

— Нет. Он мне не велел. Он сказал, что мне лучше не знать, куда меня везут.

Это было достаточно правдоподобно, но их не удовлетворило.

— В каком направлении вы поехали?

Я быстро прикинула и выбрала направление, ведущее от дома Хелен.

— В сторону Центрального вокзала.

— А дальше?

— За вокзал.

— А дальше?

Что я могла ответить? Этого района я совсем не знала. Магистраль, переходящая в шоссе, которое ведет к аэропорту. По обе стороны — особняки и виллы. А может быть, и нет? Может быть, пустыри? Я не помнила.

— Где вы свернули?

(А, так мы должны были свернуть! Но в какую сторону?)

— Не знаю.

Такой ответ им не понравился, и они сразу дали мне это понять. Я услышала, что они переговариваются у карты города,

видимо выясняя мой возможный маршрут. Я расслышала слова «Обиспо Суберкасо» и вцепилась в них.

— Где вы свернули?

Мысленно я подбросила монетку.

— Направо.

— Название улицы?

— Не знаю.

— Нет, знаете.

— Обиспо и что-то еще.

— Вы же сказали, что ничего не видели? (Господи, им никак не угодишь!)

— По-моему, в названии было «Обиспо» и что-то еще.

— Что?

— Не знаю.

— Нет, знаете.

— Нет.

— Да.

— Нет.

Я попала в тупик. Назову улицу, и они поймают меня на ошибке. Не назову — и это будет продолжаться без конца. Я повторила:

— Обиспо и еще что-то.

Они переменили тему:

— Как выглядит дом?

— Большой.

— Цвет?

— Белый.

— Стиль?

— Колониальный.

— Ворота какого цвета?

(Ну, это просто!)

— Черные.

— Сплошные или решетчатые?

— Сплошные.

— Кто был в доме?

— Рохас.

— Кто еще?

— Его жена.

— Кто еще?

— Горничная. (Ну конечно, горничная. Как же без горничной?)

— Кто еще?

— Больше никого.

— Название улицы?

(Опять!)

— Не знаю.

Они сунули мне в рот кляп.

— Поднимите пальцы, когда вспомните.

И снова удар за ударом, волна боли за волной. Я подняла пальцы.

— Ну?

— Я покажу вам улицу.

— Название улицы?

— Не знаю, но я покажу.

Никакого плана у меня не было, но что угодно, лишь бы не это! Поиски несуществующего дома никакой пользы принести не могли, но к этому моменту я не думала о пользе, а только пыталась вырваться из тисков боли.

И вдруг боль исчезла. Кто-то сказал:

— Развяжите ее.

Я услышала, как два-три человека вышли из комнаты. Потом ремни на моих запястьях и лодыжках ослабели и на меня накатилась новая волна боли — затекшие руки и ноги начали отходить. Я попыталась сесть, но у меня не хватило силы приподнять голову. Осторожные руки помогли мне, и я села на краю нар, испытывая невыносимое головокружение. Меня поставили на ноги и подхватили, чтобы я не упала. Под меня пододвинули стул, и тогда я услышала новый голос. Добрый, культурный, почти отечески ласковый.

— Бедная гринга (американка, иностранка),— произнес он.— Как вы себя чувствуете?

Я испытала неимоверное облегчение. Наверно, это какой-то начальник и сейчас он отведет меня к консулу.

— Как вы оказались замешаны во все это, гринга?

— Меня просил друг.

— Хорошенький друг! Впутать вас в такое дело!

Я промолчала.

— Очень глупо, что вы согласились.

Он считает меня глупой иностранкой и жалеет! Я сказала жалобно:

— Конечно, я сделала глупость.

Это ему понравилось.

— Бедная глупенькая гринга! Но теперь вы нам поможете, верно?

А, вот оно что! Меня стараются обмануть притворным состраданием. Гнев придал мне мужества.

— Да-да, я все сделаю. Все, что угодно, лишь бы это кончилось!

— Отлично! Умница гринга!

(Только вернувшись в Англию, я узнала, что сочувствие и мягкость допрашивающего предусмотрены глубоко разработанной методикой допроса. Когда жертва измучена и деморализована, на смену мучителям появляется новый, словно бы добрый человек, и расслабляющее воздействие такого «сочувствия» нередко позволяет добиться результатов, когда первый метод оказался неэффективным.)

Меня вывели из комнаты и по моей просьбе отвели в туалет. Но когда я хотела напиться из крана, мне помешали. (Позже я узнала, что после «обработки» электричеством пить нельзя — это может вызвать судороги.)

Мы вышли наружу. Было холодно. С моих глаз сняли повязку и заклеили их липкой лентой, так что я уже не видела даже земли у себя под ногами. Меня провели через двор и втолкнули в машину. Открылись ворота, машина повернула, и я почувствовала толчок — мы въехали на мост и помчались по городу.

Обратный путь к Каса Гримальди по пустынным улицам занял меньше пятнадцати минут. Я знала, что они в ярости. «Назад на паррилью, гринга!» — сказали они мне, когда убедились, что поиски ни к чему не ведут. («Паррилья» по-испански — жаровня.) Не только я обманула их и одурачила, но они напрасно потратили несколько часов, возможно, невосполнимых — ведь из-

вестие о моем аресте, конечно, уже облетело всех моих друзей в Сантьяго!

Позже я узнала, что агенты ДИНА, уводя меня, сорвали телефонный аппарат со стены, чтобы отец Холлиден не мог тут же обратиться за помощью. При первой возможности он позвонил из соседнего дома, так что посол был поставлен в известность обо всех фактах уже в восемь часов утра и заявил протест чилийскому правительству. Прошло всего десять часов, но для меня они были вечностью.

Меня сразу же отвели в комнату с нарами и велели снова раздеться. Ремни, привязывавшие меня к металлической раме, затянули так туго, что руки и ноги у меня сразу онемели. Я попросила ослабить ремни, но мне ничего не ответили. С первой же секунды все пошло по-другому. Боль была чудовищной, и чтобы не дать мне времени собраться с мыслями, они задавали вопросы очень быстро и злобно. Не помню, когда именно я решила говорить правду, но через некоторое время у меня начало складываться впечатление, что моих друзей вряд ли убьют, а потому необходимость лгать уже не казалась такой настоятельной. Вернее, я уже не могла лгать: удары током повторялись с такой частотой и силой, что я утратила способность думать. Вот так они меня сломили. Мало-помалу я ответила на все их вопросы. Это был долгий и мучительный процесс, потому что я пыталась давать как можно меньше сведений, надеясь хоть так оградить тех, кого удастся.

Беда была в том, что истина казалась им менее правдоподобной, чем ложь, к которой я прибегла вначале, и я получила много лишних ударов током, так как они отказывались поверить в причастность монахинь и священников. Их сомнение было последней каплей — казалось, мне никогда уже не вырваться из моря жгучей боли. И они становились все более жестокими. Каждый раз перед тем, как пропустить через мое тело ток, они затыкали мне рот кляпом, повторяя:

— Когда решите говорить, поднимите палец.

Я не могла пошевелиться, не могла кричать, и только это движение пальца снизу вверх обещало облегчение, но они словно не замечали его, и меня душило отчаяние, какого я еще не знала.

Сколько времени это продолжалось, не знаю. Может быть, час, может быть, дольше. Я сказала им, что лечила Гутьерреса в доме американских монахинь, но адреса не знаю — только название улицы. Несмотря на свою ярость, они поняли, что я действительно не знаю адреса. Меня развязали и сняли с паррильи.

На этот раз я ослабела гораздо больше и не смогла одеться без помощи. Снова мне заклеили глаза липкой лентой, и мы отправились на поиски дома Хелен. Мне было горько, что я не выдержала, и я спросила человека, сидевшего рядом со мной:

— Все дают показания или я оказалась слабой?

— У каждого есть свой предел, — ответил он.

Теперь, когда все позади, я часто думаю об этом, но не испытываю ни стыда, ни чувства вины из-за того, что сказала им правду: я знаю, что больше выдержать не могла. Не берусь судить, сколько еще я сумела бы вытерпеть, если бы знала, что, заговорив, обреку на смерть тех, кого люблю. Может быть, у меня хватило бы стойкости умереть, может быть, не хватило бы. Позже я узнала, что оказалась сильнее одних и слабее других, но что было много мужчин и женщин, которые заплатили высшую цену во имя того, что считали правым делом. Их пример — как пылающий факел, озаряющий мрак тоски из-за того, что люди способны подвергать своих ближних таким мукам.

«Они не умерли И каждый — как горящий запал на бочке с порохом» (Пабло Неруда).

Мне пришлось пережить несколько очень неприятных минут, когда шофер ошибся улицей и я не смогла показать им дом Хелен. Они решили, что я снова лгу, и набросились на меня с угрозами, но потом мы свернули куда требовалось, и я показала им дом. Я знала, что там никого нет, что Хелен ночует у подруги. Это я случайно узнала утром от приятельницы Сьюзи (назовем ее Маргарет), которая пришла ее навестить. Маргарет работала в провинции и совершенно случайно приехала в Сантьяго, когда в доме «гостил» Нельсон. Остановившись у Хелен, она помогала прятать беглецов и ухаживать за раненым — у нее был некоторый медицинский опыт. А потому, встретившись с ней утром у Сьюзи, я спросила, нет ли известий о Нельсоне. Она ответила, что нет, но что священники, которые благополучно доставили в дом нунция Нельсона и Мариеллу, теперь пытаются укрыть в посольстве Андреса Паскаля и Анну Марию. Вчера ночью это им не удалось, но они попробуют снова сегодня или завтра. Эти сведения, полученные совершенно случайно, быть может, спасли мне жизнь, но они же могли стать причиной смерти другого человека, так как привели к аресту американского священника и Мартина Эрнандеса, также члена МИР, которого он прятал, о чем я не знала.

Меня привезли назад в Каса Гримальди и отвели в какой-то кабинет, где меня допрашивали люди, которых я по их манере говорить сочла начальством. По-видимому, они не могли простить мне, что я сначала ввела их в заблуждение, и то и дело называли меня «ла гринга ментироса» — «лживая иностранка». Я вынуждена была снова подробно рассказать о том, как меня попросили лечить Гутьерреса и где я его лечила. Они, по-видимому, рассчитывали захватить его там и, когда я сказала, что ему предоставил убежище папский нунций, пришли в ярость. Я слышала, как один предложил обыскать дом нунция, но дру-

гой ответил, что этого делать нельзя — таково распоряжение свыше.

Они очень хотели узнать, где находится младенец Мариеллы, но, к счастью, поверили мне, когда я ответила, что не знаю.

Убедившись, что Гутьеррес и его жена ускользнули от них, они занялись Андресом Паскалем Альенде и Анной Марией. Их невозможно было убедить, что мне ничего не известно,— они вбили себе в голову, что я сотрудничала с МИР. Я без конца повторяла, что лечила Нельсона Гутьерреса потому, что он был опасно ранен, а мои этические взгляды не позволяют мне отказывать в медицинской помощи по идеологическим причинам. Они сидели за столом, я стояла перед ними с завязанными глазами. Они кричали, что я сотрудничала с МИР, а я без конца повторяла, что Нельсон был моим пациентом, и только. В конце концов, убедившись, что все это ни к чему не ведет, они отправили меня на пытку.

В третий раз меня раздели и привязали к железной раме. Я была в полном отчаянии. Они не сомневались, что мне известно, где скрывается руководитель МИР, а я об этом ничего не знала. Не знаю, увеличили ли они силу тока или долгие часы пыток ослабили мою сопротивляемость, но только боль с каждым разом становилась все более страшной. Решив во что бы то ни стало поймать меня на лжи и заставить сказать правду, они начали допрашивать меня о всех событиях этого дня. Ни одна мелочь не оставалась без внимания, и я должна была подробно рассказывать обо всех, кого упоминала. В конце концов они добрались до моей встречи с Маргарет, и когда я запнулась, отвечая, о чем мы разговаривали, они поняли, что мне есть что скрывать. Тут уж они приложили все усилия и по частям вырвали у меня последние сведения: что такой-то священник пытался накануне помочь Андресу Паскалю и Анне Марии найти убежище в посольстве.

Когда они поняли, что речь идет еще об одной церковной группе совсем в другом районе Сантьяго, то совсем осатанели от злости и недоверия, однако в семь-во-семь часов утра отправились арестовать священника, который служил воскресную утреннюю мессу, а меня отвели в кабинет начальства. И снова меня то запугивали, то уговаривали, обещая сразу отвезти в английское посольство, если я перестану упираться. Мне показывали фотографии, снятые в церквах, чтобы я опознала знакомых священников. Меня заставили прослушать запись телефонного разговора на английском языке и допрашивали, знаю ли я эти голоса. Пожалуй, наиболее парализующее действие произвел на меня культурный голос человека, который произнес сочувственно:

— Доктор, вы разумная женщина. У вас уже есть представление о том, что такое три допроса на паррилье. Если вы не скажете нам того, что нас интересует, мы будем продолжать — и десять, и двенадцать, и тринадцать раз, а вы, как вы успели убедиться, будете слабеть, слабеть, слабеть и в конце концов расскажете нам все.

Снова и снова они задавали вопрос:

— Почему вы лечили Гутьерреса?

Снова и снова я повторяла:

— Он был ранен, а я врач.

Один из них сказал со злостью:

— Но если бы ранен был я, меня вы лечить не стали бы!

— Конечно, стала бы,— ответила я.

Наступило долгое молчание, а потом он сказал медленно:

— Пожалуй, да.

Не знаю, сколько времени они меня допрашивали, но вряд ли больше получаса, потому что довольно скоро кто-то из них потребовал, чтобы меня опять отправили на паррилью. И на протяжении двух часов меня дважды раздевали и привязывали к раме, но, вероятно, они все еще искали священника — хотя я мучилась от холода и страха, электричеством меня больше не пытали.

По-моему, тогда, в ожидании новых пыток, я молилась. Я почти ничего не помню, но, кажется, я молилась, чтобы у меня хватило сил вытерпеть боль, хватило мужества умереть с достоинством, если мне суждено умереть. И я помню странное чувство, словно я делила страдания Христа. Измученная, отупевшая от боли и страха, растянутая на железной раме, беспомощная, я словно испытывала частицу того, что должен был перенести он в страстную пятницу много веков назад.

Когда совсем рассвело, меня наконец развязали и повели через двор. Я еле держалась на ногах. Я услышала звук отпираемой двери, мой провожатый подтолкнул меня к нарам, накрыл одеялом и сказал:

— Приглядите за ней, девушки. Ей туго пришлось.

Дверь захлопнулась, скрипнул в замке ключ, и в первый раз за двенадцать часов я оказалась среди друзей.

Я неподвижно лежала на тюфяке. Глаза у меня все еще были завязаны, а сердце сжималось от страха. Некоторое время вокруг стояла тишина, а потом кто-то осторожно потрогал меня за плечо, и голос прошептал по-испански:

— Вам очень плохо?

Страх вернул мне дар речи:

— Они меня убьют?

Но откуда ей было знать? Да и кто она такая — этот голос во мраке? Я никак не ожидала, что ей что-то про меня известно, но она ответила сразу:

— Нет-нет, все уже позади. Но вам придется приложить усилия, чтобы сохранить здоровой свою психику.

Вот при таких невероятных обстоятельствах произошло мое знакомство с Франсиской, девятнадцатилетней социалисткой, которую арестовали и пытали за несколько дней до меня. В это воскресное утро

нас связали узы дружбы, которые ничто не разорвет.

Весь день и всю ночь Франсиска ухаживала за мной, как за больным ребенком. Она обтирала влажной ваткой мои пересохшие разбитые губы (меня ведь били по лицу). Она сняла жесткий жгут, давивший мои глаза, и заменила его полоской белой ткани, так что я видела землю у себя под ногами.

Примерно через полчаса они снова пришли за мной.

— Давай-давай, гринга,— сказали они и поволокли меня к дверям, потому что идти сама я не могла. Снова меня допрашивали какие-то начальники. Это был первый из допросов, которым меня подвергли в воскресенье. Не могу сказать точно, сколько их было и что происходило на каждом, но я отчетливо помню, какой страх охватывал меня всякий раз, когда в замке нашей камеры поворачивался ключ. И еще я помню, с каким мучительным ужасом ждала, свернут ли мои провожатые влево к помещению, где меня пытали, или пойдут прямо через двор.

Страх перед паррильей становился почти физической мукой, а они не говорили, куда меня ведут, и только понукали. Вот тогда я по-настоящему поняла смысл выражения «вести, как овцу на заклание» — ведь каждый раз я, спотыкаясь, брела с завязанными глазами туда, где меня могли освободить, а могли и убить.

Допрашивали меня о самых разных вещах. Мне предъявляли фотографии для опознания, требовали подробного описания всех тех, кого я называла, а если у них возникали сомнения, били по лицу и грозили паррильей. Помню вопрос, говорю ли я по-русски. Мысль, что меня считают способной изучить русский язык, показалась мне настолько забавной, что я засмеялась, и они пришли в ярость. Скосив глаза из-под повязки, я увидела картонную коробку, полную бумаг, изъятых из моего письменного стола, но это меня не очень расстроило — никаких опасных документов среди них быть не могло.

Примерно после десяти таких допросов меня привели в комнатушку с паррильей, но на этот раз посадили за стол, положили передо мной бумагу с ручкой и сказали:

— Сейчас вы сделаете заявление. Пишите!

И почти два часа я писала под их диктовку. Мое «заявление» растянулось на восемь-девять страниц. Начиналось оно примерно так: «Я, Шейла Кэссиди, римско-католического вероисповедания, клянусь, что заявление это делаю без какого-либо принуждения...» Далее описывалось, как меня попросили лечить Гутьерреса, и перечислялись все, кто в этом участвовал. Мне было трудно писать, а они били меня по рукам, заставляя писать тщательнее. Потом я подписалась, и они с торжеством унесли листы. Отказаться после пыток подписать заявление, написанное под дулом пистолета,— величайший героизм. Откровенно говоря, мне это и в голову не пришло. В течение следующих дней я подписала еще шесть заявлений — перепечатанный вариант первого, а также (в других тюрьмах) стереотипные заявления, что нижеподписавшийся не подвергался пыткам и не видел никого, кто бы им подвергался. Все эти заявления были затем опубликованы в чилийских газетах как доказательство того, что меня не пытали!

В то первое воскресенье — я не помню точно, в котором часу,— мы слышали, как пытали какого-то мужчину. Комнатушка с паррильей находилась за стеной женской камеры, и мы слышали громкие голоса допрашивающих и приглушенные стоны пытаемого сквозь заколоченную дверь, прежде соединявшую эти два помещения. Точно так же Франсиска и две другие девушки в камере слышали мой допрос.

Пытали же, по всей вероятности, Мартина Эрнандеса, одного из руководителей МИР, арестованного, когда агенты ДИНА разыскивали священника, который, как мне сказали, помогал Андресу Паскалю. Позже, когда меня опять вели на допрос, я увидела, как его волокли через двор. Много времени спустя я узнала, что он перенес самые жестокие пытки, которые привели затем к тяжелой болезни почек. Сейчас, когда я это пишу (ноябрь 1976 года), он все еще находится в тюрьме.

На следующее утро раздался громкий стук в дверь, и надзирательница, которая спала в камере, выругавшись, поднялась с койки. Я взглянула на нее из-под повязки — совсем молодая, наверное, нет еще и тридцати, длинные волосы, джинсы и свитер. Она спала одетая и теперь только причесалась и надела ботинки. Потом она постучала в дверь, и старший надзиратель ее выпустил. Вскоре дверь снова была отперта, и чей-то голос скомандовал:

— В умывальную.

Мы вышли из камеры — Франсиска меня поддерживала, потому что у меня еще не было сил идти самой. В крохотной кабинке мы по очереди умылись ледяной водой и вытерлись тряпицей, которая служила полотенцем нам всем.

Когда мы вернулись в камеру, Франсиска и еще одна девушка подмели пол, потом у них забрали щетку и дверь снова заперли. Примерно через полчаса за дверью послышался шум, и Франсиска сказала:

— Вот и завтрак!

Открылась дверь, и каждой из нас дали жестяную кружку с чем-то горячим и кусок хлеба. Я ничего не пила с вечера субботы (я и сейчас не вполне понимаю, почему это опасно после пытки электричеством, только ни тюремщики, ни девушки в камере в воскресенье не давали мне пить), но наконец теперь, утром в понедельник, мне позволили нарушить этот запрет, и ни один напиток не казался мне вкуснее этой переслащенной жижицы с легким запахом кофе. Хлеб был черствый и почти несъедобный, но, обламывая кусочки и макая их в «кофе», я кое-как позавтракала.

Потом я снова легла, а девушки сели вокруг, и у нас завязался разговор. Оказалось, что они подруги и их арестовали в один день. Они не стали рассказывать мне о своей политической деятельности и только упомянули, что они социалистки и вели работу в университете. Франсиска и Магдалина были студентками, а Эстер преподавала английский язык. Они рассказали, что подслушивали у двери, пока меня допрашивали, и очень обрадовались, когда история, которую я придумала, вынудила столько агентов ДИНА напрасно потратить почти всю ночь. Мое крещение огнем открыло мне доступ в их круг. Если бы меня, как англичанку и будущую монахиню, избавили от пытки. я бы осталась для них посторонней. Думаю, мы все равно подружились бы, но своей они меня не признали бы.

Тон в камере задавала Франсиска, хотя она и была самой младшей из нас. Она сказала мне, что мы обязаны держать себя в руках и не распускаться, чтобы и духовно и физически быть готовыми к любым испытаниям. Спать мы должны как следует. Это очень важно, а потому днем надо бороться с дремотой, иначе ночью не заснешь, а лежа без сна в темноте, легко поддаться страху и унынию. Днем необходимо находить себе какие-нибудь занятия, и каждая обязана помогать в этом остальным: вот сейчас давайте вспоминать фильмы, книги и рассказывать друг другу их содержание.

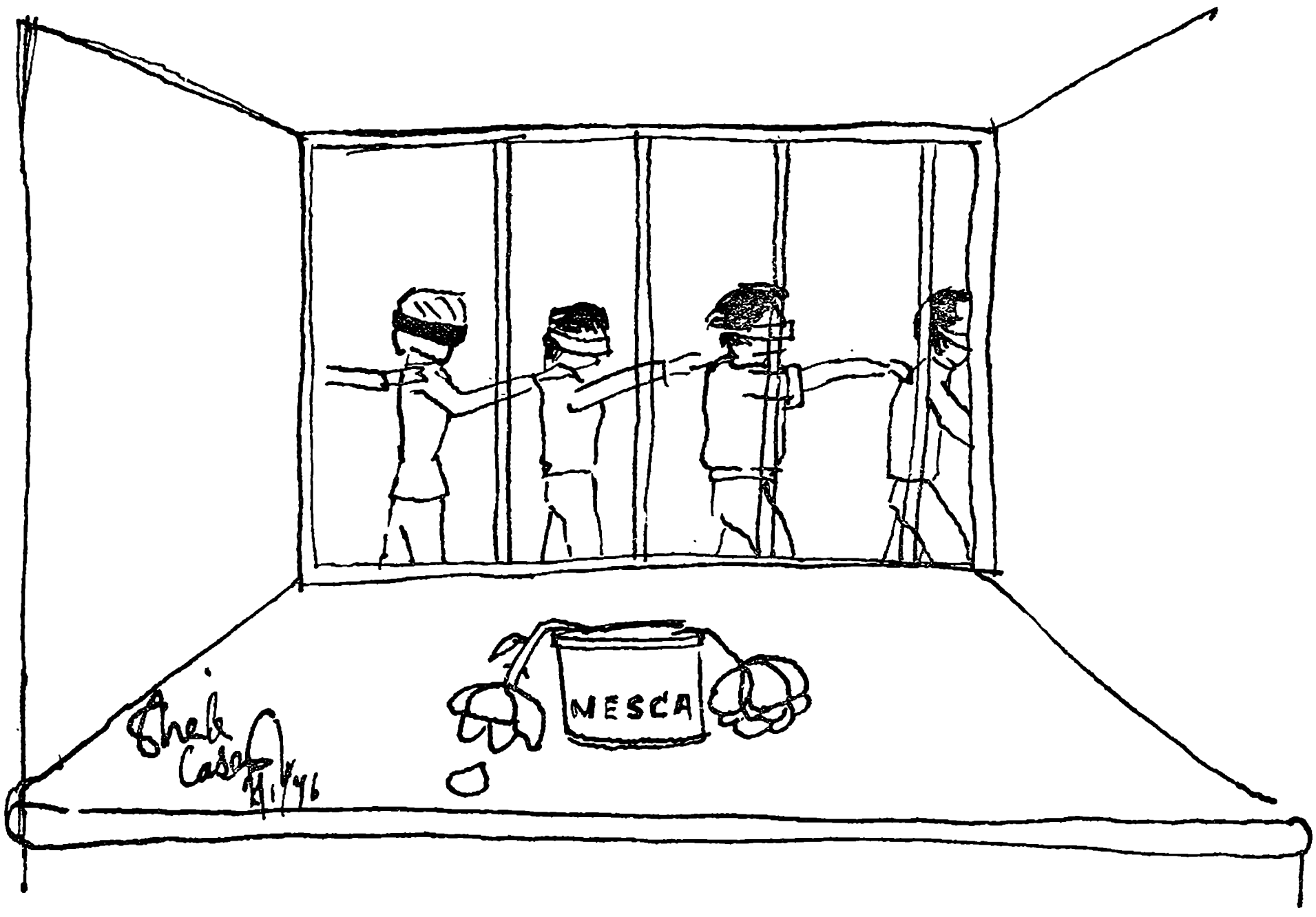
Через некоторое время, когда мы замолчали, Франсиска взяла тряпку, раздергала ее на нитки и начала «рисовать» нитками на одеяле, время от времени показывая нам цветы, птиц и человечков. Скоро к ней присоединились остальные, и я заслужила всеобщие похвалы, когда придумала название для нового вида тюремного искусства — «пелюсография» (от «пелюса» — нитка).

Днем за мной снова пришли охранники, и мне понадобилось все мужество, которое я почерпнула от моих подруг по камере, чтобы скрыть страх. Меня отвели в комнатушку с паррильей и приказали сесть. Мне предстояло повторить мои показания. Я говорила, а какой-то офицер их печатал. Это заняло много времени, и между нами установились чуть ли не приятельские отношения. Повязка у меня на глазах совсем ослабела, и, откинув голову, я могла его прекрасно разглядеть. Через несколько минут он сказал:

— Знаете, доктор, вы слишком любите подглядывать. Не в наших интересах и, уж конечно, не в ваших, чтобы вы запомнили кого-нибудь в лицо.

После такого логичного предупреждения я больше не пыталась рассматривать моих тюремщиков.

Затем меня отправили назад в камеру. После ужина мы легли на койки в ожидании минуты, когда мимо нашего окна проведут в умывальную мужчин. Их было человек двадцать — все с завязанными гла-



зами. Они шли медленно, гуськом, положив руку на плечо идущего впереди. Они проходили у самого окна, и можно было узнать знакомых, а это было бы чрезвычайно важно, так как многие арестованные, которых видели в Каса Гримальди или в других центрах ДИНА, где велись допросы, затем бесследно исчезали. Кто-то, вероятно, умирал под пыткой, других, по-видимому, тайно казнили.

Одна из таких циничных массовых казней произошла вскоре после моего ареста, хотя я узнала про нее много позже. Разрозненные, полученные от разных людей сведения слагаются в следующую историю. Двадцатисемилетний Роберто Галладо исчез в ночь на 17 ноября. Ночью 18 ноября арестовали его жену Монику и двух его сестер — Исабель и Каталину. В полицейском участке Исабель увидела своего отца Альберто, свою мать, брата Гуилермо и девятилетнюю племянницу. На следующее утро Исабель, Гуилермо, их мать и девочка были освобождены, после чего им сообщили, что Роберто погиб семнадцатого в уличной стычке и что Альберто, Каталина и Моника, жена Роберто, тоже погибли в вооруженной стычке с силами ДИНА на окраине Сантьяго. Позднее их трупы были предъявлены родным для опознания в городском морге, и на них виднелись явные следы пыток.

Погибшим в той же стычке был объявлен и Луис Ганга. Его мать и других членов его семьи арестовали 19 ноября и привезли в Каса Гримальди. Мать слышала, как кричат ее дети, и, не выдержав, показала агентам ДИНА дом, где скрывался ее сын Луис. Его арестовали, а позднее в тот же день было объявлено, что он погиб в стычке.

Эти и другие такие же случаи, известные лишь благодаря отрывочным сведениям, свидетельствуют, с каким полнейшим и страшным пренебрежением относится ДИНА к законам и к человеческой жизни. Хавьера девушка, с которой я познакомилась в тюрьме, сидела в Каса Гримальди с семьей Ганга и слышала сообщение об их смерти по радио, которое надзиратели включили на полную мощность за дверью камеры.

Ночь понедельника 3 ноября прошла спокойно, и снова девушки отдали мне одеяло, единственное на всю камеру. Было очень холодно, и я укрылась сверху еще и тюфяком. Утром я чувствовала себя лучше, хотя все тело у меня отчаянно ныло, на руках багровели оставленные ремнями кровоподтеки, а ноги и живот были в синяках от защипок электродов.

Когда мы ждали перед умывальней, какая-то молоденькая девушка схватила меня за локоть и шепнула:

— Не унывай, компаньера! Сопротивление победит!

Она исчезла так же внезапно, как и появилась, но час спустя ее посадили к нам в камеру.

Ее звали Хавьера, ей совсем недавно исполнилось восемнадцать лет, и она была членом МИР. Ее арестовали около двух недель назад и через неделю отправили в Куатро-Аламос, тюрьму для политических заключенных, которых лишают всякого общения с внешним миром. Тюрьма эта находится на территории Трес-Аламос, большого концентрационного лагеря под Сантьяго. До самого последнего времени существование Куатро-Аламос официально не признавалось, так как ДИНА, которая там заправляет, предпочитает умалчивать о своих арестованных, пока ведется следствие. Теперь Хавьеру прислали обратно в Каса Гримальди, чтобы устроить ловушку для связного, с которым у нее на этот день была назначена встреча. Это излюбленный прием ДИНА. Человека пытают, пока не добьются, чтобы он назвал своего связного, место и время их следующей встречи, которая, например, назначена в кафе. Арестованного заранее привозят туда и сажают за столик так, чтобы казалось, будто он один, хотя его все время держат под прицелом вооруженные агенты. Он должен сидеть так, пока не явится связной и не попадет в ловушку. Это трагическая дилемма: при малейшей попытке предупредить товарища арестованный может тут же получить пулю, и в сущности ему приходится выбирать между предательством и самоубийством.

Днем за Хавьерой пришли. Она вернулась часа через два и, когда дверь заперли, радостно шепнула нам, что связной не явился. Но хотя она была избавлена от чудовищного выбора, ей, несомненно, предстоял еще один допрос. И действительно, скоро ее опять увели, и мы ожидали, что из-за стены вот-вот донесутся уже ставшие привычными стоны. Однако паррилью как будто не применили и через час Хавьера вернулась: ее грубо втолкнули в камеру и захлопнули дверь. Она молчала, но по ее походке и выражению лица мы поняли, что ее пытали. Возле нар она пошатнулась, но Франсиска и Эстер успели подхватить ее и бережно уложили на тюфяк. Теперь настала моя очередь уступить ей подушку и одеяло. Когда Хавьера немного пришла в себя, она объяснила, что ей устроили «наушники».

Это внезапный и сильный удар ладонями по обоим ушам одновременно. У пытаемого завязаны глаза, и удары застают его врасплох, повреждая не только слух, но и орган равновесия во внутреннем ухе. Хавьера почти перестала слышать, и у нее начались приступы головокружения, настолько сильные, что она теряла равновесие и падала.

Но и распростертая на нарах, она не утратила бодрости духа. Мы сели рядом, и она рассказала нам, что ее арестовали две недели назад в доме ее родителей. Вместе с ней арестовали и Андреса, ее мужа. По-видимому, Андрес все еще в Каса Гримальди, потому что в Куатро-Аламос его не привозили — это она узнала бы, ведь заключенные там, хотя их никогда не выводят из камер одновременно, все-таки умудряются выцарапывать свои имена или ка-

кие-нибудь другие сведения на стене в умывальной. И теперь, вернувшись в Каса Гримальди, она со страхом и надеждой дожидалась, когда вечером мужчин проведут мимо окна.

После ужина мы услышали их шаги и, встав у окна, вглядывались в щели жалюзи. Они медленно брели мимо — почти все очень молодые — шаркающей походкой слепых. Внезапно Хавьера шепнула:

— Андрес!

Мы увидели, как повернулась темноволосая голова и как озарилось радостью худое лицо, тут же исчезнувшее из поля нашего зрения.

На следующий день на исходе утра распахнулась дверь, и Франсиске, Магдалене и Эстер приказали выйти с вещами. Я очень огорчилась: все-таки впятером было как-то безопаснее. Мы с Хавьерой пристроились поближе друг к другу, и она рассказала мне о себе. Училась она в одной из лучших школ Сантьяго и в шестнадцать лет уже вела активную политическую работу. Сразу же после переворота ее арестовали и почти неделю держали на стадионе в Чили. Она рассказывала мне, как они лежали ничком на земле, а солдаты стреляли у них над головой, и о том, как компания охранников «играла в рулетку» с группой студентов, стреляя в них из револьверов, заряженных одной-двумя пулями, так что на один выстрел приходилось несколько осечек. Она видела, как пытали и насиловали женщин, видела, как убивали ее друзей. Долгие месяцы она не могла оправиться от шока, но ее вера в дело революции осталась неколебимой. Андрес, как и она сама, был членом МИР. Их арестовали в один день и пытали на глазах друг у друга. Когда я услышала, сколько раз Хавьеру мучили на парриле, ее стойкость, сила духа поразили меня еще больше.

После обеда за мной снова пришли, но на этот раз мне было велено взять вещи. Не зная, что думать, но почти поверив, что мое освобождение близко, я попрощалась с Хавьерой и вышла из камеры. Сначала в тесной канцелярии мне вернули пояс, часы и серебряный крест, который я всегда ношу на шее, а затем охранники вытолкнули меня во двор и посадили на невысокий парапет. Сняв с моих глаз повязку, они заклеили их липкой лентой и повели меня за чугунную решетку, отделяющую передний двор Каса Гримальди от помещений, где содержатся заключенные. Трудно передать весь ужас полной слепоты. Повязка на глазах все-таки дает возможность смотреть под ноги, позволяет ориентироваться во времени и пространстве — хотя бы отличаешь день от ночи, улицу от коридора и т. д. Но липкая лента полностью лишила меня зрения. Я шла медленно, робко, то и дело спотыкаясь, а они заставляли меня ускорять шаг. Потом мне велели остановиться, и мой поводырь отпустил мою руку. Я замерла, ничего не видя, страшась пошевелиться. И тут где-то рядом заработал автомобильный мотор. Машина двинулась прямо ко мне, и меня обуял ужас. Я вспоминала рассказы о том, как заключенных толкают под колеса. Может быть, меня ждет такая же участь, а потом они объявят, будто я случайно попала под машину на улице? Затем машина остановилась совсем рядом со мной, и мне приказали влезть в нее. Этот кошмар длился всего несколько секунд, но я помню свой ужас так ясно, словно пережила его минуту назад.

Я сидела на переднем сиденье, втиснутая между шофером и охранником. На меня надели темные очки, и мы поехали. Шофер спросил словно просто так:

— А как себя чувствовал Андрес, когда вы в последний раз виделись?

По-видимому, он хотел поймать меня врасплох, надеясь, что я выдам свою принадлежность к МИР, и был явно разочарован, когда я ответила, что не знакома с Андресом Паскалем и ни разу в жизни его не видела.

Я все больше проникалась уверенностью, что меня везут в английское посольство, и радовалась, что скоро буду среди друзей. Со времени моего ареста прошло почти пять дней — не могут же они держать меня за решеткой вечно! Но минуты шли за минутами, уверенность угасла, сменилась страхом, хотя я и пыталась утешать себя мыслью, что меня передадут консулу в каком-нибудь укромном месте подальше от любопытных глаз. Примерно через полчаса машина остановилась, и я услышала лязг тяжелых чугунных ворот. И все-таки я продолжала цепляться за соломинку: ведь огромные чугунные ворота — не такая уж редкость для посольств в Чили, а мы по каким-то причинам ехали кружным путем. Мне велели вылезти. С меня сняли очки, без предупреждения содрали липкую ленту с век, и, открыв глаза, я увидела не ухоженный посольский газон, а длинные серые бараки и вооруженных солдат.

Трес-Аламос — концентрационный лагерь на окраине Сантьяго, где томились свыше шестисот политических заключенных. Они были арестованы только на основании закона о чрезвычайном положении, им не было предъявлено никакого официального обвинения! Я растерянно обводила взглядом мрачные здания, высокую стену с колючей проволокой и часовых в высоких будках по углам огромного квадрата. Сердце у меня сжалось.

Охранник окликнул меня, и я пошла по бетонированной дорожке к дверям моей новой тюрьмы.

Вошли в маленькую канцелярию, мне велели сесть. Я не испытывала ни облегчения оттого, что вырвалась из Каса Гримальди, ни страха. Внутри у меня все онемело от усталости и крушения надежд. Мою фамилию записали в толстую книгу, потом у меня опять отобрали часы и крест, но их положили в конверт с моей фамили-

ей! Все-таки это было признание, что я существую как личность, и впервые за эти дни мне позволили беспрепятственно смотреть на лица моих тюремщиков.

Здание Куатро-Аламос, куда меня отвели, прежде принадлежало монастырю и в нем жили послушники. Их бывшие кельи служат камерами, в которых заключенные, запертые поодиночке или по нескольку человек, проводят безвыходно все двадцать четыре часа в сутки. Их выводят только в умывальную, и всегда по отдельности. В коридоре днем и ночью дежурят три вооруженных охранника. Еду приносят в камеру. Прогулок нет, и на воздухе заключенные бывают, только когда их ведут на допрос.

Меня поместили в камеру номер четыре и заперли там одну. Двое металлических нар и стул исчерпывали обстановку. Правда, на нарах лежали тюфяки с подушками и серые армейские одеяла. Окно, довольно большое, было забрано решеткой и выходило на высокую бетонную стену с колючей проволокой наверху.

Оглядевшись, я попыталась взять себя в руки. Ведь это все-таки шаг к свободе, и можно считать, что худшее осталось позади. Возможно, меня освободят в ближайшие дни. Какой смысл задерживать меня и дальше, если все нужные им сведения они из меня вытянули? А может быть, Франсиска и остальные тоже тут? Вдруг я услышала, что в стену стучат. И постучала в ответ — три коротких удара и один длинный, знаменитый такт бетховенской Пятой симфонии. Он стал моими позывными, и, по мере того как дни превращались в недели, я все больше осваивалась с этим способом общения.

Хавьера говорила нам, что кормят тут хуже, чем даже в Каса Гримальди, и когда принесли ужин, я убедилась, что она была совершенно права. Он состоял из супа, куска хлеба и чашки чая. Суп был жидкий, мутный и почти безвкусный. Но он оказался горячим, а хлеб — свежим, и голод я утолила. Однако скоро выяснилось, что ничего другого тут вообще не дают. На завтрак мы получали чай и хлеб, на обед и ужин — суп и хлеб. И все. Ни фруктов, ни овощей. Мясо же и рыба присутствовали в супе лишь символически. Я быстро убедилась на опыте, что суповые кости, такие аппетитные на вид, были обманом — супа из-за них в тарелке было меньше, а то, что выглядело как мясо, на поверку оказывалось несъедобным хрящом. Раз в неделю нам полагалась тарелка фасоли и немножко макарон. При таком питании человек, правда, не умирал от голода, но не получал необходимого количества белков и витаминов.

Позже я узнала, что это был постоянный рацион всех заключенных в лагере, а некоторые из них находились там свыше двух лет! Такая поистине преступная «диета» тяжелым бременем ложилась на семьи заключенных, и без того лишенные кормильца. Ведь они были вынуждены тратить последние деньги на передачи из фруктов, овощей и рыбных консервов, чтобы спасти своих близких и любимых от белкового голодания и цинги.

Вечером в пятницу приехал консул. Мне сказали только, что ко мне пришли. Меня послали привести в порядок волосы и отвели в канцелярию. Когда я увидела, что там стоит Дирек Фернио, такой немыслимо английский на фоне этой обстановки, все накопившееся за неделю вырвалось наружу, и я разрыдалась у него на плече. Начальнику тюрьмы это не понравилось. Он сказал сердито, что не понимает, почему я вдруг расплакалась, и тут же объявил, что разговаривать мы можем только по-испански. Я заметила, что он смотрит на меня напряженно и выжидающе.

Я знала, что Дирек здесь столь же бессилен, как и я сама. В первую ночь я воображала, что он примчится в посольской машине, точно рыцарь на боевом коне, и умчит меня прочь. Но реальность оказалась совсем другой, и по его манере держаться я поняла, что вырвать меня отсюда он не может и что оба мы должны прибегнуть к прославленной английской дипломатии.

Я сдержала слезы и попросила у Дирека носовой платок, но когда он протянул мне традиционный белоснежный носовой платок, который благовоспитанные английские джентльмены всегда держат наготове для рыдающих девиц, мне захотелось не то засмеяться, не то снова заплакать.

Когда я немного успокоилась, Дирек спросил, как со мной обходятся. Начальник тюрьмы впился в меня глазами, и я ответила, что обходятся со мной очень хорошо. Начальник не сумел подавить вздоха облегчения, улыбнулся и отеческим тоном заметил, что обо мне очень заботятся.

Внезапно зазвонил телефон. Линия работала плохо, и начальник тюрьмы вскоре принялся кричать в трубку. Я наклонилась к Дирекy и повторила:

— Кабель, Дирек, кабель!

На большее я не осмелилась — «электричество» и «пытка» по-испански практически синонимы, а рядом с нами сидел тюремный врач. Дирек, как я узнала позже, сообразил, что мои слова имеют какой-то скрытый смысл, но не догадался какой. Однако он сообщил о них в Лондон, в министерство иностранных дел, и там сразу же поняли, что меня пытали электричеством. Таким образом о том, что я подвергалась пыткам, стало известно после первого же свидания со мной в тюрьме, но было решено, что меня освободят быстрее, если сделать вид, будто это осталось тайной.

Когда Дирек ушел, меня отвели назад в камеру. Я крепко сжимала одеколон, мыло и сигареты, которые он мне принес, убеждая себя, что мне это не приснилось. В дальнем конце черного туннеля забрезжил свет.

В пятницу 21 ноября дверь моей камеры открылась и надзиратель сказал:

— Вот вам и общество.

Мы с Хавьерой сохраняли безразличный вид, пока дверь не захлопнулась, а потом бросились друг другу на шею и исполнили в узком пространстве между нарами что-то вроде индейской военной пляски. Пожилая женщина, которую привели вместе с Хавьерой, смотрела на все это с недоумением, пока Хавьера не познакомила нас. Ее звали Исабель, она была медсестрой в одной из больших клиник, где ей поручали брать кровь у больных для анализа. И единственным ее преступлением, как выяснилось, была фраза, с которой она обращалась к больным: «Пожалуйста, левую руку. В левой руке кровь лучше!» Вот за это ее арестовали прямо в клинике и увезли в Каса Гримальди. Она показала мне ожоги на груди, там, куда палачи прижимали электроды, добиваясь от нее признания, что она состоит в коммунистической ячейке. Исабель была в отчаянии, что не может послать весточку старухе матери, которая осталась совсем одна. Мы с Хавьерой затвердили ее адрес на случай, если вдруг нас освободят раньше.

Сама Хавьера была очень бледна и сильно похудела за те шестнадцать дней, которые прошли с тех пор, как мы расстались. Она рассказала, что долго оставалась в камере одна. О том, что с ней делали, она говорить не хотела. И сказала только, что было тяжело. Во время очередного допроса у нее начался сердечный приступ, и на парриллю ее класть перестали, а вместо этого держали ее голову в ванне. Мне это показалось настолько чудовищным, что я не сразу поверила. Но теперь я знаю, что это один из распространеннейших «методов допроса» в некоторых странах Латинской Америки. А хуже всего было то, что от постоянных побоев у нее произошел выкидыш — когда мы с ней познакомились, она была на втором месяце беременности и свою бодрость черпала в мыслях о будущем материнстве.

На второй день рождественской недели, когда в Англии принято обмениваться подарками, ко мне пришли Дирек Фернио с женой, и, уплетая холодную индейку и ветчину, которые они мне принесли, я услышала радостную новость: по всей вероятности, меня освободят в следующий понедельник.

Субботу и воскресенье я напряженно ожидала, что мне официально объявят о моем освобождении, но напрасно. Утром в понедельник по-прежнему ничего, но я все-таки упаковала все мое скудное имущество в две веревочные сумки, с трудом подавляя волнение и тревогу. Десять часов, одиннадцать часов, двенадцать часов — время тянулось нескончаемо медленно, и вдруг раздалась грубая команда надзирательницы:

— Все на общую поверку!

В каждой из нас жил тайный страх перед неизвестным, рожденный в дни пыток и внезапных поездок неизвестно куда с глазами, заклеенными липкой лентой. Когда нас повели в центральный корпус, страх усилился, так как ходили слухи, что военные власти задумали разыграть мрачный фарс с «попыткой к бегству»: будет объявлено, что заключенные выкопали туннели под тюремной стеной, и это послужит предлогом для расправы с неугодными, после чего сотни обитателей соседней городской окраины будут согнаны в тюрьму, а затем освобождены по эффектно обставленной «амнистии».

Сперва я не очень поверила этому слуху, но потом вспомнила тщательно разработанные ложные улики в связи с исчезновением 119 политических заключенных, когда для пущей убедительности были даже специально отпечатаны два иностранных журнала. Меня охватил страх, и я вдруг подумала, что, наверно, так оно и есть и я уже никогда не увижу Англию. Тут начальник тюрьмы крикнул мне, чтобы я остановилась. Хотя я поняла, что, по-видимому, наступила минута моего освобождения, страх и неуверенность продолжали меня мучить. Он коротко сказал, что на сборы у меня есть три минуты.

Мы обогнули корпус, остановились у двери, которая вела в подвал, где, по-видимому, шел ремонт, и, к моему ужасу, мне указали на темную лестницу, которая вела вниз. Неужели меня все-таки убьют в самую последнюю минуту? Замуруют мой труп в цементном полу подвала, а моим друзьям сообщат, что я уехала в Англию?

К счастью, томительная неизвестность продолжалась недолго. Через две-три минуты открылась внутренняя дверь и мы поднялись наверх. Теперь я понимаю, что все это было проделано для того, чтобы мои подруги по заключению больше меня не увидели и не могли со мной попрощаться.

Меня провели в ту же приемную, где мне давали свидания с консулом, и, успокоившись, я с грустью смотрела, как обыскивают мои сумки. Все мои рисунки были изъяты. Потом обыскали и меня, но не нашли никаких записок или еще чего-либо запрещенного, так что все кончилось благополучно. Затем меня отвели в канцелярию, где я подписала бумаги о моем освобождении — печатные заявления, гласившие, что со мной обращались гуманно и я совершенно здорова. Потом я села и начала ждать. Время шло, и мне опять стало страшно. Меня торопили со сборами, говоря, будто за мной уже приехал посол. Но с тех пор прошло два часа, и я поняла, что они лгали. В три часа дня, когда я уже не сомневалась, что все это подстроено с какими-то темными целями, мне сказали, что пришла машина. Я влезла в черный лимузин, где сидели три вооруженных человека, и не скажу, чтобы мне стало намного легче на душе. Они попытались завести со мной разговор, но я отмалчива-

лась, и кто-то из них сказал, что я, очевидно, им не доверяю. Тогда я ответила, что научилась никому не доверять и думаю, что они — агенты ДИНА. Они возмутились, и как будто искренне, так что я немного успокоилась. Ехали долго, кружным путем, но в конце концов я заметила, что мы подъезжаем к аэропорту. И тут шофер объявил, что мы будем ждать снаружи, а в аэропорт меня пропустят за пятнадцать минут до отлета — таковы инструкции. Я поняла, что власти хотят, чтобы я покинула страну как можно незаметнее, и твердо решили не допускать, чтобы я попрощалась с друзьями, которые придут меня проводить.

Без четверти четыре мы въехали в аэропорт через боковые ворота и подъехали к залу ожидания для пассажиров. За те несколько секунд, которые мне потребовались, чтобы выйти из машины и войти в зал, я увидела много ждущих меня людей и обернулась, чтобы им помахать.

В зале были посол и Дирек Фернио. Они вручили мне билет и временный паспорт, и Дирек с еще одним человеком повели меня к аэродромному автобусу. Вне себя от волнения и радости, я как сумасшедшая махала толпе на галерее. Мои провожатые торопили меня. Я тогда, к счастью, не знала, что многих арестовывали даже у трапа самолета, а потому не понимала, из-за чего консул так тревожится. Много позже я узнала, что брат Анны Марии Босир был схвачен аргентинской полицией в аэропорту Монтевидео и тайно отправлен назад в Чили.

Я высунулась из окна автобуса и успела еще раз помахать моим друзьям. Мы приближались к самолету, и уже нельзя было различить лица провожающих — я видела только множество машущих рук. Медленно поднявшись по трапу, я попрощалась с Диреком Фернио, который столько сделал для меня в последние два месяца. Я не знаю, каковы обязанности консула в отношении попавших в беду соотечественников, но вряд ли от него требуют, чтобы он снабжал их носовыми платками, книгами, едой и одеждой, а также кормил их собак, пока они сидят в тюрьме.

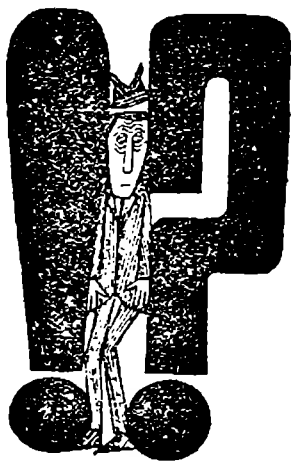
В самолете я прижалась лицом к окну, но из глаз у меня текли слезы, и я видела землю и людей, которых так полюбила, словно сквозь туман. Самолет поднялся в воздух, и я с тоской смотрела, как внизу исчезает Чили — страна, где война и мир, богатство и нищета, любовь и ненависть существуют в столь тесном соседстве, и где, как ни парадоксально, чуть не лишившись жизни, я обрела ее заново.

◆

ХОРХЕ РИХОЛЬ. Рыбак

◆

Антирубрика



У нас в гостях польский карикатурист Анджей Краузе

Издательство «Чительник» предложило мне написать предисловие к карикатурам Анджея Краузе и подсказать читателям, что творчество Краузе заставляет размышлять. Мне с этим трудно согласиться. Ведь общеизвестно, что если уж у нас что-либо издается, то вне всякого сомнения заставляет размышлять, а то к чему было бы издаваться! И вообще, коль скоро речь зашла о размышлении, то я не верю, что искусство в состоянии играть здесь главную побудительную роль. Если кто всю свою жизнь не размышлял, то он и не начнет, покажи ты ему хоть сто карикатур. И слава богу.

Однако считаю необходимым отметить, что в карикатурах Краузе я наблюдаю преодоление стереотипной трактовки овцы. Большинство карикатур, герои которых — животные, носит ярко выраженный антиовечий характер.

Таков, например, рисунок, где изображен ягненок на трибуне, который, притворясь волком, провозглашает: «Мы, волки...» А происходит все это на глазах подлинного волка, терпеливо наблюдающего столь мерзкое зрелище. И долготерпение волка — несомненное достоинство рисунка. К сожалению, а скорее к счастью, подобная ложь, как, впрочем, и любая, имеет короткие ноги.

Так что не надо усложнять — карикатуры Краузе абсолютно однозначны и так же веселы, как сама жизнь.

ЯНУШ ГЛОВАЦКИЙ

Красная шапочка состоит из...

А я тебе говорю: что-то в этом есть, раз напечатали!

Прекрасно носит палку! Это лучший баран из моей отарни!

БЕЛ КАУФМАН

Искусство рассказчика, вызывающее смех, слезы, раздумье

■

Перевод с английского Ф. ЛУРЬЕ

«Давным-давно...» И ты на крючке с самого детства. Такое вступление действует неотразимо. «Удивительный случай приключился со мной...» «Послушай-ка эту историю...» «Я когда-нибудь рассказывала вам?..» И у слушателей — ушки на макушке, стулья пододвигаются поближе, глаза устремляются на рассказчика — с надеждой, с ожиданием. «Заставь меня смеяться!» — словно говорят они; «Заставь меня думать!» (это потруднее); «Заставь меня почувствовать!» (это самое трудное). Если все это вам удается, вы — хороший рассказчик и вам незачем читать эти строки, разве только чтобы лишний раз убедиться, вроде моего знакомого мальчика, который любит спрашивать свою маму: «Я голодный?», «Мне холодно?»

Будь то шутка, исторический анекдот, прочитанный рассказ, случай, приключившийся с кем-то, а еще лучше с вами лично,— слушатели ждут, готовы принять на веру, жаждут узнать: что же было дальше? Чем все кончилось?

В небольшой компании, где идет беседа об удивительных приключениях и примерах вмешательства высших сил, некто рассказывает о страшном случае, произошедшем с ним: в разгар зимы он вместе с семьей ехал по лесу, а за ними по пятам с воем гнались волки. Сани мчатся по замерзшей реке, волки совсем рядом. Как вдруг лед трескается, сани тонут, и волки набрасываются на людей. «И как же, по-вашему, помог нам господь?» — спрашивает рассказчик. «Как?» — с изумлением повторяют слушатели, вытаращив глаза. «Слава всевышнему, вся эта история от начала до конца — чистейшее вранье».

Автор этого рассказа, еврейский писатель-юморист Шолом Алейхем, разряжает напряжение оригинально: мысль делает скачок; юмористический эффект достигается своего рода перевернутой логикой, внезапным поворотом, неожиданностью.

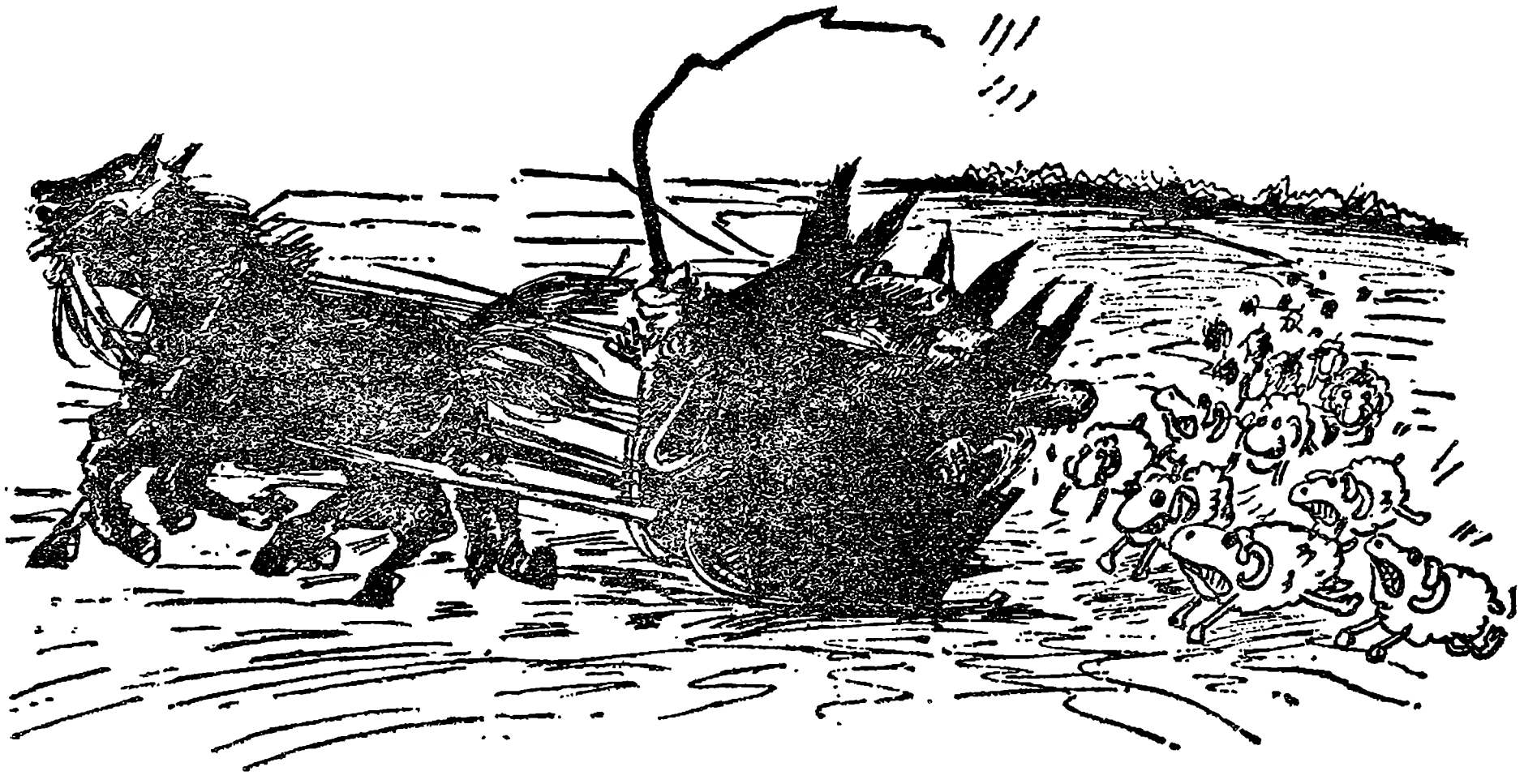
Во время моего недавнего визита в Москву дежурная по этажу в гостинице вручила мне телеграмму.

«Телеграмма из Америки,— сказала она,— я ношу ее в кармане вот уже три дня».

«Три дня!— воскликнула я.—Почему же вы не отдали ее мне сразу же?»

«Вы так хорошо проводите время,— сказала она,— не хотелось вас расстраивать: вдруг в телеграмме что-нибудь неприятное».

«В таком случае, почему же вы отдаете ее сейчас?»



«Ну как же, а вдруг там что-нибудь важное!» — последовал ответ.

Пишу и вижу, как много теряет эта история на бумаге. Голос, интонация, жест, многозначительно поднятые брови, механическая пауза перед кульминационной фразой — все разнообразие присущих устному рассказу оттенков на бумаге исчезает.

Есть один старый анекдот об анекдотах. Несколько человек, которым пришлось долгое время жить вместе, изобрели сокращенный способ рассказывать анекдоты: они их пронумеровали.

«Сорок семь!» — выкрикивал кто-нибудь под одобрительное хихиканье слушателей. «Восемьдесят три!» — провозглашал другой под взрыв хохота.

Один новичок решил принять участие в этой забаве. Он заглянул в список и сказал: «Пятьдесят два!» Но никто даже не улыбнулся. «Что ж вы не смеетесь? — озадаченно спросил новичок.— Ведь я сделал то же, что и другие».

«Понимаешь,— последовал ответ,— одни умеют рассказывать анекдоты, а другие — нет, в этом все дело».

Так оно и есть.

Тот, кто умеет рассказывать, словно магнит притягивает к себе не только слушателей, но и обстоятельства. Стоит ему пойти в магазин на углу, и он возвращается оттуда с уморительной историей; достаточно сесть в автобус — и у него на глазах немедленно разыгрывается трогательная сцена. А другой только удивится: «Почему это со мной никогда ничего такого не случается?» Или пожмет плечами и скажет: «Ни одного анекдота не могу запомнить»,— считая это достоинством, весьма сомнительным. Зелен виноград. Дело не в способности запомнить анекдот или сесть в нужный автобус, а в умении смотреть на жизнь сквозь особую призму и передавать увиденное живо, с юмором, а порой и так, чтобы запомнилось.

Рассказ запоминается не только благодаря содержанию или умелой передаче, но и благодаря скрытой в нем глубинной правде: меткому проникновению в суть характера, неожиданному раскрытию состояния человека. Хороший рассказ — нечто иное, чем сумма его составных частей; в нем содержится гораздо больше, чем воспринимает ухо. Может быть, в нем скрыта некая мораль или личная философия вроде той, что исповедует одна моя знакомая. Ей 72 года, но она продолжает купаться зимой неподалеку от Кони-Айленда. «И вы не боитесь?» — как-то спросила я. «А чего мне бояться?— ответила она.— Лучше отправиться на тот свет, с удовольствием занимаясь плаваньем, чем умереть за ненавистным мне мытьем посуды!»

Что такое хороший рассказ? Это история, рассказанная хорошим рассказчиком, способным превратить случай в приключение, взглянуть на обыкновенное свежо, непосредственно, а порой и непочтительно — глазами ребенка или поэта.

Многие, например, пользуются за границей знаменитым разговорником Берлица, но лишь человек с острым чувством юмора обнаружит в нем «спрессованный» роман. Если «развернуть» его и быстро прочитать все подряд без пауз, то перед нами пройдет гамма человеческих чувств: «Как вы поживаете?— У меня пропал багаж.— Я ищу свой отель.— Где же он находится?— Я потерял свою жену.— Это слишком дорого.— Полиция, на помощь!— Ваша дочь замечательно поет.— Давайте поженимся?»

Предмет изображения — жизнь, беспорядочная и полная случайностей. Словно фотограф, чей объектив, чтобы передать идею, выхватывает из пейзажа лишь одно дерево и скалу, рассказчик замыкает хаос в рамку, отбирает несколько выразительных деталей, располагает их так, чтобы заинтересовать слушателя, и быстро устремляется к развязке. Заключительную фразу он обязан знать прежде, чем произнесет первую, и движение к концовке должно быть неотвратимым и размеренным. Все лишние детали, даже самые привлекательные и выразительные,— долой! Все не относящееся к сути дела — долой! Перегруженный рассказ погибнет.

Избегайте многословия. Внимание слушателя рассеивается. Надо, чтобы он все понял сразу. У него ведь не будет возможности выслушать рассказ снова или на досуге перечитать его. В устном рассказе важен ритм и стиль — меткое слово, удачная фраза, яркий штрих, способный оживить описание или раскрыть характер. Рассказ должен производить цельное впечатление: либо в нем действительно есть «соль», либо цель его — вызвать спокойное одобрение.

Грустный комментарий к нашей жизни представляет собой рассказ одной моей знакомой. Однажды на улице ей навстречу бросилась стайка детей, на первый взгляд беспечных и веселых. Она хотела было приветливо улыбнуться им, но они выхватили у нее сумочку и кинулись врассыпную. На мгновение женщина опешила. «Но это же дети,— подумала она,— это, наверно, игра... Они пошутили!» Увы! Это была не шутка.

Неожиданность и несовместимость — обычные элементы юмора — подчеркивают горькую иронию этого происшествия. Комментарии излишни.

Хороший рассказ отвечает обстановке и аудитории. Нужно, чтобы он возникал сам собой, экспромтом или по крайней мере казался таким. Рассказу необходимо изящество — юмор без злобы, чувство без сентиментальности. Он должен вызывать у слушателей отклик. Пусть рассказ о сафари в джунглях захватывает, зато история о грубом таксисте сближает незнакомых доселе людей. Пикантные детали, нелепые ситуации, воспоминания детства, мелкие неудачи, ирония судьбы — все это немедленно заставляет слушателя сопереживать, причем ничуть не меньше, чем борьба каждого из нас против несправедливости, бюрократизма или бездушной механизации нашей жизни.

Одно такое сражение я выиграла после многих месяцев бесплодной переписки с большим универсальным магазином. Игнорируя мои письменные объяснения, фирма продолжала присылать мне счета за покупки, которых я никогда там не делала. Время шло, и требования об оплате становились все более настойчивыми, а тон их все более угрожающим. В конце концов я взяла конверт, написала на нем: «Внимание: живому человеку, а не компьютеру» и адресовала свое послание любому живому человеку, в чьи руки оно попадет. Через несколько дней раздался телефонный звонок. «Мисс Кауфман,— послышался в трубке смущенный голос,— говорит живой человек».

Всякий раз, когда речь заходит о нашем механизированном обществе, я рассказываю эту историю. Когда повторяешь рассказ одним и тем же слушателям, сила его воздействия ослабевает. Но любимую историю можно рассказывать и в разных аудиториях, отшлифовывая ее до совершенства.

Задачи могут быть разные — развлекать, разрядить атмосферу к месту рассказанным анекдотом или забавной историей развеять огорчение (нельзя и сме-

---

яться и сердиться одновременно) — юмор, пожалуй, самое ценное в искусстве устного рассказа. Не пошлая острота, не избитый анекдот, а подлинный юмор, то есть чувство соразмерности, умение зорко подметить нелепое, разоблачить напыщенность и прежде всего — способность посмеяться над самим собой.

Однажды утром в чужом городе, где мне нужно было выступить перед студентами, я проснулась слишком поздно; позавтракать в ресторане отеля было уже нельзя; в кафе вестибюля мне удалось достать лишь чашку кофе. Рядом со мной сидел еще один опоздавший — приезжий англичанин; он уныло прихлебывал кофе; мы обменялись несколькими сочувственными репликами и разошлись в разные стороны. В тот же вечер англичанин появился в переполненном ресторане. где меня принимали университетские знаменитости. Проходя мимо нашего столика, он подмигнул мне и сказал: «Давайте завтра утром встанем чуть раньше. Договорились?»

Поставить себя в двусмысленное положение — значит дать слушателям возможность ощутить свое превосходство и отнестись к рассказчику доброжелательно, особенно в тех случаях, когда причиной провала бывает спесь.

Щеголяя своим французским языком, я беседовала однажды в Париже с молодым скульптором у него в студии. «Вы такой талантливый!— воскликнула я на своем изысканнейшем французском.— Не пора ли вам выставиться?» У скульптора хватило такта с улыбкой объяснить мне разницу между французскими выражениями «выставиться» («выставить себя») и «экспонировать» («выставить свои скульптуры»).

Подобные ляпсусы и недоразумения — богатейший источник рассказов о заграничных путешествиях. Детство — это тоже чужеземная страна: говоря на одном и том же языке, родители и дети нередко совершенно не понимают друг друга.

Когда моей дочери исполнилось три года, я решила, что пора уже отучить ее от ежевечернего ритуала: перед сном девочка непременно накрывалась старым-престарым розовым одеяльцем, складывала его так, чтобы угол непременно касался ее носа, и при этом большой палец засовывала в рот. Надеясь пристыдить и отучить ее от этой привычки, я взяла одеяльце, сложила его так же, как она, поднесла угол к носу, засунула большой палец в рот и спросила: «Посмотри, ведь смешно, правда?» Девочка серьезно посмотрела на меня и сказала: «Ты все делаешь не так».

Нередко именно тогда, когда мы совершенно уверены, что нашли с детьми общий язык, мы глубоко заблуждаемся.

Когда маленький сын задал мне неизбежный и давно ожидаемый вопрос «Откуда берутся дети?», он не застал меня врасплох. Четко и ясно я объяснила ему суть процесса и даже начертила подробную схему. Сын внимательно выслушал меня; он был восхищен мудростью природы. Особенно поразило этого логически мыслящего ребенка, как точно все предусмотрено природой. Ему не терпелось поделиться своими знаниями, и он спросил: «А папа об этом знает?»

С удивлением и признательностью мы смеемся над неожиданным, над нелепостями, смеемся над доведенной до абсурда истиной; порой смеемся, чтобы скрыть слезы. В настоящем юморе поч-

ти всегда есть привкус печали; подлинный юмор — серьезен.

«Смейтесь при любых обстоятельствах,— говорил Шолом Алейхем.—Смейтесь, даже если шутка не доходит до вас, смейтесь авансом. Шутку можно понять позже, ну, а если и вовсе не поймете, хотя бы посмеетесь всласть». Он очень любил смех и был превосходным мимом и рассказчиком. Когда мы, его внуки, были маленькими, он сочинял смешные истории, чтобы позабавить нас. В завещании Шолома Алейхема сказано, чтобы в память о нем родные и друзья собирались в годовщину его смерти и читали вслух его юмористические рассказы. Это стало священной традицией в нашей семье. Ежегодно в день смерти Шолома Алейхема мы читаем вслух его лучшие юмористические рассказы, смеемся, пьем чай и расходимся по домам.

Будь то незнакомая аудитория, обед с другом или гостиная, полная знакомых, слушатели — ваш безмолвный (будем надеяться) партнер, барометр вашего успеха. Ловят ли они каждое ваше слово, или на их лицах застыла вежливая скучающая улыбка? У них тускнеют глаза от ваших слов, вянут уши? Отклик слушателей зависит во многом от их ожиданий. Если вы начинаете рассказ с извинений: «Честно говоря, я не так уж силен в этом... Боюсь наскучить вам...»— слушатели примут ваши слова за чистую монету. И наоборот, создайте себе репутацию острослова, и не успеете вы рта раскрыть, как люди уже станут смеяться, повинуясь своеобразному условному рефлексу. Но не вздумайте предвосхищать их ожиданий: «Это уморительно! Вы только послушайте!» Разочарование неизбежно. Не следует также предрекать: «С этим человеком не соскучитесь», ибо человек, которого вы представляете таким образом, может подумать, что его пригласили только для того, чтобы он своими рассказами «заплатил» за угощение. При такой рекомендации человек может даже попытаться стать «душой общества»— печальная миссия, которая легко оборачивается шутовством.

Если вы внимательны к слушателям, вы не будете обижать их, не станете хулить их религиозных убеждений, нарушать установленные правила поведения или оскорблять чье-либо достоинство... Вы не позволите себе весьма распространенной бестактности — не попытаетесь единолично завладеть разговором, не станете обращаться лишь к одному из присутствующих, не замечая всех остальных. Свою аудиторию надо знать. В одном из рассказов Чехова — я привожу его в весьма вольном изложении — герой подтрунивает над своими слушателями.

Человек рассказывает молодым экзальтированным дамам о любовном приключении. Очутившись однажды ночью в незнакомом городе, в незнакомой комнате, он собирается лечь в постель, как вдруг в комнате неожиданно появляется прекрасная молодая женщина. Она страстно обнимает его в темно-

те и шепчет слова любви... Они проводят восхитительную ночь. «Кто же была эта незнакомка?» — восклицают молодые дамы, сгорая от нетерпения. «Моя жена, разумеется,— отвечает рассказчик.— Разве я не сказал, что мы путешествовали вместе?» Слушательницы очень разочарованы. И пока рассказчик не убедил их, что это была не жена, а незнакомая дама, интерес к рассказу не возобновился.

К месту рассказанная история зачастую оказывается аргументом, подтверждающим чью-либо точку зрения более убедительно, чем пространная полемика.

Однажды на собрании писателей горячо обсуждался вопрос о цензуре детской литературы. Когда меня попросили изложить свою точку зрения, я встала и рассказала эпизод из своего детства.

«Однажды,— сказала я,— когда мне было лет девять или десять, к нам заглянула мамина подруга и пришла в ужас, обнаружив, что я читаю «Яму» Куприна — роман о проституции с ярким описанием венерической болезни и сыпи, которая выступает на теле больного. «И ты разрешаешь маленькой Беллочке читать такие книги!» — воскликнула гостья. На что мама дала, на мой взгляд, вполне разумный ответ: «Если она понимает, о чем идет речь,— ничего страшного, а если не понимает — это ей не повредит». Мама и не подозревала, что книга Куприна явилась необыкновенно реалистическим описанием кори, какого мне еще никогда не приходилось встречать, тем она меня и привлекла».

Я не стала обижать свою интеллигентную аудиторию рассуждениями о том, что «дети вооружены собственной невинностью и потому их книги цензурировать не следует», не сделала никакого вступления и ничего не объяснила в конце («Главное для меня была сыпь. Понятно?»), не увязла в расплывчатых, полузабытых деталях: «Я читала одну книгу... Позвольте, как бишь ее? Что-то такое, чего мне читать не полагалось. Название, кажется, начиналось то ли с «Я», то ли с «А». Погодите, сейчас вспомню. В то время мне было девять, нет, скорее десять лет. Нет, девять. Десять мне быть не могло — мы ведь только что переехали в Одессу, где отец... О чем мы говорили? На чем я остановилась?..»

Убить рассказ дело нехитрое. Так на каждом шагу и получается. У некоторых прямо талант упускать «соль», потерять нить повествования, забывать о важных деталях и о кульминации. Это не рассказчики, а мастера растекаться мыслью по древу, иными словами — занудЫ.

Существуют, конечно, разные степени и уровни занудства. У умеренного зануды слушатели подавлены, но не обречены; неумеренный же зануда выступает под разными личинами. Надоедливый зануда хватает слушателя за лацкан пиджака, чтобы тот не сбежал, тычет ему

пальцем в живот, подчеркивая «соль», замирает, когда говорят другие, чтобы при первом удобном случае перехватить инициативу. Зануда-Соавтор не может удержаться от участия в чужом рассказе, он поправляет рассказчика, вносит свои изменения, добавления, подсовывает «изюминку». Зануда-Примадонна — им может быть мужчина и женщина — этого надо умолять, чтобы он согласился раскрыть рот. Зануда-Сплетник, Зануда-Педант... Длинный и знакомый перечень... Но Зануда из Зануд — это Зануда-Балагур. Он беспрестанно сыплет остротами, шутками, прибаутками, бессмысленными, неуместными, затасканными... Иногда среди них попадается кое-что забавное, но чаще всего они вовсе не смешны, хотя слушателям приходится смеяться — от неловкости и из великодушия, а то и в силу стадного инстинкта...

Не каждому человеку от природы дана живость натуры, актерский талант, остроумие, искусство подражания. И если унылый, апатичный человек не станет блестящим рассказчиком, он может, по крайней мере, научиться не быть занудой.

Искусство рассказа можно совершенствовать. Прежде всего интерес к людям, ибо люди — это главное. Лица в метро, уличная сценка, обрывки подслушанного разговора... Если вы умеете видеть, слышать и наделены хоть чуточкой доброты и малой толикой воображения — вы вполне сможете стать рассказчиком.

Подобно герою пьесы Мольера, который с удивлением обнаружил, что всю жизнь говорит прозой, вы, быть может, и не подозреваете, что, рассказывая какую-нибудь историю, делаете это с большим мастерством. Но одного мастерства недостаточно. На поверку выходит, что хороший рассказ завораживает, а рецепта волшебства пока нет. Но он почти в ваших руках, если вы знаете, как начать и когда кончить.

Завершив рассказ, не вздумайте объяснять или исправлять его. Последняя фраза сказана, а потому не топчитесь у дверей, не возвращайтесь за калошами. Дойдя до конца, остановитесь и поставьте точку.

Что я и делаю.

Читалка

В одном из рассказов Уильяма Сарояна маленький мальчик впервые попадает в публичную библиотеку. Он благоговейно озирается по сторонам и говорит: «Книг-то, книг, и в каждой что-то написано!»

Помню себя двенадцатилетней девочкой. Я только что приехала из России и пропадала в библиотеке по соседству с домом, пытаясь своим умом докопаться до тонкостей английского языка. Рекомендательных списков у меня не было, а библиографические справочники и каталоги были мне ни к чему, потому что я шла от полки к полке в порядке алфавита, с упорством крота пропахивая один стеллаж за другим. Читала я по методу «проб и ошибок», макулатуру и шедевры; я уподобилась наркоману, которого интересует не столько качество «травки», сколько ее количество.

Порой я натыкалась на совсем особенную книгу; читать ее было не обязательно, в списки рекомендованной литературы она не входила и не была загублена навязчивыми требованиями учителя: «Назови три книги... Ответь на следующие вопросы...» Эту книгу можно было читать просто так, для собственного удовольствия.

Где еще разрешалось — более того, поощрялось — полистать книгу, задержаться на любой странице, не боясь окрика: «Товар руками не трогать!»? Этот товар для того и существовал, чтобы его брали в руки. Чопорные и безликие темно-красные и темно-зеленые библиотечные переплеты меня не обманывали; у меня был нюх на хорошие книги. Если книжные страницы потрепаны и загнуты, а на формуляре в бумажном кармашке на внутренней стороне переплета много пометок, я знала, что вытянула «счастливый билет».

Записи на формулярах связывали меня с безымянным братством других читателей, чьи руки перелистывали те же страницы, что и я, читателей, порой оставлявших на полях книги карандашные пометки вроде философского: «Как это верно!» или лаконичного: «Дерьмо!»

Окруженные целыми стенами книг, мы сидели здесь в молчаливом содружестве; тишину нарушали лишь шарканье ног, скрип стульев, случайный громкий шепот и строгое «ш-ш-ш» библиотекаря.

Библиотекарь всегда был на посту, скромный и всезнающий, готовый дать ответ на любой вопрос: где найти книгу об эскимосах? Что прочесть по истории подводных лодок? Какой роман самый популярный? Его не смущал даже вопрос, который я нечаянно подслушала как-то раз в детском отделе библиотеки: «У вас найдется книжка для восьмилетнего ребенка с больным горлом?»

Обо всем этом я вспоминаю потому, что в наши дни публичные библиотеки

АНТИРУБРИКА

становятся все менее и менее доступны для людей, которые в них особенно нуждаются. Продолжительность работы библиотек за последние пять лет уменьшилась вдвое (начиная с 1 июля), бюджеты библиотек еще больше урезаны; по-прежнему существует угроза дальнейшего сокращения штатов и объема обслуживания читателей: публичные библиотеки Нью-Йорка пострадали от финансовых затруднений города больше, чем другие крупные общественные учреждения.

По утверждению бывшего руководителя Управления по вопросам просвещения штата Нью-Йорк Джеймса Э. Аллена, главной привилегией американцев является право на чтение[1]. Педагоги то и дело проводят в школах широкие обследования, внедряют новейшие технические средства обучения и дорогостоящие хитроумные методы, чтобы справиться с неграмотностью, улучшить у детей навыки чтения,— а тем временем публичные библиотеки одна за другой закрывают свои двери.

В чем же заключаются наши привилегии?..

Мне кажется, что именно теперь, когда в Нью-Йорке живет так много людей, для которых английский язык не родной, людей, в чьих домах нет книг, людей, которым изо дня в день крикливо навязывают массу легких развлечений,— теперь, как никогда, нам необходимо нечто более надежное, что останется с нами, когда фильм кончится, телевизор сломается, а класс будет распущен по домам.

Для многих публичная библиотека — единственное спокойное место в нашем беспокойном мире, единственное убежище, где можно укрыться от насилия и враждебности внешнего мира; единственное пристанище, где можно поработать и подумать в покое и уединении. Для многих нет иной возможности встретиться с книгой, которая стоит на полке и ждет, чтобы ее взяли домой бесплатно.

Как сказал один бывший ученик: «В читалке трудно не читать». Преподавая английский язык в средней школе, я обычно просила учеников приносить в класс свои читательские билеты в надежде, что, коль скоро ребята обзаведутся билетами, они будут ими пользоваться. Один мальчишка принес билет своей тети. «Мне он ни к чему,— весело заверил он меня.— Я принес только, чтоб показать вам».

И все-таки некоторые стали пользоваться своими читательскими билетами, пусть даже только потому, что билеты у них были. В наши дни многие люди и библиотеку посещают потому, что она существует. А в ней книг-то, книг, и в каждой что-то написано. Как печально для Нью-Йорка, если на дверях библиотек появится табличка: «Закрыто».

[1] «Право на чтение» — закон, принятый Конгрессом США в 1972 году в связи с проблемой ликвидации неграмотности и малограмотности среди населения США.

Наши гости

США

Наварр Скотт Момадэй

Наварр Скотт Момадэй, американский индейский писатель, уже вторично посещает нашу страну. В 1974 году он читал в МГУ курс лекций по литературе США. В то время имя Момадэя уже приобрело некоторую известность — не только в США, но и в Европе — в связи с его романом «Дом, сотканный из рассвета», получившим в 1969 году премию Пулитцера. Роман был экранизирован в США и переведен на ряд европейских языков (русский перевод напечатан в журнале «Октябрь» № 6, 7 за 1978 г.). Впервые книга, написанная индейцем, показала, что индейская культура — не уходящая экзотика прошлого, а сложная и активная составляющая современной жизни страны. Последующий, уже десятилетний, творческий путь Момадэя закрепил его репутацию крупнейшего мастера литературы «коренных американцев». Его перу принадлежат необычное по жанру произведение «Путь к Горе Дождей» (1969), основанное на преданиях племени кайова, книга мемуаров «Имена» (1976), два поэтических сборника и ряд эссе. Момадэй читает в Стэнфордском университете курс американской литературы и цикл лекций об индейском фольклоре.

Общественная позиция писателя отличается противоречивостью. Талантливый художник, глубоко чувствующий демократизм индейской культуры, Момадэй склонен ограничиваться отражением общефилософских и эстетических ее аспектов, уходя от тех остросоциальных конфликтов, которые определяют сейчас жизнь многих индейских резерваций. По мнению активистов из наиболее радикального крыла движения индейцев за равноправие, он говорит скорее «за себя», чем от имени индейских племен.

Наварр Скотт Момадэй рассказывает по нашей просьбе о своих творческих планах:

— Если бы мне было дано выбирать между поэзией и прозой, я выбрал бы поэзию. После опубликования книги «Танцор с погремушкой» накопилось много новых стихов, так что материала вполне хватит еще на один поэтический сборник. Кроме того, вырисовывается книга эссе, в которой найдут отражение мои взгляды на духовное наследие индейцев. Туда войдут статьи, уже публиковавшиеся в различных журналах, и ряд новых.

Уже давно мною задумана книга о миграции предков индейцев из Азии в Америку. Жанр будущей книги трудно определить; повествование будет развиваться сразу в нескольких планах: история, фольклор и лирический комментарий сольются воедино — возможно, это будет чем-то напоминать «Путь к Горе Дождей». «Азиатский» материал я надеюсь почерпнуть, глубже познакомившись с вашей страной. Для этого я уже ездил в Ленинград, в Институт Севера, а в Москве беседовал с Чингизом Айтматовым, чье творчество меня глубоко интересует. Правда, в течение одного визита трудно познакомиться со всем что меня интересует здесь. Только в одной русской литературе я открываю для себя целый мир...

— Что представляет собой современная литература индейцев США?

— Меня часто спрашивали об этом — в Институте США, в Институте мировой литературы так что ответ уже сложился. Эта литература лишь в настоящее время становится письменной, и «запаздывает» она вследствие языкового барьера долгое время препятствовавшего ее развитию. (Уточним, что языковой барьер был прежде всего следствием дискриминационной политики правительства США, затянувшего социальную и культурную изоляцию индейцев в стране.— А. В.)

Письменная индейская литература не может складываться на основе аборигенных языков хотя многие из них еще живы. Поэтому мне кажется что путь для всех индейских писателей будет общим: каждый из них должен развивать наследие собственной племенной культуры так же, как это сделал я для своего племени кайова.

Что касается конкретных явлений, то за последние годы было опубликовано несколько романов: это «Церемония» Лесли Силко «Зима в крови моей» Джеймса Уэлча. Заявили о себе и поэты: Дуэйн Ниатум, Саймон Ортис Поэтов больше чем прозаиков, потому что поэзия ближе к устной народной традиции индейцев чем современные формы прозы. Например, жанра, сколько-нибудь соответствующего роману, конечно, не было в индейской словесности, но у нас существовали предания, молитвы и песни, родственные поэзии. Устная повествовательная традиция у индейцев по-прежнему довольно сильна и,

конечно, уходит корнями в глубокую древность. Не так давно я написал рецензию на сборник преданий индейских племен Северо-Запада. Он называется «Девушка, вышедшая замуж за духа». На мой взгляд, эта книга — один из удачных примеров устной литературы индейцев.

Меня давно интересовало, каким образом человек, не знакомый с письменностью, организует свою художественную речь. Письменность поощряет нас принимать язык и слова на веру. Мы можем выделить ряд слов из контекста бытия, составить из них книгу, запереть ее в ящике стола и пребывать в уверенности, что написанное сохранится на много лет. В известном смысле это плохо, потому что таким образом возникает тенденция к принижению важности устной речи, самого языка.

Тот же, чья жизнь зависит от одной лишь устной речи, воспринимает язык куда более серьезно. Он говорит и слушает более тщательно и больше полагается на память; он не может позволить себе играть или бросаться словами. В современном обществе нас теснит и отупляет словесный мусор, избыточная печатная продукция. Слова удешевились, мы забыли всю значимость устного слова.

В то же время я отдаю себе отчет в том, что письменность — явление недавнее, ей всего лишь около 6000 лет этот срок — малая часть в истории человечества. Мы говорим об отсутствии письменности как о чем-то отрицательном, подлежащем исправлению, но проблема значительно сложнее. Величайшие рассказчики всех времен и народов не только были неграмотными, но сами имена их остались неизвестными. То же относится и к устным преданиям американских индейцев. Многие повествования их необычайно прекрасны и совершенны в художественном отношении. Писатели, по-моему, должны относиться к художественному языку так же, как и сказители, которые верят в непреходящую мощь и красоту слова. Они верят в то, что причастны к активному созиданию окружающего, и нам нельзя утерять силу этого убеждения. Я хотел бы рассказать вам историю о том, как я получил свое индейское имя Тсоуай-Тали, юноша Каменного Древа...

Писатель рассказывает предание кайова, уже знакомое читателю «Иностранной литературы» [1]. Но в данном случае важен не сюжет истории, а талант Момадэя-рассказчика и тот вывод, к которому, как он считает, неизбежно придет и слушатель под воздействием самой манеры сказителя:

— Когда молодой человек, слушающий предания своего народа, сделается живым воплощением его истории, пережив все доброе и злое, что случилось с ним, личность его изменится — он станет достоин и нового имени. «Теперь ты существуешь, Тсоуай-Тали»,— произнес старейшина Пулоу, давая мне это имя.

Сталкиваясь со всеми явлениями окружающего, человек должен приспособить к ним свое восприятие, просто отдать себе отчет в их существовании; в противном случае он утратит свою гуманистическую природу, положение его станет безысходным, он сделается пустой и хаотичной частицей вселенной...

---

[1] См. «ИЛ» № 12, 1977, стр. 242—244.

А. ВАЩЕНКО

Клаус Штиллер, Петер Шнайдер, Фридрих Кристиан Делиус

ЗАПАДНЫЙ БЕРЛИН

Клаус Штиллер, Петер Шнайдер и Фридрих Кристиан Делиус — очень молоды, в нашей стране впервые, советский читатель с ними еще незнаком. Поэтому, прежде всего, просим их рассказать о себе. Гости устраивают короткое «совещание» и решают представляться не сами, а представлять друг друга.

Со слов Петера Шнайдера мы узнаем, что Фридрих Кристиан Делиус очень рано начал писать стихи, приобрел известность как поэт. Позднее он выступил с прозаическим произведением, в основу которого легли документальные материалы об одном из заседаний руководства ХДС, посвященном вопросам экономической политики. Эта книга называется «Мы — предприниматели». Затем Делиус написал документальную книгу-памфлет «Наш мир — «Сименс», где он в остросатирической форме разоблачает фашистское прошлое хозяев известного концерна.

— Руководство концерна возбудило против автора судебный процесс, который длился несколько лет. Делиус «почти победил»: ему всего-навсего пришлось заплатить штраф в размере 34 тысяч марок. Теперь он собирается приоткрыть дверцу в прошлое еще одного крупного предпринимателя.

Существует мнение, что первые книги всегда самые лучшие. Написав первую книгу, писатель всю свою дальнейшую жизнь проводит главным образом в беседах с издателями и редакторами. У Делиуса особое положение, он сам издатель, поэтому мы возлагаем большие надежды на его следующую книгу и считаем, что у него-то она несомненно будет лучшей.

— С Клаусом Штиллером я познако-

мился в 1963 году,— начинает рассказ о своем друге Делиус.— Оба мы тогда совершенно случайно попали в антологию молодых писателей. Нам было по 20 лет, жили мы в провинции и независимо друг от друга послали свои произведения одному и тому же издателю. С тех пор Штиллер опубликовал несколько книг, которые дают мне право заявить, что он один из тех немногих начинавших тогда писателей, кто остался в литературе и стал настоящим писателем.

Первая книга Штиллера называлась «Заграждение». Это сборник рассказов, представляющих собой истории вроде бы без содержания. Штиллер как бы «склеивал» фразы, заимствованные из языка прессы, различного рода постановлений. Но в результате получились у него остросоциальные истории, а абсурдность языка подтверждала абсурдность самого капиталистического строя.

Затем вышел «Протокол Г», фиктивный и тем не менее вполне документальный монолог Гитлера. В книге лишь одна подлинная цитата из «Майн кампф», все остальное — едкие пародии на выступления Гитлера.

Следующей книгой Штиллера был «Дневник викария». Дневник вымышленный, но сам викарий — реально существующая личность. Во время второй мировой войны этот человек был капитаном вермахта и принимал участие в военных преступлениях в Италии, теперь же он почтенный епископ. Штиллера интересует не то, что человек был военным преступником, а то, как он мог стать священником.

Последние произведения Штиллера — это «Фашисты. Итальянские новеллы», об исторических фигурах итальянского фашизма, и «Профессии мечты», сатирическая книга о таких временных, неприятных и, наоборот, приятных профессиях, как безработный, отдыхающий, зритель и так далее.

Третьего гостя, Петера Шнайдера, представляет Клаус Штиллер.

— Петер Шнайдер — прозаик, поэт и публицист. В своей первой книге, она называется «Ленц», Шнайдер отразил проблемы студенческого движения 60-х годов, в котором принимал самое активное участие, недовольство молодежи существующими в ФРГ и Западном Берлине социальными порядками. А последняя его работа — недавно вышедший сборник рассказов. В рассказах Шнайдера так много фактического материала, что их вполне можно отнести к документальной литературе. Автор непримирим к обществу, в котором мы живем. Отсюда и название книги — «И вот ты уже враг конституции».

Как видите, всех нас объединяет приверженность к жанру, присутствие которого в литературе осознано не так уж давно, хотя, если обратиться к истории, можно найти примеры прямого использования писателями документов и фактов еще в те времена, когда не было даже и такого термина — документалистика.

— Какие проблемы волнуют вас как документалистов сегодня?

— Одной из таких проблем является борьба за права человека,— говорит Петер Шнайдер.— Принятый в ФРГ закон о «запретах на профессии» — наглядный пример ущемления прав человека. Как известно, уже несколько лет прогрессивные силы в ФРГ и Западном Берлине проводят широкую кампанию за отмену этого антидемократического закона. Проблеме «запретов на профессии» как раз и посвящен мой последний сборник рассказов.

В поле зрения многих писателей Запада находятся и социальные аспекты безработицы. Безработица является не менее грубым нарушением прав человека, чем «запреты на профессии». В вашей стране безработица — просто абстрактное понятие. Для нас — это реальность. Я думаю, что число безработных у нас будет постоянно возрастать. Капитализм игнорирует право человека на труд. Я более года общался с молодыми безработными, собирал материал для книги, и воочию убедился в драматизме их положения. Проторчав на бирже труда несколько лет, они окончательно отчаиваются найти работу. Трагедия многих молодых людей на Западе заключается поэтому не только в том, что они не могут найти работу, но еще и в том, что они ее уже не ищут, потеряв всякую веру. На Западе проблема безработицы неразрешима, и одно из печальных ее следствий — дальнейший рост преступности.

В разговор вступает Клаус Штиллер:

— Все большую актуальность приобретает борьба за запрещение чудовищного изобретения самого последнего времени — нейтронной бомбы. С созданием нейтронной бомбы стал возможным такой варварский геноцид, какой даже Гитлер не смог осуществить: уничтожать население, оставляя невредимым все остальное — заводы, фабрики, средства производства, культурные ценности.

Уничтожить людей, чтобы сохранить вещи! Я не могу представить себе демократа, социалиста, гуманиста вообще, который бы не проклял эту идею!

В заключение мы просим гостей поделиться впечатлениями о поездке по нашей стране.

— Впечатлений очень много. Мы увидели Москву, Ленинград, Ригу,— говорит Фридрих Кристиан Делиус.— Очень интересными были откровенные творческие дискуссии с советскими писателями о проблемах документальной литературы. Вернувшись, мы сделаем все от нас зависящее для расширения контактов с писателями вашей страны. Но, пожалуй, самое яркое впечатление — искренность, радушие, доброжелательность советских людей.

Е. ШУМСКАЯ

◆

Издано в СССР

ОБ ИСКУССТВЕ ПЕРЕВОДА

СОЗВЕЗДИЕ ПОЭТОВ

Вильгельм Левик. Избранные переводы в двух томах. Москва, «Художественная литература», 1977.

Два тома в черных переплетах оформлены строго, с безупречным вкусом

На титульном листе заглавие — «Избранные переводы». Но сборник этот можно было бы назвать авторским. Он внутренне гармоничен, потому что у каждого творчески одаренного поэта-переводчика есть свое видение поэзии, организующее разнородный материал Сборники переводов Маршака, Заболоцкого, Пастернака, Цветаевой по сути дела авторские книги.

Переводчик (или «перелагатель», как его называли в старину) словно высвечивает то, что ему особенно созвучно и дорого. ему принадлежит право предпочтения и выбора, радость открытий и находок. Я не погрешу против истины, если скажу, что переводческий труд начинается с поиска.

Вильгельм Левик совершил на этом пути немало ценных открытий. Назовем одно из них. Он впервые по-настоящему познакомил советских читателей с поэтами «Плеяды».

В течение долгого времени французские поэты-гуманисты XVI века Ронсар, Дю Белле и другие (так называемая «Плеяда») несправедливо оставались в тени и забвении. Для Буало (XVII в.), сконструировавшего систему жестких канонов классицизма, поэты «Плеяды» еще как бы не вышли из варварских времен, не с них, по его мнению, началась настоящая рафинированная поэзия.

Только в XIX веке о Ронсаре, наконец, вспомнили и назвали великим французским поэтом. А между тем именно человек Ренессанса — Ронсар был ближе к античному искусству, чем нормативная классика XVII века, он еще свидетель его воскрешения. Это искусство для него живое, согретое солнцем Италии.

Оттуда, из Италии, и пришел сонет. «В нем жар любви Петрарка изливал» (Пушкин. «Сонет»).

Петрарковский сонет (образцы его можно найти в двухтомнике) послужил для Ронсара источником вдохновения. Но вместо возвышенной, небесной любви он воспел земную — к Мари или Кассандре:

Какая смертная тебя б затмить могла
Осанкой, поступью, иль красотой чела,
Иль томным блеском глаз, иль даром нежной речи.
Какой из нимф речных или лесных дриад
Дана и сладость губ, и этот влажный взгляд,
И золото волос, окутавшее плечи!

Поэт не прочь сознаться и в том, что любит смуглую служанку:

Кто жаждет подлинной любви —
В простых сердцах ее лови.

Стихи Ронсара — гимн красоте милой Франции, ее ручьям и лесам, веселому жаворонку, виноградной лозе. Порою в поэзии Ронсара слышался отзвук народной песни, наигрыш пастушьего рожка.

Но он не был бы сыном своей эпохи, жизнелюбивой до разгула, напряженно-трагической, раздираемой феодальными распрями и религиозными войнами, если бы только славил радость бытия. Предельным отчаянием насыщен сонет: «В твоих кудрях нежданный снег блеснет...»

Поэзия Ронсара симфонична: грозная тема судьбы контрастно оттеняет светлые и порою скерцозные темы. Хорошо, что в избранное включены стихи, где Ронсар с величественной гордостью как бы воздвигает памятник своему труду создателя французской литературной речи («Я множил, воскрешал, изобретал слова...») и основоположника новой поэзии («Я строй поэзии нашел, и волей муз, как Римлянин и Грек, великим стал француз»).

Жоашен Дю Белле в наши дни занял место среди самых замечательных поэтов Франции. «Поставить Дю Белле выше Ронсара,— пишет французский литературовед Ф. Бойе,— было бы абсурдом. Пренебречь творчеством Дю Белле, потому что был Ронсар, не меньший абсурд. Первый из них получил устрашающий дар, к которому второй лишь прикоснулся в объятиях своих возлюбленных или к концу жизни: дар, столь плодотворный для поэзии, имя ему — Несчастье».

Дю Белле было так же тягостно жить в Риме, вдали от Франции, как некогда Овидию на берегах Дуная, вдали от Рима. Вначале французский поэт во власти могучих впечатлений: он живет в прекрасных дворцах и видит руины прошлого. Над камнем и пеплом еще, казалось, витал «бессмертный Рима гений», стремясь вновь возродить Вечный город.

Но Рим того времени — средоточие интриг, лицемерия, ханжества, в нем царит «порок тлетворный». Дю Белле пишет книгу «Сожаления», своего рода параллель к знаменитым «Tristia» Овидия. В стихах его накал гнева, доходящего до судорог омерзения. В тоске по родным местам Дю Белле создал свой самый знаменитый сонет: «Блажен, кто странствовал подобно Одиссею...», ибо Одиссей все же вернулся к своим пенатам. Человек нового времени, Дю Белле спорил с самим Дантом, он хотел, чтобы его стих не воспевал «архитектонику неведомых миров», но вошел в века «наперсником души и дневником сердечным».

Ренессансные сонеты звучат по-русски прозрачно и ясно, без излишней стилизации, здесь ненужной, ведь сами поэты стремились уйти от архаики к живой разговорной речи, напоив ее «сладостным» петрарковским звучанием. Таков был стиль эпохи, когда совершалась прививка растений из итальянских садов к французскому «дичку».

Сонет проходит сквозь двухтомник как своего рода доминанта. Петрарка, Ронсар, Дю Белле, Камоэнс, Китс, Мицкевич, Эредиа... Каждый из них замечателен «лица необщим выраженьем».

Иногда говорят, что переводчик должен «умереть в поэте». Вернее было бы сказать, что он должен жить в образе. Для этого надо воссоздать, смоделировать этот образ, нередко размытый и трансформированный временем, как бы вновь «навести его на фокус». Трудная задача, но искусство не раз ее разрешало, и не только в литературе, но и в зодчестве, в музыке, на подмостках театра...

Нельзя перевести хотя бы один из сонетов Китса, не зная творчества поэта в целом, его биографии, его эпохи. Нельзя обрубить живые связи поэта с окружающим миром.

Вильгельм Левик владеет даром перевоплощения. Пятьдесят поэтов разных народов Европы говорят о своем и по-своему, но русский стих звучит так естественно и свободно, что иллюзия подлинности не утрачивается, это магическое «верю», без которого общение читателя с поэтом невозможно.

Хорошо передана несколько угловатая архаика стиха Вальтера фон дер Фогельвейде (XII—XIII вв.). Именно его, Фогельвейде, певца любви, народного глашатая, назвал своим учителем юный Вальтер в «Мейстерзингерах» Вагнера, отстаивая свое право выступить в состязании нюрнбергских певцов. Поэзия этого старинного немецкого поэта еще во власти песенно-музыкального начала, стихи в русском переводе как бы «положены на музыку», почти ощутимую для слуха.

«..песни Гёте и романтиков перекликаются с песнями Моцарта, Бетховена и Шуберта».— писал В. Жирмунский [1]. Музыкой звучат в избранном стихи молодого Гёте, Ленау, большой цикл стихов из «Книги песен» Генриха Гейне...

Генрих Гейне, как и украинский поэт Тарас Шевченко, феноменально труден для перевода, почти неуловим именно в своих самых простых, самых напевных творениях. В прошлом веке пульсирующие акцентные стихи Гейне вводили в русло принятой в русской поэзии силабометрической системы.

Александр Блок впервые вернул песне о Лорелее подлинный гейневский ритм, но концовку ее изменил. Гибели пловца придана всеобщая неизбежность рока:

Так и всякий погибает
От песен Лорелей.

В поистине «нюрнбергском состязании» (можно насчитать множество вариантов) левиковский перевод «Лорелеи» по праву занял почетное место. Соперничество с многими нередко труднее и ответственнее первооткрытий.

Избранное является по сути дела антологией шедевров европейской поэзии от средневековья до наших дней. Это плод полувековой работы Вильгельма Левика. В помощь ему послужили несметные богатства русской поэзии, столь многообразной и отзывчивой, всегда стремившейся вобрать в себя и воплотить целый мир. Переводчик никогда не одинок, с ним вместе работают его предшественники. Но каждый подлинный мас-

[1] В. Жирмунский. Очерки по истории классической немецкой литературы. Л., «Художественная литература», 1972.

тер всегда вносит что-то новое в искусство поэзии, даже если он творит в русле чужих вдохновений. У Вильгельма Левика «цветовое мышление», и потому, наверное, как поэту-переводчику, ему так удаются пейзажные картины: «Аккерманские степи», «Алушта днем» в «Крымских сонетах» Мицкевича или Париж в изображении Бодлера и Рембо.

Три стихотворения испанского поэта (и художника) Рафаэля Альберти посвящены Тициану, Коро, Сезанну. Альберти зорко видит колорит, лепку форм, «вкус диспропорции в гармонии простой». Но главное — это могучее действие живописи на душу зрителя: праздник горячих тонов у Тициана, «дымка, ткущая миру прозрачный покров» у Коро, «вещественность земли, небес» у Сезанна.

Большой цикл стихотворений Шарля Бодлера — одна из главных удач переводчика. «Бодлер, певец, судьбою предназначенный к пытке, со стихом кратким, сдержанным, блестящим, острым, холодным», как сказал Александр Блок [1], создал стихотворение «Маяки». «Маяки для застигнутых бурей пловцов» — это великие художники. Бодлер, превосходный знаток живописи, в предельно сжатой форме начертил портрет восьми великих мастеров, каждый портрет в короткой строфе-катрене. И далее в бодлеровском цикле следуют стихи о картинах Делакруа, Домье, Эдуара Мане.

В «Искусстве поэзии» Тристана Кленгсора поэт «глазеет на прохожий люд»:

Он ловит каждого в пути,
Чтоб меткою чертой, конечно, без огласки
На лист перенести.

А в «Искусстве поэзии» Поля Верлена поэт восклицает: «Сначала — музыку!» Оба начала соединяются в двухтомнике, чтобы поэтическая мысль раскрылась во всей своей глубине. Даже когда Левик переводит романтиков, в основе его работы — ясное понимание цели, трезвый расчет и совершенное владение стихом, будет ли это александрийский стих или спенсерова строфа, сонет, баллада или песня.

Французский критик Сент-Бёв мечтал о Пантеоне (он назвал его «Храмом Вкуса»), где «радовали бы сотни разнообразных и самых неожиданных встреч, но мнимая беспорядочность которых слагалась бы в стройную гармонию»[2].

Мы попытались найти красную нить, которая связывает разнородные элементы избранного воедино.

Обо всем не расскажешь, но можно ли не сказать ни слова о прелестных новеллах Лафонтена? Эротические темы воплощены в такой изящной форме, с такой целомудренно-сдержанной лукавой грацией, с таким искусством, что не могут оскорбить самый взыскательный вкус. Переводчик сохранил острую антиклерикальную направленность лафонтеновской музы.

В конце XVIII — начале XIX века Европа познакомилась с замечательными поэтами Ирана, Аравии, Индии. В своих ориенталиях Гёте — не подражатель, а соперник. Как указывает И. Брагинский, «благодаря разделу «Хафиз-наме» в «Западно-восточном диване» Гёте, Хафиз прочно вошел в мировую литературу и снискал мировое признание»[1]. Гёте глубоко проник в самую сокровенную суть творчества «безграничного» Хафиза (Гафиза), скрытую под эзоповым языком намеков и иносказаний. Другие поэты искали на Востоке экзотические орнаменты, Гёте нашел в нем зиждущую силу, философскую глубину и бунтарскую дерзость.

Русская версия хорошо передает стремительный полет гётевских строк:

В каждом возрасте дано вам
То, в чем мудрый счастье видит.
День угас, но с этой верой
Я несу Гафиза людям:
Радость жизни полной мерой
С жизнелюбом пить мы будем.

В самом конце помещена комедия Шекспира «Как вам это нравится», одно из самых пленительных его творений в этом жанре. Условная полусказочная лубова, где спасаются изгнанники — герои пьесы,— это, конечно же, зеленый лес Англии. Шекспировские песенки мог бы петь Робин Гуд со своей ватагой вольных стрелков.

Но лес соседствует с трагическим миром, и вот оказывается, что подлинная свобода возможна лишь для шута и безумца:

О, шут-философ! Истина в дурацком
Наряде, с шутовскою погремушкой!

И — пусть ненадолго — в веселой комедии слышится гамлетовская тема: чисто шекспировские переходы, бережно донесенные переводом.

В этом смысле жаль, что в двухтомнике помещена только одна поэма «Аллегро» великого и мятежного поэта XVII века Джона Мильтона. Она по-настоящему раскрывается лишь рядом с другой поэмой «Il Penseroso». Жизнерадостный человек (Allegro) и задумчивый меланхолик (Penseroso) — не два разных характера, это единый человек, это разные грани единого и многообразного духовного мира.

Есть и утраты. Тексты «Германии» Гейне и «Чайльд-Гарольд» Байрона напечатаны неполностью. Это нарушает удивительную архитектонику поэм.

И все же избранное позволяет лучше узнать и оценить многих прекрасных поэтов. Встреча с каждым из них всегда большая радость. И если читатель захочет продолжить с ними знакомство, то цель антологии будет вполне достигнута.

В. МАРКОВА

---

[1] Александр Блок. Собрание сочинений. М.—Л., «Художественная литература», 1962, т. 5.

[2] Сент-Бёв. Литературные портреты. Критические очерки. М., «Художественная литература», 1970.

[1] И. Брагинский. «12 миниатюр. От Рудаки до Джами». М., «Художественная литература», 1976.

РОСИНКА НА ЛЕПЕСТКЕ ЛОТОСА

Видьяпати. Песни любви. Из индийской средневековой лирики. Переводы С. Северцева. Составление, подстрочный перевод стихов с майтхили, вступительная статья и примечания Ю. Цветкова. Москва, «Художественная литература», 1977.

Существует мнение, что только лирическая, а в особенности любовная поэзия — долгожительница. Политические страсти, считают сторонники такого мнения, угасают, назидания тускнеют, а сюжет постепенно отнимает у поэзии проза.

Нетрудно доказать безосновательность подобных суждений. В «Божественной комедии» кипят политические страсти, Данте населил ад сплошь своими противниками-флорентийцами, но его книга живет и будет жить на многих языках. Назидания, притчи, басни Джалаледдина Руми, Лафонтена, Крылова бессмертны. Увлекательная фабула древних эпических поэм очаровывает и наших современников,— я уже не говорю о том, что герои этих поэм и их приключения стали источником творчества для поэтов, художников, музыкантов позднейших времен.

Все жанры поэзии прекрасны, но только тогда, когда поэзия есть правда, та правда, которую человек давно, постоянно и трудно ищет, которая составляет суть человека. И все же у любовной лирики есть одно бесспорное преимущество: она говорит о чувстве, знакомом каждому. Мы не странствовали с Одиссеем, не участвовали в битве пандавов с их сородичами, мы смутно помним о взаимоотношениях гвельфов и гибеллинов, но мы все (по крайней мере, так нам кажется) любили, у каждого была своя Лаура,— и вот почему любовная лирика нам как бы ближе, чем ода, эпос или басня. Но любовная лирика, именно вследствие энергии всеобщности, довольно быстро и, увы, весьма часто превращается сначала в расхожесть, а потом в ничто. Чтобы любовная лирика жила долго, ей мало быть звучной, искренней, красноречивой: ей надо быть гениальной. Ей не помогают ни авторитет древности, ни душевная обнаженность автора, или, как теперь говорят, «самовыражение». Она должна быть вечно молодой, всегда новой, всегда современной, всегда страстной, всегда умной, и скорее всего именно в том случае, когда ей заблагорассудится притвориться глуповатой. Повествуя о двух, любовная лирика открывает нам всех.

Русские читатели узнали новые страницы любовной лирики: их создал Видьяпати, один из величайших поэтов Индии, писавший на языке майтхили. Видьяпати жил в XIV—XV веках (1352—1448). То было время, когда завершалась литература на старинном языке священных книг, на санскрите, и зарождались литературы на новоиндийских языках, понятных широким народным массам. То было время, когда Индия была потрясена движением «бхакти» («любовь к богу»), борющимся с официальной религиозной обрядностью, с жречеством, движением, утверждавшим, что бог не в храме, а в человеке. С идеалами «бхакти» глубоко связана философская лирика знаменитого Кабира, жившего позднее Видьяпати и писавшего на языке хинди.

И вот что удивительно: в основе песен Видьяпати лежит миф о боге Вишну (он же — Кришна). Видьяпати превратил древний миф в историю земной любви пастуха и пастушки. Но благодаря движению «бхакти» лирика Видьяпати получила религиозное истолкование: речь, мол, идет не о любви пастушки Радхи и пастуха Кришны, а об отношениях между душой и богом. «Любовная лирика Видьяпати,— пишет в своем свободно текущем, насыщенном подробностями предисловии Ю. Цветков,— зазвучала в религиозных песнопениях, стала исполняться в храмах».

Видьяпати принадлежал к высшей — жреческой — касте, он долгие годы своей жизни провел при царском дворе, но его песни любви подхватил, запел весь народ, запел — и поет до сих пор. В том же предисловии мы читаем: «И сегодня на родине поэта в дни красочных народных торжеств, и особенно во время свадебных церемоний, звучат песни любви, сложенные Видьяпати».

Какая завидная участь стихов, и тем ярче и завиднее, что не только в далекой Индии — теперь и у нас, в России, привлекает к себе смелость метафор, созданных более пяти столетий назад:

...с волос вода струится, извиваясь,
Как будто плачет мрак тяжелых прядей,
луны лица прекрасного пугаясь.

И еще несколько пластичных строк приведу из этого стихотворения:

Волнуются встревоженные груди,
трепещут, будто две пугливых
птицы...
И словно в самом деле опасаясь,
что улетят они к родимой стае,
Испуганными, нежными руками
красавица их держит молодая.

«Плачет мрак», «испуганные руки» — точное ли это воспроизведение подлинника или удача переводчика С. Северцева? Важно то, что русский поэт открыл нам поэта индийского, поэта мощного, страстного, живописного. Читая Видьяпати в русском переводе, мы, разумеется, понимаем, что перед нами поэт восточный, старинный, и в то же время его строки, ставшие русскими, нам близки, они простые, жизненные.

Книга Видьяпати «Песни любви» состоит из разделов, названия которых не случайны, они, эти названия, как бы обозначают повествовательное развитие любовного чувства: «Песни о встрече Радхи и Кришны», «О первой ночи», «О счастливых свиданиях», «О первых размолвках», «О нежданной разлуке», «О новых встречах»,

«О ссорах и обидах», «О печали и сожалении». Все — земное, житейское.

Вишнуиты (поклонники бога Вишну, одного из главных божеств индусской триады) восприняли песни Видьяпати не как повесть о двух влюбленных, а как стремление человеческого духа к богу Вишну, воплотившемуся на земле в облике пастуха Кришны. Такое восприятие стало литературной традицией. Через сто лет после Видьяпати поэтесса Мира Баи слагает на разговорных языках гуджарати, раджастхани и брадже песни любви к Кришне, о любви чувственной, жаркой, но Кришна в ее музыкальных стихах (я их с наслаждением переводил) — бог. Мира Баи называет своего возлюбленного то Пастырем, то Городержцем, то Смуглым Господином (имя «Кришна» означает «черный»), то Целителем. У Видьяпати — все иначе. Кришна — деревенский парень, а Радха — простая деревенская девушка, пугающаяся своей любви и радующаяся ей Она понимает внутреннюю красоту своего возлюбленного-простолюдина, она как бы бросает вызов своим сверстницам:

В глазах людей простой пастух
подобен грубому глупцу,
И все же облик пастуха
тебе поистине к лицу.

Зарождающаяся любовь Радхи чудесно выражена в стихотворении, которое С. Северцев переложил с истинным пониманием того, что происходит в подлиннике. Каждому слову Радхи веришь, и все слова сочетаются друг с другом свежо и естественно:

«Нет-нет!» — я его умоляю,
и слезы текут ручьем,
Качаюсь, как тонкий стебель
качается под шмелем.
А тело от страха стынет,
и сердце дрожит в тоске,
Как трепетная росинка
у лотоса на лепестке.

Последних два полустишия уже самым ритмом своим передают этот трепет сердца, трепет росинки на лепестке лотоса Надо сказать, что многие ритмы, предложенные нам переводчиком, искусно сливаются с содержанием но не всегда:

Природой дивно созданы,
черты ее светлы:
Лицо подобно лотосу,
глаза — как две пчелы.

Здесь индийские мысли не движутся в инертном русском стихе, ритм которых — копия: «В лесу родилась елочка».

Переводчик часто находит и новые словосочетания, и такие, простота которых веет свежестью, например: «Я несчастная женщина, я заблудилась», но порою теряет веру в силу просторечия, и у него появляются словосочетания вроде: «Так лунноликая река» — или совсем непригодное: «В сердце вспыхнул трепет огневой». Таких несчастливых мест немного, от них надо освободиться в последующих изданиях.

Образ Кришны привлекал и привлекает к себе поэтов Индии от времен «Махабхараты» до наших дней. Видьяпати не отказался от традиции. В поэзии новатор не тот, кто нарочито не следует по пути предшественников, а тот, кто, следуя по их пути, идет дальше. Поэт увидел в древнем мифе трепетную, современную ему жизнь, в боге — человека, любящего, страдающего, то раздражительного, то нежного. «Песни любви» великого поэта Индии, в переводах по-настоящему поэтичных, много скажут русскому читателю, принесут ему художественную радость.

С. ЛИПКИН

Издано за рубежом

АМЕРИКА СЕМИДЕСЯТЫХ

СВЕТ СОВЕСТЛИВОСТИ

John Gardner. October Light. New York, Alfred A. Knopf, 1977.

Джон Гарднер. Октябрьский свет. 1977.

Существует такой анекдот. Некий вермонтец купил старую, пришедшую в запустенье ферму. Через некоторое время проезжавший мимо священник поздравил нового хозяина с плодами рук его: замечательно, когда соединяются усилия бога и человека.

— Угу, может, так оно и есть,— отвечал фермер.— Только вы посмотрели бы на эту землю, когда бог заправлял тут в одиночку.

Именно таков — независимый, полный собственного достоинства, упорный в труде и упрямый характером — 73-летний Джеймс Пейдж в новом романе Джона Гарднера.

Джеймс, что называется, человек «отсталый». Он держится старых и строгих правил. Куда ни кинь, он всюду видит нынче упадок и вырождение. Хиреют лесное хозяйство и железные дороги, худо стало фермерству, люди разучаются работать руками, забыли, что такое честный и справедливый доход. Профсоюзы выставляют непомерные требования, предприниматели прижимают, политики путают. Так что «единственным неотчуждаемым правом в этой стране осталось право на получение пособий по безработице». И люди не те. Разве сравнишь их с прежними, которые создавали нацию,— суровыми, работящими, настойчивыми. Конечно, неотесанные были, «грязный сброд», как говаривал генерал Вашингтон. Бена Франклина теперь посчитали бы за нудиста — имел обыкновение шастать по дому раздетым. Сэм Адамс, тот, что сколотил бостонскую милицию против

притеснителей-англичан,— порядочный был обманщик, продувная бестия. А Итен Аллен — он из здешних мест — пьянчуга и сквернослов, каких свет не видывал. Однако кто со своими парнями с Зеленой горы вермонтские земли от нью-йоркских спекулянтов отстоял? Кто у красномундирников крепость Тайкендерогу отбил? Правильные были люди. Не то что нынешние — «сытые да до удовольствий охочие, об себе только и думают, этакие свиньи с куриными мозгами». Вот так-то, сэр!

И, распаляясь воображением, Джеймс Пейдж видит, как встают из могил отцы — основатели Америки и идут «делать новую революцию».

Вместе с этими видениями героя входит в роман история — легендарная, противоречивая, живая. Входит не картинами и рассуждениями, а самым духом своим, присутствуя в давнем обычае, присловье, житейской подробности, имени. Входит в дом старого бедного фермера на Перспективной горе под городком Биннингтоном, что в юго-западном уголке штата Вермонт, осенью 1976 года, когда страна оправлялась от похмелья национального двухсотлетия, а тут, на земле, шла отвечная и безостановочная работа: коров подоить спозаранку, и крышу на амбаре подправить, и картофель перебрать, и яблоки.

Пуще всего Джеймса раздражают всякие новомодные штучки: кока-кола, аэросани, жидкость, чтоб не пахло под мышками. По телевизору только и увидишь, что грязь да разврат: убийц, насильников, баб полуголых и всяких психов длинноволосых. На викторинах и конкурсах люди словно с ума сходят из-за паршивых долларов. А в коммерческих передачах и последних известиях картинки скачут, точно в цирке,— ничего не разберешь толком.

Из-за треклятого телевизора, который притащила с собой его сестра Салли, переехав в фамильный дом, и получилась вся эта заварушка. Даром что старухе восемьдесят, она особа своенравная и «передовая», желающая идти, как говорится, в ногу со временем. Не то чтобы она одобряла все на свете, однако верила в перемены к лучшему и рассуждала на всякие темы как заядлый либерал, чем и вызывала яростное неудовольствие Джеймса. Она вовсе не считала «ти-ви» дьявольским изобретением и государственной изменой, как ее сумасшедший братец. Пусть он считает ее приживалкой, Салли Пейдж Эббот никому и никогда не позволяла ущемлять ее права, нет, сэр!

Старуха целыми вечерами просиживала уткнувшись в экран, пока разъяренный Джеймс не схватил ружье. Он выпалил не в телевизор — он стрелял в тот неприглядный, чуждый ему образ родной страны, который вставал с экрана. Перебранка кончилась тем, что Джеймс с поленом в руке загнал непокорную сестрицу наверх и запер ее в спальне.

Смешно и грустно читать эту незамысловатую вроде историю о том, как вспыхнула ссора между двумя близкими и нужными друг другу людьми. Дверь уже отперта, но Салли не хочет выходить, она объявила забастовку: ни прибирать по дому, ни есть она не намерена. В знак протеста против угнетения.

Напрасно прибывшая с мужем Джеймсова дочь старается помирить стариков, напрасно увещевают их друзья и соседи, собравшиеся на импровизированную вечеринку, чтобы разрядить обстановку в доме. Каждый твердо стоит на своем, выдвигая самые разнообразные обвинения противной стороне и доводы в пользу собственной правоты. Каждый взывает к здравому смыслу и ссылается на конституцию. Особенно усердствует в обличительном пафосе Салли: Джеймс, по ее убеждению, ни больше ни меньше как «Соединенные Штаты после войны во Вьетнаме — прижимистые и полные вины и тайной злобы». Но никакая сила и власть не преградят путь идее свободы — ораторствует она из-за двери.

Чтобы попугать сестру, Джеймс устраивает хитроумное приспособление с незаряженным ружьем, нацеленным на ее дверь. Поддавшись какому-то импульсу, Салли в ответ громоздит у притолоки ящик с яблоками.

Иносказание? Притча? Нисколько. Просто житейская ситуация, неповторимая в своей особенности и одновременно приобретающая широкий смысл, столкновение характеров и драма непонимания. Такие драмы разыгрываются в миллионах домов на американской и иных землях, видоизменяясь в зависимости от условий, места, времени, индивидуальной психологии и принятых воззрений, но всякий раз давая уроки умения жить друг с другом, из которых и складывается великий нравственный опыт человечества.

Оттеняя обыкновенность вермонтской истории, Гарднер тут же, рядом и вместе, контрастным контрапунктом разворачивает другую, почти неправдоподобную, но и страшную своей узнаваемостью, полную кричащих красок и лихорадочного движения. Прием прост до исключительности: от нечего делать Салли принимается читать невесть как попавшую в руки книжонку «Контрабандисты со Скалы Неприкаянных Душ». «Больная книга, больная и порочная, как сама американская жизнь»,— гласит рекламная надпись на потрепанной обложке. Этот вздорный боевик на философической подкладке о соперничестве двух контрабандистских шаек каким-то непостижимым образом завладевает вниманием бунтующей старухи. Во главе одной шайки, представляющей большой, «законный» подпольный бизнес по переправке марихуаны из Мексики, стоит жестокий маньяк и демагог капитан Фист (по-русски — Кулак). Под его началом и «технарь», и гуманитарий, и молоденькая Джейн, словно сошедшая сюда со страниц «Плейбоя». «Мы подобны обществу в миниатюре»,— поясняет Фист Питеру Вагнеру, разочарованному ин-

теллектуалу, незадачливому самоубийце, «постороннему» на борту контрабандистского судна «Неукротимый». Налаженному, поставленному на широкую ногу предприятию капитана Фиста постоянно грозит экипаж «Воинственного»: два негра, один из них — черный националист и изъясняющийся шекспировским языком индеец Сантисилья. Вся атмосфера этого «внутреннего» романа проникнута наркотическим туманом, психоделическим безумием, ощущением катастрофичности.

Сперва «Контрабандисты...» воспринимаются лишь как остроумная пародия на авангардистский китч. Однако пародийная задача была бы слишком проста для Гарднера, не в пример многим американским прозаикам 60—70-х годов берущегося за крупную проблематику, и не отдал бы он ей треть «Октябрьского света». Несмотря на полярность предмета изображения, бросается в глаза перекличка многих ситуаций, мотивов, тем в обоих романах. Конфликтующая пара Джеймс — Салли соотносится по методу контраста с противоборством «Неукротимого» и «Воинственного»; мексиканцы, доставляющие травку на Скалу Неприкаянных Душ,— это тематическая параллель нагрянувшим в дом героя друзьям и так далее и тому подобное.

Разумеется, напрасно искать полное, зеркальное, хотя и обратное, соответствие. Речь идет о тесном и сложном взаимодействии «вермонтского» и «калифорнийского» романов, являющих при этом целостную художественную систему.

Однако констатировать, что структура «Октябрьского света» организована по принципу бинарной оппозиции,— это лишь полдела. Зачем понадобился автору роман в романе? Тут высказывались разные мнения. Кто-то из американских критиков выдвинул предположение, что Гарднер сочинил «Контрабандистов...» в порядке эксперимента, игры, что ли, и «вставил» в очередной роман — не пропадать же материалу. В нашей печати появилось высказывание, будто «внутренний» роман написан для «придания повествованию особой идейно-художественной нагрузки». Такие крайние мнения не помогают уяснить суть дела.

Гарднер принадлежит к тем писателям, которые стремятся осознать содержание и механику писательского труда. Диалектическим единством «Октябрьского света» он ставит, если угодно, философские проблемы художественного творчества. Сущность и кажимость мира, действительность подлинная и мнимая, иллюзия и сознательный художественный вымысел, правда истории и правда искусства — таковы лишь некоторые из них. Гарднер понимает, что искусство и действительность находятся в противоречивом соотношении, что «искусство соприкасается с жизнью, воздействует на нее, а жизнь в свою очередь входит в искусство», как заявил он в беседе, опубликованной в прошлом году журналом «Атлантик». По тексту романа рассыпано множество указаний на эту сложнейшую взаимосвязь объективного мира и художественного вымысла.

Само искусство тоже неоднородно, неоднозначимо, в нем взаимодействуют и противостоят друг другу разные тенденции. В упомянутой беседе Гарднер называет имена Уильяма Гэсса, Джона Барта, Дональда Бартельма, создателей «чистых» словесных структур, «не соотносящихся с реальной жизнью», и в противовес им говорит о «моральном» искусстве, которое ставит себе целью «исследовать мир и объяснить его, понять мир».

Если посмотреть на «Октябрьский свет» с этой точки зрения, то «вермонтский» роман предстанет реалистической картиной важных процессов в умонастроении сегодняшнего американского общества, а «калифорнийский» — их сюрреалистической проекцией.

Может быть, в том и состояла идейно-художественная задача Гарднера, чтобы в пределах одного целостного произведения выявить различие двух типов романного отражения действительности? Во всяком случае, книга «поддерживает дискуссию о том, что такое роман в состоянии кипения», как выразился рецензент «Таймс литерари саппламент».

Стечением обстоятельств «малая война» на вермонтской ферме приводит к целому ряду несчастий. Из-за опасной выходки Джеймса случается тяжелый сердечный приступ у его лучшего друга фермера Эда Томаса, в ком угадываются черты Генри Сомса из «Никелевой горы» Гарднера — такой же большой, грузный, добрый. Сам Джеймс чудом спасается во время автомобильной катастрофы. Жертвой оказывается и его дочь Джинни: на нее обрушился ящик с яблоками, предназначенный Салли для брата.

Эти события подтолкнули напряженную и неординарную работу мысли, которая шла у героев романа с самого начала. Они послужили катализатором цепной реакции совестливости и самооценок — даже у девятилетнего Дики. Ведь это он ненароком подобрал и оставил у бабушки в комнате ту «грязную книжку», которая навела бедную старуху на мысль устроить засаду с ящиком.

Суд совести, который вершат над собой персонажи и в первую очередь Джеймс, становится светом совести, который разгоняет серую неясность октябрьских дней, проникает в прошлое и ставит все в верную нравственно-психологическую перспективу. Салли и Джеймс — старые люди, и их мысли естественно и постоянно возвращаются к минувшему, к нелегким семейным отношениям, к горю, страданиям, смертям близких, ко всей многотрудной жизни клана с редкими проблесками радости. С особой резкостью высвечиваются те моменты, когда кто-то незаслуженно нанес обиду другому. Камнем ложится на Джеймса давнее самоубийство его старшего сына Ричарда, которого он считал за «слабака» и шпынял по поводу и без повода.

В разветвленной системе романных мотивов четче прочих выделяются те, что связаны с понятийно-образной парой lock, locking — unlock, unlocking, то есть «закрывать» и «открывать», собирающей множество сопутствующих значений. Эти мотивы прослеживаются на всех уровнях романа, простираясь от конкретных физических состояний до обобщенных символов.

На больничной койке, почти на пороге смерти Эд Томас говорит Джеймсу о радости жизни, перебирает все, с чем ему горько расставаться, печалится, что не увидит больше unlocking — раннюю весеннюю пору, когда понемногу начинает оттаивать земля, робко вскрываются реки и совсем незадолго до срока краснеют верхние ветви у клёнов. Исповедь Эда, этот гимн жизни и всему сущему — как ключ, раскрывающий катастрофу ожесточившихся сердец и трагедию нетерпимости и дающий им разрешение. В душах героев настает оттепель, они распахиваются навстречу друг другу.

Перенесенные потрясения заставили Джеймса иначе взглянуть на себя и других. Он всегда старался поступать по чести, но времена менялись, и когда-то верные его правила превращались в омертвевшие догмы, за которыми он не различал живых людей. Он уверовал в свою правоту и был глух к правоте других. «Самодовольство — вот что губительно»,— комментировал образ Джеймса сам писатель.

Джеймс испытывает глубокий стыд и раскаяние, но, может быть, еще сильнее мучит его сожаление, что никого и ничего не вернешь, чувство даже не утраты, а растраты чего-то бесконечно ценного на ничтожное, пустое. Он понимал теперь Ричарда: совестливые люди ближе других принимают к сердцу любые неудачи и несчастья и казнятся виной даже тогда, когда они виноваты разве что косвенно. Он понимал умершую жену, и Салли, и Джинни, всех-всех, мертвых и живых. Он знал приязни и слабости каждого, но вдруг увидел то общее, что соединяло их, это, наверное, и было самым важным: они все — хорошие люди. «Он понимал теперь, что всю жизнь держался мелочного понятия о правде».

Тревожа тени Спинозы, Мэтью Арнольда, Кьеркегора, Бергсона и других властителей умов на Западе, гротескные фигуры романа в романе предлинно рассуждают о смысле существования, человеческом уделе, отчуждении, законе, насилии. Из пестрой сумятицы идей выписывается, однако, центральная, та, что в старину называли свободой воли. Что есть и может человек? Является ли он игрушкой в руках слепых, безличных сил или способен самоопределиться в своих действиях и влиять на ход вещей?

Абсурдна развязка «калифорнийского» романа: Скала Неприкаянных Душ качается от землетрясения, в небе туча бомбардировщиков Б-52 и одинокая серебристая летающая тарелка, а посреди этого хаоса уцелевшие Питер и Джейн зовут кого-то: «Спасите, мы невиновны!»

Развитием же «вермонтского» сюжета, переживаниями и нравственным пробуждением персонажей, пластикой образов физического мира Гарднер идет к простому, но й насущному выводу. Свобода и сила человека вырастают из его совестливости, из чувства обязательности и уменья быть терпимым к другим, из способности отозваться на чужую беду и мужества взять на себя вину, а значит, и ответственность за все, что происходит. Автор приводит нас к этим выводам художественной логикой, ненавязчиво и счастливо избегая апелляций к религиозной этике, слишком частому прибежищу зарубежных писателей-гуманистов.

Есть что-то глубоко символическое в заключительном эпизоде «Октябрьского света», затрагивающем иную, выходящую за пределы романа тему, но и связанную с ним. Джеймс отправляется на пасеку, чтобы запечатать на зиму соты, и неожиданно сталкивается с огромным черным медведем. Он хватает ружье, целится в зверя, но в последний момент стреляет поверх медведя. Джеймс уже не поднимает руку не то что на человека — на животное.

«Октябрьский свет» — лучшее из того, что написал Гарднер, и лучшее из большой американской прозы последних лет, что мне доводилось читать. О романе можно спорить. О том, не берет ли в нем философия верх над образностью (по-моему, не берет). Насколько органично удалось писателю совместить два разнородных потока повествования (по-моему, удалось). Достаточная ли глубина постижения социальной природы изображаемого конфликта (по-моему, достаточна).

Бесспорно, однако, что Гарднер создал мастерское, проблемное, актуальное произведение, принадлежащее тому высокому искусству, о котором он говорил: «Искусство не просто имитирует жизнь — оно побуждает людей к действию... Если мы славим ценности, благодаря которым мы становимся здоровее, а жизнь лучше, то и наш мир станет лучше».

Г. ЗЛОБИН

ДРУГОЙ БЕРЕГ

Robert Penn Worren. A Point to Come to. New York, Random House, 1977.

Роберт Пенн Уоррен. Пристанище. 1977.

Обозревая в канун двухсотлетия США движение национальной литературной традиции, Роберт Пенн Уоррен писал, что американская цивилизация гибнет под воздействием «гигантских безличных процессов».

В романе «Пристанище» мысль критика и публициста обрела объем художествен-

ного обобщения, преломилась в живой человеческой судьбе. И одновременно была предпринята попытка обнаружить некоторые неотменяемые гуманистические ценности, верность которым поможет человеку сохранить себя как личность.

Жизнь главного героя повествования, профессора романской филологии Джеда Тьюксбери — путь утрат, разочарований, постепенного опустошения души. Все пустыннее становится и вокруг него, все меньше лиц, когда-то дорогих, его окружает, все чаще жизненные дороги приводят на кладбище — к давно умершей первой жене, Агнес, к матери в родной городок, на глубоком Юге. И не символически ли звучит само название книги? «Пристанище» — место последнего успокоения, «другой берег» (к которому, по словам отчима, пристала мать героя) — неизбежный конец всего сущего.

Книга построена как воспоминание: перед героем проходят картины виденного, он как бы вновь переживает свою жизнь — прием, достаточно распространенный в нынешней литературе. Детство в квартале бедняков — 20-е годы. Экономическая депрессия следующего десятилетия, когда молодой человек, попав в Чикаго, перебиваясь случайными заработками, делал первые шаги в науке. Вторая мировая война — партизанский отряд в Италии. Наконец, современность — 60—70-е годы Словом, обширная, в полвека, временная протяженность — поле истинно **романного** исследования захватывающего крупные моменты общественной истории.

Но поначалу кажется, что внешняя, событийная канва особого значения в книге не имеет, время и люди словно обтекают героя, постоянно оставляя его наедине с собственной неспокойной совестью. То и дело с мучительной ясностью представляет он себе, что выпал из времени, из мира, попал в атмосферу ирреальности, где все только кажется и ничто не существует. Мнима ценность научных штудий, мнимо военное товарищество, мнима даже любовь. Любовных сюжетов в книге немало, один из них занимает центральное место. При этом может показаться, что нередко автору изменяет вкус. Однако надо понять, к чему все эти не слишком целомудренные подробности — пересказывая их, герой стремится прикоснуться к чему-то бесспорно живому, не переводимому в план застывших слов и понятий. Но и тут — провал в невесомость, недаром в какие-то моменты близкая женщина словно утрачивает физическую оболочку, от нее остается лишь звуковое колебание — «голос сказал», «голос ответил». Это страшновато — человек рядом и в то же время его вроде нет.

Единственной реальностью остается «критический распад чувства времени». Уоррен — романист южной школы американской литературы, больше того — один из ее теоретиков: не раз писал он о том какое значение имеет для писателей-южан с их историческим прошлым проблема Времени. Немало рассуждений на сей счет содержится и в новом романе. И все-таки здесь автор не столько исследует некий абстрактно-философский феномен, сколько стремится выразить разлад со временем, испытываемый этим конкретным человеком.

Книга отличается редкостной беспощадностью. Вновь очутившись на Юге, в кругу элиты Нэшвилла, Джед Тьюксбери гневно обрушивается на окружающих его людей, бесцельно тратящих жизнь в пустых вечеринках, в пустой болтовне,— «да знает ли хоть один из них, со всеми их изысканными забавами и знаменитыми полотнами на стенах гостиных, знают ли они, что такое настоящая действительность?» Но пафос самокритики еще сильнее — следует непримиримый вопрос: а каков ты сам, тебе то подлинная действительность ведома? И герой сам себе признается, что изучение давних культур — тоже суррогат, особая форма бегства от жизни. «Я спрашивал себя: разве станет человек, который не страшится реальности, укрываться в сени средних веков?»

И ради этого писалась книга, большая книга?

Ведь в американской, да и не только в американской литературе последних, скажем, полутора-двух десятилетий, появилось немало художественных сочинений, где изображены такие же вот выдохшиеся, лишенные стержня жизни люди. По аналогии вспоминается, допустим, последний роман Сола Беллоу «Дар Гумбольдта», в центр которого тоже поставлен интеллектуал (пусть не ученый, а писатель), переживающий необратимый кризис духа. Тут же, правда, замечаешь и разницу — по крайней мере, разницу замыслов. Если Беллоу, ни на что другое не претендуя, пишет портрет конченого человека, то Уоррен как будто ставит перед собой куда более масштабную творческую задачу — помещает героя в эпическую картину общезначимых событий: помимо второй мировой войны упоминаются и демонстрации протеста против войны во Вьетнаме, и «марши свободы».

Получилась ли такая картина? — вопрос не праздный и безусловному ответу не подлежащий.

Срез неспокойного сознания, поток переживаний человека, не находящего достойной жизненной цели, представлен с отличным мастерством. Можно, пожалуй, сказать, что как аналитик душевного мира Уоррен в этой книге выше, нежели в прославленном своем романе «Вся королевская рать»,— выше, потому что предметом исследования становится личность более сложная, психологически многогранная, чем Джек Берден, герой-рассказчик «Рати». Но здесь же ощутима и некоторая эстетическая несоразмерность. Чрезвычайная сосредоточенность героя на собственной душевной биографии словно не позволяет ему ни пристально вглядеться в лица окружающих его людей, ни задуматься серьезно над смыслом происходящих событий, больших или малых. И коль уж мы принялись сравнивать «Пристанище» со «Всей королевской ратью», придется признать, что там индивидуальное восприятие рассказчика не

искажало, не мельчило объективного смысла реально протекающей истории. Словом, все как будто указывает на то, что как роман (если по-прежнему считать его, со всеми поправками на современность, зеркалом, в котором отражается большая дорога) «Пристанище» не состоялся.

Не будем, однако, спешить с приговорами. Конечно, в повествовании от первого лица личность рассказчика, да еще столь незаурядная, как Джед Тьюксбери, обладает исключительной влиятельностью, он волен поведать об одном, опустить другое. Тем важнее уловить в подобной художественной структуре присутствие автора. Лишая себя возможности прямого высказывания, он выражает свой взгляд иным способом: композиционно строя книгу именно так, а не иначе, определенным образом монтируя эпизоды. Здесь действительно чувствуется система, хотя герой то и дело оговаривается: «здесь я забежал вперед», «тут я позволил себе несколько отклониться» и т. д. Полосы монотонного существования в какие-то моменты резко обрываются, сменяясь новым опытом,— происходит это, когда герой с особенной силой начинает чувствовать собственную «вневременность» и стремится начать новый, истинный путь жизни.

Так, испытав первое разочарование в нравственном достоинстве «империи интеллекта», символом краха, которой стало самоубийство знаменитого ученого — его первого наставника, герой сразу же после похорон отправляется на войну. И здесь он не находит себя, но важен не результат, а попытка обрести подлинное, настоящее дело.

Так, из пустой, беззаботной жизни Нэшвилла бежит он «во время, в его повседневные заботы и хлопоты, которые только и делают жизнь реальной».

Так, уже зрелым и признанным ученым, герой, вновь утратив возрожденную было веру в ценность научных исследований, ищет для себя выход в политической деятельности — предвыборные кампании, различные общественные комитеты и т. д.

Да, прихотливая вязь воспоминаний подчинена, оказывается, довольно строгим, даже жестким закономерностям. Отсюда следуют по крайней мере два вывода.

Во-первых, становится видно, что путешествие в собственное прошлое, анализ прожитого для Джеда Тьюксбери — вовсе не интеллектуальное упражнение, но ряд мучительных попыток обнаружить, где же произошло отклонение от истины, и, если получится,— еще не поздно! — вернуться во время, в перспективу действительности, отыскать надежную линию бытия. Этим «Пристанище» решительно отличается от множества книг, где нередко констатировался конец человека в условиях потребительской цивилизации, и не больше.

И второе. Композиционное строение книги словно бы преодолевает, во всяком случае, подвергает сомнению абсолютную замкнутость душевного мира героя, на переходах его внутреннего опыта из одного состояния в другое в повествовательную стихию входит большой мир: франко-англо-израильская интервенция на Суэцком канале, вмешательство Эйзенхауэра, президентские выборы 1956 года и т. д.— и книга, таким образом, обретает, пусть и ослабленное, романное качество. Подобные эпизоды значительны как сигналы того, что, не замыкаясь в скорлупе собственных душевных неврозов, Джед Тьюксбери ориентирует себя относительно реальной жизни, оказывается способным внимать ее урокам.

Так образуется атмосфера движения, очерчивается перспектива будущего — в финале романа она находит вполне недвусмысленное выражение. Перечитанная жизнь с ее недолгими взлетами и глубокими провалами приводит героя к выводу, который персонажами западной литературы XX века формулировался многократно, однако при этом он не терял своей — для каждой данной судьбы, для каждого данного момента истории — открывательской сущности: человеку одному не выстоять. Пусть даже братство людское будет не глобальным, пусть маленькая община, семья, и она выше одиночества, каким бы опасножеланным оно порою ни казалось. Об этом и говорит, завершая историю — в письме к бывшей жене,— главный герой.

Пожалуй, новое душевное состояние профессора обрисовано с некоторым ощутимым нажимом (что вообще нередко встречается в книгах Уоррена), но слова его в то же время помогают понять содержание всей книги, позволяют по-новому прочитать и ее название.

«Пристанище», может быть, не фатальное место последнего упокоения, но действительно другой (по отношению к одинокой жизни) берег — берег человеческой общности.

Н. АНАСТАСЬЕВ

ЛАНСЕЛОТ ИЗ ШТАТА ЛУИЗИАНА

Walker Percy. Lancelot. New York. Farrar, Strauss and Giroux, 1977.
Уокер Перси. Ланселот. 1977.

Новый Орлеан, штат Луизиана. Палата психиатрической клиники. После упорного молчания заговорил ее обитатель, которому иногда кажется, что он в тюрьме. Его монологи, воскрешающие катастрофические события недавнего прошлого, обращены к другу детства, священнику, безмолвно внимающему этой печальной исповеди...

Для сорокапятилетнего Ланселота Ламара, потомка некогда громкой южной аристократической фамилии, беспечного владельца старинного особняка Бель-Иль, мир привычных представлений и незыблемых традиций рухнул, когда он узнал ненароком, что ему изменяет жена. Душевное потрясение становится началом мировоззрен-

ческого кризиса. Это важный мотив романов-размышлений Уокера Перси, главное действующее лицо которых — динамичная социальная реальность сегодняшней Америки. Выпав из отлаженного хода повседневности, благополучные средние американцы У. Перси начинают, по словам писателя, «приходить в сознание» — самостоятельно размышлять, всматриваться в окружающий мир, с которым «что-то случилось». Эта фраза, на все лады повторяемая одинокими созерцателями и вопрошателями У. Перси, использована и в заглавии последнего романа Дж. Хеллера [1]. Совпадение, за которым общность поисков художников, на первый взгляд весьма друг от друга далеких. Временами Ланселот словно цитирует хеллеровского Боба Слокума, как и он сам, безнадежно запутавшегося в нравственных лабиринтах комфортабельной повседневности. У них разные судьбы, несхожие характеры, но ощущение невыносимости и бесперспективности существования делает их товарищами по несчастью.

Новый, взыскующий истины Ланселот подвергает прожитые годы беспристрастному разбору. Самостоятельность взглядов и суждений, которой он весьма гордится, на поверку оказывается призрачной, регулируемой последними рекомендациями социальной моды. Так, в 60-е годы, когда резкое обострение политических и расовых противоречий вызвало небывалый рост общественной активности американцев, не ударил в грязь лицом и Ланселот. Он сделался либералом, стал ходить на заседания комитета «по правам» и заявлял во всеуслышание, что «белые виноваты». Но беспощадная память упрямо ставит увлечение политикой в один ряд с наскучившим ранее гольфом (в который деловой человек, желающий преуспеть, уметь играть обязан) и подсказывает, что и либерализм тешил его недолго. Отыграв одну эффектную роль и не подыскав другой, Ланселот погрузился в апатию: до обеда слонялся по юридической конторе (работы мало, но и к той душа не лежит), а «вечерами напивался до потери сознания». Да иногда, как истинный южный джентльмен-эрудит, сочинял исторические виньетки на тему «Штат Луизиана и Гражданская война». За ретроспекциями пациента психиатрической клиники очерчивается новейшая разновидность помешательства — «без-умие», атрофия личностного начала, недуг, обретающий в современном «массовом» обществе характер эпидемии. С ужасом убеждается Ланселот, социолог поневоле, что всю жизнь играл — в работу, общественную деятельность, в аристократа и что единственным настоящим поступком, отмеченным печатью индивидуальности, остается совершенный им подвиг во время университетского футбольного матча против Алабамы двадцать лет назад.

Кстати, почему автор окрестил героя Ланселотом? Какое отношение имеет рыцарь Круглого Стола легендарного короля Артура к сегодняшнему неприкаянному интеллигенту? Что это, метафора духовных странствий в поисках истины? Ироническое напоминание о весьма негероической деятельности Америки 70-х? Или, напротив, намек на то, что проблемы, осаждающие героя, стары, как миф? Изящно выстроенная конструкция романа, словно поддразнивая поклонников фабульной однозначности, некоторые разночтения и в самом деле допускает. Все же в одном У. Перси тверд: сегодняшние конфликты порождены сегодняшними обстоятельствами. Мифологические же указатели (помимо Ланселота от артуровского цикла делегированы и рыцарь Персиваль, в романе священник, и чародей Мерлин, кинорежиссер, он же соблазнитель жены героя — Марго) отсылают к иной мифологии — к стереотипам национального сознания, с пеленок знакомым каждому американцу. Разлад между реальным содержанием американской действительности и тем, как она порой осознается,— предмет глубокого беспокойства писателя. Понять явление, по Перси,— значит освободить его от оболочки стандартных представлений, в которой оно воспринимается. Отсюда — мифоборческие тенденции романа. Великий Южный Миф — пример такой вредоносной символической упаковки. Рыцарский кодекс «сугубо южных» добродетелей — утонченность, чуждость духу буржуазности и торгашества, нерушимость семейных отношений, благоговение перед прошлым — высмеивается изобретательно и зло. Как навязчивый кошмар преследует героя эпизод далекого детства, ставший первым сигналом неблагополучия, что таится за фасадом красивых слов и идеалов. Заглянув случайно (а случайность — мощный двигатель сюжета книги) к отцу в письменный стол, юный Ланселот обнаружил десять тысяч долларов, благодарность за сговорчивость, проявленную в бытность на государственной службе Ламаром-старшим, джентльменом и поэтом-романтиком в духе Лонгфелло, элегические досуги которого украшали поэтический раздел местной газеты.

Почитаемое прошлое рентабельно. Бель-Иль («Прекрасный Остров») превращен в подобие музея и пущен в оборот, благо в веселом Новом Орлеане хоть отбавляй туристов, готовых за доллар-другой приобщиться к Истории. Взглянуть на тайник, где прадед Ланселота скрывался от северян в Гражданскую войну. Послушать «слово о Юге» просвещенного экскурсовода-хозяина. Впрягают в работу Историю и друзья Ламаров: особняк стал натурой для снимаемого ими фильма из южной жизни. С Марго в главной роли — начинающей, а, по мнению мужа, бездарной актрисой.

Снимает фильм и муж. Истины ради — на сей раз вполне конкретной — он устанавливает в спальнях кинематографистов видеоаппаратуру. С помощью Элджина, младшего и весьма усовершенствованного (с университетским дипломом) представителя династии ламаровских негров. «Госпо-

[1] Главы из романа Дж. Хеллера «Что-то случилось» опубликованы в «ИЛ» № 4, 1978.

дам» он предан лишь в свободное время, а за столь деликатное поручение берется, ибо заинтригован сложностью задачи (снимать в темноте, бесшумно и ночь напролет). Элджин — из тех ревностных служителей науки, которые сочетают блеск интеллекта и одержимость «загадками» с безразличием к нравственной подоплеке своей деятельности, для которых главное — делать дело и поменьше рассуждать.

Рассуждать — привилегия обосновавшихся в Бель-Иль кинематографистов, выступающих у Перси от имени современного искусства. Они свысока третируют Голливуд и киноширпотреб, с достоинством несут бремя думающих художников, без конца толкуя о новых выразительных средствах, но по существу бесплодны, каждый по-своему. Если Мерлин не поспевает за меняющейся действительностью, то его молодой соавтор Якоби, снедаемый страстью самовыражения,— образец творческой беспринципности. Будущий же шедевр, судя по уже отснятым фрагментам, обречен стать — несмотря на все амбиции постановщика — пошлой мелодрамой, густо сдобренной эротикой и насилием с кое-как притянутой «обличительной» философией.

Итоги обзора культурной ситуации неутешительны. Как быть, вопрошает Перси, рядовому члену общества, если художественная и интеллектуальная элита этого общества, призванная вырабатывать духовные ориентиры, назначения своего не выполняет? Обратиться не к кому. Знаменательно, что рассуждения Ланселота о добре и зле, любви и ненависти, ответственности и равнодушии адресованы священнику, который двадцать лет провел в Африке миссионером. Его молчание и прожитые вне запутанной американской действительности годы воспринимаются как метафора бессилия религии перед насущнейшими вопросами человеческого бытия.

Прогрессирующее отчаяние Ланселота — это драма человека, который, ужаснувшись пустоте и никчемности своей жизни, не мыслит возвращения в лоно прежнего бездумного существования, но и других перспектив не видит. Не умея отыскать причины и корни зла, которые, по его убеждению, «есть ключ к нашей эпохе», он персонифицирует его в окружающих людях и предметах. Просмотр и прослушивание видеозаписи подтверждают факт измены, более того — в классическом треугольнике обманутому мужу вообще нет места. Камера фиксирует прощальное объяснение и разрыв Марго с Мерлином, потом ее воссоединение с Якоби. Этот союз покоится на прочной деловой основе: Марго финансирует будущую постановку Якоби, а он снимает ее в главной роли. И еще один треугольник лицезрит Ланселот — наркотическую оргию с участием дочери Люси. Невеселая антитеза «обуржуазившемуся» миру интимных отношений старших. Потрясенный, Ланселот решает взорвать Бель-Иль, чтобы погибнуть вместе с неверной женой и съемочной группой. Этот сюжетный ход вызывает в памяти другой особняк — воплощение американской цивилизации процветания, взлетевший на воздух в воображении героини фильма Антониони «Забриски Пойнт». Позволяя этому весьма показательному для западного искусства последних лет импульсу осуществиться «на практике», Перси лишает его романтического ореола. Акт возмездия и самоистребления оборачивается обыкновенной уголовщиной. Застав жену в постели с Якоби и в яростной схватке убив обидчика, Ланселот совершает задуманное, но взрывная волна выбрасывает разрушителя из дома. Чтобы жить и мучиться содеянным (откуда и тюремные ассоциации героя).

В конце романа исцелившийся, по мнению медиков, не причастный к гибели дома, с точки зрения криминалистов, Ланселот вот-вот должен выйти из больницы. Он рассуждает о новой, прекрасной жизни на природе. Вместе с Энн, девушкой из соседней палаты. Ее грустная судьба (Энн изнасиловали местные подонки) как бы напоминает о том, что «общество процветания» опасно для человека. Кое-кто из американских рецензентов усмотрел в прожекте Ланселота контуры позитивной программы Перси. Нет, слишком очевидны в тирадах героя о новой свободе иронические интонации его создателя. Ведь соблазн смести одним махом осточертевшую обыденщину и начать все на ровном месте — старый-престарый американский миф. Да и Энн (существенная деталь) все же отказывается последовать за Ланселотом. А Ланселот делает важное признание — он «что-то упустил» в своем поиске. Это таинственное «что-то» — то самое нравственное начало, которое, по свидетельству Перси, неуклонно вытесняется из науки, искусства и частной жизни. Вне духовной опоры, предостерегает он, попытки осмыслить мир приводят к ненависти и отчаянию, к действиям негативно-разрушительным и безответственным. Впрочем, роман содержит и еще один «урок». В мучительном испытании Ланселота отразилась трагическая двусмысленность положения художника, материалом для которого служит кризисная западная действительность. У. Перси произносит много правдивых и горьких слов о своей стране, указывает на зияющие пустоты в духовной жизни американского общества, но не видит реальных альтернатив описанным им болезнетворным тенденциям, пафос радикального социального действия ему чужд. Скептически относясь к рецептам индивидуального спасения и внесоциальным пасторалям, он и в организованных движениях различает прежде всего тех, кто примкнул «скуки ради». Вместе с тем писатель из Луизианы далек от мысли стать равнодушным регистратором хаоса и распада, он напряженно размышляет над судьбами эпохи — и ждет того же от читателя.

С. БЕЛОВ

◆

АВСТРАЛИЯ

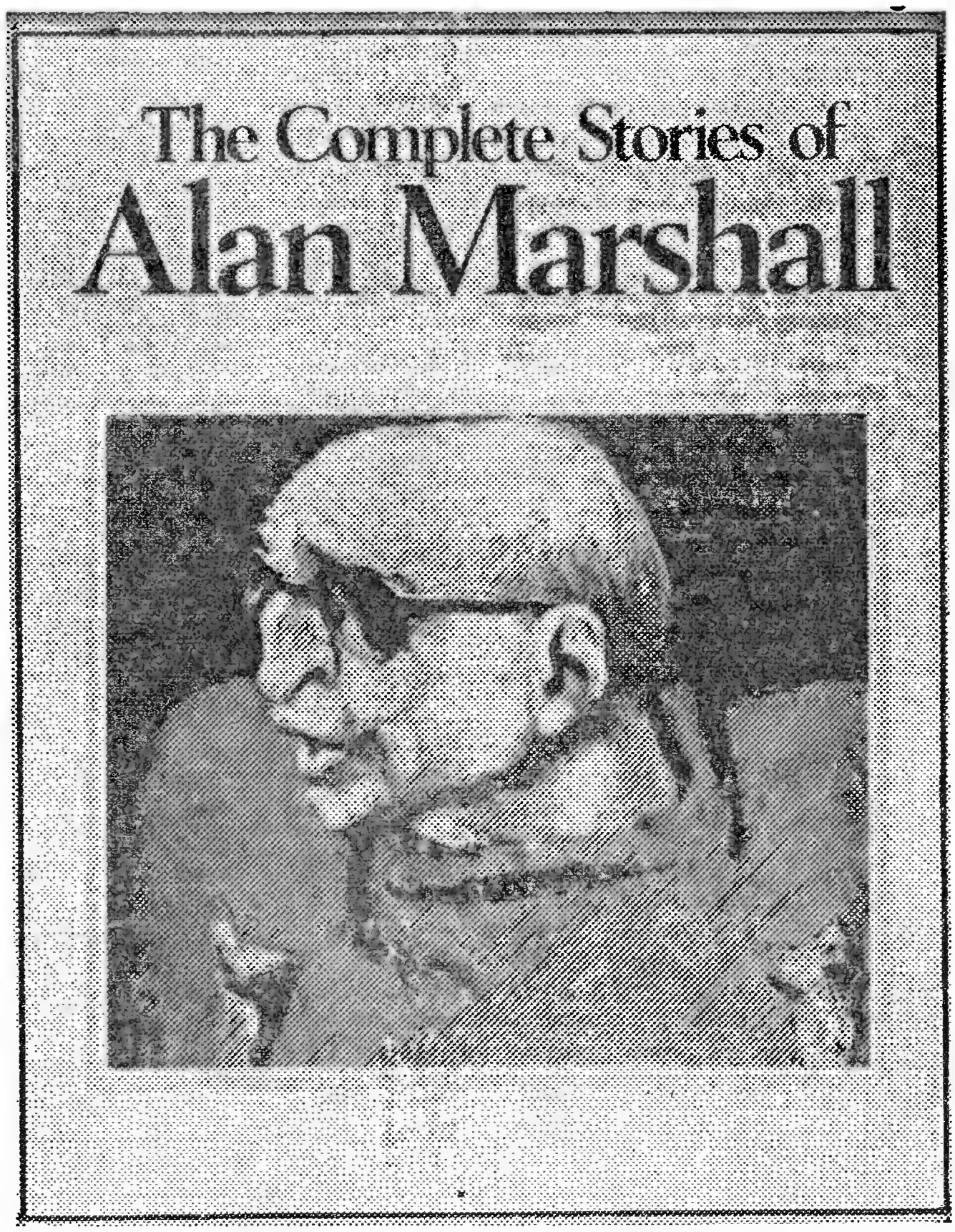
РАССКАЗЫ АЛАНА МАРШАЛЛА

В мельбурнском издательстве «Нелсон» вышел в свет «Полное собрание рассказов Алана Маршалла». Объемистый том открывается вступительной статьей известного литератора Стивена Меррей-Смита, где, в частности, говорится, что Алан Маршалл — «человек, которого любит вся австралийская нация». Рецензент журнала «Острэлиан бук ревью» Джон Макларен пишет, что, когда читаешь рассказы Маршалла подряд, открываются новые грани его таланта. Творчество писателя имеет огромное значение не только для австралийской литературы, но и для страны в целом.

Нетрудно проследить, продолжает рецензент, что творчество Алана Маршалла восходит своими корнями к традиции основоположника австралийского рассказа Генри Лоусона. Маршалл развил эту традицию, обогатил ее отображением разных сторон австралийской действительности.

Мастерски описывает Алан Маршалл жизнь небольших австралийских городов и знаменитого буша, раскрывает красочный мир детства, передает полные драматизма истории животных Австралии, существованию которых угрожает окружающая среда, подвергшаяся насильственному вторжению белого человека.

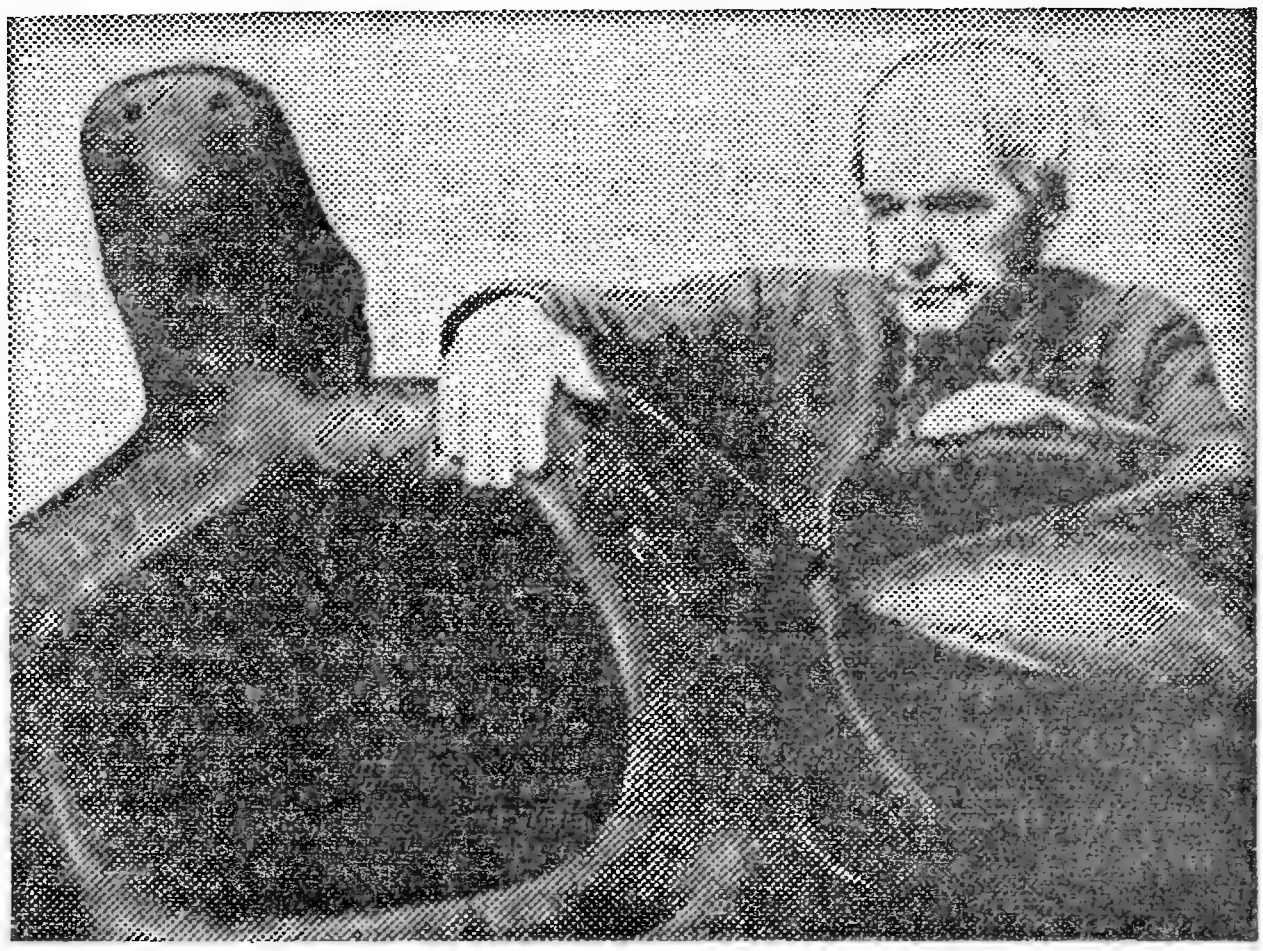
На снимке: обложка книги Алана Маршалла.
(Газета «Морнинг стар»)



Однако наибольшего напряжения и драматизма рассказы Маршалла достигают в изображении суровых нравов первопроходцев Австралии — пионеров («Человек из буша», «Четыре выходных костюма» и другие).

Выход «Полного сборника рассказов Алана Маршалла», ныне 76-летнего писателя, широко известного у себя на родине и за ее пределами,— заметное событие в культурной жизни Австралии.

Многие из рассказов сборника переведены на русский язык и изданы в Советском Союзе.



АНГЛИЯ

«Генри Мур в восемьдесят лет» — таково название телевизионного фильма, показанного недавно по британскому телевидению. Фильм создан Джоном Ридом и рассказывает о 57 годах творческой деятельности выдающегося английского скульптора. На снимке: кадр из фильма — Генри Мур со своей скульптурой.

(Газета «Морнинг стар»)

УМЕР ВЫДАЮЩИЙСЯ ШОТЛАНДСКИЙ ПОЭТ

В возрасте 86 лет скончался Кристофер Марри Грив— поэт-коммунист, патриот и интернационалист, более знакомый читателям под именем Хью Макдиармид. «Блестящий интеллект несомненно сделал его величайшим поэтом Шотландии со времен Бернса и Данбара»,— говорится в некрологе, опубликованном газетой «Морнинг стар».

Литературная и общественная деятельность Макдиармида, начавшаяся в 20-е годы, была тесно связана с движением за национальное и культурное возрождение Шотландии. В 1923 году вышла первая книга его стихов — «Анналы пяти чувств». В то время он работал во многих газетах, был редактором и издателем. Став коммунистом еще в 30-е годы, Хью Макдиармид написал цикл стихотворений, которые назвал «Гимнами Ленину». В эти же годы поэт начинает борьбу против фашизма и войны.

«На политические взгляды и творчество Хью Макдиармида решающее влияние оказали Октябрьская революция и марксизм,— пишет газета «Морнинг стар».— Всю свою сознательную жизнь он мечтал о времени, когда Шотландия станет социалистической».

Макдиармид писал на английском языке и на шотландском диалекте, продолжая традиции шотландской народной поэзии. Героическое прошлое, природа Шотландии, ее люди — основные темы его произведений. За более чем полувековую творческую деятельность Макдиармида вышли десятки его книг: сборники стихов, эссе об истории и культуре родной страны, переводы. Уже в преклонном возрасте Макдиармид выпустил сборник статей, посвященных шотландской культуре, в частности поэзии, а также перевод «Трехгрошовой оперы» Бертольта Брехта. По мнению многих ценителей творчества Макдиармида, все сделанное им имеет значение не только для Шотландии, но и для всей мировой культуры.

«Коллеги-поэты называли его «львом»,— говорится в некрологе «Морнинг стар».— Он был признанным лидером нового поколения писателей. Его запомнят и как очень доброго, отзывчивого человека, который, несмотря на личные невзгоды, никогда не забывал о семьях своих друзей».

«СТРАННЫЙ ПУТЬ РЕДЬЯРДА КИПЛИНГА»

Так называется монография известного английского прозаика и ученого-литературоведа Энгуса Уилсона, знакомого советскому читателю по его книге «Мир Чарльза Диккенса», выпущенной издательством «Прогресс» в 1975 г.

Новая литературоведческая работа Энгуса Уилсона, пишет рецензент журнала «Букс энд букмен» М. Хауверд, не только сочетает в себе глубоко продуманный психологический портрет Киплинга с богато документированной монографией о его жизни и творчестве, но — что самое существенное — является высказыванием «одного мастера современной прозы о другом крупнейшем английском прозаике». Обращение Энгуса Уилсона к личности и творчеству Киплинга не случайно. Как заметил сам писатель, он усматривает много общего между своей жизнью и жизненным путем Р. Киплинга.

Детство Э. Уилсона, как и юные годы Киплинга, прошло за пределами Анг-

лии. Время, проведенное Э. Уилсоном в Южной Африке, дало ему возможность, уже будучи зрелым, сложившимся человеком, взглянуть на свою страну со стороны. Сближает писателей, пишет М. Хауверд, и умение видеть и воплощать в слове «странности общества и чудачества его граждан». С мастерством рассказчика-профессионала в книге передана биография Киплинга, глубоко проанализированы его сложные взаимоотношения с Индией, осмыслен культ Киплинга как певца Британской империи.

ДОРА ГАБЕ — ГЕРОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ТРУДА

Государственный совет НРБ удостоил болгарскую поэтессу, лауреата Димитровской премии Дору Габе за ее заслуги в болгарской литературе и в связи с 90-летием со дня рождения звания Героя Социалистического Труда.

В дни юбилея деятели культуры, общественные деятели и организации обращались к писательнице с теплыми словами привета и глубокой благодарности.

Пантелей Зарев от имени Союза болгарских писателей писал: «В Болгарии Вас знают все. И не только потому, что «всем поколениям ровесницею стала», как пишете Вы, а потому, что с годами не отстали от движения жизни, от ее непрестанного обновления. Вы не замкнулись в прошлом, не успокоились на достигнутом, получив заслуженное признание и уважение, а стремились к новым творческим открытиям, к новому проникновению в тайны человеческого бытия, вечно молодой жизни».

БОЛГАРИЯ

Как пишет критик журнала «Фильмови новини» Неда Станимирова, «новый фильм Ивана Андонова представляет своеобразную «антологию» всего его творчества... Режиссер вновь и вновь возвращается к теме сложной любви», исследует социально-психологические предпосылки этой «сложности»... За ярким, сочным сатирическим изображением провинциального мещанского быта чувствуется затаенный лиризм... Режиссер сумел добиться с помощью прекрасно подобранного актерского ансамбля успешного сочетания комедийно-сатирических ситуаций с драматическими». На снимке: кадр из фильма «Крыша».

(Журнал «Филмови новини»)

ВЕНГРИЯ

ФИЛЬМ О ЧОНТВАРИ

Снимается фильм о самобытном венгерском художнике конца XIX — начала XX века. Его красочные пейзажные композиции причудливо соединяют реальное и нереальное, созкательное и инстинктивное, обыденное и фантастическое. Тивадар Чонтвари хотел стать не только художником, но, изучив философию, еще открыть и «секреты жизни», отдать должное всемогущественной природе и помочь последующим поколениям обрести более достойную жизнь, избавить свой народ от страданий и нищеты. И эту задачу он хотел решить силами искусства на огромных полотнах, которые выражали бы совершенство природы, красоту человеческих устремлений.

— Я долго колебался, прежде чем взяться за эту работу,— признался режиссер Золтан Хусарик в интервью, данном журналу «Фильм, синхаз, мюжика».— Я вспоминал фильмы, которые видел о художниках — о Ван Гоге, о Тулуз-Лотреке, о Модильяни,— и понял, что фильм такого рода я делать не хочу. Что меня не устраивает в этих картинах? Прежде всего облегченность подхода к решению темы. В них рассказывается о художнике-безумце, о художнике-калеке, о художни-

На снимке: Тивадар Чонтвари (автопортрет).

ке-алкоголике — вместо того чтобы рассказать о художнике-гении, который стал гордостью своей эпохи. Но дело, конечно, вовсе не в том, что я хотел снять фильм, не похожий на эти картины. В случае с Чонтвари возникает немало трудностей. О его личной жизни мы почти ничего не знаем — несколько скупых биографических данных, несколько курьезных историй. Но в этом же и преимущество нашего положения. К Чонтвари надо идти через его картины, а его эксцентричность, его безумства меня интересуют меньше всего. Чонтвари — гений, он ворвался в венгерскую живопись как комета, и в истории нового европейского искусства его «Одинокий кедр» занимает свое, неоспоримое место.

В главной роли снимается известный болгарский актер Исаак Финтци, остальные исполнители — венгерские актеры.

Чонтвари много путешествовал по Европе, Африке, Азии, он любил Восток, ему казалось, что там еще сохранилось в неприкосновенности великое прошлое, поэтому фильм о странствующем художнике снимается в шести зарубежных странах: в Советском Союзе — в окрестностях Ташкента и Бухары, где создатели картины нашли маленькие деревушки, уцелевшие еще с начала века, и песчаные пустыни, в точности такие, какие искали; в Греции, Италии, Югославии, Болгарии, Чехословакии. Ну и конечно в Венгрии. Поиски места съемок для этого фильма сопряжены с особыми трудностями. Вот что об этом рассказывает директор картины Андраш Озораи:

— Если по сценарию действие происходит там, где создавалась знаменитая картина Чонтвари «Развалины храма Солнца в Баальбеке», то это значит — надо ехать в Баальбек и радоваться, что храм не подвергся еще большим разрушениям, а также тому, что никто пока не занялся его реставрацией. Мост через реку Мостар сохранился в том же виде, как и при Чонтвари, «Прогулку на лошадях к Черному морю» мы еще не решили, где будем снимать, а ливанский кедр искали везде, кроме Ливана — там сейчас не до съемок, — кажется, похожий кедр есть на острове Крит.

К тому же приходится учитывать, что съемочная группа может выехать на место съемок только в то время года, в какое там был Чонтвари. Художник ставил перед собой труднейшие цветовые и световые задачи, искал и добивался удивительной гармонии цвета и рисунка, воссоздать ее на экране — не простая задача.

О Чонтвари пишутся статьи и книги, устраиваются выставки его работ в Венгрии и за рубежом, и создание фильма — еще одно свидетельство интереса к творчеству этого удивительного художника, не получившего признания при жизни.

ВЬЕТНАМ

«ЛЕГЕНДА О ЛЮБВИ» НА ХАНОЙСКОЙ СЦЕНЕ

В Ханое в постановке Центральной театральной труппы «Кай лыонг» состоялась премьера известной пьесы Назыма Хикмета «Легенда о любви». Перевел на вьетнамский язык и поставил пьесу режиссер Зыонг Нгок Дык; его постановка передает красочность турецкого фольклора, режиссер использовал в пьесе национальные турецкие танцы, призванные полнее и ярче раскрыть глубокий философский смысл произведения. С большим успехом выступили артисты Хо Зиеп и Бать Зиен, исполнившие главные роли в спектакле, который расширяет знакомство вьетнамского зрителя с достижениями культуры других стран.

ГДР

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРЕМИИ

Состоялось присуждение Национальных премий ГДР за 1978 год.

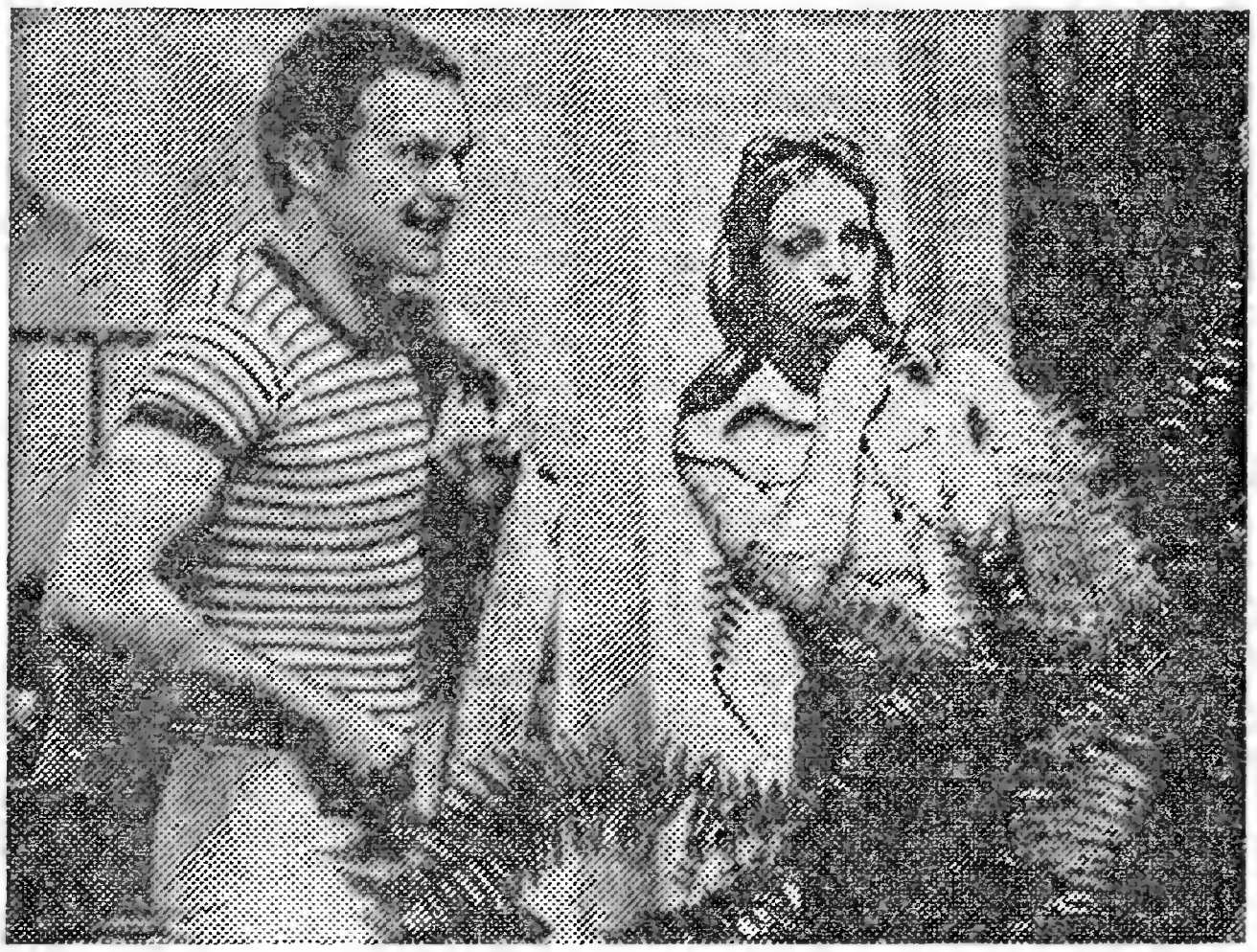
За все творчество, особенно за последний роман «Объявление в газете», премии удостоен писатель Гюнтер Гёрлих. Также за творчество в целом и особенно выделяя книгу ее воспоминаний «Рапорт Сони» премию присудили писательнице Рут Вернер.

Премии получили также писатели Герберт Отто, Уве Кант и Роземария Шудер, кинорежиссеры Аннели и Андре Торндайк за фильм «Старый новый мир», композитор Иоганн Чилензек, художники и графики, драматические актеры, певцы, музыканты, ряд творческих коллективов.

«ОТПУСКНИКИ» РАЙНЕРА КЕРНДЛЯ

Телевидение Германской Демократической Республики показало новую пьесу известного драматурга Райнера Керндля «Отпускники».

«Керндль рассказывает, на первый взгляд, лишь занимательную историю о людях, которые проводят свой отпуск на берегу моря. Но,



На снимке: актеры Юрген Ройтер и Регина Бейер в пьесе для телевидения «Отпускники».

(Еженедельник «Зонntаг»)

как всегда в его пьесах. здесь отражены существенные проблемы современной жизни, проблемы морали нашего общества»,— пишет рецензент газеты «Нойес Дойчланд».

Основная сюжетная линия пьесы — взаимоотношения супругов Кольман. Брак их давно уже дал трещину и строится на лжи и внешней благопристойности. Но именно этот летний отпуск помогает Анни Кольман обрести силу и покончить со всякими компромиссами и уступками. Она находит в себе мужество начать самостоятельную жизнь.

В интервью, посвященном пьесе «Отпускники», Райнер Кернdль сказал, что не ставил себе больших задач, просто хотел показать нескольких людей, которых свел вместе летний отдых. «Я стремился рассказать о том, что в людях часто гораздо больше внутреннего содержания, чем кажется на первый взгляд,— сказал драматург.— Герои моей новой пьесы — наши современники. Их мировоззрение, принципы, их образ жизни — все это нам близко и знакомо. Один из главных вопросов, которые ставит пьеса,— искренность и честность в отношениях между людьми. Надеюсь, что эта пьеса найдет живой отклик у наших телезрителей, а может быть, в какой-то степени поможет им в решении трудных личных проблем».

ЕГИПЕТ

ИЗДАЕТСЯ ЗА РУБЕЖОМ

Несмотря на широковещательные заявления египетского режима о «свободе печати», в стране продолжают действовать жесткие цензурные ограничения, в результате чего произведения писателей либо подвергаются запрету, либо выходят до неузнаваемости изуродованными.

Так в 1974 году каирское издательство «Ас-Сакафа аль-гедида» («Новая культура») выпустило роман молодого писателя Галиба Хальсы «Горячие ветры», посвященный жизни современного Египта. Однако цензура исказила роман до неузнаваемости. В результате писатель вынужден был обратиться в одно из бейрутских издательств с просьбой напечатать роман заново. Его просьба была удовлетворена, и второе, на этот раз полное, издание книги скоро выйдет в Ливане.

Ряд прогрессивных писателей и критиков вообще не может публиковать своих книг в Египте. Среди них — видный египетский критик-марксист Гали Шукри. Его новый сборник литературно-критических статей под названием «Длинный день в короткой жизни» недавно вышел, как сообщает газета «Аль-Иттихад», в иракском издательстве «Дар аль-Афак».

ИНДИЯ

КНИГА О ПИСАТЕЛЕ

Амаркант (род. в 1925 г.) является ныне одним из наиболее видных представителей того поколения писателей хинди, которые вошли в литературу уже в условиях независимой Индии. Перу его принадлежат ряд повестей, многочисленные рассказы. В своем творчестве писатель развивает традиции критического реализма, заложенные классиком индийской литературы Премчандом. Каждая новая книга Амарканта становится заметным явлением. Изучению его творчества посвящают свои труды исследователи литературы.

Газета «Джан юг» опубликовала рецензию на книгу «Амаркант: личность и творчество», изданную в Аллахабаде.

Наряду с автобиографическими очерками Амарканта и четырьмя его ставшими в подлинном смысле хрестоматийными рассказами в книгу вошли статьи, заметки и очерки о творчестве писателя, воспоминания о встречах с ним, его интервью в печати.

Среди тех, кто своим участием в составлении книги отдал дань уважения собрату по перу, имена многих известных прозаиков и исследователей литературы хинди. В их числе писатели Раджендра Ядав и Упендранатх Ашк, литературоведы Вишваматх Трипатхи и Раджкумар Сайни, литературные критики Шрипатрай, Мамта Калия и Сурендра

Чаудхри. Все они глубоко исследуют содержание и стилевые особенности новеллистики Амарканта.

Книга, в которой рассмотрены различные аспекты ряда произведений Амарканта, пишет в заключение рецензент, удовлетворила давно назревшую потребность в таком комплексном исследовании личности и творчества писателя.

«ШЕСТНАДЦАТИЛЕТНИЕ»

Как сообщает тамильский литературно-общественный журнал «Тамарей», на экраны Южной Индии вышел новый фильм «Шестнадцатилетние», поставленный режиссером Баради Раджем по собственному сценарию. Посвящен он жизни молодого поколения тамильских крестьян, их борьбе за землю, за право любить по собственному выбору, без оглядки на ортодоксальные правила и ограничения, накладываемые индуизмом. Фильм выгодно отличается от десятков развлекательных и коммерческих лент тем, что поднимает серьезные и животрепещущие вопросы сегодняшней жизни крестьянской молодежи Индии. Немалая заслуга постановщиков «Шестнадцатилетних» в том, что герои фильма используют разговорный тамильский язык земледельцев штата, понятный и близкий миллионам малограмотных крестьян. «Этот фильм вобрал в себя лучшие достижения реализма малаяльского кино, тонкую одухотворенность бенгальского и отточенность мастерства лучших режиссеров Индии»,— отмечает рецензент журнала.

ИНДОНЕЗИЯ

«КАРТА ПУТЕШЕСТВИЯ»

Газета «Суара карья» поместила обширную рецензию критика К. Л. Рампана на новую книгу стихов Ситора Ситуморанга «Карта путешествия», получившую недавно вторую премию на конкурсе, организованном Джакартским культурным центром (см. «ИЛ» № 10 за 1978 г.). Это уже шестой по счету поэтический сборник маститого индонезийского поэта и второй после выхода его из тюрьмы, где он провел без суда и следствия 8 лет за свои политические убеждения и сотрудничество с запрещенной с 1965 г. Коммунистической партией Индонезии.

Каждое из пятидесяти стихотворений сборника, созданных на протяжении 1976—1977 гг.,— описание какой-либо поездки, совершенной поэтом либо недавно, либо 15—20 лет назад. Вместе с тем все стихи имеют второй, иногда явный, иногда скрытый, символический смысл: блуждание поэта по лабиринтам собственной души и ее возмужание. Своего рода эпиграфом к сборнику могло бы послужить стихотворение «Остров на острове» (имеется в виду о-в Самосир, расположенный посреди горного озера на о-ве Суматра, то есть родина поэта):

Между прошлым и
настоящим —
маршруты моих
путешествий:
опыт, льющийся через
край,
и высокие горы
одиночества.

Далее, задаваясь вопросом, какой из виденных им континентов и океанов прекрасней, поэт отвечает, что всего прекраснее стойкость духа, которую проносит человек через все океаны тоски и континенты страданий.

Анализируя художественные особенности новых стихов Ситора Ситуморанга, К. Л. Рампан пишет, что они отличаются предельной экономичностью и «опрощенностью» выразительных средств, что соответствует и смыслу нынешних поисков поэта. Ситора Ситуморанга занимают теперь не необычные и исключительные ситуации «странствий» его «я», не стремление, как это случалось прежде, эпатировать читателя, а всеобъемлющие вопросы жизни и смерти. Критик справедливо указывает, что это трудный и опасный путь как в философском, так и в чисто изобразительном отношении, где можно легко свернуть на дорогу обыденных, плоских истин; но Ситор Ситуморанг сумел избежать этой опасности, проявив удивительное мастерство и чувство меры.

На снимке: кадр из фильма «Шестнадцатилетние». В главных ролях — актеры Сатьяджит и Шридеви.

(Журнал «Тамарей»)

ИТАЛИЯ

НОВЫЙ РОМАН ПАОЛО ВОЛЬПОНИ

«Возбудимая планета», новый роман Паоло Вольпони, — это аллегорическая сказка, густо насыщенная сложными символами. Действие его происходит в 2293 году, после энной атомной войны, разрушившей до основания и превратившей в пепел планету. На груде пепла, где погребен цирк, появляются четверо оставшихся в живых: обезьяна с вечно раскрытой пастью, слон, который знает наизусть «Божественную комедию» Данте, умеющий считать гусь и карлик с изуродованным соляной кислотой лицом. Все они были рабами цирка, теперь, по словам рецензента газеты «Паэзе сера», «они приобрели свободу в лоне опустошения и смерти. Но одиночество в разоренном мире не устрашает их — наоборот, восстанавливает силы, увеличивает энергию, усиливает желание жить».

Сюжетная канва книги — долгое путешествие этого содружества к какому-то смутному «раю», где, кажется, существует возможность восстановить жизнь. В их «восхождении» героям покровительствует некое существо — «имитатор птичьего пения», «Прометей, который жертвует собой, чтобы сохранить в человеке огонь поэзии» — так расшифровывает этот образ-символ рецензент еженедельника «Панорама». Главное препятствие на пути «восхождения» — правитель-воин Монета. В столкновении с ним гибнет глава содружества — воинственная обезьяна. Но теперь, пишет «Паэзе сера», «чтобы продолжать восхождение, не нужны ни вожди, ни агрессивность».

В различных периодических изданиях помещены интервью с Вольпони, посвященные, в частности, толкованию и «расшифровке» романа. «Почему в названии романа это прилагательное — «возбудимая»?» — спрашивает корреспондент «Панорамы». «Потому что возбудимость, раздражительность — первое свойство живой материи»,— отвечает автор. В беседе с корреспондентом «Паэзе сера» Вольпони определяет жанр своего произведения как философскую повесть с приключениями, в другом интервью говорит, что сюжет книги развивается по законам авантюрного романа. Вольпоии подчеркивает, что его романи «надо читать медленно, как читают политические трактаты XIV—XV веков, столь богатые фактами и рассуждениями, которые вытекают одно из другого и которые необходимо не спеша расшифровывать».

«Можно ли расшифровать образы четырех главных героев в плане политическом?» — задает вопрос корреспондент еженедельника «Панорама». Вольпони отвечает: «Это не было моей целью, но при желании это можно сделать. Обезьяну можно считать современным терроризмом, инфантильным и жестоким; слона — телесной силой, взаимоотношениями с природой или народным движением... Карлик—это пронизанное болью человеческое, нежное начало, это отверженные... которые всегда страдали и страдают до сих пор. Гусь? Это— интеллигент от природы, который распределяет технические знания... Но, настаиваю, роман не надо воспринимать через эти обобщения, эти формулы. Его надо воспринимать в целостности».

Вольпони не считает свой роман пессимистическим. «Главные герои вновь находят надежду. И их история заканчивается оптимистически», — говорит он. «Гибели планеты можно избежать, если... жизнь будет прочно защищена от крупнейшего врага: валюты, капиталовложений, сбережений, прибыли, дохода, корысти и т. д.» — так объясняет смысл романа «Возбудимая планета» рецензент еженедельника «Панорама».

НАРОДНАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА ЙЕМЕН

«НОВЕЛЛА В ЙЕМЕНЕ»

Арабская пресса сообщает о выходе в свет книги известного критика доктора Абд аль-Хамида Ибрахима «Новелла в Йемене».

По свидетельству южнойеменской газеты «Ас-Саури», критиком собран огромный материал: в его книге приводятся десятки имен писателей-новеллистов, живущих как в Северном Йемене (ЙАР), так и в Южном (НДРЙ). Несмотря на отдельные неточные скороспелые оценки, книга, по словам газеты, представляет ценность как первая попытка ознакомить арабских читателей с современным состоянием йеменской новеллистики.

КНР

СЕКРЕТЫ АНТИСОВЕТСКОЙ КУХНИ

В Пекине переиздан роман Ло Гуан-биня и Ян И-яня «Красная скала», написанный еще в 1962 году и рассказывающий о борьбе китайских коммунистов в провинции Сычуань накануне свержения гоминьдановского режима. Тогда, в начале 1949 года, авторы сами находились в гоминьдановском застенке, который назывался «Китайско-американским центром» и занимался «перевоспитанием» революционеров, заканчивавшимся обычно расправой. Роман, основанный на личных впечатлениях, в целом документален и описывает последние дни жизни павших в борьбе подлинных героев китайской революции. Но даже и в такие произведения, вопреки исторической правде, в Китае вставляется ходульная антисоветчина. Как это делается, можно узнать из статьи о романе, помещенной в журнале «Жэньминь вэньсюэ».

Роман был уже написан, когда от авторов потребовалось оснастить его антисоветскими заявлениями в духе китайской пропаганды. Разумеется, память тут не могла помочь: герои китайской революции были друзьями Советского Союза. Тогда автор романа Ло Гуан-бинь вспомнил, как в 1949 году с ним прощался в тюрьме перед казнью коммунист Сюй Сяо-сюань: «После победы передай нашей партии: я надеюсь, что партия будет постоянно очищать себя, изгонит из наших рядов перерожденцев и оппортунистов, доведет революцию до конца». Таковы были слова коммуниста, обращенные к автору. Его опасения за чистоту рядов Коммунистической партии Китая, как показало будущее, были веско обоснованными. Зато в романе, в угоду пропагандистскому шаблону, в уста покойного героя были вложены заявления о борьбе с оппортунистами... в СССР, об... измене революционным идеалам в СССР и прочие измышления пекинских антисоветчиков. Вот сколь просто извращается историческая правда на антисоветской кухне в Китае.

На снимке: Томаш Борковы и Анна Дымна в фильме «До последней капли крови».

(Журнал «Фильм»)

ПОЛЬША

«ДО ПОСЛЕДНЕЙ КАПЛИ КРОВИ»

Новый фильм Ежи Гоффмана по сценарию известного писателя Збигнева Сафьяна, знакомого советскому читателю как автор сценария многосерийного телевизионного фильма «Ставка больше чем жизнь», посвящен знаменитой битве под Ленино, где впервые рука об руку с советскими войсками вступила в бой Первая польская дивизия им. Тадеуша Костюшки и Первый танковый полк им. героев Вестерплятте, сформированные в СССР по инициативе Союза польских патриотов.

События в фильме начинаются задолго до исторической битвы. В нем показана неблаговидная роль лондонского эмигрантского правительства, отозвавшего с территории Советского Союза в августе 1942 года армию Андерса, показано создание дивизии им. Тадеуша Костюшки, которая приняла военную присягу 15 июля 1943 года, в день годовщины победоносной битвы поляков с крестоносцами под Грюнвальдом и героически сражалась в октябрьские дни 1943 года с немецко-фашистскими захватчиками.

День 12 октября теперь отмечается ежегодно как День Войска Польского.

Поставленный с огромным размахом фильм был создан в рекордные сроки — за десять месяцев. Съемки проводились в Польше, Советском Союзе, в Англии.

12 октября в тридцать пятую годовщину битвы под Ленино в Варшаве состоялась премьера фильма «До последней капли крови».

Создателям фильма «До последней капли крови» режиссеру Ежи Гоффману, сценаристу Збигневу Сафьяну, оператору Ежи Госьтику и директору картины Вильгельму Холлендеру была присуждена первая премия Министра Национальной обороны Польши.

ФРАНЦУЗСКАЯ ПРЕМИЯ ПОЛЬСКОМУ ПИСАТЕЛЮ

Роман известного польского писателя Анджея Кусьневича «Король Обеих Сицилий» получил французскую премию Сегюр, которая присуждается за лучшее произведение иностранного автора, переведенное на французский язык. Это одна из трех наиболее солидных премий, вручаемых иностранным авторам за их произведения. В состав жюри входят известные писатели — как французские, так и зарубежные.

Поэт, прозаик, лауреат Государственной премии первой степени, Анджей Кусьневич, по мнению польской критики, является одним из выдающихся современных польских писателей.

Автор таких широко известных романов, как «Коррупция», «Эроика», «По дороге в Коринф», «Король Обеих Сицилий», «Состояние невесомости», прожил яркую, полную драматических событий жизнь. Как сотрудник Министерства иностранных дел до второй мировой войны, он имел возможность ознакомиться с жизнью многих стран Европы. Война застала его во Франции. Он борется против гитлеровских оккупантов в рядах французского Сопротивления. В 1943 году в Тулузе гестапо напало на его след, и Кусьневич познал весь ужас существования в гитлеровских концентрационных лагерях, где он пробыл до конца войны. Только в 1950 году Кусьневич вернулся в Польшу.

«Мой жизненный опыт,— говорит писатель,— и мое творчество сплетены воедино... Жизненный опыт — это тот тыл, без которого я бы немногого стоил как поэт, а особенно как прозаик».

После успеха во Франции романа «Король Обеих Сицилий» на французский переволятся два его других романа — «Состояние невесомости» и «По дороге в Коринф».

Сейчас Анджей Кусьневич, как сообщает журнал «Нове ксёнжки», работает над новым своим романом под названием «Вираж».

РУМЫНИЯ

«ПРОШУ СЛОВА»

Начало нового театрального сезона в Румынии отмечено несколькими оригинальными спектаклями, среди которых — по мнению рецензентов — особенно выделяется инсценировка по роману прозаика Драгомира Хоромни «Прошу слова», осуществленная на родине писателя, в Театре имени Михаила Эминеску города Ботошань.

Содержание романа сводится, в сущности, к рассказу о партийном собрании на большой стройке, на котором принимают в партию молодого инженера. Как читатели, так и литературные критики неоднократно отмечали, что в романе много увлекательных диалогов, много драматических коллизий, позволяющих создать на его основе и театральный спектакль, и фильм... «И вот,— рассказывает сам автор,— настала встреча со зрителем, требовательным, хорошо знакомым с жизненными ситуациями, изображенными в спектакле, причем успеху постановки в большой мере содействовала политическая насыщенность текста. Больше чем когда бы то ни было раньше я убедился, что зритель исключительно высоко ценит политический театр, посвященный злободневным проблемам жизни, ибо в нем он узнает себя, сопереживает с актерами, размышляя и делая свой выбор в духе нашего времени».

Об успехе постановки пишет и рецензент «Скынтейи» С. Аиленей, увидевший в этом «доказательство не только талантливой постановки и игры актеров, но и того интереса, который проявляет зритель к актуальному содержанию пьесы».

Как рассказал автор корреспонденту «Ромыния литерарэ», несколько театров страны готовят постановки по пьесе «Прошу слова». Снят телевизионный фильм по тому же тексту с участием двухсот рабочих крупнейшей стройки страны. Заканчивается работа над одноименным фильмом, который ставит известный режиссер Александру Татос.

СЕНЕГАЛ

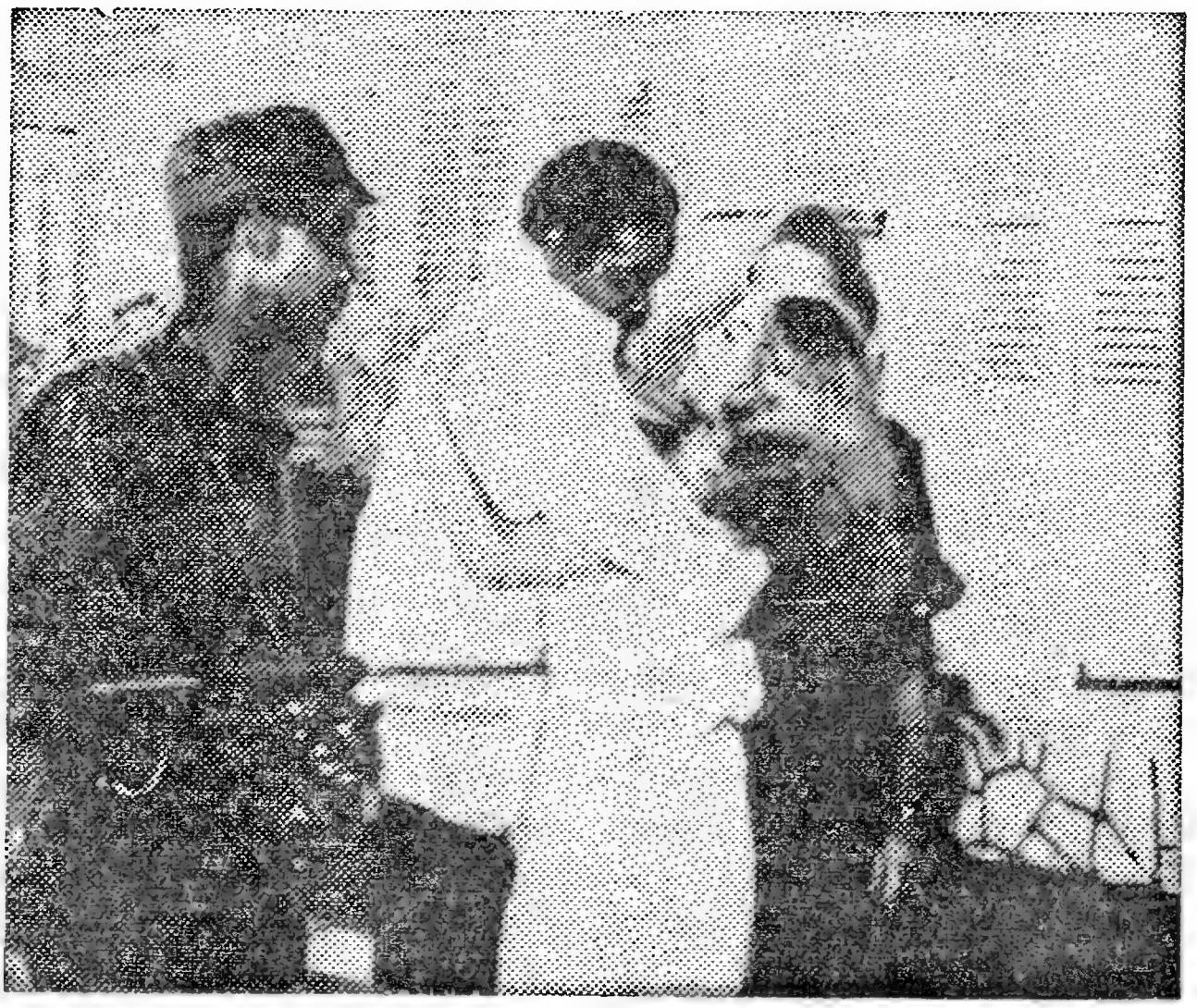
ГИБЕЛЬ ИЗВЕСТНОГО АКТЕРА

Как сообщает журнал «Жён Африк», в Габоне во время съемок фильма «Завтра новый день» погиб в автомобильной катастрофе известный сенегальский актер Дура Мане.

Свою творческую деятельность Дура Мане начал в 50-е годы в Гвинее как организатор фольклорного танцевального ансамбля. В 1962 году он заканчивает секцию драмы Национальной школы искусств в Дакаре. После недолгого пребывания во Франции, где он с большим успехом играл в пьесе известного мартини-

На снимке: кадр из фильма «Состояние дикости» (в центре — Дура Мане).

(Журнал «Жён Африк»)



канского поэта и драматурга Эме Сезэра «Трагедия короля Кристофа», Мане возвращается на родину и становится ведущим актером, а затем руководителем труппы национального театра «Даниель Сорано».

Среди лучших работ Дуры Мане — роли Макбета, Альбури (в пьесе сенегальского драматурга Шейка Н'Дао «Изгнание Альбури», посвященной возглавившему сопротивление французским колонизаторам королю небольшого государства XIX века, которое находилось на территории нынешнего Сенегала), министра здравоохранения независимой африканской страны Патриса Думбе в фильме французского режиссера Франсиса Жиро «Состояние дикости».

США

К ЮБИЛЕЮ Л. Н. ТОЛСТОГО

Большим событием в литературной жизни США стал выход в свет «Избранных писем» Л. Н. Толстого — двухтомного издания, приуроченного к юбилею писателя. Подготовленное известным исследователем Толстого Р. Ф. Кристианом, это издание включает более шестисот писем, охватывающих весь творческий путь русского классика. Самое раннее из писем, отобранных составителем, помечено 1845 г., а завершает издание письмо Толстого своим старшим детям Сергею и Татьяне, написанное со станции Астапово за неделю до смерти.

Основное внимание уделено переписке Толстого с писателями-современниками — Тургеневым, Фетом, Ролланом, Шоу, Рильке, а также со сторонниками его учения в разных странах. Законченные циклы образуют переписка с С. А. Толстой и обращения писателя к высшим должностным лицам царской России с протестами против гонений, которым подвергались последователи его учения. Как отмечают критики, издание Кристиана и по своей полноте, и по тщательности переводов и комментариев намного превосходит все другие публикации эпистолярного наследия Толстого в странах английского языка. Рецензент «Нью-Йорк таймс бук ревью» С. Карлинский пишет, что этот двухтомник «содержит многогранный образ Толстого во всей сложности его исканий и дает живо почувствовать эпоху, в которую он жил. Изданию Кристиана должно принадлежать одно из самых почетных мест в многотомной библиотеке книг Толстого и о Толстом, вышедших в США за последние десятилетия».

В юбилейный толстовский год эта библиотека пополнилась еще несколькими книгами. Под заглавием «Вспоминая Толстого» опубликованы мемуары дочери писателя Т. Л. Сухотиной-Толстой. Сопоставляя американское издание с советским (М., «Художественная литература», 1976), С. Карлинским отмечается, что переводчики книги в США допустили много неоправданных сокращений и произвольных перестановок, игнорируя и волю автора, и достижения исследователей Толстого, готовивших публикацию воспоминаний в СССР. В результате текст мемуаров сильно сокращен и обеднен, а порою и просто искажен. Резко критикуя это издание, С. Карлинский рассматривает его как пример спекуляции на растущем интересе американских читателей к Толстому и всему, что связано с его жизнью и творчеством.

Среди литературоведческих работ, вышедших в США к толстовскому юбилею, выделяется книга Э. Васиолека «Основные произведения Толстого». Э. Васиолек известен своими исследованиями о Достоевском; он подготовил публикацию «Записных книжек» писателя и написал о нем ряд книг и статей. Обратившись к творчеству Толстого, он полемизирует с декадентскими толкованиями его произведений, восходящими еще к Д. Мережковскому, и предлагает собственное прочтение «Войны и мира», «Анны Карениной», «Смерти Ивана Ильича». В его книге немало интересных наблюдений, но вместе с тем критик явно недооценивает значение масштабных картин исторического бытия русского народа, созданных гением Толстого.

Завершая свой обзор, С. Карлинский подчеркивает, что юбилей Толстого еще раз засвидетельствовал огромную притягательность и актуальность его наследия для миллионов людей в разных странах мира.

ФРАНЦИЯ

НОВОЕ ПРОЧТЕНИЕ КЛАССИКИ

Подлинным событием традиционного Авиньонского фестиваля театрального искусства названы в «Юманите диманш» постановки пьес Мольера, показанные труппой, которой руководит известный актер и режиссер Антуан Витез. Новое прочтение трилогии Мольера «Школа жен», «Дон Жуан» и «Мизантроп», осуществленное Витезом, вызвало нападки со стороны правой прессы, но было безоговорочно принято широкой публикой.

«Работа над классиками — это работа по их разъяснению — заявил Антуан Витез в интервью, опубликованном в «Юманите диманш».— Хочется открыть в пьесах Мольера нечто большее, чем то, что им приписывают по традиции: свод пороков, комедии нравов... Интересно показать, какое влияние оказывала на творчество Мольера господствовавшая в его время идеология, выявить его собственные вкусы, пристрастия и противоречия. Вот что означает для меня перечитывать классиков... Смысл и притягательность режиссерской работы для меня в том, чтобы идти по следам Мольера и прислушиваться к его дыханию. Театр — это воссоздание прошлого во времени и пространстве. Точно так же будут всегда переводить поэзию — потому что перевод ее одновременно невозмо-

На снимке: Антуан Витез в роли Коммандора в пьесе Мольера «Дон Жуан».

(Еженедельник «Юманите диманш»)

жен и необходим. Воссоздавать классиков будут всегда в свете их эпохи... «Франс-суар», «Фигаро», «Орор», «Монд» обвинили меня в том, что я превратил свой театр в театр марионеток. Все это чистая клевета,— отметил Витез.— Просто они переносят на мой театр свои ложные представления и свой страх перед будущим. Главное же для меня — это признание публики, которая горячо одобрила мою работу и игру актеров. В этом я вижу глубокий символический смысл. И в этом — залог завтрашнего дня».

А завтрашний день для Антуана Витеза и его актеров — это новые спектакли, новые гастроли, а затем возвращение в свой театр — в парижское рабочее предместье Иври.

ЭТОТ НЕПОВТОРИМЫЙ РАЙМОН КЕНО

Кто из французов не знает Раймона Кено, автора знаменитого, искрящегося юмором романа «Зази в метро» и множества шуточных песенок? (См. его стихи в «ИЛ» № 8 за 1970 г.) Поэт, прозаик, лингвист и смелый экспериментатор в области стиля, Р. Кено, умерший несколько лет назад, до сих пор остается одним из самых популярных писателей Франции. В связи с переизданием ряда его романов («Суровая зима», «Синие цветы», «Последние дни» и др.) Клод Боннфуа пишет в еженедельнике «Нувель литтерер»: «Кено по-прежнему с нами. Более чем когда-либо. Мы знаем его уже очень давно, но не перестаем открывать для себя снова и снова... В его книгах мы находим все: нашу историю, наши мечты, наши шутки. Его книги — настоящие баллады. Как и мы, он пользовался автобусами, метро, железной дорогой, пароходами, самолетами, но он много бродил по земле и асфальту, прислушиваясь к ветру. И поскольку он умел слушать, он обнаружил, что у каждого из нас свой язык, свое представление о жизни, свои привычки и чудачества. Вот почему ни один из его героев не похож на других...»

Критик напоминает и об энциклопедических знаниях Р. Кено, испытывавшего жадный интерес ко всем точным наукам: астрономии, физике, химии, биологии. Любое достижение человеческой мысли, любое открытие в самых различных областях науки притягивали этого всеми признанного юмориста, до конца жизни неустанно изучавшего мир. Мечтатель и реалист, ученый и озорной пересмешник, этот неповторимый Раймон Кено «все так же волнует, тревожит и расширяет наши горизонты»,— заключает К. Боннфуа.

ФРГ

РОМАН О «НЕПРЕОДОЛЕННОМ ПРОШЛОМ»

Герой нового романа известного западногерманского писателя Петера Хертлинга «Губерт, или Возвращение на Касабланку» — сын высокопоставленного нациста-эсэсовца, и это во многом предопределяет всю его дальнейшую судьбу. Мечтательный мальчик пытается оказывать молчаливое сопротивление властному, грубому отцу, который как бы воплощает фашистские представления о жестокой «мужественности»— и однажды слышит от него: «Из тебя никогда не выйдет настоящего мужчины». Эти часто повторяемые слова становятся рефреном его детства и западают в душу Губерта глубже, чем сам Губерт мог предположить.

Долго еще после войны (действие романа заканчивается в середине 60-х годов) герой Хертлинга продолжает страдать от комплекса неполноценности, который внушил ему покойный отец. Он пытается забыть о прошлом, подделывает свои бумаги, указывая в главе о профессии отца: «владелец отеля». Но внедренные нацистским воспитанием понятия подспудно живут в нем. Однажды, ра-

ботая кельнером в американском офицерском казино, Губерт видит фильм с участием Хэмфри Богарта— голливудского идола 40—50-х годов, который становится и его кумиром. Герой романа начинает подражать ему в походке, манерах, поведении, сам еще не отдавая себе отчета в том, что образ этого жестокого супермена — вариация отцовского идеала «мужественности». Богарт становится как бы «вторым я» Губерта, которому так и не удается стать в жизни самим собой.

Критик еженедельника «Ди цайт» Блуменберг называет роман «попыткой профильтровать современную историю через миф массовой культуры».

Петер Хертлинг уберегся при этом от соблазна изобразить своего героя просто «как случай клинической шизофрении», отмечает в газете «Франкфуртер альгемайне» Михаэль Целлер. Он подходит к теме глубже. «Призраки третьего рейха живы»— такой вывод, по мнению рецензента, можно сделать из истории Губерта. «Прошлое продолжает то и дело вторгаться в современность — и, в сущности, это не так уж неожиданно... Влияние преступной деятельности фашистов выходит далеко за рамки определенного исторического периода, оно продолжает сказываться не только на поколении, непосредственно этим затронутом». Проблема «непреодоленного прошлого», по мнению рецензента, приобретает теперь «моральное звучание. Обвинительный приговор звучит вновь и вновь».

ЧИЛИ
ПАТРИОТИЧЕСКИЕ СИЛЫ

ЖИВОПИСЬ ОБЛИЧАЕТ

Прогрессивные деятели чилийской культуры, вынужденные покинуть родину после военно-фашистского переворота в сентябре 1973 года и получившие политическое убежище в Канаде, создали в Торонто издательство, выпускающее художественные, публицистические и графические произведения, посвященные темам борьбы народа Чили с кровавой диктатурой Пиночета и солидарности мировой общественности с мужественными патриотами этой страны. Новое издательство названо именем Белисарио Энрикеса, демократа-антифашиста, борца за освобождение своей родины, недавно скончавшегося в эмиграции в Канаде.

Одной из последних книг, опубликованных в издательстве «Белисарио Энрикес», явился альбом рисунков, названный «Два года в чилийских концентрационных лагерях. Мы победим!» Автор альбома — известный архитектор, директор государственной Корпорации градоустройства Чили в период правления Народного единства Мигель Лаунер. В книге представлено около 60 рисунков, тайно сделанных автором в различных тюрьмах и концентрационных лагерях, узником которых ему пришлось быть в течение двух лет. Брошенный в фашистские застенки в самый день переворота 11 сентября 1973 года, Мигель Лаунер не потерял волю к борьбе и верность идеалам Народного единства. С помощью клочков бумаги, карандашных огрызков, а то и просто кусочкоз угля, которые ему удавалось прятать от охранников, он продолжал бороться с палачами, создавая обличительные рисунки, раскрывающие варварскую сущность фашистского режима, стойкость и мужество чилийского народа, его веру в неизбежную победу добра над злом.

На снимке: рисунок Мигеля Лаунера «Барак концентрационного лагеря в Ритоке». Третий справа — Луис Корвалан.

(Журнал «Араукария»)

◆

Авторы этого номера

ХУЛИО ТРАВИЭСО — JULIO TRAVIESO (род. в 1940 г.).

Кубинский писатель. Автор сборников рассказов «Военные дни» («Dias de guerra», 1967, отмечен премией издательства «Гранма»), «Ягнята пьют вино» («Los corderos beben vino», 1970) и др.

Перевод романа «Чтобы убить волка» («Para matar al lobo») выполнен по изданию «Editorial de Arte y Literatura» (La Habana, 1976).

СЕСАР ЛЕАНТЕ — CÉSAR LEANTE (род. в 1928 г.).

Кубинский писатель. Автор сборника рассказов «Колесо и змея» («La rueda y la serpiente», 1969), романа «Черные партизаны» («Los guerrilleros negros», 1976), за который он был удостоен премии Союза писателей и деятелей искусств Кубы, статей, репортажей и др. произведений.

Рассказ «Дом в осаде» («Casa sitiada») получен редакцией в рукописи.

ЛУИ АРАГОН — LOUIS ARAGON (род. в 1897 г.).

Французский поэт и романист. Лауреат международной Ленинской премии «За укрепление мира между народами» и многих литературных премий.

От сборников стихов «Фейерверк» («Feu de joie», 1920), «Ура, Урал!» («Hourra, l'Oural !», 1934), патриотической лирики военных лет «Нож в сердце» («Le crève-cœur», 1941), «Глаза Эльзы» («Les yeux d'Elsa», 1942). «Французская заря» («La Diane française», 1945) к эпическим поэмам «Поэты» («Les poètes», 1960), «Глаза и память» («Les yeux et la mémoire», 1954), «Меджнун Эльзы» («Fou d'Elsa», 1963) — таков жанровый диапазон поэтического мастерства Арагона. Романический цикл «Реальный мир» и завершающая его многоплановая эпопея «Коммунисты» широко известны советскому читателю. В последнее десятилетие Арагоном созданы романы «Гибель всерьез» («La Mise à mort»), «Бланш, или Забвение» («Blanche ou l'Oublie»), «Театр/роман» («Théâtre/roman»).

В русском переводе помимо многочисленных изданий отдельных произведений вышло его собрание сочинений в 11-ти томах.

О творчестве Арагона см. вступительную статью Т. Балашовой.

В предлагаемую читателю подборку вошли стихи из книг «Поэты», «Комнаты», («Chambres», 1969), «Театр/роман» («Théâtre/roman», 1974).

ВАКСМАХЕР МОРИС НИКОЛАЕВИЧ (род. в 1926 г.).

Советский переводчик и литературовед, кандидат филологических наук, автор книги «Французская литература наших дней» (1967), сборника переводов «Страницы европейской поэзии. XX век» (1976). Переводил стихи П. Элюара, Р. Шара, Ж. Превера, Э. Гильвика, П. Неруды, Я. Рицоса, романы Роже Мартен дю Гара, А. Сент-Экзюпери, Р. Андре, К. Ясина, Ж. С. Алексиса и др.

ПАМЕЛА ХЭНСФОРД ДЖОНСОН — PAMELA HANSFORD JOHNSON (род. в 1912 г.).

Английская писательница. Автор многих романов, литературоведческой книги о М. Прусте, ряда публицистических работ. К числу романов социально-психологического плана относятся «Каменная улица» («An Avenue of Stone», 1947), «Выживает сильнейший» («The Survival of the Fittest», 1968) и др.. к сатирическому циклу — романы «Немыслимый Скиптон» («The Unspeakable Skipton», 1959), «На улице Корк, рядом с магазином шляп» («Cork Street, Next to the Hatter's», 1965).

Советскому читателю творчество П. Х. Джонсон известно по вышедшим в русском переводе романам «Кристина», «Решающее лето», «Ночь. Молчание. Кто там?». В «Иностранной литературе» (№ 8, 1967) печаталось несколько глав из ее публицистической книги «Кто виноват?».

Мы предлагаем вниманию читателя новый роман П Х. Джонсон «Особый дар» («The Good Listener». London, Macmillan, 1975), который мы печатаем в журнальном варианте. Полный текст романа будет опубликован в издательстве «Прогресс».

КЭТРИН ЭНН ПОРТЕР — KATHERINE ANNE PORTER (род. в 1890 г.).

Американская писательница. Начала печататься в различных журналах с конца 20-х

годов; ранние ее рассказы составили сборник «Цветущее Иудино дерево» («Flowering Judas», 1930). Затем К. Э. Портер выпустила сборники новелл «Бледный конь, бледный всадник» («Pale Horse, Pale Rider», 1939), «Падающая башня» («The Leaning Tower», 1944) и получивший большую известность роман «Корабль дураков» («The Ship of Fools», 1962).

«Иностранная литература» впервые познакомила советских читателей с творчеством Кэтрин Энн Портер, напечатав ее рассказ «Как была брошена бабушка Вэзеролл» (№ 7, 1976).

В этом номере мы публикуем новеллу «Бледный конь, бледный всадник» из одноименного сборника.

■

ВОЛЖИНА НАТАЛЬЯ АЛЬБЕРТОВНА.

Советский переводчик англо-американской прозы. Печатается с 1930 года. Переводила произведения Ч. Диккенса, Дж. Лондона, Дж. Стейнбека, Э. Хемингуэя, Гр. Грина, Дж. Болдуина и многих других.

■

В подборке стихов «Молодые поэты Кубы» представлены:

РАУЛЬ РИВЕРО — RAÚL RIVERO (род. в 1945 г.).

Окончил факультет журналистики Гаванского университета. Его книга стихов «Роль человека» («Papel de hombre») в 1969 году была отмечена премией «Давид». За поэтический сборник «Голос земли» («La voz a tierra») Р. Риверо был удостоен в 1972 году Национальной премии имени Хулиана дель Касаля. В «Иностранной литературе» опубликована его статья «Оружие революции» (№ 7, 1978).

КАРЛОС МАРТИ БРЕНЕС — CARLOS MARTI BRENES (род. в 1950 г.).

Окончил Гаванский университет, лиценциат языкознания и испаноязычной литературы. Работает в Министерстве культуры. Его книга стихов «Человек — это мы» («El hombre que somos») отмечена в 1975 году премией Хулиана дель Касаля.

ЭЛИСЕО АЛЬБЕРТО ДИЕГО — ELISEO ALBERTO DIEGO (род. в 1951 г.).

Окончил в 1973 году факультет журналистики Гаванского университета. Работает в журнале «Куба». Автор сборников стихов «Принесет гром» («Importará el trueño», премия «Давид», 1973) и «То, что я люблю» («Las cosas que yo amo»), за который был удостоен в 1976 г. премии Хулиана дель Касаля.

ФЕЛИКС ЛУИС ВИЕРА — FELIX LUIS VIERA (род. в 1945 г.).

В кубинской периодической печати опубликован ряд его рассказов и стихотворений. Сборник стихов «Мелодия ни с того ни с сего под дождем» («Una melodía sin ton ni son bajo la lluvia») был отмечен премией «Давид» в 1976 году.

СОЛЕЙДА РИОС — SOLEIDA RIOS (род. в 1950 г.).

Преподаватель истории и ассистент кафедры географии университета Сантьяго-де Куба. Сборник стихов «Из Сьерры» («De la Sierra», 1977) посвящен людям гор Сьерра-Маэстра, где долгое время жила поэтесса.

ОСВАЛЬДО НАВАРРО — OSVALDO NAVARRO (род. в 1946 г.).

Учится на последнем курсе факультета литературы Гаванского университета. На поэтических конкурсах неоднократно получал премии. Сборник стихов «По возвращении на Землю» («De regreso a la tierra») отмечен в 1973 году премией «Давид», сборник «Дни и люди» («Los días y los hombres») — премией «26 июля» в 1975 году.

РЕЙНА МАРИЯ РОДРИГЕС — REINA MARIA RODRIGUEZ (род. в 1952 г.).

Изучает испаноамериканскую литературу в Гаванском университете. Работает составителем программ для радиовещания. Сборник стихов «Люди моего квартала» («La gente de mi barrio») был отмечен в 1975 году премией «13 марта».

Молодой поэзии Кубы посвящена статья Луиса Суардиаса «Размышления о новой кубинской поэзии». Им же были отобраны и присланы в редакцию публикуемые стихи.

■

ЛУИС СУАРДИАС — LUIS SUARDIAZ (род. в 1936 г.).

Кубинский поэт, лауреат нескольких литературных премий, первый вице-президент Союза писателей и деятелей искусств Кубы. Автор книг «Прожить жизнь» («Haber Vivido», 1960; стихи из этой книги напечатаны в «Иностранной литературе» № 7, 1969), «Возвращение из дальних странствий» («Como quién vuelve de un largo viaje», 1976) и др.; много печатался в периодике.

Публикуемая статья получена в рукописи.

ШЕЙЛА КЭССИДИ — SHEILA CASSIDY
(род. в 1937 г.).

Английский врач-хирург. Окончила Оксфордский университет и в 1963 году получила степень доктора.

Мы предлагаем вниманию читателей отрывки из книги Шейлы Кэссиди «Дерзание верить. Автобиография» («Audacity to Believe. An Autobiography». London, Collins, 1977).

■

ГУРОВА ИРИНА ГАВРИЛОВНА.

Советский переводчик с английского. Переводила романы, повести, рассказы английских и американских писателей — Ч. Диккенса, У. Теккерея, М. Твена, Т. Вулфа, Э. Троллопа, Ч. П. Сноу, Д. Стейнбека, А. Азимова и др.

■

БЕЛ КАУФМАН — BEL KAUFMAN.

Американская писательница, журналистка, в прошлом школьная учительница. Ее книга «Вверх по ведущей вниз лестнице» напечатана в «Иностранной литературе» (№ 6, 1967). Бел Кауфман написано много рассказов о детях, о школьной жизни, об учительском труде, пьесы, тексты песен.

■

АНДЖЕЙ КРАУЗЕ — ANDRZEJ KRAUZE
(род. в 1947 г.).

Польский художник-карикатурист. Его рисунки, фельетоны, иллюстрации регулярно публикуются на страницах польского еженедельника «Культура».

Публикуемые карикатуры взяты из его сборника «Счастье в аэрозоле» с предисловием Януша Гловацкого («Szczęście w aerozolu». Wstęp Janusz Głowacki. Warszawa, Czytelnik, 1977) и из еженедельника «Культура».

◆

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Н. Т. ФЕДОРЕНКО

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Н. А. АБАЛКИН, Л. А. ГВИШИАНИ, Ю. В. ДАШКЕВИЧ, Е. А. ДОЛМАТОВСКИЙ, И. Ф. ЗОРИНА, Т. П. КАРПОВА, Е. Ф. КНИПОВИЧ, А. А. КОСОРУКОВ, Т. А. КУДРЯВЦЕВА, Т. Л. МОТЫЛЕВА, П. В. ПАЛИЕВСКИЙ, Е. Н. ПРАЛЬНИКОВ (зам. главного редактора), **А. Н. СЛОВЕСНЫЙ, К. А. ЧУГУНОВ** (зам. главного редактора), **М. А. ШОЛОХОВ, Л. З. ЭЙДЛИН.**

Ответственный секретарь **М. Г. ФЕДОРОВ.**

Художественный редактор **Л. Б. Филиппова.** Технический редактор **Л. Д. Фарафонтова.**

Адрес редакции: 109017. Москва, Пятницкая ул., д. 41. Телефон 233-51-47.

Издательство «Известия Советов народных депутатов СССР».
Москва, Пушкинская пл., 5.

Журнал выходит один раз в месяц.

Сдано в набор 4/XI 78 г. А 00207. Подписано в печать 30/XI 78 г.
Бумага 70×108 1/16 = 9 бум. л. = 18 п. л. (25,2) усл. печ. л. Уч.-изд. л. 28,80.

Тираж 690.000 экз. (1-й завод: 1—440.000 экз.) Зак. 3640.

Ордена Трудового Красного Знамени типография «Известий Советов народных депутатов СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова. Москва, Пушкинская пл., 5.

17 ИЛ

Аристидес Фернандес. Прачки

Цена 80 коп.

ИНДЕКС 70394